

# НАШ СОВРЕМЕНИК

---

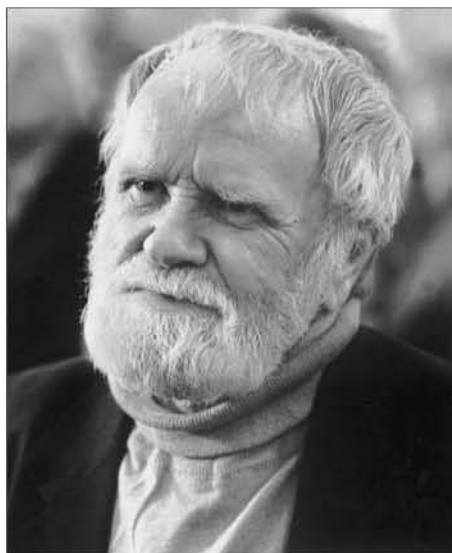
*Журнал писателей России*

---



**№ 10 2022**

## 90 ЛЕТ ВАСИЛИЮ ИВАНОВИЧУ БЕЛОВУ



23 октября исполнилось бы 90 лет Василию Ивановичу Белову. В Вологде эта дата отмечается особо: проведён конкурс прозаических произведений “Всё впереди!” по названию нашумевшего в своё время романа Василия Ивановича. На конкурс принимались только те произведения, нравственная основа которых соответствует творческим установкам Белова. Членам жюри для выработки оценок было представлено около 300 произведений. Победители, занявшие первое, второе и третье места, будут объявлены на торжественной церемонии в Вологде 23 октября. Лучшие работы будут опубликованы в декабрьском номере “Нашего современника”, ведь в декабре ещё одна памятная дата, связанная с Василием Ивановичем, — 10 лет со дня его кончины.



## Содержание

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1956 года

Главный редактор  
Станислав КУНЯЕВ

Общественный совет:

Л. Г. БАРАНОВА-  
ГОНЧЕНКО,  
А. В. ВОРОНЦОВ,  
Т. В. ДОРОНИНА,  
Л. Г. ИВАШОВ,  
С. Г. КАРА-МУРЗА,  
В. Н. КРУПИН,  
А. Н. КРУТОВ,  
Ю. М. ЛОЩИЦ,  
Д. Н. НИКОЛАЕВ,  
Ю. М. ПАВЛОВ,  
И. И. ПЕРЕВЕРЗИН,  
З. ПРИЛЕПИН,  
Е. С. САВЧЕНКО,  
А. Ю. СЕГЕНЬ,  
В. В. СОРОКИН,  
А. Ю. УБОГИЙ,  
В. Г. ФОКИН,  
Р. М. ХАРИС,  
М. А. ЧВАНОВ,  
С. А. ШАРГУНОВ,  
В. А. ШТЫРОВ

### Поэзия

Евгений ЛУКИН  
Сумрачная нежность  
Петербурга ..... 3  
Николай ПЕРЕСТОРОНИН  
Золотая подсветка судьбы ..... 56  
Диана КАН  
И ни о чем, что было —  
не жалеи! ..... 142  
Павел ШИРОГЛАЗОВ  
Пасынок русской нирваны ..... 184

### Проза

Сергей ВАСЮТИН  
Мариупольский дневник ..... 8  
Илья ПРЯХИН  
Если бы не Стендаль. *Повесть* .... 33  
Наталья РОМАНОВА-СЕГЕНЬ  
Великий стряпчий. *Роман* ..... 59  
Василий КИЛЯКОВ  
Последние. *Повесть* ..... 118  
Степан РАТНИКОВ  
Школота. *Роман* ..... 146  
Эвелина АЗАЕВА  
Как апостолы. *Рассказ* ..... 176  
Илья КОРОЛЬ  
Итальянский кабан. *Рассказ* ..... 187  
Дмитрий ЛИХАНОВ  
Обрубков. *Рассказ* ..... 196

### Очерк и публицистика

Руслан СЕМЯШКИН  
Подвиг Ярослава Галана ..... 202

### Память

Сергей БАГРОВ  
Загадки Родины ..... 208  
Инна РОСТОВЦЕВА  
Марина Цветаева: час души ..... 217  
Геннадий КРАСНИКОВ  
Танцы смерти на горящих  
мостах ..... 232  
Галина ДАНИЛЬЕВА  
Собачья площадка в лучах  
Арбатско-Поварских  
переулков ..... 239

## Редакция

Приёмная —  
(495) 621-48-71

С. С. Куняев —  
*заместитель главного  
редактора, зав. отделом  
публицистики* —  
(495) 625-01-81

А. Ю. Сегень —  
*зав. отделом прозы* —  
(495) 625-30-47  
ns-proza@yandex.ru

К. К. Сейдаметова —  
*зав. отделом поэзии* —  
(495) 625-02-81  
ns-poetry@yandex.ru

А. Н. Тимофеев —  
*редактор отдела  
критики* —  
(495) 625-30-47  
ns-kritika@yandex.ru

Е. Н. Евдокимова —  
*зав. редакцией* —  
(495) 621-48-71

М. А. Чуприкова —  
*гл. бухгалтер* —  
(495) 625-89-95

## Критика

Михаил ЧИЖОВ  
Самобытный взгляд  
на историю ..... 255

Олеся РУДЯГИНА  
“Есть в мире сердце,  
где живу я...” ..... 268

## Встречи с читателями

Светлана ЧУРАЕВА  
Падали яблоки  
в графском саду ..... 277

Александр БОБРОВ  
От Волги до Эльбруса ..... 279

Нина ДЬЯКОВА  
Свет “Забайкальской осени” ..... 283

Зинаида ЕРШОВА  
Репетиция школьного вальса .... 287

Редакция внимательно знакомится с письмами читателей и регулярно публикует лучшие, наиболее интересные из них в обширных подборках. Рукописи принимаются как в распечатанном виде по Почте России, так и по электронной почте отделов. Каждая рукопись внимательно рассматривается. Связь с авторами происходит ТОЛЬКО при положительном решении. Вступать в переписку по поводу рукописей редакция не имеет возможности. Рукописи не рецензируются. Журнал не публикует поэмы, сценарии, либретто. Журнал оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.

Адрес редакции: **Москва, 127051, Цветной бульвар, д. 32, стр. 2**

Сайт в интернете: **www.nash-sovremennik.ru**, эл. почта: **n-sovrem@yandex.ru**

Журнал зарегистрирован Мининформпечати Российской Федерации 20.06.03. ПИ № 77-15675. При изготовлении оригинал-макета журнала использованы шрифты ООО НПП “ПараТайп”.

Компьютерная вёрстка: Г. В. Мараканов. Оператор: Н. С. Полякова  
Корректоры: С. А. Артамонова, Н. А. Павлова

Подписано в печать 04.10.2022. Формат 70x108 1/16. Бумага газетная.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 25,4. Уч.-изд. л. 22,9. Заказ № 3143-2022. Тираж 3100 экз.

Отпечатано в АО “Красная Звезда”, 117342, Москва, Севастопольский проспект, 56/40 с1.

Тел.: (495) 941-21-12, (495) 941-32-09 www.redstarprint.ru e-mail: kr\_zvezda@mail.ru

**ЕВГЕНИЙ ЛУКИН**



## СУМРАЧНАЯ НЕЖНОСТЬ ПЕТЕРБУРГА

ДЕЛЁЖКА

“Ныне живы, а завтра мертвы, —  
Говорил Мономах, —  
И другие придут и возьмут  
То, что собрано нами”...  
Мы явились в последнюю ночь.  
Мы раздали впотьмах  
Кому плеть, кому медь,  
Кому стынь, кому синь с облаками.

Кому выпала плеть,  
Тот учился той плетью свистеть,  
Кому выпала медь,  
Тот учился подсвистывать медью,  
Кому выпала стынь,  
Тот учился зубами скрипеть,  
Потому что учился ещё  
Согреваться под плетью.

---

*ЛУКИН Евгений Валентинович — поэт, прозаик, переводчик, эссеист. Родился в 1956 году. Окончил исторический факультет Ленинградского педагогического института имени А. И. Герцена. Работал учителем, журналистом, проходил военную службу. Участвовал в Первой чеченской войне. Автор сорока книг поэзии и прозы. Член Союза писателей Санкт-Петербурга и России. Лауреат ряда литературных премий.*

Кому выпала синь,  
Тот учился смотреть облака,  
Объяснять непростые законы  
Простыми словами:  
Почему при делёжке  
Достанутся наверняка  
Тому плеть, тому медь,  
Тому стынь, тому синь с облаками.

## ПАНТЕЛЕЙМОНОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Под синим небом петербургским  
Пантелеймоновская церковь,  
Где слава светится морская,  
Зелёный мраморник цветёт,  
Поют божественные арфы  
О днях Гангута и Гренгама,  
Когда по каменной скрижали  
Идут петровские полки:  
Преображенский, Вологодский,  
Семёновский, Нижегородский,  
Рязанский, Галицкий, Копорский,  
Воронежский и Костромской.

О, время золотой фортуны!  
Там звёзды грубого помола,  
Штыков трёхгранные походы,  
Орлиный гром на рубежах.  
А Пётр глядит в кристалл подзорный  
На эти пепельные марши  
И ветровые слышит плачи  
О не вернувшихся полках:  
Преображенском, Вологодском,  
Семёновском, Нижегородском,  
Рязанском, Галицком, Копорском,  
Воронежском и Костромском.

Храни вас Бог, однополчане,  
На берегах другого моря,  
Штурмующих за облаками  
Иной Гангут, иной Гренгам!  
Под синим небом петербургским  
Пантелеймоновская церковь  
За вас, ушедших в небылое,  
Молитву вербную творит:  
Преображенский, Вологодский,  
Семёновский, Нижегородский,  
Рязанский, Галицкий, Копорский,  
Воронежский и Костромской.

## ПАВЛОВСК

Снится кирпичная церковь  
Артиллерийской бригады,  
Павловск, морозное утро,  
Строй белоснежных колонн.  
На пьедестале дымится  
Чаша перлового счастья,

Слышится: “Я!” — на разводе,  
Гвозди печатают шаг.

А за колючей оградой —  
Синяя роздымь дороги,  
Где одинокая муза  
Ждёт не дожждётся меня.  
Медный приказ капитана —  
Быть рисовальщиком молний.  
Вот и моя мастерская,  
Здесь я рисую грозу.

О, боевая палитра —  
Смелость свинцовой окраски,  
Долга трёхцветная лента  
Да трафаретная честь!  
Я не ропщу на судьбину:  
Родина всех призывает,  
А политрук с пистолетом  
Всех на Итаку зовёт.

Вечер. Луна над оградой  
Блещет солдатскою бляхой.  
В гости иду к музыкантам  
Пить кипяток жестяной.  
Розовый флейтщик в казарме  
Греет вечернюю койку:  
“Здесь отдыхала когда-то  
Лошадь поручика Л...”

Песню чеканю в потёмках,  
Что-то про Дон и про Волгу,  
Бью серебро на ступенях,  
Вижу невидимый сон...  
Снится кирпичная церковь  
Артиллерийской бригады,  
Синяя роздымь дороги,  
Лермонтов, Павловск, зима.

## ПРОГУЛКА

На небе Бог и светлая звезда —  
Серебряная плошка со свечою,  
Мерцающая прозелень креста,  
Ледок у храма, иней голубиный,  
Полукривое зеркальце очей,  
Где отразилась строгая любовь  
И сумрачная нежность Петербурга,  
Гранитная прогулка, ангел ветра,  
Ростральная разлука на мосту  
И огненная астра...  
Эта астра —  
Игольчатый ожог, парик колдуньи,  
Танцующей на шабаше ночном,  
Горящий уголь зрения зари,  
Двойник звезды, её сестра земная:  
Меж ними есть таинственная связь,  
Но никому не ведомо — какая.

## РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЧУДО

В кафе мерцает синий полумрак,  
Созвучный петербургскому морозцу,  
Душистая табачная сирень,  
Полуколёчки бронзового кофе  
И трепет очарованной струны,  
Как будто говорящей о небесном  
Томлении единственной души  
Сказаться Вифлеемскою звездою,  
Готовой, как и много лет назад,  
Блеснуть в проёме горного вертепа,  
Приотворить оснеженную дверь  
И, шевельнув пастуший колокольчик,  
Мерцающий наполнить полумрак  
Дыханием рождественского чуда.

*Из поэтических переводов*

## ШАРЛЬ ЛЕ ГОФФИК

### МИСТИЧЕСКИЙ ЗАКАТ

Вздымались валы и небесные пелись псалмы,  
И два огонька золотились на склоне холмистом.  
А на окоёме, омытом наплывами тьмы,  
Волшебные очи заискрились вечером мгlistым.

И видели въявь моряки из бретонской страны,  
Летя среди мрачных бурунов на шхунах крылатых:  
Таинственный витязь вставал из морской глубины,  
И, вверх устремляясь, светился в чешуйчатых латах.

И сети бросали в пучину они наудачу,  
Но были пусты ледяные тенёта рыбацьи:  
Лишь тина морская да прочий бессмысленный клад.

А вечер над ними клубился в блаженном ознобе,  
И молча они наблюдали чудесный закат,  
И руки свои прижимали молитвенно к робе.

### ЧЁРНАЯ ПОВЯЗКА

В краю, побитом разъярёнными ветрами,  
В краю, изъеденном волнами до камней,  
Седые женщины с крюками и баграми  
Всё ищут на море обломки кораблей.

Уже под вечер слышен вёсел шум далёкий,  
Померкшие глаза из темноты глядят,  
Над тростниками рой струится одинокий —  
Там души мертвецов роятся и вопят.

Так выглядит родной Пенмар с недавних пор.  
Но в оны дни за ухажёрот ухажёр  
За хуторянками был приударить рад.



А ныне у реки, где ветер и потоп,  
Седые женщины обломки сторожат,  
Повязкой чёрной опоясывая лоб.

## ВИДЕНИЕ

Её душа давно стремится  
Туда, где дюн печальный свет,  
И потому мне часто снится:  
Её в Париже больше нет.

И белый чепчик её снится,  
Парчой расшитый золотой.  
Так наряжается девица,  
К вечерне следуя святой.

Легка, подобно фимиаму,  
И кротка, с чётками в руке,  
Она идёт дорогой к храму,  
Вознёсшемуся вдалеке.

О, этот храм, сечённый в камне,  
И кровля в ржавчине сырой!  
Сюда молиться христиане  
Спешат вечернею порой.

Она войдёт под свод старинный,  
Себя знамёнем осенит,  
Склоняясь шеей лебединой,  
В хорах колена преклонит.

И с трепетом благоговейным  
Любуюсь я, заморожён,  
Как нежный лик её лилейный  
Нездешним светом озарён!

СЕРГЕЙ ВАСЮТИН



## МАРИУПОЛЬСКИЙ ДНЕВНИК

Возможно, у кого-то из моих знакомых или незнакомых мне людей иное отношение к происходящему сейчас на Украине, но я не собираюсь ни с кем дискутировать по поводу фактов или оценок. Я приступаю к описанию событий, произошедших в посёлках Украина и Волонтёрвка, расположенных на окраине Мариуполя.

Итак.

21 февраля мне, как обычно, на карточку капнула пенсия. Через три дня мы с женой Валей отправились за недельным запасом продуктов в магазин “Грация”. Стометровая очередь сразу посеяла в сердце неуверенность и тревогу. Оплата в магазине только наличными, вокруг бродит паника. Купили продукты на две недели. Доллар уже по 40 гривен. Еле снял с карточки 2000, простояв в Приватбанке три часа.

Товарищ Путин поставил господину Зеленскому ультиматум. Тот в ответ блефует. Начались боевые действия, где-то далеко уже слышна канонада, и от этого грустно. Все магазины закрываются, на АЗС огромные очереди, но мне удалось заправиться дизелем достаточно быстро.

Ещё всё так красиво, и цел наш сосновый лесок!

В воскресенье с утра были в церкви. Первая неделя марта прошла более-менее спокойно. Я даже провёл две репетиции. Правда, уже с 24 февраля начали бомбить Восточный, и нашей промбазе тоже досталось. Разбили крышу в брикетном цехе и все окна.

---

*ВАСЮТИН Сергей Дмитриевич родился в 1960 году в городе Жданове (сейчас Мариуполь). В 1982 году окончил Ждановский металлургический институт. После армии работал в ПО Ждановтяжмаш. С 1989 года занимался собственным бизнесом — производством различных металлоконструкций. В 2022 году все имущество и бизнес уничтожили украинские вояки. Живёт в Мариуполе.*

Обстрелы посёлка Украина начались с 1 марта, и тотчас отключили свет и воду, люди остались без интернета. Рядом с моим домом, в гаражах, примерно в ста метрах, обосновались укронацисты из “Азова”, нацики, как мы их называем. А ещё — укропами и бандерлогами. Но это относится только к тем украинцам, которые за годы незалежности оскотинились, потеряли человеческую сущность. Ежедневно я и многие жители посёлка наблюдали, как по нашим улицам передвигается сценка из двух “Хаммеров”, на одном из которых установлен миномёт. В кабинах машин — украинские военные. То ли пьяные, то ли обкуренные. Они мотались по посёлку и хаотично обстреливали дома мирных жителей.

Появились разрушенные дома, люди уходили пешком в центр города, где пока никаких разрушений. Но у нас подвал-погреб и запас продуктов, поэтому мы решили остаться дома, хотя уже сгорели несколько строений неподалёку. Валя взяла на себя обеспечение едой, а мы с соседом Сергеем Николаевичем занимались печкой, дровами и хозяйственными работами. Закрывали разбитые окна плёнкой и ковровином. Иногда я подключал генератор.

Стреляли с базы нациков. Русские находились около Сартаны и никак не могли достать посёлок из миномётов. Первого марта первая мина прилетела ко мне на участок — разрушила сарай для дров и часть беседки — первый украинский подарок. Осколками были срезаны ветки сосен и туя. На следующий день отключился телефон.

4 марта с утра по Ракетной ходили укры, молодые солдаты, и предлагали эвакуироваться, я отказался. Они прошли дальше по улице, зашли в дом к Нестеровым, взломали гараж. Ничего, кроме мужской одежды, как оказалось, не взяли. Потом зашли в крайний дом, к бабе Гале, сломали у неё ногами забор и сказали, что через два тыжни (по-русски — через две недели) возьмут Донецк. Скажу честно, я недоверчиво отнёсся к их словам.

Накануне 8 марта перестали подавать газ. В этот день сосед Игорь привёл к нам своего отца, 85-летнего, суетливого дядю Колю и оставил его на наше попечение. Валя не смогла отказать.

Международный женский день, хоть и скромно, но смогли отметить, обстрелов почти не было. А на другой день — новый подарок от нациков: осколок мины влетел к нам и, попав точно в генератор, убил его.

Уже много домов разрушены обстрелами, которые осуществляют нацики на виду у всех жителей посёлка, нисколько не стесняясь, в наглую. Есть попадания в девятиэтажки на Пентагоне и ЦРУ — так в народе называют два района нашего посёлка Украина. Довольно странное название. Всё равно, как если бы в России был посёлок Россия, а в США — городок США.

Украинские лыцари-захысники положили начало мародёрству в Мариуполе и нашем посёлке. Сначала были разграблены магазины на Пентагоне и магазин АТБ на ЦРУ. Приезжали солдаты, разбивали витрины и выносили всё, что видели. Потом подтягивались местные, из пролетарьяту, и заканчивали грабёж. Я ехал за молоком и стал свидетелем разграбления продуктовой базы на улице Достоевского. Двое мужичков тащили на спине по мешку лука. Предложили и мне поучаствовать в этой героической акции, но в силу слабости и некоторых моральных предпочтений мне пришлось отказать.

Поехал дальше, в церковь. Слава Богу, там было всё в порядке. Хотел проехать домой к нашему священнику отцу Владимиру-старшему, но туда не пустили. Выгнав людей из домов, всю улицу заняли нацики. Дома превратили в огневые точки, а в некоторые просто въехали танками. Из-за обстрелов все провода оборваны и свисают со столбов, либо валяются на дороге. Многие столбы тоже повалены — пали, срубленные минами...

Решил зафиксировать и проанализировать периодичность обстрелов. Когда армия ДНР находилась в двадцати километрах от Мариуполя, начались ночные обстрелы посёлка из противопехотных миномётов с использованием зажигательных мин. 1 марта — три миномётных обстрела, лупят куда попало. Стреляют с полуночи до трёх утра, потом с десяти до полудня, с пяти до шести вечера, с десяти до одиннадцати, и далее по тому же расписанию.

Мы с братом Сашей сходили к Люде, Валиной сестре, и забрали её к нам. Приготовили погреб, снесли туда стулья, свечи. Несмотря на обстрелы, наш дом пока почти не пострадал, стёкла целые. К нам приехали сторожа с базы,

как я уже упоминал ранее. Деваться им некуда, поэтому оставили их у себя. Их машину, старый “Москвич”, поставили в заезд, под ёлки. Первые потери — разбитые окна в гараже. Закрыли их старым линолеумом и фанерой.

С 9 марта мы узнали, что такое ад! Бойцы ДНР даже пытались захватить базу нациков, расположенную рядом с моим домом. Не удалось. Те подготовились основательно — глубокие подвалы с провиантом и боеприпасами. С 12 марта их начали обрабатывать ракетами с воздуха. Дрожит земля, все окна в доме выбиты, но выкурить их пока не удаётся.

10 марта после обеда случился сильный обстрел. Мы все находились в подвале, когда услышали стук в ворота, они были стянуты проволокой, и зайти к нам в заезд можно только через забор. Я вышел во двор и увидел семью соседского батюшки Дмитрия, стоящую у ворот. В это же время в заезд за их спинами в двух-трёх метрах упала и взорвалась мина. Инстинктивно, падая, отец Дмитрий прикрыв собою детей. Потом, когда я подбежал, они поднялись и перелезли через забор. Вбежав в дом, нырнули под машину и — в подвал. Но в подвале отцу Дмитрию стало плохо, и мы вытащили его назад в кухню. Как оказалось, ему в грудь попал осколок, но он в горячке этого не заметил, перелез через забор и начал терять сознание уже в погребке. В кухне мы раздели священника, и его жена Лариса, проучившаяся в мединституте два года, быстро перевязала мужа, а я побежал к брату за машиной, чтобы доставить раненого в больницу. Взяли Женю “Ниссан”, она села за руль, но перед самой Ракетной перед нами начали взрываться мины. Я остановил автомобиль и отправил Женю домой, видно было, что ей очень страшно. А сам подъехал к своему дому, и мы с матушкой Ларисой погрузили отца Дмитрия в машину на заднее сидение. Тут прибежал мой младший брат Сашик, вскочил за руль, и мы понеслись в больницу. Осколок сшиб левое зеркало. Оглушительные взрывы, выстрелы, оборванные трамвайные провода, перевёрнутые расстрелянные машины, пустые улицы... Мы мчались со скоростью не менее ста километров в час. Возле посёлка Садки увидели “скорую помощь” нациков. Я обратился к ним за помощью, но они послали нас куда подальше. И, плюнув в сердцах им вслед, я вернулся в машину. Через три минуты мы приехали в Ильичёвскую больницу. Врачи — молодцы, действовали очень профессионально, сразу сделали операцию. Денег не взяли. Лариса осталась в больнице с мужем, а мы вернулись домой.

Детей священника мы пристроили у Сашика, у него в подвале уже собралось семнадцать человек и десять собак. Оказывается, в критической ситуации у моего брата стальные нервы, и он спокойно принимает грамотные решения. Храни его Господи!

11 марта во время ночного миномётного обстрела во двор перед вольером влетела мина и убила нашу собаку Маргу. Я похоронил её в саду.

На другой день матушка Лариса пешком ходила в больницу через Мухино и оказалась свидетелем страшного события: увидела, как солдат подстрелил велосипедиста. Тот упал и пытался объяснить, что едет домой в Сартану, но бандеровец добил его выстрелом в грудь. Лариса успела отвести взгляд и ушла спокойно, не оглядываясь, постоянно ожидая выстрела в спину. Но всё, слава Богу, обошлось. Когда матушка рассказывала об этом, её всю трясло. Отец Дмитрий выздоравливает. В палату на третьем этаже, где он находился, влетела украинская мина, и всех перевели на этаж ниже.

Цветущий и красивый родной посёлок Украина наполовину уничтожен регулярными непрекращающимися миномётными обстрелами укров. Получается, что украинцы уничтожают Украину! Я удивляюсь, как быстро они превратились в зомби-скотов и с наслаждением убивают своих сограждан и единоверцев.

Сбываются планы Запада, озвученные ещё в конце сороковых годов прошлого века: перессорить славян между собой и заставить их убивать друг друга. Они прекрасно справились с этим дьявольским заданием: за тридцать лет проклятой незалежности воспитали тупое и жадное поколение укронацистов, за деньги готовых убивать себе подобных.

15 марта авиация начала усиленно работать по нацикам. Мощные ракеты ложились точно в цель в ста метрах от нашего дома. После авиаудара тринадцати ракет всё затихло. Но укрыя не сдавались. Через пару часов миномётчики

снова начали обстреливать посёлок. Попали в соседский дом — в крышу. Начался пожар, и мы с Сергеем Николаевичем полезли его тушить. Залили водой горящие балки. На крыше я увидел миномётчика, который спокойно наблюдал за нашими действиями. Когда мы потушили крышу, он снова начал стрелять по нам. Мина пролетела над головой — Господь отвёл. К сожалению, укры снова подожгли этот дом, и он полностью сгорел.

Большинство домов на Ракетной разрушены и сожжены украинскими минами. Огромные двухметровые воронки через десять-двадцать метров разбросаны по всей улице Ракетной, разбита высоковольтная линия — поперёк дороги лежат толстенные алюминиевые провода.

Горят дома, трупы на улицах. Матушка Лариса, когда шла из больницы, видела, как в детском садике на Пентагоне хоронили погибших людей.

17 марта мы взяли с матушкой Ларисой тачку, пластиковые бачки для воды и отправились за водой к колодцу в переулок Садковый. На пересечении с улицей Брестской увидели трупы трёх мужчин. Их расстреляли вчера после обеда укры. Из пулемёта. По городу тоже лежат трупы — их никто не убирает. Говорят, бандерлоги заминировали все мосты в городе, перегородили самосвалами дорогу на Левый берег. Взорвали мост между Ялтой и Белосарайкой. Мне об этом написал Гена Прохоров, владелец АЗС, которая находится рядом с мостом.

Укры — исчадие ада, могут только разрушать, за тридцать лет не построили ничего!

С 10 утра снова идёт бой, бандеровцы — как заговорённые. После мощных авиаударов лезут на крышу и лупят по посёлку из миномётов, вижу это из окна своей спальни. Если бы не горе, которое они принесли жителям посёлка, их можно было бы назвать храбрецами. Хотя, впрочем, все они принимают каждый день специальные таблетки для бесстрашия.

Почти постоянно мы находимся в погребе. Молимся, читаем Псалтырь, Новый завет. Там всё про нас — про наши грехи. Почему в сытое и спокойное время мы не читаем эти мудрые книги! Особенно впечатлила книга Сираха и Экклезиаста.

Рядом в семидесяти метрах идёт ближний бой. Автоматы трещат, как на полигоне. Мы успели пообедать, Валя сварила прекрасный борщ. Едим два раза в день, хватает. Аппетита особого нет. Понемногу шлём чудесный самогон, хранившийся в дубовой бочке девять месяцев. Делал этот неземной напиток Коля Семянников. Замечательные “капли датского короля”. Коле — зачёт. Пока писал, закончили стрелять. В нашей ситуации очень помогает и успокаивает молитва. Читаю “Отче наш” по сто раз в день и более. В подвале основной рассказчик — матушка Лариса. И Псалтырь читает, и про свою бесшабашную молодость рассказывает. Ободряет нас. Холодно, мороз минус восемь.

18 марта целую ночь мешали спать редкие выстрелы из украинского танка, пристроившегося в заезде у бабы Гали. Мы подрывались бежать в погреб, но последующая тишина и тёплая постель оставляли нас лежать. Рано утром снова началась операция по уничтожению базы укронацистов. Сначала самолёт изрыгнул мощную ракету, и укры затихли на полчаса. Но потом очухались и заработала какая-то пушка. Сделав шесть мощных выстрелов, замолчала. Радует только то, что укры перестали нас обстреливать из миномётов. Ходили с Ларисой за молоком — ничего не досталось. Пришли домой — собирали обломки деревьев для отопления и приготовления пищи.

Пока тишина. Подозрительная. Сидим в подвале — читаем Евангелие от Матфея. А в два часа дня начался планомерный, целенаправленный расстрел моего дома — одного из трёх домов на улице Ракетной, находившихся в более-менее жилом состоянии. Несколько зажигательных мин попали в крышу первого этажа. Из подвала мы услышали треск огня. Поднялись с Сергеем наверх, и в лицо нам ударил огонь из Алиной комнаты. Пытались тушить водой из бассейна, но тщетно... Люди еле успели выскочить из подвала, пока я выгонял машину из гаража. Вынес туда синтезаторы — единственное ценное имущество, которое у меня осталось. И ещё в сарае два велосипеда. Вся одежда, мебель, библиотека и старинное пианино 1872 года сгорели. Но я благодарен Господу за это испытание. Стены и труба остались, потому что сделаны из шлака. Всё это можно назвать грустным русским словом “пожарище”.

В погребе сохранились консервы, картофель и две бочки самогона, несколько бутылок сухого вина.

Погоревали мы с Валею три дня и успокоились — на всё воля Божия, и Он дал нам силы перенести эту утрату спокойно. Сегодня я залез в сгоревший подвал и нашёл свой обгоревший дневник, Библию и Псалтырь — это чудо, что они сохранились в огне. Исчезли наши кошки Махита и Маркиза — убежали или погибли. Очень жаль их.

Улица Ракетная разрушена до основания, нет ни одного целого дома. Сегодня ходили с матушкой Ларисой в больницу, забрали отца Димитрия. Случайно оказались на совещании медиков, которое проводилось главврачом в фойе. Нацки приказали всем убраты из больницы — собираются её взорвать. Когда шли в больницу, я встретил одноклассника Саню Шевченко. Он был хорошо навеселе и угостил меня парой банок пива. Отца Димитрия отвели к его брату — отцу Владимиру, и он остался там с матушкой Ларисой.

В больницу шли через мост, видели состояние домов нашего посёлка — декорации из фильмов ужасов. Несколько девятиэтажек повреждены и сожжены. В детском саду могилы погибших людей. Некоторые трупы лежат, просто накрытые одеялами, с фиолетовыми обветренными лицами. Когда шли по улице Цветочной, встретили молодую женщину, которая выходила из калитки. Она оказалась прихожанкой нашего храма и рассказала нам, что украинцы убили её мужа — одного из трёх расстрелянных мужчин на Брестской улице, о которых я упоминал выше. Двое других — её дядя и сосед. Изверги из полка “Азов” цинично, ни за что, ни про что расстреляли мирных жителей.

Пока я поднимался от отца Владимира по улице Достоевского, рядом шёл ближний бой. Тарахтели автоматные очереди, а укры со своих позиций продолжали миномётный обстрел посёлков Украина и Волонтеровка. Выбравшись из сгоревшего дома, мы приютились у Сашика. Кстати, у него недавно прошёл юбилей, шестьдесят лет исполнилось моему братику. Живём теперь у него в подвале — двадцать пять человек и десять собак. Еда подходит к концу. За водой ходим к колодцу на Волонтеровке. Все спим в подвале, на мешках, набитых древесными отходами пеллетами.

Вчера утром хотели перегнать из заезда мою машину к брату во двор, но нас по дороге расстреляли из миномёта наши захысныкы. Старый, крепкий “Пассат” спас нам жизнь. Сашика посекло стеклом, а меня слегка контузило. Уши отложило только сегодня.

Три дня назад, в шесть утра, Сашик шёл к матушке и наблюдал такую картину. Два автоматчика вели двух бомжей, которые толкали тачку с миномётом. Просто факт.

Слово “Украина” наполнилось для меня новым смыслом, новым мировоззренческим оттенком, который можно описать одним словом: укроидиотизм. Такого тупого народа, как те, кто заправляет на Украине, наверно, нет на планете Земля. Разрушить всё, что досталось от СССР за тридцать лет, устроить геноцид для половины своего населения. Цифры беспощадны — в 1991 году население составляло 52 миллиона человек, а к 2022 году уже только 25 миллионов! Угробить медицину, образование и промышленность, продать землю за понюх табаку могут только умственно отсталые люди.

С утра снова обстрелы и автоматные очереди. Мы с братом ездили в город к Паше за бензином. Заехали к сватам Люде и Гене. Они уехали в Польшу, в их квартиру прилетела мина. Их сосед сказал, что к ним приходила девушка (мы поняли, что это была Аля) и сказала, что выезжает из города. Слава Богу, хоть что-то узнали.

Бывший зять Славик не разрешил Але пожить с Лёвой в его квартире, сказал: пусть твой хахаль думает об этом. Для меня он перестал существовать как человек — просто пустое место.

Обстрел начался в восемь утра. Никого на улицах. Только падающие мины. Попали соседям в крышу. Мы в подвале, есть освещение от аккумуляторов — дети играют в игры на планшетах. Слава Богу, у меня есть такой брат — мудрый и практичный человек, и его жена Татьяна. В подвале светло и тепло.

20 марта — воскресенье, но мы с утра в подвале, а не в церкви. Нас было двадцать три человека, но пришла Лариса и забрала детей к отцу Владимиру.

Опять с 7 до 10 утра обстрел, над головами с шорохом летают мины. Нас десять мужчин, из которых два глубоких старика, остальные женщины и дети. Десяток разных собак. Взрывной волной выбило стёкла в гараже — умелец Серёга закрыл их плёнкой. Съездили за водой, набрали у Павла Ивановича из колодца литров двести. Павел Иванович — учитель черчения и рисования в школе № 24. Мы все пятьдесят лет назад у него учились.

Сашик не сидит на месте — вечно чем-то занят, что-то ремонтирует. Сходили с Николаичем ко мне домой — привезли тушёнку и компоты. На соседних улицах бои, слышны автоматные очереди и выстрелы из гранатомётов. Воздух — сплошная гарь. Ночь прошла тихо. Спали.

22 марта. Просыпаюсь теперь рано — часа в три ночи. Молюсь. Читаю “Отче наш” сто раз. Наступает какое-то просветлённое успокоение — Господь помогает. Вышел на улицу — сильный ветер гнал гарь с пожарищ, много домов рядом пылало. Фантазмагория, однако!

В семь утра решили с Сашиком сходить ко мне на пожарище за консервами из погреба. Было тихо и, взяв тачку, отправились в путь. Только дошли — нас заметили укры и с расстояния в сто метров открыли по нам миномётный огонь. Что мы им сделали?! Я заскочил в подвал, а Сашика забросило туда взрывной волной. Отсиделись минут десять, набрали бутылей и тридцать кило картошки. Всё загрузили в тачку, но два ведра с картошкой Сашик нёс в руках, и — бегом до улицы Достоевского. Получили выстрел в спину — Господь отвёл. Завернули за угол, отдышались и пошли спокойно домой.

По возвращении в убежище поели, выпили по пятьдесят грамм самогона. Копчёный самогон очень даже и ничего. Отдыхали часок в атмосфере детского гула и собачьего тьяканья — одна общая кровать, на которой возлежат по очереди двенадцать человек, остальные по углам и в яме под автомобилем. Там уложены мешки с пеллетами, а сверху их накрыли одеялами. Пенсионеры рядом в другой комнате подвала. Им даже полагается биотуалет. Когда ходили ко мне, занесли соседке бабе Гале воду и спички. Попросила что-то поесть. Только собрались назад, как рядом начался бой. Мины летят через нас с устрашающим шорохом. Рядом к соседям было несколько прилётов, развалило полдома. Сходили к Сане Нагорному домой — ему тоже прилетело, — взяли у него мясо: говядина и кури. Так что мы с едой на пару недель.

Сегодня утром миной подожгли дом Володи Вечерковского, сгорел весь второй этаж. А позавчера осколком мины убило соседа, тоже Володю. Похоронили в огороде. Такая она, война. Понятно, что когда война, трудно избежать жертв среди мирного населения. Но непонятно другое — зачем нужно специально убивать ни в чём не повинных граждан, как это делают украинские нацисты! Просто нелюди!

В два часа решили поехать за водой, на улице вроде тихо. Только приехали к колодцу, в ста метрах от него начался бой. Выношу бидон с водой и рядом, метрах в десяти, просвистели пули. Впопыхах набрали двести литров и рванули другой дорогой. В подвале нас ждал вкусный обед из курятины и по тридцать грамм самогонки. Не пьянит, но нервы расслабляет. Женщины стараются нам угодить — готовят очень вкусную пищу.

На другой день встали в шесть утра и поехали на тачках с Николаевичем ко мне домой за продуктами. Он набрал тачку дров, а я собрал в кучу несгоревшие вещи, погрузив их тоже в тачку. И всё это отвезли домой к брату. Занесли бабе Гале покушать, и она сказала, что укры покинули свою базу. Спокойно доехали домой. Поднялся на чердак — “Азовсталь” горит, над городом чёрная мгла. Мариуполь разгромлен.

В 11 часов я сходил к отцу Владимиру, отнёс вещи его детей, а заодно набрал воды. У них всё по-старому — никаких сведений об отце Владимире-старшем и матушке Людмиле.

На улицах посёлка тихо, лишь изредка прорвётся вдалеке автоматная очередь. Час назад Саня Нагорный пошёл к брату и наткнулся на солдат ДНР. Они вежливо обошлись с ним. Один задавал вопросы, остальные молча держали пальцы на курках автоматов. Неожиданно за спиной у него раздался резкий щелчок. Сердце у Сани ёкнуло, но как оказалось, стоявший сзади солдат просто расколол прикладом орех. И смех, и грех.

Женщины приготовили обед. Этот процесс организован следующим образом. Стол у нас на шесть человек, поэтому едим партиями, и занимает это пару часов. Сначала дети, потом пенсионеры, а потом и мы. Руководит всем процессом нашего проживания мой младший брат Сашик. Он очень системный человек, всё у него продумано до мелочей, определена схема эвакуации в случае пожара, заготовлены своеобразные огнетушители — пластиковые пятилитровые бутылки с водой. Разбитые окна закрываются полиэтиленовой плёнкой. Когда нужно, включается генератор и заряжаются аккумуляторы, поэтому в подвале всегда светло. С нами 85-летние старички: наша матушка Александра Михайловна, родители Сергея Чуба, учителя школы № 24 — Валентина Семёновна и Павел Иванович, а также дядя Коля — сосед. Ведут себя прилично — не капризничают. Остальных людей я не знаю, это друзья моей племянницы Жени: Сергей, Константиныч, Света, Инна и Лена, дети Кира, Маша, Матвей, ну, и сама Женья. А ещё друг детства Саня Нагорный с женой Людой, у которого тоже разбомбили дом в начале марта. Позвали ужинать — идём без разговоров.

Ночью почти не сплю, хотя тихо и не стреляют. Лишь в 7 утра укры сделали шесть выстрелов из гаубицы, как оказалось, по Пентагону. Горели девятиэтажки и школа № 47, в которой в прошлом году был сделан многомиллионный ремонт. Сходили с Николаевичем ко мне домой, взяли нержавеющую бочку для воды, немного консервов, тачку дров. Отнесли бабе Гале термос чая с малиной.

Бойцы ДНР перекрыли улицу Ракетную противотанковыми минами, сказали, что ходить можно, только осторожно. Быт наш весьма непритязателен. Горячей водой моемся раз в два-три дня, с помощью тазика и ведра. Воду грею на костре, дрова берём у меня и у матушки в сарае. Слава Богу, я нашёл дома несгоревшие зубные щётки и пасту. Впервые за неделю нормально почистили зубы. Бритва сгорела, поэтому борода, как у бомжа. Оказывается, это большое удовольствие — чистые зубы и выбритые щёки!

Сидим у Сашика во дворе. Солнышко, тепло, птички чирикают, а метрах в трёхстах идёт ближний бой, тарахтят автоматы, иногда прорываются выстрелы из подствольника. В десять утра приходили солдаты ДНР, посмотрели дом, проверили всех мужчин, молодого Серёгу заставили раздеться и осмотрели на предмет нацистских татуировок, он, естественно, оказался чист. Ведут себя вежливо, без напряжения. У одного, очевидно, старшего, акцент русский, не наш донецкий.

Интересное состояние у меня сейчас, вернее, у нас с Валей: ни дома, ни машины, из одежды только лыжная старая куртка и брюки, одни носки, трусы и майка, и ещё два велосипеда. Спрятал у матушки в подвале синтезаторы, если продам — будет на что жить дальше. Пока пишу — продолжается зачистка посёлка Украина, правда, автоматные трели совсем не ласкают слух, сухо потрескивая, как горящий шифер.

Жалко город — разгромили его укры, а потом добавили и ДНРовцы, потому что деваться им было некуда — укры затаскивали на крыши девятиэтажек с помощью автокранов артиллерийские орудия и крупнокалиберные пулемёты и пытались контролировать основные магистрали. Поэтому ничего не оставалось делать, как добивать их танками. Это жуткое зрелище.

Вряд ли в ближайшие годы Мариуполь восстановят, но это только моё личное мнение, по моим подсчётам, на восстановление только жилого фонда понадобится не менее одного миллиарда долларов. А при наличии развалин трёх крупных предприятий — “Азовстали”, комбината Ильича и “Азовмаша”, обеспечивавших работой девяносто процентов семей Мариуполя, — экономически нет никакого смысла восстанавливать жильё за счёт государства, тем более что специалисты давно покинули Мариуполь.

Решил испечь картошки для бабы Гали. Замотал в фольгу и положил на угли. Чувствую, за месяц войны душа совсем очерствела — столько горя, трупов, разрушений насмотрелся... Ужас. Или по-украински — жах.

24 марта. Ночь прошла тихо, без звукового сопровождения. Просыпаюсь в четыре утра, до рассвета, читаю утренние молитвы и сто раз “Отче наш” — великолепная психологическая зарядка на день.



В шесть утра пошли с Николаичем ко мне домой за дровами, заодно и занесли картошку бабе Гале. Баба Галя — маленькая шустрая беззубая старушка, доживающая свой век на улице Ракетной. У нас её называют Татаркой. Мины ещё стоят поперёк улицы. В восемь часов пошли за водой всей командой с двумя тачками. Привезли 350 л за три раза. Ближний колодец — триста метров. Везде стоят патрули ДНР. Когда шли с водой домой, я потерял свой швейцарский перочинный нож, покупал его в Андорре в 2006 году. Вернулся по своим следам, и оказалось, что нож нашёл солдат из патруля. Вернул его мне. Через полчаса мы делали ещё одну ходку за водой. Мимо пронёсся какой-то “ВАЗ”, из окна которого вылетела радиостанция. Сашик свистнул ему вдогонку, но автомобиль умчался. Проходя мимо патруля, мы вернули солдатам утерянную трубку.

Когда пришли первый раз за водой, у колодца стояли одиннадцать солдат ДНР, и какая-то женщина чертила им схему передвижения. Подождали, пока они ушли. Крепкие спокойные ребята двадцати пяти-тридцати лет.

После доставки воды поехали с братом к маме, привезли две тачки дров. Потом сидели на лавочке — грелись и отдыхали. А в это время, где-то на небесах, грекали раскаты грома — работала дальнобойная артиллерия. Это добывали остатки нациков, укрывшихся на “Азовстали”.

Делать особо ничего не приходится, кроме обычной мужской работы по дому: заготовка дров, еды, доставка воды, поэтому некоторые товарищи нашего общества с ограниченной ответственностью позволяют себе игру в нарды.... Туда-сюда по переулку задумчиво ходят солдаты ДНР с белыми повязками на рукавах и пытаются снять с моей разбитой машины аккумулятор. А его там уже давно нет! Часа три назад явилась какая-то группа воинов, человек двадцать, спросила о свободных койко-местах поблизости. Мы не смогли им внятно ответить, и они заняли соседский дом через забор, так как там никто не жил.

Пока писал, над головой пролетело пять-шесть мин. Гавкают собаки — значит, по дворам шарятся солдаты, идёт мероприятие под названием “Зачистка” от наших захысьныкив, разрушивших наш посёлок.

25 марта. Ночью не спится. Думы разные думаются, мысли шевелятся, как змеи в клубке, но, в конце концов, начинаю молиться, засыпаю незаметно, а утром встаю в шесть абсолютно выпавшимся. Обстрелы нашей части посёлка прекратились, но самолёты усиленно наносят ракетные удары по родному, который захватили нацики.

Подъём и прямо с утра физзарядка — идём за водой. Везде ходят солдаты ДНР, и на окраинах посёлка слышна беспорядочная стрельба.

— Добываем нациков, — объяснил командир располуженного в соседних домах взвода, мужик лет пятидесяти. — Работаем по квадратам.

Я попросил у него позарядить телефон — не отказал. Настроены дружелюбно к местному населению. Не орут, говорят спокойно, и видно, что война эта у них в печёнках.

Я немного отдохнул и решил пройтись в наш храм. Это примерно восемьсот метров. Везде патрули и блокпосты ДНР. Много отжатых у населения автомобилей с нарисованной буквой Z. Война, однако. Как в “Свадьбе в Малиновке”: “Красные придут — грабят, белые придут — грабят. Куды бедному крестьянину податься?”

Храм, слава Богу, почти не пострадал. Выбиты стёкла в окнах и посечены осколками стены изнутри и снаружи. Полностью разрушены кладовки и пробита стена в кухне. Выбиты везде двери, но все заготовленные стройматериалы целы. Я взял церковную тачку, которую купил буквально за месяц до начала войны, сложил в неё несколько икон, Писание, которым пользуется отец Владимир, и некоторые другие вещи и отвёз всё это к нему, на Волонтеровку. Отец Владимир угостил меня чаем, баночкой мёда, дал пять бутылок масла. Мёд и чай я отдал командиру с позывным Брат.

Позавтракали, немного отдохнули и отправились с Людой посмотреть, что с её домом. По дороге встречали людей, идущих группами с улицы Курчатова. На каждом перекрёстке стоят посты ДНР. Много разрушенных минами домов. Протестантская церковь цела, совсем не пострадала. Подходя к дому Люды, мы увидели Таню Новик, соседку. У неё устроились несколько знакомых с ЦРУ. Увидев друг друга, Таня и Люда расплакались и обнялись, а я укладкой

осмотрел дом и вздохнул с облегчением — он был абсолютно цел, ни одного повреждения. Господь миловал. В это время начался миномётный обстрел. Над головами шелестели мины, но падали они далеко — где-то в районе улицы Знаменской. Увидев свой дом целым, Люда запричитала и начала молиться. Я успокаивал её, как мог. Потом мы обошли дом вокруг, убедились в отсутствии повреждений, взяли немного продуктов и вернулись к Сашуку.

26 марта. Встали рано, тихое утро радовало. Не стреляли. Мы собрали свои нехитрые пожитки, загрузили их в тачку и велосипед и отправились в дом тестя и тётчи. Устроились хорошо, впервые за последний месяц спали в кровати. И хотя в доме нетоплено, а на улице всего плюс пять, спать было замечательно. А под одеялом и вовсе жарко. Приготовили себе завтрак и обед, а на ужин испекли картошку.

Отдохнув после обеда, я отправился к себе на пепелище, заодно отдал макароны бабе Гале и забрал вещи: два плетёных летних кресла, табуретку, варенье и банки с салатом. Когда вернулся, оказалось, что приходил Сашик, принёс свитер и кроссовки, которые мне, голодранцу, пожертвовала матушка Лариса, храни её Господи. Все вещи оказались впору.

Укров загнали на край посёлка, ближе к Гуллино, поэтому ночью мы то и дело слушали работу артиллерии ДНР.

27 марта. На новом месте встали рано — в пять или чуть позднее. Помолитесь. Молитвы реально помогают снять сильный психологический стресс, особенно “Отче наш” и молитва Оптиных старцев. Я разжёл костёр, разогрели вчерашний суп, позавтракали, выпив по десять грамм настойки. Повеселело на душе. Только легли погреться в кровать — начался обстрел. Мины взрываются совсем недалеко от нас, метрах в ста. Переждали обстрел в погребе. А он случился весьма интенсивный. Женщины очень испугались, и все мы быстро юркнули в погреб, прикрыв за собой ляду. Обстрел продолжался около часа. Вёлся он в направлении улицы Курчатова, где расположились бойцы ДНР. В наш дом не попали. Сидим на кухне, точим лясы для психологической разгрузки. Пока затишье. Дамы приняли корвалтап, а я пятнадцать грамм своего испытанного лекарства. Берегу — осталось около литра.

Снова сходил на пепелище, привёз решётку для шашлыков, мешок сосновых иголок для растапливания и воды. Возвращаясь назад по улице Курчатова, проходил мимо поста ДНР. Рядом стоял военный грузовик с открытым задним бортом. Солдат разгружал продукты и увидел меня, упирающегося с тяжёлой тачкой, которую я тянул в гору.

— Батя, жрать хочешь? — спросил он и, не дожидаясь ответа, протянул мне две банки тушёнки. Поблагодарив, я двинулся дальше и вскоре увидел группу солдат с двадцатилитровыми флягами. Попросили показать ближайший колодец, рассказал им, как к нему дойти. Одну банку тушёнки отдали соседке. Немного отдохнув, я соорудил шикарное место для приготовления пищи, и Валя сразу нажарила оладьев для себя и бабы Гали. Получилось очень вкусно, съели по штучке. В большом алюминиевом тазу поставили греться воду. На новом сооружении вода нагрелась очень быстро, и женщины пошли совершать вечерний водный моцион.

Целый день неприятная ветреная погода портила настроение. С утра пошёл снег, но вскоре превратился в дождь, чуть позже выглянуло солнце и сразу потеплело. Всё портил сильный тревожный ветер, неожиданно прекращавшийся на несколько минут, чтобы потом с удвоенной силой рвать ветви садовых деревьев.

Меня зовут умыться. Процесс этот происходит в комнате, наполовину занятой чугунной, ещё советской ванной, с помощью тазика и ведра, что очень напоминает мне военную службу на Кавказе. Подчиняюсь и иду.

28 марта. Проснулся в пять. Посмотрел на часы, теперь мы живём по российскому времени. Молитва, зарядка. Разжёл костёр, разогрел вчерашний суп и чай. Мирно позавтракали. Тридцать грамм настойки приятно пощекотали нервные окончания в желудке. Как будто кто-то пробежал по нему мягкими лапками (выражение моего кума Харта). В девять утра отправился по своим погорельским делам — за водой и продуктами. Курточка у меня зелёная, лыжная, дутая. Покупал её во время службы в армии, в 1983 году. С девяти летних годов висела в шкафу в гараже как рабочий вариант для исполнения

обязанностей по дому в осенне-зимний период. Несколько дыр заклеены прозрачным скотчем, очень тёплая куртка, но вид её крайне непрезентабельный, даже можно сказать — жалкий. Серая мягонькая шапочка, которую мне связала кума Ира Харт, ласкает лоб и уши, но вместе с курточкой и месячной небритостью правдиво создают образ спивающегося бомжеватого интеллигента и быют на жалость, как заявили мне Валя и Люда. После того как я принёс несколько банок солдатской тушёнки, они настоятельно советуют мне не менять одежду. Куртка-заробитчанка.

Сходили с Сашиком ко мне домой, забрали алюминиевую лестницу, ибо мародёрчики “вже... прыходылы” и оставили следы. Мы достали банки компота из погреба, отдали бабе Гале олады и вернулись к брату домой. Дядя Коля раздобыл где-то муки, отдал в общий котёл. Когда я спускался в погреб, припрятал там винтовку-воздушку отца Димитрия, может пригодиться, если не сопрут. Взял в погребе три банки сока и по дороге угостил солдатика, который отсылал вчера сообщение для нашей дочки Саши. Он и сообщил мне Сашин ответ: другая наша дочка Аля вернулась в свою квартиру на 23-м микрорайоне. После месяца отсутствия информации о ней у меня навернулись слёзы. А когда я увидел, что этот сорокалетний парень без ноги, протез выше колена, я не смог вымолвить ни слова, слёзы по-детски потекли из глаз, и мы сидели с ним молча несколько минут. Потом Антон, так звали его, произнёс:

— За эти восемь лет я потерял двадцать одноклассников и ногу. Как я могу относиться к этому звероподобному государству?

Мне нечего было ему ответить. Пожелав здоровья, я вышел.

Пришёл домой к Люде, а тут идёт настоящий бой. Мечется по Приазовской танки, БТРы. Бегают туда-сюда солдаты, автоматные очереди над головой. И всё это на фоне ласкового солнышка и прекрасной погоды. Сюрреализм, однако. Как прекрасно англосаксы выполняют свои долговременные программы — стравили славян и наблюдают, как те убивают друг друга. Принцип “разделяй и властвуй” ещё никто не отменял, а мелочная продажность укров весьма помогает им в этом. Господи, вразуми, спаси и помилуй наш народ.

29 марта. Проснулись в шесть утра, лежали пару часов просто так, послушали, как изредка где-то на левом берегу постреливают вояки. В восемь разжёл костёр, нагрел воды. Позавтракали и — начался бой. Русские наступают, окружили нациков и добивают. Те не сдаются, пытаются вырваться из окружения. Как мне кажется, на Мирном (есть такой посёлок рядом с нашим), в районе женской тюрьмы, образовался котёл. Грохот стоит невероятный. Каждые десять секунд оглушительный выстрел из танка. Мы сидим у Люды во дворе и спокойно слушаем этот грохот. Наконец, дамы не выдерживают и уходят в дом. Я остаюсь во дворе один. Сижу — жмурюсь на солнышко. В двухстах метрах слышны автоматные очереди — где-то в районе улицы Ракетной. Русские действуют спокойно, уверенно, но медленно — не хотят рисковать людьми. Работает в основном артиллерия и самолёты. Снова затрещали украинские автоматы — слышен звук, похожий на треск пистона, который мы вставляли в детстве в свои игрушечные пистолеты. Гул танков заметно усиливается, слышны разрывы снарядов в балке, в районе дома Сани Бабанина. Так продолжится недолго — минут двадцать. Но стихает ветер, стихает и стрельба, не знаю, надолго ли. Мутная гарь мешаает солнышку греть нашу грешную землю, повсюду нестерпимо воняет порохом. Никуда не ходил сегодня — опасно, просидели пару часов в погребе. Вышли, чуть размялись и снова в холодный погреб на два часа. А наверху идёт горячий бой — укры прорываются от женской тюрьмы, где их обрабатывают ракетами самолёты. Они разбегаются по посёлку, захватывают дома и делают их опорными пунктами.

В два часа после полудня на Приазовскую заскакивает русский танк. Стреляет сначала с пересечения с улицей Жигулёвской, потом быстро задом сдаёт метров сто к улице Курчатова и стреляет оттуда. И так совершает этот манёвр семь-восемь раз. Через час прилетела ответка от укров — снаряд попал в дом через дорогу от нас.

30 марта. У моей молодой жены сегодня день рождения. И хотя она 1960 года рождения, но ей сегодня 32 года. Пишу, а где-то в районе роддома долгими очередями работает пулемёт, хотя ночь прошла спокойно, почти не

стреляли. Проснулись рано, утренний моцион сделали быстро: зарядка, умывание холодной водой, молитва — чувствуем себя отлично. Рано завтракаем, и иду к Сашику за водой. Его постояльцы с Женей и Матвеем уехали в село Безыменное на фильтрацию и уже сегодня были в Новоозовске. Набрал воды, я быстренько вернулся на свою базу — в дом Люды. После этого направился к соседу, с которым пошли за продуктами. Прождав пару часов, получили хлеб, крупу, кусок мыла и пачку чая — в нашем положении это просто великолепно. Буханку хлеба и флягу воды я отдал незнакомому мужичку лет семидесяти, с которым мы коротали время в очереди. Заметил — многие люди делятся последними продуктами с соседями, а иные в очередях становятся хуже собак, пытающихся в стае завладеть обглоданной костью. Получили гуманитарную помощь от русских, чего ни разу не было от укров, часть я отнёс Сашику и бабе Гале, которой достались ещё оладьи, приготовленные Валею. Возвращался назад и получил презент от солдат — банку тушёнки, пачку туалетной бумаги. Познакомился с солдатиком Денисом. Он согласился позвонить Саше. Когда дозвонился до неё, в горле прочно встал ком — не могу говорить, и всё. Слёзы предательски катятся по щекам. Сначала она меня не узнала, а потом расплакалась. Сказала, что Аля у неё в Крыму. Я от радости не мог вымолвить ни слова. Короче — поплакали. Солдат стоял рядом, отвернувшись. Новости обрадовали, и, вернувшись, я поделился ими с Валею. У неё тоже начались мокрые глаза. Слава Богу — все живые.

Победали и, ухватив за рога велосипед, я отправился к брату Сашику, который “тоже живёт в Мариуполе”. Кто читал книгу Ильфа и Петрова “Золотой телёнок”, обязательно поймёт смысл этой фразы.

Взял батарейки для фонарика, раздал полученную гуманитарку и отвёз бабе Гале блины. Поехал к отцу Владимиру, но на Брестской меня остановил шиномонтажник Олег и предупредил, что на переулке Садковом, где живёт отец Владимир, идёт бой — туда прорвались укры. Автоматные очереди трещали в ста метрах от нас, и я не рискнул продолжить свой путь. Олег пообещал, что сам отнесёт ему мою передатку. И всё это под сопровождение мощнейшей канонады. Целый день гудят небеса, грохочут и бьются в смертельном экстазе. Сколько оружия создали люди для смертоубийства!

Вряд ли человека можно назвать разумным существом. Шакал никогда не нападает на медведя, но Украина решила, что может поссать против ветра. Теперь, обоссанная и разбитая, предстала пред всем миром. Украинские солдаты-мерзавцы показательно расстреляли мариупольские посёлки Украина и Волонтеровка. Я уверен, название посёлка Украина должно измениться после этой гнусной продажной войны против своих граждан.

Поужинали в шесть. Нагрели воды и умылись в тазике. Красота!

Солдаты угостили тремя буханками хлеба, одной поделились с соседкой Таней Новик. Она так обрадовалась! Как меняются человеческие ценности! Ещё пару месяцев назад она бы очень удивилась, если б Валя угостила её буханкой хлеба...

Укры дёргаются туда-сюда, но сдаваться не хотят, и русские цепко окружают их, словно удав Каа мерзких бандерлогов, и уничтожают. Кольцо сжимается. В огне уже посёлки Мирный, Гуглино, Азовкольцо, Пентагон.

Семь вечера, бой гремит, не затихая, даже у нас в комнате тоскливо воет порохом.

31 марта. Ночь прошла очень спокойно, как в мирные времена. Проснулся в пять утра, посетил домик неизвестного архитектора — так как нет воды, все удобства у Люды на улице. Яркое и одновременно тёмное небо. Красота! На хрена воевать, люди?!

Потом зарядка, умывание, костёр, чай и картофельное пюре из хлопьев, которые мы выменяли у солдат на саомгон. Замечательный завтрак, после которого я отправился на улицу Курчатова, 43. Там жила некая Марина, женщина лет сорока. Задёрганная, с потухшим взглядом, она была ответственной за раздачу гуманитарной помощи, которую поставляли из России. Я принёс ей списки с адресами наших прихожан, но её не оказалось дома, и пришлось эти списки оставить соседу.

Вернувшись, взял свой велосипед и — айда к брату. По дороге, на Ракетной, увидел мужчину, который вёл своих древних родителей. Как оказалось,

они шли на эвакуацию из Садков. Дед еле держался на ногах. Я сбежал к знакомым, которые живут в доме Андрея Полуяна, и одолжил у них тачку, на которой мы и довели дедушку до места сбора эвакуируемых. Около этого места расположился ДНРовский пост. Меня остановили, вежливо попросили показать документы. Я объяснил причину своего передвижения, мол, везу гуманитарку для раздачи. Солдат заглянул ко мне в рюкзак и спросил, на сколько людей я несу еду. Я ответил, что на двенадцать. Он сходил к машине и принёс большой пакет с едой. Я поблагодарил и отправился дальше. Звали солдатика Саня... Денис, Саша, Антон — молно Бога за этих ребят. Спаси и сохрани!

К сожалению, доехать к отцу Владимиру мне опять не удалось — на пересечении Брестской и переулка Садковский шёл интенсивный бой, и я оставил продукты знакомому Олегу. Тот пообещал сам отнести их, когда будет возможно. Возвращаясь к Сашкину, обнаружил, что на Жигулёвской идёт бой, и вся улица простреливается украми. Пришлось перебежать её очень быстро, пригнувшись к земле. У брата посидел двадцать минут, выпил чаю и вернулся к своим дамам. А здесь такой грохот!

Почти час на Приазовской шёл бой. Дикая канонада. Люди с ненавистью уничтожали друг друга. Смогли-таки ангелосаксы, которых так любит мой знакомый католик Андрей Андреевич, разделить русский народ, посеяв зёрна ненависти.

Мы сидим в подвале уже пару часов. Услышав стук в ворота, выхожу. Оказалось, приехали наши прихожане Андрей и Наташа. Рассказали, что их родственнику Стасу оторвало взрывом руку, и они отвезли его в госпиталь. Жуть. От улицы Днестровской тоже ничего не осталось, как и от нашей Ракетной. Добрые люди Наташа и Андрей поделились с нами мукой, а мы дали им питьевой воды. Ещё раз подумалось, как в критических ситуациях меняется шкала человеческих ценностей.

Вчера после обеда на улице Курчатова мне встретился мужчина лет семидесяти, он с отрешённым видом брёл, еле поднимая ноги, очень мелкими шажками. Посмотрел мне в лицо и кивнул. Незнакомый человек, но я тоже кивнул в ответ. Он внимательно посмотрел в глаза и произнёс:

— Вы знаете, почему с нами это происходит? Это расплата за грехи наши. Мы восемь лет молчали, когда украинская армия уничтожала Донецк и Луганск. А теперь это коснулось и нас. Я всегда знал, что рано или поздно это обязательно случится. Господь не простит нас.

1 апреля. Ночь прошла почти спокойно, но в шесть утра бойня продолжилась. Пентагон и Мирный расстреливали самолётами. И это длится уже почти восемь часов подряд. Я в сопровождении тачки сходил за водой, при этом три раза спукались бабе, одно пробито окончательно. Нужно где-то ремонтировать. Зашёл к колесе Гале, отдал продукты. У Сашкика напился воды и отправился к колодцу. Простоял почти три часа. Главная тема разговоров в очереди — война и разрушение посёлка Украина украми. Все жители нашего посёлка видели это своими глазами и проклинают их, желая скорейшей победы “агрессору”. Закономерный парадокс — граждане Украины желают поражения своей армии, своим захысникам.

2 апреля. В восемь утра началось наступление армии ДНР по всему фронту в Мариуполе. Горит Пентагон, Азовкольцо, Мирный. Два часа артподготовки. Потом пошла пехота на БТРах. Слышны автоматные очереди наступающих.

Из новостей, полученных от солдат на улице. Вчера три украинских вертолёта прилетели на “Азовсталь” спасать лидеров “Азова”. Один сбили, а два ушли и нанесли удар по Донецкой нефтебазе.

Сходил к Сашкину — отнёс аккумулятор, которым пользовались семь дней, на подзарядку. Васютин-младший угостил нас яблоками. В полдень начали выдавать гуманитарную помощь. Место выдачи — склад в девятиэтажке на Курчатова. Схема выдачи: люди самоорганизуются, сдают списки проживающих на улице, назначают ответственного лица, которое в сопровождении помощников приходит получать гуманитарку — хлеб, крупу, подсолнечное масло по литру на десять человек, конфеты, туалетную бумагу, мыло, памперсы. Этот нехитрый набор спасает сейчас нам жизнь. У руля процесса распределения гуманитарной помощи стоит гражданка по имени Марина, одетая в ярко-красную

куртку. Помогают ей несколько крепких парней. Сначала она терялась при виде агрессивной толпы, но позже стала вести себя жёстче и увереннее.

Всё организовано на доверии. Проверить данные, предоставляемые ответственных по улице, вряд ли представляется возможным. Мы получили свой пай в час дня. Я отдал Сашку несколько буханок хлеба и консервы с конфетами и отправился раздавать продукты. Зашёл к Ларисе Матвеевне, моей помощнице в храме, — дом разбит, окон нет, её тоже нет. Сосед сказал: забрал сын.

Двинулся дальше, к улице Ровной. Впечатление удручающее. Двадцать дней посёлок Украину разрушали нацики, а потом добавили огня и ДНРовцы. Но эти хоть не стреляли беспричинно и хаотично по местному населению. В основном точечные удары с самолёта или танков по местам скопления нациков. Недалеко от улицы Приазовской наступающие подожгли несколько домов, в которых засели укры, прорвавшиеся с Мирного.

Современная война в городских условиях — страшное дело. Разлагающиеся фиолетовые трупы на улицах, которые никто не убирает, множество бездомных породистых собак, молчаливо рыскающих в поисках любой пищи, недоумённо заглядывающих в лица прохожих с надеждой найти своих хозяев. Страшное дело — эта братоубийственная война. За последние пять веков русских разделили на три народа, а сейчас стравили между собой. Слава Богу, с Белоруссией не получилось.

Вышел на Днестровскую — ни одного целого дома, школа разбита, магазин разграблен украинцами и местными. На улице Светлой встретил прихожанку храма. Дал ей продукты на несколько человек, она согласилась отнести соседям. На Ракетной у дома бабы Гали встретил отца Владимира-младшего. Он сообщил хорошую новость о своём болящем отце — его эвакуировали в Сартану. Дом его бандерлоги практически разрушили.

Зашёл ещё к нескольким нашим прихожанам — раздал продукты. Проходя по Жигулёвской, увидел пожилую женщину в чёрном. Она сидела на старых крышках, врытых в землю как ограждение, и плакала, что-то шептала себе под нос. Когда я спросил её, в чём дело, то она дрожащим голосом сказала, что у неё недавно случился инсульт, и она хочет кушать. У меня с собой уже не было никаких продуктов, и я обратился за помощью к расположившимся в тридцати метрах солдатам. Укры послали бы куда подальше. Русские солдатики мгновенно вынесли пару банок тушёнки, а знакомый прихожанин Олег дал полбуханки хлеба. Я отдал пищу плакавшей женщине. Всё это очень трудно наблюдать без слёз и волнения. Настоящая гуманитарная катастрофа.

Вернувшись домой, принёс дровишки и затопил нашу древнюю печь. Валя приготовила суп, поужинали, умылись и легли спать. Пожелали друг другу спокойной ночи. Только в такие дни, когда не знаешь, какой будет каждая ночь, это обычное пожелание обретает огромный вес.

И 3 апреля ночь действительно выдалась спокойная и ясная. Звёзды так мирно мерцали над головой, так уютно шептали молитвы старые груши в саду, что я подумал: “Вот наконец и наступил мир”.

Но в семь утра донецкие начали артподготовку, которая продолжалась два часа, после чего пошла зачистка посёлка. Иногда случаются смелые выходы со стороны укров. Какой-никакой герой вламывается с миномётом поближе к позициям ДНРовцев, делает три-четыре выстрела, после чего пытается делать ноги. Но секунд через двадцать слышится нарастающий гул штурмовика, и весь героический миномётный расчёт улетает на небо.

С утра всё по расписанию: туалет, зарядка, умывание холодной водой, завтрак. Монотонный распорядок хорошо успокаивает нервы. Каждый день вспоминаю своих тестя и тещу добрым словом, когда растапливаю печь влетней кухне. А дров они заготовили на пару лет.

Сходил к солдатам, отнёс бутылёк лёгкого, домашнего винца ещё тещино-го приготовления. Оно стоит у Люды в погребе лет десять. Получил взамен ящик орехов, очень вкусных. Мои дамы смеются надо мной. Вдали, в районе Мирного, настойчиво работает артиллерия. В трели автоматных очередей вклиниваются басовые раскаты танковых выстрелов и крупнокалиберных пулемётов. Выстрелы звучат в разных местах, поэтому иногда очень чётко слышен стереоэффект. Начинаешь привыкать к этим звукам войны, становишься

равнодушным к ним, но стоит подумать, что каждый выстрел обрывает чью-то жизнь — ужас охватывает грешную душу.

Наше основное занятие сейчас — это выживание. Необходимые составляющие компоненты: жильё, пища, вода, одежда, дрова. Слава Богу, всё у нас есть. Но главное — у нас есть возможность и необходимость в молитве. В свободное время Валя разгадывает кроссворды, Люда читает газеты десятилетней давности, а я читаю Стейнбека... И горюю о своей сгоревшей библиотеке. И пластинках.

4 апреля. Рано просыпаюсь, ворочаюсь на старом раскладном диване, издающем при этом звуки, напоминающие далёкие выстрелы установки “Град”. Сам процесс выживания начисто убирает из сознания некоторые обыденные вещи. Я, например, не помню, какой сегодня день недели. Нужно считать. Считаю от 1 апреля — дня рождения Сани Бабанина, дружка, с которым учились в школе, занимались вместе боксом. Получается понедельник.

Пришёл Сашик, со своими бакенбардами похожий на гоголевского городничего. Вчера мы договорились подремонтировать с утра крышу — взрывной волной с неё сорвало пару листов шифера. Быстро одеваюсь и на выход. Управилась за полчаса, и нас ожидает награда — по рюмочке настойки, а на завтрак — любимое шоре из картофельных хлопьев. После утреннего чая направляюсь к своему знакомцу — воину Александру. Вчера я одарил его бутылком домашнего вина, а сегодня он пообещал мне крупы и овсянки. Взяв его дары, я вернулся к своим дамам. Кроме этого, он подарил мне автомобильный насос.

Немного погодя, отдохнув (сказываются годы), я сел на велосипед, нажал на педали и через пять минут был у брата. Мы обсудили проблемы с бензином и телефонными картами и пути их решения.

На улице сумрачно, но тепло. На левом берегу и на комбинате Ильича гремели взрывы, самолёты наносили точечные удары по нашим захыснякам. Те пытались прорваться посадками в сторону Сартаны, но были встречаемы огнём из танков и крупнокалиберных пулемётов, расположенных на Курчатова. Короче, тот же сценарий, что и последние две недели.

Глотнув водички, я поехал в сторону Сартаны через Волонтёровку. Как говорит нынешняя молодёжь — это жезть. Ни одного целого дома! Человек пятьсот-шестьсот толпилось у 39-й школы, где выдавали гуманитарную помощь. На выезде из Волонтёровки стояли два молодых бойца с автоматами. Перед ними ящик с орехами, которые они кололи прикладами автоматов и ели с нескрываемым наслаждением.

Я спешился, придержал вильнувший велосипед и осведомился, могу ли проехать в Сартану. “Конечно, можете, — последовал ответ, — проезжайте”. Так что в Сартану можно ехать спокойно. Правда, телефонные карточки и бензин там ещё не продаются. Поэтому ехать туда пока незачем.

5 апреля. Ночью снова работали самолёты, канонада не стихала, словно кто-то ехал по дороге на бричке с металлическими квадратными колесами. С утра отправился за гуманитаркой. Получил быстро и поехал развозить.

Люди по улицам ходят группами. Все с вещами на тачках. Кто в эвакуацию, кто за водой. Все дороги усыпаны битым стеклом и обрывками проводов. Много воронок и следов от взрывов мин. Ветер рваный, тревожный и холодный, хлещет в лицо. Вокруг развалины домов. Разбомбили и сожгли церковь Вифанию. Моя соседка тётя Лида, прихожанка этой церкви, рассказала, что украинские солдаты прямо на глазах прихожан подожгли здание. Нехристи!

Развёз продукты прихожанам. Часть раздал по дороге — люди видели, что везу продукты, и просили что-нибудь поесть. У военных подзарядил телефон. Заехал к Валере с Ларисой — отдал им продукты. Слава Богу, у них дом целый. Они мне сказали, что 7 апреля будет служба в церкви. Вернулся домой, привычно разжёл печь — теперь всё получается быстро, с одной спички. Разогрели суп и поужинали. Удалось немного почитать “И проиграла бой” Стейнбека. Ночью спать уже не так холодно, потеплело. Весна потихоньку движется к лету.

6 апреля. Ночь прошла спокойно. Изредка была слышна работа авиации. Стрельбы почти не слышно. Потихоньку перелез через Валю и вышел на улицу. Пасмурно, но тепло.

Позавтракали и отправились работать в храм. Пришло много людей, поэтому управились достаточно быстро. Шли назад — в колодце набрали воды до-мой. Встретили Олега, прихожанина из церкви, он дал нам мешок муки. Пока шли домой, часть муки раздали людям. Вечером поехал к Валере с мукой, но не довёз — увидел семью беженцев из Мирного с пятью детьми и отдал им.

Утром я случайно занял очередь за гуманитаркой, но прозевал её, но на руке остался номер, и мне досталось шесть бутылок минералки. Отдам завтра Татьяне. Вечером подзарядили компьютер у соседа Сергея Устинова и досмотрели “Москва слезам не верит”.

7 апреля. Целую ночь авиация долбила “Азовсталь”. Как в этом ужасе можно выжить?! Вчера приходили Боря с Олей, Сашины кумовья. Рассказывали, что на Пентагоне очень много разрушенных девятиэтажек. Дом, где почта, рухнул, завалив людей в бомбоубежище. Как оказалось позже, там погиб с семьей младший сын Нины, Валиной знакомой. На крыше этого дома нацики установили пулемёты и артиллерию и обстреливали посёлки. Два донецких танка расстреляли этот дом. Огромное количество жертв среди мирного населения. Будь ты проклята, Украина, со своей незалежностью! Для меня теперь слово “Украина” — символ мерзости, продажности и уничтожения собственных граждан. Гнусное дьявольское слово, говорящее о том, что наш народ шагнул за край, к дьяволу и удалился от Бога.

Сегодня молебен в храме. Собираемся, готовимся. Хотим причаститься и исповедоваться. Как получится. Где-то недалеко идёт бой, визжат автоматные очереди. Пришли в храм за полчаса. Я отзвонил в колокол, и, как потом мне рассказывали люди, многие, услышав колокольный звон, пришли в церковь этим утром. В храме люди обнимались и плакали. Женщины и мужчины. У меня тоже перехватило дыхание, и ком в горле стоял. На службу пришло человек восемьдесят. На завтра договорились закрыть плёнкой окна в храме. Служили отец Владимир и его брат отец Димитрий. Чувствовалось, что люди в храме — одна семья. Женщины плакали, делились тем, что с ними произошло, — жестокой правдой этой войны.

Прихожанин Алексей рассказал, как мародёрничали на их улице украинские солдаты. Подгоняли по две-три машины и грузили технику из домов на глазах у хозяев. Я сделал для себя неутешительный вывод: война — время возможного оскоотинивания людей.

Очень многие уезжают из Мариуполя, в основном молодёжь. Ещё не начался разбор завалов разрушенных многоэтажек, но уже сейчас очевидно — счёт жертв среди мирного населения идёт на тысячи. На улицах полно разбитых и брошенных автомобилей с буквой Z. Новость: нашему мэру Бойченко присвоили звание героя Украины. Да уж, герой! Каждый год он зарабатывал десятки миллионов гривен. Сбежал из Мариуполя в первые же дни войны и тем самым обесмертил своё имя, ведь герои не вмирают. Канонада режет слух всё реже и реже. В основном бои идут на металлургических комбинатах.

Погода улучшается — становится теплее, щебечут птички в саду, только танкам нет покоя. Метрах в восьмидесяти от нашего дома на Приазовской пристроился один и знай долбит, пугая жителей.

9 апреля. Вчера целый день работали в храме, наводили порядок, убирали мусор. Устал аки пёс. Сегодня утром отслужили молебен и панихиду. В храме встретил Лену Будникову, с которой учился мой брат. Она пришла на панихиду — сорок дней, как украинцы расстреляли её сына и невестку прямо перед их домом. Просто так.

В погребке под обстрелом нациков я невольно радовался, когда слышал точные ракетные удары со штурмовиков, заставившие бандерлогов замолчать навсегда.

После службы зашли к Сашуку. Жёня принесла нам хорошую весть — оказывается, Аля с Игорем сняли квартиру в Севастополе и уже работают. Молодцы.

Сейчас идёт Великий пост, и дабы меня не смущала бутылочка самогона, я отдал её другим страждущим. По поводу терпения и трудолюбия нам нужно брать пример с нашей матушки. В свои 84 года она весь день в работе — навязала всем кучу носков и ковриков. Так держать!



Зачистка идёт медленно. Чувствуется, что победа любой ценой не нужна, но убитые есть. Вчера знакомый воин рассказал, что привезли двух убитых. Очень жаль. Такое горе для родных.

На панихиде собралось много людей. Каждый делился своим горем. Многие похоронили своих близких прямо в огородах. Только что над головой в направлении Мирного с ужасающим шорохом пролетела мощная ракета. А через десять секунд мы услышали серию взрывов. Иногда автоматные очереди карапают слух вообще рядом — где-то в балке, на Знаменской. Жарко. Зажужжали пчёлки, зеленеют почки на деревьях, Люда каждый день наводит порядок на огороде: мусор собран, аккуратно елозит каждый кусочек земли граблями. Я вчера прыгал в огород через забор от соседа, остались следы, а утром заметил, что их уже нет, — Люда прошла по ним граблями — так она любит свой огород.

Сижу на солнышке. Разморило. Даже всхрапнул слегка. Минут двадцать стояла тишина, а потом снова застрочили автоматы.

Кончился хлеб — Валя печёт олады, которые просто тают во рту. Вечерашняя гуманитарка — семь картошин и полтора литра воды на троих. Слава Богу и за это. Ем простую пшеничную кашу с подсолнечным маслом, жаренную с лучком, — вкуснотища. Великолепный завтрак, особенно если добавить туда томатной пасты или сока.

Закончил читать повесть Стейнбека “И проиграли бой...” Интересное, захватывающее произведение.

10 апреля. Утром нас ждал молебен в переполненном храме. Мы втроём пришли заранее, и я, с разрешения священника, звонил в колокола. После службы отвёз дрова к прихожанке Галине. Она будет печь просфоры на Пасху.

Когда закончился молебен, все стали делиться своими впечатлениями и информацией. И одна наша активная прихожанка рассказала шокирующую историю, произошедшую с ней несколько дней назад. К ней пришла её крестница и рассказала, что в её дом вечером 7 апреля ворвались украинские солдаты и хотели изнасиловать сначала её одиннадцатилетнюю дочь, а потом и тринадцатилетнего сына. Она начала визжать и просить, чтобы не трогали детей. Тогда они предложили идти ей самой, и она согласилась. Они отправились в какой-то подвал. Там находились несколько раненых украинских солдат, один из которых сидел на табуретке и стонал. Пришедший с женщиной солдат приказал ему встать, но тот сидел и что-то мычал. Тогда первый негодяй выстрелил ему в лицо и забрал табуретку. Лежащие вокруг заорали, началась суматоха, и женщине удалось в темноте выскользнуть из этого убежища украиноидотов.

Вернувшись к месту проживания, мы позавтракали, испили крепкого горячего чаю и чуть отдохнули. Потом я съездил к Галине, пытался решить её проблему с брошенным соседским псом — огромным чёрным догом. Пёс сидел в соседском доме у разбитого окна и рывкал на проходящих мимо людей. Я взял пару кусков белого хлеба, накрошил их в пластиковую миску, налил водички и попытался завязать отношения с чёрным чудищем. Но псина выхватила у меня из рук миску и сожрала её вместе с едой. Я был потрясён и ошалело наблюдал за стремительными действиями собаки. Но потом успокоился, отошёл от окна и грозным голосом попытался доказать собаке, что я главный.

Целый день вокруг нас идут ближние бои. Совсем рядом тарахтят пулемётные и автоматные очереди. Над нашими головами воюющие соплеменники перебрасываются противопехотными минами. Но вдруг иногда неожиданно случается тишина, и в этих промежутках вдруг слышишь щебетанье птиц и потрескивание костров, на которых все соседи готовят нехитрую пищу.

В два часа дня я обнаружил, что заднее велосипедное колесо не хочет работать — сдулось и молчит. Я отправился к Андрею починить камеру и у него встретил Яну, нашу прихожанку. Оказалось, что 16 марта умер её муж Стас. Он был ранен во время ежедневного обстрела украи нашего посёлка, и в это же время нацики полностью уничтожили их дом. Мы все не смогли сдержать слёз.

Прекрасный тёплый весенний вечер убивают далёкие звуки взрывов. Я поймал себя на мысли, что в эти секунды оборвались чьи-то молодые жизни, которые уже не дадут потомства. И это, наверное, одна из целей западного мира в гражданской войне на Украине.

Загудел, зарычал высоко самолёт, пустил ракету, мощный взрыв... Сосед за забором кричит жене: “Закипело уже. Снимать?” На сегодня, пожалуй, всё. Солнышко быстренько закатилось за горизонт, как футбольный мяч с пинка “пыром”.

11 апреля я отправился на Курчатова, 41, к дому, где расположилась администрация ДНР. Записался в очередь. Мой номер 350. Тут принимают заявления от погорельцев. Стоять в толпе возбуждённых людей — то ещё удовольствие. Поэтому я попытался передать своё ранее написанное заявление работнику штаба администрации, стоявшему в решётчатой клетке, окружавшей дверь в подвал, где и расположилась администрация. Получилось, правда, пришлось переписать его заново. Всё мероприятие заняло около трёх часов.

Вернулся домой голодный, правда, выпил немного тёщиного вина, которое приготовил для воина Сани, но, как оказалось, тот уже отбыл в неизвестном направлении. Кстати, домом я теперь называю дом Люды, тёщин дом.

Завтракали, как всегда, пшеничной кашей, от которой, по словам моего бати, хорошо работает желудок. Во двory многоэтажек по улице Курчатова приезжают походные солдатские кухни и кормят жителей такой нехитрой, но сытной пищей. Я попросил у повара хлеба, и он дал мне пару кусков — нужно было покормить чёрного дога, оставшегося в доме соседей на Ракетной, но когда я подошёл туда, окно оказалось открытым, а собаки уже и след простыл. Я отправился к брату, поговорил там с маменькой о делах наших бранных. Из Новоазовска приехала племянница Жёня — привезла телефонные карточки “Феникс” и бензин. Поговорили, обменялись разными слухами.

Когда ехал домой на велике, повстречал старушку лет восьмидесяти, которая с трудом тянула мешок с едой. Предложил ей подвезти тяжёлый груз — она согласилась. Из её рассказа я понял, что жила она на Пентагоне, в одной квартире с сыном. При обстреле сын сгорел, а она была в это время у сестры на Ровной, куда я её и довёз. Оставив её у дома с мешком, я поднялся по улице Мамина-Сибиряка в сторону Пентагона. Когда я учился в девятом классе, на этом месте начали строить район девятиэтажных домов, школу, садики. На моих глазах пустырь превратился в отличный городок со всеми удобствами. В СССР только строили, в независимой Украине не построили ничего — только разрушают.

“Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой

С фашистской силой темною, с проклятою ордой!”

Этот район родился, вырос и расцвёл у меня на глазах в течение почти всей моей жизни. И теперь, благодаря этой идиотской независимости, я вижу разрушенные дома, с крыш которых украинская артиллерия расстреливала посёлок, подлю прикрываясь мирными жителями. Чёрные, закопченные остовы зданий с выбитыми окнами, горы мусора на улицах, множество бездомных собак, люди, как зомби, в замызганных одеждах, снуют в поисках пищи. Заехал к куме Ольге — соседи сказали, что она эвакуировалась с детьми. Проехал мимо своей школы — все окна разбиты, но крыша целая и футбольное поле в нормальном состоянии — почти как в семидесятые годы. Видел разбитые дома бывших одноклассниц Любы Апалько и Светы Губарь....

12 апреля. Люда утром поздравила нас с 45-летием первого свидания. Как давно это было... Тогда на школьном вечере, посвящённом Дню космонавтики, я впервые пригласил Валю на танец, а потом провожал её домой по непроходимой грязи... Еле прошли...

Возвращаясь к настоящим будням, хочу сказать пару слов об одном важнейшем изобретении человечества — её величестве тачке. Это средство передвижения с большой буквы Т. Беру этот транспорт и двигаюсь к брату за водой, заодно с намерением зарядить телефон и ноутбук. Хорошая новость — у него заработал телефон. Дозвонился к Саше в Севастополь — там тоже куча проблем. Договорился с Сашей созвониться попозже. Пришли с Валею ровно в три. На связи были ещё Артём и Аля. Поговорили со всеми. Артём уговаривает Люду приехать к нему в Германию, а Саша уговаривает нас переезжать в Крым. Рассказали всё Люде — она начала рыдать, еле успокоилась. Короче, слушать бабские переживания нет желания — просто не знаю, как устроена женская логика.

Жуткое и, наверно, кровожадное слово “комфорт”. Если хорошенько задуматься, то окажется, что почти все войны происходят из-за тупого стремления людей жить комфортнее. Мыкола хоче збудувати собі гарну домівку, аля грошей чортма. Вин запысується до полку “Азов”, дэ гарно платють. А потім його привозять з кулею в голове, и уси родычи плачуть та дружно крычать: “Слава Украине, героям слава!” — подлая схема заработка для “высокоинтеллектуального” украинизированного среднестатистического гражданина с незалежным образованием. Однако, на мой взгляд, это одновременно и самый дешёвый способ утилизации ненужного мировому правительству человеческого стада. Для этого украинские школы вот уже тридцать лет воспитывают поколения идиотов, не знающих даже таблицы умножения, не говоря о таблице Менделеева, но ведающих, кто такие Мазепа да Бандера.

Стремление к комфорту — один из главных смыслов жизни большинства людей на планете, но война обозначает совершенно другие, более приземлённые приоритеты: нет электричества, воды, тепла и еды, и ты понимаешь, что в данную минуту тебе абсолютно безразлично, какой у тебя автомобиль, тебе бы раздобыть где-то немного хлеба, пусть даже чёрствого, и воды... А ещё бы хорошо пару одеял, чтобы не мёрзнуть ночью.

Сегодня с Валеёв были у своего сожжённого дома. Встретили нескольких соседей, подсчитали потери — убитых от украинских мин до 20 марта, то есть до прихода ДНР, семь человек, и двое пожилых умерли от инсульта, в том числе и баба Галя. Стало прохладней. Вечером принесли паёк — три буханки хлеба и пол-литра воды на троих. И на том спасибо. Укладываемся спать в норки.

13 апреля. С утра зарядил дождь — отлично, будет вода! Наполнили всё, что можно. Новостей и интернета нет. Главные новости — рассказы очевидцев в очередях за едой и водой. Утром стояли за хлебом рядом с женщиной с Азовкольца. Неделю назад к ним в дом ворвались укры, все под наркотой — стреляли детям под ноги. Забрали все деньги, золотые вещи, мужскую одежду. Мужа заставили раздеться наголо перед детьми и истерически смеялись, стреляя ему под ноги. Через несколько часов их обнаружили мёртвыми в соседском огороде.

— Будь проклята эта Украина! — сказала женщина.

Неделю назад дал себе слово не употреблять до Пасхи алкоголь и сигареты, но после этого рассказа нарушил свой обет, выпил рюмочку и выкурил одну сигаретку. Нервы, однако.

Слабак, не сдержал слово. Да и вчера у брата выпил рюмку и закусил её салом... Слабак!

14 апреля ночью было тихо. Может быть, война подходит к концу? Тучи заволочли небо своим серым одеялом. Ни луны, ни звёзд не видно, только мелкий дождец шкрябает по крыше. Хорошо, что поправили шифер на крыше, вода не затекает.

Валя с сестрой обсуждают планы на будущее. Сидят, нахохлившись, с хмуренными лицами. Иногда пускают слезу. Растопил печь — позавтракали, скупо обмениваясь впечатлениями о погоде.

Сходил к Сашуку — поменял камеру на велике. Андрей и Наташа, знакомые из церкви, дали нам мешок одежды: куртку, футболки, джинсы... Оставил только куртку — остальные вещи малы.

Это незнакомое для меня состояние — ходить в чужой одежде. Что-то остаётся в ней от прежних хозяев. Получил хлеб и воду — завтра отвезу в храм. Российские солдаты оставили Сашуку ящик хлеба, взял пару буханок. Вышел на улицу с хлебом — бредёт по дороге старушка, так посмотрела на хлеб, что мгновенно отдал ей буханку. Комок в горле стоял минут пять.

15 апреля с трёх часов ночи от интерната по посадкам за посёлком долбил БТР из пушки и КПВТ. Пять-шесть выстрелов в минуту, целых три часа! Видимо, там прорывались укры.

Солнце нахально выкатилось с утра, но смутилось от своего нахальства и закрылось белой занавеской из облаков, игриво поглядывая через неё на грешную землю.

Позавтракав пшеничной кашей, решил отправиться в сторону дома Бабининых — сделать фото. Дом разрушен прямым попаданием мины. Встретил

Серёгу Арешина, и он сообщил мне новость: убит Саня Шевченко, наш одноклассник. Рядом с его домом шёл бой, и убили какого-то украинского солдата. Саня взял свою винтовку “Сайга” и вышел посмотреть на убитого. Посмотрел и сам получил пулю. Укропы убили его просто так.

Ехал я на велике и встретил на улице Валеру Калинина. У них на улице уже третью неделю лежит труп мужчины, которого застрелили украинские солдаты на глазах у соседей.

Ещё новость: убили Юру Кадуху — владельца магазина “ТЭЯ”, где располагалась база СБУ, с которой расстреливали посёлок Украина.

16 апреля целую ночь заводы, где забаррикадировались нацики, обстреливают из гаубиц и танков. Сегодня — Лазарева суббота. В храме не протолкнуться — людей очень много, видно, припекло. Много чёрных платков. После молебна и маслособорования — панихида по невинно убиенным.

Очень жаль наш город Мариуполь. Моя матушка рассказывала о своих детских воспоминаниях: когда немцы в 1943 году покидали Мариуполь, то факелами поджигали жилые дома, и очень много домов тогда сгорело. Но даже фашисты не нанесли городу таких увечий, как укры. Взорваны почти все мосты, центральный рынок, театр. Большинство домов в микрорайонах города разбиты артиллерией. Огромное число людей погибли под завалами. Информация от Саши: ей позвонил наш кум Харт и сообщил, что Наташа Козуляева уехала в Грузию и находится там у Дато Азламазашвили, нашего армейского друга. В её дом в Мариуполе прилетел снаряд. Будьте прокляты Порошенко и Зеленский за страдания людей! Воздай им Господь за наши страдания!

17 апреля — Вербное. Встали рано и к семи утра пришли к брату — звонить Артёму. Переговорили. Люда задавала ему вопросы, в разговоре называет его необычно ласково — сыночка! К девяти направляемся в храм. Он полон людей, с десятков военных ДНР. Интересное наблюдение: украинские солдаты тоже приходили на службу в наш храм, теперь приходят донецкие солдаты. Так что мы делим?! Во время службы доносились выстрелы из танков, пулемётные и автоматные очереди. Это где-то на Заозёрной прорываются укры, и идёт бой. После службы — освящение верб. Люди радостно смеются, когда священник окропляет их лица водой. Потом я сходил на кладбище — слава Богу, могилы наших близких почти в порядке. Только у бати немного задет осколком памятник да повреждена одна секция оградки. Ярко светит солнце, но на улице холодно. На канонаду уже не обращаю внимания. Тактика у русских сейчас одна — добивают азовцев самолётами, танками и гаубицами.

Когда утром были на причастии, одна бабушка пожаловалась на священника. Когда он спросил всех: “Прощаете?” — она ответила: “Не прощаю Путина за эту войну”. Священник отказал ей в причастии, объяснив, что войну начали в 2014 году власти Украины. Бабушка пересмотрела своё решение и простила Владимира Владимировича.

Утром поговорил с кумом. Его сыну Сергею в дом в Мариуполе тоже прилетел снаряд. В крышу. Не повезло.

Ещё одно явление дьявольского окраса повсюду распространено в Мариуполе — мародёрство. Господь проверил нас — многие мариупольцы — мародёры. Печально. Нашу промбазу разграбили жители близлежащего мариупольского посёлка.

Стемнело быстро и почему-то потеплел воздух. В районе “Азовстали” мягко лопаются разрывы лёгких снарядов, очень, очень редко огрызаются автоматными очередями укры. Постепенно наступает тишина, лениво гавкают собаки, и усталые бойцы идут смотреть вечернюю сказку, а я — читать очередной роман Стейнбека. Читаю и наслаждаюсь. Прожил жизнь я и вот только сейчас, случайно, может быть, только благодаря этой войне, Господь послал мне книги удивительного человека.

Утром перед службой мы заходили домой нарезать веточек для церкви и встретили соседа Сергея. На вопрос: “Как дела?” — он ответил, что дочка выучила первые десять слов, и среди них “быстрой” и “бежим”.

18 апреля, начиная с двух часов ночи, канонада звучала грозно, устрашающе, как музыка Вагнера. Казалось, какой-то мощный зверь невероятных размеров ворочается на небесах, громко прочищая глотку, перед тем как изрыгнуть смертоносное пламя на грешную землю.

Как бы мне съездить в медучилище и забрать свои музыкальные инструменты?..

Кому выгодно разрушение такого металлургического монстра, как Мариуполь? Для Украины это колоссальная материальная потеря, которую власти постараются использовать в информационной войне — отсекается не прижившийся кусок русского народа с переносом вины на Россию. “Посмотрите, что они сделали с Мариуполем!” Хотя разрушали город с 25 февраля по 18 марта только нацики. И ночью, и днём эти негодяи захысныкы расстреливали город из миномётов, орудий и танков — это я видел лично, как и многие жители города. Какая-то часть жилого фонда была действительно уничтожена артиллерией и солдатами ДНР, которые выбивали засевших на верхних этажах бандерлогов, прикрывавшихся мирным населением, как щитом. Укропы взорвали драмтеатр в Мариуполе, просто без причины расстреливали людей на улицах Мариуполя, держали в страхе. А теперь будут уничтожены. Разгром азовцев завершается. В течение этих суток русская артиллерия и самолёты методично громили Азовсталь. Автоматные очереди звучали крайне редко.

19 апреля удалось съездить на велосипедах в медучилище, где хранились мои музыкальные инструменты. Людей на улицах почти нет. На каждом перекрёстке патрули ДНР проверяют документы. Отношение доброжелательное. Целую ночь на левом берегу шёл бой, дорога туда перекрыта. На Мухина стоят два сожжённых чешских трамвая и белый “Пассат”. Дороги разбиты минами, двое пролетариев складывают в “Газель” с донецкими номерами медный провод. Неспешно и аккуратно складывали, не торопясь. Проехав по Заозёрной к кладбищу, мы свернули в посёлок Садки и, перейдя через рельсы, оказались в посёлке Речной. Когда-то здесь я родился, тут стоял дом нашей бабушки Зои и её матери бабы Ганны. Посёлок хорошо сохранился, и особых повреждений я тут не заметил. Спустившись на улицу Макара Маза и повернув налево, сразу увидел АЗС с разбитыми, свисающими деталями обшивки. Всё сожжено и разграблено. Проехали автобусный парк — тоже видны сожжённые автобусы. Подъезжая к мосту через Кальчик, обнаружили, что он взорван... Рядом на обочине — коричневый труп крупного мужчины. Пересекли мост по пешеходному переходу, показали документы солдатам. Наконец подъехали к медучилищу. Ничего вскрывать не пришлось, там находилась знавшая меня заместитель директора, и мы с радостью забрали синтезатор, микшер, две гитары, погрузили всё на велосипеды и через полтора часа вернулись к Шашику. Инструменты оставили у него на чердаке.

20 апреля. Холодное весеннее утро. Красивые кудрявые тучки спокойно плывут по голубому небу. Бесконечная канонада — танки из-под Сартаны беспрерывно дупят по “Азовстали”. Укры огрызаются автоматными очередями — это всё, на что они способны. ДНРовцы рассказали, что взяли в плен несколько бандерлогов — все под действием наркотиков, принимают их с пяти до шести утра каждый день. Настоящие зомби, и управляет ими какой-то американец.

Современная техника позволяет убивать людей на расстоянии, и русские пользуются этим вовсю — берегут своих воинов. Нацики же обречены или умереть, или сдать. Глупая, пустая, никому, кроме америкосов, не нужная смерть украинских половозрелых мужчин. Эти солдаты уже не станут отцами и не продолжат свой род. Запад сумел задурить украинцам мозги, сделав их незалежными от своей совести, упростив школьное образование до писать, считать и немного читать. И если реально оценить тридцать лет так называемой незалежности, то оказывается, лучше всего мы жили при тушице Януковиче, и многие упёртые укры уже готовы вернуться в то время. Ан нет... “Пизно”... За народную тупость и продажность нужно платить. И плата безмерна — будущее украинской молодёжи, а значит, и будущее всей страны. А в этом продажном государстве нет перспективы для молодёжи, как нет перспективы и для самого государства. Купив укроэлиту, Запад выиграл в противостоянии с Россией. Временно выиграл. Но Россия всё возвращает. Всегда. По этому поводу вспоминается прекрасное стихотворение Константина Фролова-Крымского:

*Милые заморские соседи,  
Сытые, вальяжные, как боги,  
Не будите русского медведя.  
Пусть он мирно спит в своей берлоге.*

*Вы уже не раз его пинали,  
Унижали, посыпали пылью,  
На берёзе русской распинали,  
Жгли огнём и в омуте топили.*

*И когда уверенность в победе  
Доводила вас до сладкой дрожи,  
Рык утробный русского медведя  
Раздавался вдруг у вас в прихожей.*

*Что ж вам, братцы, дома не сидится?  
Так и тянет, прилетев на запах,  
Щедрую российскую землю  
Взять и отобрать у косолапых!*

*Сколько лет мыслишкою лукавой  
Ваши переполнены газеты,  
Мол, какое мы имеем право  
На одну шестую часть планеты?!*

*Мы сюда пришли по Божьей воле,  
Честь свою ничем не замарали.  
И не вам судить о нашей доле!  
Мы своё богатство не украли.*

*Наши нерушимые основы —  
Паруса, полозья да подковы,  
Беринги, Хабаровы, Дежнёвы,  
Ермаки, Поярковы, Зайковы.*

*Дамы, господа, синьоры, леди,  
За черту ступая ненароком,  
Не дразните русского медведя:  
Ваше баловство вам выйдет боком.*

*Вы его обманете стократно,  
В кабаке обчистите до нитки,  
Ведь у вас любая милость — платна,  
Ваши боги — золотые слитки.*

*Ваше кредо — разделяй и властвуй,  
Ваша правда — это правда Силы.  
Вы привыкли восседать над паствой,  
Неугодных одарив могилой.*

*А вот русский в каждом видит брата,  
Не приемля скаредность и лживость.  
Для него всего важнее — Правда,  
А всего дороже — Справедливость.*

*Потому со дна любого пекла,  
Где никто другой не сможет выжить,  
Русский вдруг поднимется из пепла,  
Из трясины и дорожной жижи.*

*Выветрит угар кровавой битвы,  
В чистом роднике омоет очи,*

*Пред иконою прочтёт молитвы...  
И придёт к вам в дом однажды ночью.*

*Весь пропахший порохом и кровью,  
Поведя вокруг усталым взором,  
Он замрёт у вас над изголовьем  
И в глаза посмотрит вам с укором.*

*И пока вы свет не погасили,  
Спросит он, бывшее подытожив:  
— Ты зачем пришёл ко мне в Россию?  
Или я тебе чего-то должен?*

*Вы поймёте, что пришла расплата.  
Но платить, как оказалось, нечем.  
Русский бы простил, наверно, брата.  
Только ж вы не брат ему, а нечисть.*

*И душонку, сжавшуюся в плоти,  
Теребя под хмурым взглядом гостя,  
Вы тысячекратно проклянёте  
Глупую идею “Дранг нах Остен”.*

*Жаждающие новых территорий  
Для бейсбола, регби или гольфа,  
Почитайте парочку историй  
Про Наполеона и Адольфа.*

*Поумерьте пыл парадной меди!  
Отвечать за глупости — придётся!  
Не будьте русского медведя.  
Может быть, тогда и обойдётся.*

Смотался с утра к Сане Давыдову. Его сосед Олег Мороз рассказал, как в начале апреля оказался около кафе “Провиданс”. Там засел украинский снайпер и на его глазах расстрелял автомобиль, убив водителя. Когда из машины выскочила женщина, снайпер убил и её. Олег в это время, бросив велосипед, скрылся за углом здания.

21 апреля с утра пораньше съездил на Пентагон за гуманитарной помощью. Номер 189, на субботу, а это уже почти Пасха. Потом с Андреем закрыли окна в храме плёнкой — готовимся к празднику. Приехал домой — что-то в горле начало першить, сел посидеть на солнышке. Слушаю, как жужжат пчёлки и мухи. Роятся над распускающимися цветочками. И вся эта Божия гармония нарушается безобразной какофонией — взрывами, обрушениями конструкций на заводах, выстрелами из автоматов и танков. Когда это закончится?!

22 апреля. На “Азовстали” бои не прекращаются. Глушат захысныкив, как рыбу: самолёты, танки, гаубицы. И так целый день. Лишь изредка слышны трели украинских автоматов. Уже семь вечера. Расстрел непокорных наркоманов продолжается. А где-то их ждут...

23 апреля с утра отправились всем полком в храм. Службы как таковой не было — только исповедь. Поэтому уже через час мы были на Пентагоне — получали пакеты с едой и мылом. Хочу заметить по поводу гуманитарной помощи следующее: за весь март, когда посёлки Украина и Волонтерровка ещё находились под контролем украинских солдат, и все магазины были ими разграблены, я не знаю ни об одном случае раздачи пищи местному населению с украинской стороны. Да оно и понятно. Мэр Бойченко со своей боевой командой сдрыгнули в Запорожье ещё 24 февраля.

Нам повезло. Встретились наши соседи Коля и Галя, которые подождали нас и отвезли с продуктами домой на стареньком “Москвиче”.

Добивание укров продолжается целый день. Идёт расстрел “Азовстали” из гаубиц и танков, два-три выстрела в минуту, и так пятнадцать часов подряд.

Голова уже, как дубовая колода. Добавляют жаху и самолёты — сбрасывают глубинные бомбы. Жуть!

Зашли к Андрею. К нему вернулся сын Герман и рассказал, как вчера наблюдал разгром укров на железнодорожном мосту с левого берега. Оказывается, им вчера предоставили коридор, чтобы сдать, но они вышли к мосту и оттуда начали расстреливать посёлки Волонтеровку и Украину. На моих глазах попали в пятиэтажку на улице Ровной. Это жуткое зрелище я наблюдал, находясь в ста метрах от места события. Дом пробит насквозь на уровне четвёртого и пятого этажей. Чёрный дым окутал всё здание. Может быть, есть и жертвы. Ещё одна цель укров — школа № 47. Всё закончилось в этой истории очень быстро. Этим идиотов просто накрыли “Градом”.

Оглушительно и с каким-то странным причмокиванием лопаются пузыри танковых выстрелов, грозно гремят гаубицы, и далёкий рокочущий звук приближающегося самолёта оповещает, что через несколько секунд на “Азовстали” будет разрушено ещё одно здание и умрут несколько десятков молодых украинских мужчин, пришедших сюда наводить новый украинский порядок. Мне совсем не жалко этих негодяев, превративших Мариуполь в руины, прикрывающихся мирными жителями, как щитом. И, наверное, втайне радуется мэр Бойченко и его неутомимая молодая команда, что разрушения в городе не позволят установить подлинный размах воровства этой стаи новых украинских шакалов.

Уже семь вечера, а бойне, начатой ещё вчера, конца и края нет.

Зато расцвели деревья, и наш сад с официальным визитом посетил настоящий соловей. Он пел нам минут пять, пока кот Жорик не начал интересоваться его особой и не согнал его с ветки. Эта рыжая морда совсем ничего не понимает в искусстве. Только ходит по кухне и крикает да мякает — именно мякает, а не мяукает.

На улице теплее, чем в доме. Утром встретили одноклассницу Олю Жуккову. Рассказала с печалью, что укры взорвали её дом. Подавляющее большинство тех людей, с кем я общаюсь, проклинают этих мразей. У Люды в огороде распускаются нарциссы. На душе становится теплее и веселее.

Стейнбек пишет: “Когда человеку приходит время умереть, и он умирает, не вызывая жалости у других, то каковы бы ни были его способности, похождения и заслуги — вся его жизнь сплошная неудача, а смерть рождает в нём ужас. Мы всегда должны помнить о своей смерти и стараться жить так, чтобы она не доставила никому радости”.

24 апреля — Христос воскрес! Сегодня Пасха! Поздравляю всех с главным праздником! Храм полон народа. Люди улыбаются, обнимаются, целуются, плачут. На глазах у многих слёзы. Рассказывают друг другу свои истории. Многие остались без жилья. Каждые четыре из пяти домов в посёлке были сожжены и уничтожены украинскими военными на глазах местных жителей. Проклятия так и сыплются на Зеленского.

В храме встретили Нину Ивановну Воробей — директора школы № 47. Она рассказала, как три дня тому назад в эту школу был прилёт мины. Она находилась в это время в школе, а когда вернулась домой, то в это же время в дом влетел снаряд, не разорвался и запутался в оконной шторе. Ей пришлось искать солдат, которые вынесли бы этот подарок из дома.

На службе было много военных ДНР. Но, несмотря на праздник, целый день идёт обстрел “Азовстали”. Один-три выстрела в минуту.

А день выдался чудесный — ветер стих, солнышко грело, но не пекло, деревья в белом цвету, как школьницы в белых фартуках в советское время, птички поют!

И всё это накрывается сатанинскими звуками войны. Войны, спланированной ранее для достижения определённых целей власть имущих. Об этих целях можно только догадываться. Нет и никакого благородства в смерти украинских солдат, ставших удобением, но их близких будут уверять в обратном — властные негодяи, для которых эти солдаты — лишь расходный материал. Смерть на войне — отвратительное зрелище: оторванные руки, ноги, головы. Кровь, трупы на улицах Мариуполя — жуткое зрелище...

Воскресенье заканчивается, и я отдаю остаток светового дня товарищу Стейнбеку. Его роману “К востоку от Эдема”.



25 апреля проснулся в пять утра. Час читал молитвы, беседа с Богом. Он слушал меня и молчал. Я обещал Ему вести себя прилично. Потом я открыл дверь и вышел в Божий свет, вышел в настоящий солнечный летний день. Но что-то было не так, как обычно. Я стоял, прислушиваясь, смотрел на цветущие деревья, и тут в утренней свежей тишине загудела самолётом крупная муха. Пронеслась мимо и затихла. Оп-па-а-а... Канонады не слышно! Не слышно знакомых, так надоевших танковых выстрелов. Тишина... Неужто всё?!..

В пять вечера как-то неожиданно дали знать о себе танки — сделали с десятков выстрелов, и небо со стороны левого берега снова заволочило грязным серым дымом. Потом всё стихло, где-то высоко прогудел самолёт, но выстрелов не последовало...

За забором у соседней веселятся детки.

26 апреля у нас мероприятие под названием “фильтрация”. Договорились с Сашиком, он везёт нас в Новоазовск. Везде стоят посты ДНР — как раз в тех же местах, где были раньше украинские. Едем через Лебединское. На полях радостно зеленеют озимые и грозно чернеют “Грады” и САУ, распложившиеся в ряд по всему фронту. Вдалеке виднеется Восточный район Мариуполя. Выезжаем на ростовскую трассу и через пять минут нас встречает разрушенное ещё в 2014 году Широкино. Руины домов уныло прячутся в буйных зарослях кустов и неухоженных фруктовых деревьев. Дорога разбита — по обочинам остатки танков и сгоревшие автомобили. Проезжаем ещё несколько километров, и мы уже в Безыменном, в селе, через которое однажды проезжал его величество Пушкин. Тут установлены большие брезентовые палатки, где живут приезжающие на фильтрацию. Это село мы проезжаем быстро — нас никто не останавливает, и вскоре мы уже в Новоазовске.

Вся процедура фильтрации в РОВД Новоазовска начинается с актового зала, куда нас проводят в числе первых. Через полчаса входят двое молодых, чуть сверх меры упитанных полицейских, которые начинают сурово разъяснять порядок проведения этого, несомненно, очень важного мероприятия, не прекращая вольно общаться между собой с весёлым употреблением русских идиоматических выражений различного толка. Итак, нам нужно пройти три кабинета, в каждом выстоять очередь. Стульев в коридорах нет, поэтому мужчины устраиваются сидеть на корточках. Похоже на блатной сходняк. Сами коридоры оформлены ещё в начале девяностых годов, в период становления незалежности: деревянные панели, синие таблички с пустыми ячейками для фамилий, ну, и туалет на улице. Вокруг душная толчея, и иногда выходим подышать на улицу.

Суть фильтрации — выявление лиц с укронацистским прошлым. Как говорит мой кум, доигрался хрен на скрипке, слишком музыкачку любил. Фильтрируемые, которых мы встретили, все из Мариуполя. Почти все рассказывают о зверствах укров свои страшные истории.

Почти все, включая нас, благополучно отфильтрованы.

27 апреля я с утра приступаю к исполнению супружеских обязанностей, а именно: топлю печь, чищу крышу над коридором, ремонтирую раковину, забор, рублю дрова и даже что-то подштукатуриваю. Сам удивляюсь своим способностям, о которых даже не догадывался ранее. Вот сколько сил прибавляет фильтрация!

День выдался жарким, лишь под вечер прилетел лёгкий ветерок. Сидим на улице, читаем хорошие книги. Валя, подняв глаза от пятого тома Стейнбека, произносит:

— Вы слышите, как сегодня тихо? Не стреляют.

И сразу же раздаются один за другим три оглушительных выстрела из танка. Долго смеётся.

28 апреля целую ночь и весь день на левом берегу идут бои. Самолёты и артиллерия ровняют “Азовсталь” с землёй. Позавчера было тихо, уж думали — конец бойне, ан нет... Оказывается, азовцам давали возможность сдать-ся в плен. Не захотели.

Сегодня с братцем перевозили к нему домой мои дрова с Ракетной. Но вначале я погрузил на тачку деревянное кресло и сумку с вещами и направился к дому Люды. На улице Ровной за мной увязалась красивая немецкая овчарка. Я погладил её и пообещал райскую жизнь: просторную будку и двухразовое питание. Собака согласилась, и я назвал её Мартой. Брат покраснел,

но промолчал, а уже по приходе домой я увидел, что это кобель. А трансгендеров у животных не бывает. Имя менять почти не стали — называем его теперь Мартин. Красивый и умный пёс, но очень напуган войной.

Работали с братом целый день — очень устал. Наверное, старею вже... И всё это под звуки непрерывной канонады. В огороде осыпался цвет с распутившихся груш, и земля укрылась как бы снежком.

29 апреля всю ночь и утро лупят по “Азовстали” по-взрослому, — наверное, на 1 мая назначен парад победы. С утра тепло, ни ветерка, лишь снегопад из белых лепестков. Весна берёт вожжи в свои руки. Открыли проезд по мосту на левый берег, и мы с Олегом съездили на базу, загрузили компрессор и другое оборудование и отвезли всё к Александру Дмитриевичу. Потом Олег уехал в Виноградное за редиской, а мы на “бобике” — на базу, загрузили машину инструментом и лестницами. База разбита в хлам. Оборудование и автомобили под завалами шлакоблока, ворота вывалились от взрыва, крыши нет ни на одном из зданий. Сторожка разграблена, въездные ворота слетели с петель. Весь двор усеян разорванными обломками металла, искорёженными листами оцинковки и камнями. Половина брикетов сгорела. В инструментальном цехе побывали мародёры — взломали склады и забрали электроинструмент. Акрил и призмы пока не разворовали. Сгорел Пашин “КамАЗ”. Но имущество, которое нужно спасать, ещё есть.

Целый день продолжался обстрел “Азовстали”, но под вечер выстрелы утихли. Устали бойцы, устали пушки...

30 апреля поехал к Сашуку, помог разгрузить машину с имуществом с базы, и после этого мы снова поехали на базу за инструментом. По дороге заехали домой к Олегу Кириюхину. Долго кричали, пока он не подошёл. Оказалось, он живёт с братом рядом, в гаражном кооперативе. Там есть печь, и они с Володиёв там ютятся. У Вовы сломана нога. Олег постарел, выглядел усталым, много курил. Разговаривал спокойно, но видно, что нервничает. Волнуется, что нет сведений о его детях. Съездили вместе на базу, посмотрели, что там творится. Под ногами множество осколков, автоматные гильзы — значит, на территории шёл бой. Вывезли немного инструмента, слили соляру с “КамАЗа”.

1 мая с утра мы на службе в храме. После службы отправились на кладбище, обошли все родные могилы, положили цветы.

“Первое мая, курочка хромая, петушок инвалид, у него ножка болит”, — напевали мы в детстве в этот день.

Договорились с Сашей — она приезжает завтра в Мелитополь, заберёт меня и Люду. До Мелитополя нас доставит Александр Дмитриевич. Готовимся, собираем сумки. Погода радуёт теплом, вокруг зелёная трава и бесчисленные свалки мусора. Последняя страница блокнота. Закончился, бедняга. Завтра, даст Бог, будем в Крыму.

2 мая рано проснулись, готовимся к отъезду. На “Азовстали” — утренний бой. Тарахтят автоматы — обыденная для мариупольцев вещь. Пищу это предложение уже в салоне Сашиного автомобиля.

Весело поём:

— “Он сказал: “Поехали!” — и махнул руко-о-ой...”

Вперёд, на Крым!

ИЛЬЯ ПРЯХИН



## ЕСЛИ БЫ НЕ СТЕНДАЛЬ

ПОВЕСТЬ

Сегодня она спала почти до двенадцати — счастье, выпадающее в последнее время не чаще, чем пару раз в месяц. К тому же ей не пришлось вставать среди ночи, разбуженной капризным плачем Максимки, — вчера мать забрала Макса к себе на два дня, решительно заявив: “Отдохни чуток, на тебе уже лица нет, смотреть страшно!” — и категорически отвергнув все доводы о вреде искусственного питания. Юля даже не услышала будильника, по которому Валерка вставал на работу, не услышала его быстрых сборов и тихого щелчка закрывшейся двери.

Просыпалась Юля медленно и неохотно, пытаясь вернуть оборванный и тут же забытый сон, в котором — она это точно помнила — было что-то очень-очень хорошее. Но сон не возвращался, вместо него в дремотное сознание, безжалостно развеивая безмятежную расслабленность, ворвалась куда менее приятная мысль: “Сегодня семнадцатый день после аварии, значит, осталось ещё тринадцать. Тринадцать дней до назначенного Зубилой срока. Тринадцать дней относительно спокойной жизни, после чего...”

Привычно запретив себе думать о том, что они с Валеркой будут делать после наступления роковой даты, и мгновенно избавившись от остатков вялой сонливости, Юля быстро поднялась и, накинув халат, отправилась в ванную.

---

*ПРЯХИН Илья Борисович родился в 1970 году в Москве. В 1993 году окончил Московский авиационный институт. В 90-е годы начал заниматься литературным творчеством. Много путешествует. Лыжные и горные походы, сплавы по рекам, скальные маршруты, альпинистские восхождения. Номинант премии “Писатель года 2014”, печатался в журналах “Смена” и “Наш современник” (№ 12, 2017). Живёт в Москве.*

Дни полной свободы, когда мать ненадолго забирала Макса к себе, выпадали так редко, что Юля, отвыкшая от праздного безделья, каждый раз испытывала некоторую растерянность и даже лёгкое чувство вины от отсутствия хлопот, связанных с уходом за ребёнком. Вот и сейчас, зайдя на кухню и поставив на плиту чайник, она уселась на табуретку и бездумно уставилась в окно, выходящее на небольшой дворик и стену недавно построенной напротив девятиэтажки. В уме вяло ворочались цифры ежедневной, нехитрой калькуляции: идти в магазин сегодня смысла нет, ни на что серьёзное денег не хватит, а с ужином она что-нибудь сообразит. В холодильнике ещё есть полбанки тушёнки, макарон тоже пока хватит, из круп осталось только немного риса, но с этим придётся потерпеть до Валеркиной зарплаты, которую, кстати, он обещал сегодня принести.

Обещать-то он обещал... “Нет, сегодня точно дадут, — старательно убеждала себя Юля под тихий пока свист закипающего чайника. — Четыре месяца уже, если и сегодня не дадут — это просто будет свинство. Сейчас июнь, должны же хотя бы за март что-то дать”. Правда, из этой невеликой суммы нужно будет умудриться вернуть долг Кудряшевым, не весь, конечно, но что-то отдать надо, а то больше не дадут. Что ещё? Квитанция за квартиру? Это пока подождёт. Пелёнки у Макса совсем застиранные, придётся прикупить хоть пару штук. По продуктам надо запас сделать, — неизвестно, когда в следующий раз Валерка принесёт денег. Из одежды-обуви вроде в ближайшее время ничего не понадобится. Макс у тоже летом много не надо, и как всё-таки повезло, что у Дашки пацан на год старше, хоть с детскими вещами забот меньше.

О главной проблеме, ворвавшейся в их жизнь семнадцать дней назад, Юля привычно запрещала себе вспоминать, с самого начала как бы прикрывшись от неё железным аргументом: “Это не женские дела, пусть Валерка разбирается, мужик он, в конце концов, или где?”

В прихожей раздалось пронзительное дребезжание телефона (старый аппарат с расколотым корпусом давно нужно было менять, но о покупке нового пока нечего было и думать), Юля вздрогнула, вырвавшись из глубокой задумчивости, неохотно поднялась с табуретки, погасила огонь под закипевшим чайником и направилась в коридор.

— *Этот на работе?* — не здороваясь, поинтересовалась Светка заговорщицким тоном.

Юля невольно улыбнулась — её почему-то развлекала та искренняя и глубокая, возникающая с первого же дня знакомства неприязнь школьной подруги к Валерке. Для упоминания Юлькиного мужа у Светки существовало лишь два определения: “этот” и “твой”. Надо сказать, неприязнь была абсолютно взаимной, и сам Валерка за глаза называл Светку исключительно “шалавой” или “драной кошкой”.

— Где же ему быть?

— Отлично, значит, можем нормально поговорить. Макс у бабки?

— Да, вчера забрала.

— Вообще супер! — в голосе Светки прорезался радостный азарт. — Всё так сложилось — это судьба, Юлёк, однозначно. Короче, помнишь Фёдора, того, из Сибири, ну, я тебе рассказывала, как он меня в Парке Горького склеил, а потом триста баксов отвалил? Так вот, он с утра звонил, вечером будет в Москве, да не один, а с корешем. Они в АБВГДейке остаются...

— Где?

— Ну, блин, ты чего, с Луны свалилась? В Измайлово, короче. Он на меня запал тогда не по-детски, сегодня сказал к семи подваливать к корпусу “Альфа” и ещё сказал, чтобы подружку не забыла для кореша его. Да, тариф тот же — триста баксов. Триста, Юлёк! Ты знаешь, я на точках не стою, но девчонки есть знакомые, рассказывали: с Тверской за сто пятьдесят, а то и за сто увозят на тачках, а дальше — как повезёт, на кого нарвёшься. Стрёмно это, я на такое никогда не подписалась бы. А тут — гостиница, мужики-бизнесмены, всё цивилизно, никакого риска.

— Послушай, Свет, я тебе уже говорила...

— Нет, это ты меня послушай, подруга, — жёстко оборвала Светка, и Юля поняла, что сегодня ей предстоит выдержать далеко не первый в последние месяцы, но, возможно, самый жёсткий прессинг. Нужно было от- дать Светке должное — убеждать и подчинять собеседника своей воле она умела.

— Ты сейчас чем занимаешься? Дай-ка угадаю. Наверно, сидишь, при- горюнившись, размышляешь: принесёт сегодня твой ненаглядный очкарик в дом бабки или его опять пошлют лесом. А очкарику похер на твои заботы, он звёздочки на небе изучает, они для него важнее семьи, а что вечером жрать будет, так жёнушка безмолвная всё равно чего-нибудь сообразит. Юлька, едрит твою за ногу, у тебя гордость есть вообще?

— Трахаться за деньги — это гордость?

— Трахаться за деньги — значит, выживать в этом скотском мире, ко- торый не мы с тобой таким сделали. А если подходить с умом, то не просто выживать, а вполне достойно жить. Ты знаешь, сколько я подняла денег за прошлый месяц? Полтора косаря! И заметь — без всяких “тверских” и “ле- нинградок”. А сколько твой в прошлом месяце принёс в дом — хер на блю- де? Я вообще не знаю, на что ты живёшь. Короче, так: в шесть тридцать у метро. Причепурься там, как сможешь, помню, платище у тебя краснень- кое было, коротенькое такое — думаю, подойдёт.

— Да погоди ты, как я смогу на ночь-то?.. — начала Юля, тут же осе- клась, осознав, что уже невольно изыскивает возможность дать согласие, и вдруг почувствовала быстро растущее в душе раздражение на свою настыр- ную и пробивную подругу, зарабатывающую в месяц полторы тысячи долла- ров, не думающую о том, чем накормить и во что одеть семью и точно зна- ющую, чего нужно хотеть от жизни.

Она уже собралась выдать горяча какую-нибудь злую колкость про “вписавшихся в рынок” проституток, но Светка её опередила:

— Юлик, я уже всё за тебя придумала. Короче, скажешь своему, типа, у Маринки матери поплохело, а ей на палатку в ночную, Гарик — хозяйин её — говорит: чтобы ночью торговля была, или на хер иди. Ей сейчас, сама понимаешь, даже такую работу терять вообще не в дугу, короче, она тебя попросила у неё переночевать, за матерью присмотреть, “скорую”, если что, вызвать. С Маринкой я договорилась, у неё дома телефона нет, так что твой и проверить не сможет.

— Значит, всё за меня решила? Даже с Маринкой договорилась? — по- чему-то именно этот факт вызывал в душе особенно резкий протест. — И она теперь в курсе, что я с тобой “в ночное” собралась? Скоро весь рай- он в меня пальцем тыкать начнёт.

— Не дури. Маринка — девка с понятием. Думаешь, Гарик её только как продавца использует? И думаешь, Димка её ни о чём не догадывается? Дога- дывается, только помалкивает, потому что на какие шиши ему ещё бухать?

— Валера — не Димка, — взвилась Юля.

— Правильно, — мгновенно отреагировала Светка. — Твой — не Дим- ка, твой гораздо хуже. Димка алкаш конченный, с него хрен ли взять? Он, даже если захочет, ничего тяжелее стакана не поднимет. А твой — молодой, здоровый мужик, хоть и очкарик. Захотел бы — нашёл себе нормальную ра- боту. Короче, Юлик, мне с тобой сейчас за жизнь трещать в лом, в шесть тридцать жду у метро.

— Да не собираюсь я... Вот, блин, прицепилась. Свои проблемы решу сама, поняла?

Несколько секунд в трубке висело гробовое молчание, потом раздался очень спокойный и, показалось, абсолютно равнодушный голос Светки:

— Поняла. Жду пятнадцать минут, потом еду одна. Мне-то за двоих от- рабатывать не впервой, а вот ты, подруга, учти: больше я тебе таких пред- ложений делать не буду. Всё, пока.

Вернувшись на кухню, Юля, забыв о том, что собиралась завтракать, и даже не взглянув на закипевший чайник, вновь уселась на табуретку, за- думчиво рассматривая нехитрый урбанистический пейзаж за окном. Разго- вор со Светкой оставил в душе тяжёлый осадок, но что-то незначительное,

какая-то мелкая деталь этого разговора ранила почему-то особенно больно, и Юлька не сразу поняла причину столь резко испортившегося настроения. Платье. Красное платье, купленное ещё в относительно благополучные времена, которое она успела надеть всего два раза и в котором, краснея от удовольствия, ловила на себе похотливо-восхищённые взгляды знакомых и незнакомых мужчин, уже месяц как было сдано в комиссионку.

Тётя Клава с третьего этажа вывела во двор внука Борьку — трёхлетнего бутуза, проявлявшего, несмотря на разницу в возрасте, неизменный интерес к Максиму и каждый раз пытающегося вовлечь маленького соседа в свои игры. Борька красовался в пёстрой, явно новой футболке, которую Юлька, всегда обращавшая ревнивое внимание на одежду чужих детей, на нём раньше не видела. “Макса одеть к осени во всё новое — это раз. Заплатить долг за квартиру — два. Самой, в конце концов, чего-нибудь купить. Может, и на продукты какие долгоиграющие хватит — гречка, там, макароны... Тьфу, ты, блин, — она вдруг поняла, что уже фантазирует, как пристроит те триста долларов, которые ей предложила заработать подруга. — Светка, зараза, сама шлюхой заделалась, так теперь не уgomонится, пока меня не пристроит. Чтобы, значит, у самой на душе поспокойней было, типа: а я чего? Все так делают, даже, вон, замужние”.

Юля вскочила с табуретки и, зло поджав губы, занялась приготовлением своего нехитрого завтрака.

\* \* \*

На пороге последнего десятилетия двадцатого века страна бурлила, как огромный, готовый взорваться котёл. Жизнь менялась так стремительно, что опалевшие от перемен люди едва успевали подстраиваться под новую реальность. На национальных окраинах уже разгорались кровавые конфликты, а в крупных центральных городах начинали бойкую торговлю первые ларьки, “народные целители” с телеэкранов излечивали все болезни разом, а со страниц расплодившихся, словно плесень, печатных изданий, похожий на зловонный поток нечистот, на головы доверчивых читателей обрушивался вал откровений о недавнем прошлом. Страна трещала по швам, но это мало кого волновало, — демократия, гласность и рождение частного бизнеса представлялись той целью, ради которой не жалко расплываться с прошлой жизнью, презрев всё, что в ней было, — и хорошее и плохое.

Валера Ненашев, студент пятого курса МИФИ, мало интересовался происходящими в стране переменами, не участвовал в бурных обсуждениях сожженищынских разоблачений, не загорался идеей открыть кооператив и “начать рубить бабло”, оставался равнодушным к газетным сенсациям и бурлящей политической жизни. Ещё на третьем курсе он всерьёз увлёкся физикой плазмы и теперь, готовясь засесть за диплом, подбирал тему, способную заинтересовать один очень престижный НИИ, который уже несколько лет работал над проектом запуска автоматического зонда для исследования Солнца. Валера мечтал поучаствовать в проекте, и, казалось, ничто не способно было сбить его с намеченного пути, поэтому резкая смена жизненных приоритетов, как это часто бывает, застала его врасплох.

В последнее студенческое лето Валерка с двумя одноклассниками отправился побродить по крымским горам, чтобы после недельного похода ещё неделю поотмокать на пляже. Такие выезды стали регулярными со времён начальных курсов и с успехом заменяли Валерке любые более традиционные виды отдыха.

С яйлы спустились в районе Фороса — грязные, небритые, благоухающие неделей горных переходов с тяжёлыми рюкзаками — и привычно направились к давней знакомой — бабке, у которой все предыдущие годы за копейки снимали угол в древнем сарае, служившем когда-то курятником. В сарае не было ничего, даже отдалённо напоминающего спальные места, что совершенно не смущало непряхотливых туристов, зато стоило такое жильё в разы дешевле любой комнаты “с удобствами”...

Когда Светка узнала, что её лучшая подруга записалась в секцию скалолазания, она некоторое время смотрела на Юльку с испугом и состраданием, как на внезапно помешавшегося человека, а потом понимающе усмехнулась: “Мужика решила там найти? На филфаке-то твоём, поди, с этим туго, а если и есть кто, так одни задроты-ботаники. Понятно. Только ты, Юлёк, и с альпинистами-скалолазами этими поаккуратней — они же все на голову большие”.

На самом деле Светка угадала лишь частично. На “факультете невест” при почти полном отсутствии парней было действительно скучновато, Юлия это предвидела, ещё подавая документы, но других вариантов поступления особо не просматривалось: во-первых, математика всегда вызывала у неё священный ужас, поэтому о “мужских” вузах — всяких МАИ и МВТУ — нечего было и думать; во-вторых, многолетняя работа матери в библиотеке МГУ делала перспективу поступления в главный вуз страны реальной, и упустить такой шанс было бы глупо.

В секцию скалолазания Юльку привёл сиюминутный порыв — увидела по телевизору короткий репортаж о соревнованиях, вспомнила, как любила в детстве лазать по деревьям, причём делала это лучше многих пацанов, и — тут Светка была права — испытала вдруг острое желание немного разбавить привычный, но уже порядком надоевший круг общения.

На летних сборах, неизменно проходивших в Крыму — этой Мекке скалолазов, — жили в палаточном лагере, разбитом прямо у подножья почти отвесной скальной стены, из которой местами торчали, клонясь вершинами в сторону моря, редкие чахлые деревца. Специально для таких, как Юлька, новичков на стене было несколько проложенных маршрутов с заранее вбитыми крючьями и даже провешенными верёвками.

Валерка с друзьями приходили на пляж ранним утром, расстилали на гальке походные карматы, чтобы не заморачиваться с лежаками, и здесь, лениво потягивая пиво, часто наблюдали за мелкими букашками, усypавшими гигантскую стену и упорно, часами, карабкающимися вверх от одной торчащей из скал сосны к другой.

— Охота им там весь день висеть.

— Каждый сходит с ума по-своему. Тебе охота в жару по перевалам с рюкзаками таскаться?

Заведения для вечернего отдыха — небольшие кафешки под тентами — были немногочисленны и заполнялись задолго до наступления темноты; чтобы добыть столик, тем более у ограды, с видом на море, приходилось заранее, сразу после возвращения с пляжа засылать гонца, чтобы держал место.

Юлька появилась у входа с двумя подругами (как-то получилось, что и в новом для себя коллективе, где парней было большинство, она всё равно больше общалась с девочками) в то время, когда под низким навесом уже вовсю гремела музыка, заглушавшая пьяную многоголосицу, официантки с застывшим на лицах остервенением сновали между переполненных столиков, и с первого взгляда было件ятно, что о свободных местах нечего и думать. Растерянно потоптавшись у входа несколько секунд, девушки уже собирались двинуться дальше, чтобы попытаться счастья где-нибудь ещё, когда Юлька заметила за дальним от входа столиком, за которым расположились трое молодых ребят, вскинутую в приглашающем жесте руку.

Пришлось срочно отыскивать три дополнительных стула, чтобы, изрядно потеснившись, усесться шестером у маленького, рассчитанного на двоих, стола. Знакомство прошло быстро и непринуждённо, а известие о том, что девчонки живут в альплагере, обитателей которого парни ежедневно наблюдают на скалах, сразу создало ту особую, неповторимую атмосферу, всегда возникающую при встрече людей, предпочитающих горные тропы и крутые скалы “овощному” пляжному отдыху.

Последний, преддипломный семестр запомнился пропущенными лекциями, мучительными пересдачами заваленных зачётов, лихорадочным подтягиванием хвостов, невнятными оправданиями перед научным руководителем: “Замотался чего-то, Андрей Михайлович, к среде, кровь из носу, всё будет!” — и перед самим собой: “Фигня, пару ночей посидеть — всё успею”.

“Валерка, тебе ведь, наверное, идти пора, сам говорил — к завтрашнему семинару обязательно подготовиться нужно”. В голосе Юльки звучала озабоченность, но в глазах легко читалось: “Но ты же можешь забыть на всё ради меня? Можешь ведь? Ты же у меня умный, потом всё наверстаешь”.

Позже, уже после защиты, Валера осознал, по какой тонкой грани он прошёл в самый ответственный для будущей карьеры момент. “Госы” удалось спихнуть с огромным трудом и с совсем не блестящим средним баллом; руководитель дипломной практики, наблюдая за резким падением успеваемости любимого студента и принимая это за потерю интереса к изучаемой теме, обиженно советовал Валерке, пока не поздно, сменить направление исследований.

Однако в итоге всё прошло по плану — и защита, и приём на работу в вожделенный НИИ, и прямое попадание в лабораторию, занимающуюся нужной тематикой.

Здесь было всё, о чём Валерка грезил последние годы, — вполне достойное, хоть и не самое новое оборудование, коллектив увлечённых единомышленников, многие из которых стояли у самых истоков изучения физики плазмы, солидный, исправно финансируемый план исследований на несколько лет вперёд.

Изменения начались так плавно и на начальных этапах были столь незначительными, что воспринимались многими как небольшие временные трудности или досадные недоразумения. Сначала всему институту стали урезать премии — понемногу, зато регулярно. Потом выяснилось, что из научного плана почему-то исчезли самые перспективные и, соответственно, самые затратные темы. Постепенно некоторые работы стали останавливаться по причине вывоза в неизвестном направлении необходимого для них оборудования. Появились сотрудники, которым оказалось нечем заниматься. Они надолго уходили в курилки или спускались на первый этаж, где были установлены два теннисных стола, и устраивали турниры по пинг-понгу, иногда пытались помогать тем коллегам, кому ещё было чем заняться.

Когда исполнился год с момента прихода Валерки в институт, было объявлено о полной отмене премий, составляющих почти половину суммарного заработка. Это событие словно явилось сигналом к действию: люди стали увольняться. Первыми поняли, что происходящие перемены — всерьёз и надолго, как всегда, те, кто помоложе. Они уходили на “вольные хлеба” в попытке как-то устроиться в новой реальности, “пока башка соображает и руки на месте”. Сотрудникам постарше, чья трудовая биография прошла под надёжными сводами советской фундаментальной науки, было сложнее. Чувствуя свою полную неподготовленность к условиям недоразвитого капитализма, они ещё на что-то надеялись, взхлёб ругали новую власть и новые порядки, предсказывали скорую кару всем “ворам и жуликам”, но в этих предсказаниях всё чаще звучало откровенное отчаяние. Вместе с ними надеялся и Валерка. Он упрямо не хотел “предавать дело, которому решил посвятить жизнь”, с презрением относился к бывшим коллегам, ушедшим в частный бизнес в качестве работников или начинающих торговцев, и неизменно отвергал их предложения о трудоустройстве.

Зарплату стали выплачивать редко, как придётся, а бешеная инфляция быстро превращала её в откровенную насмешку; закрылись почти все темы, а вскоре объявили, что в связи с тяжёлым финансовым положением института четыре из девяти этажей когда-то престижного и сверхсекретного НИИ отдаются под аренду офисов частных фирм. Нашлись оптимисты, усмотревшие в этом хорошую новость: возможно, теперь появятся деньги хотя бы на зарплату. Но когда всё руководство института, как по команде, поменяло машины, а директор отпраздновал свадьбу дочери в “Метрополе”, стало окончательно ясно, что деньгам арендаторов найдено более достойное применение.

Скромную и тихую свадьбу сыграли через полгода после защиты Валеркой диплома, и в тот момент будущее молодожёнов выглядело вполне безоблачным. Жених владел доставшейся от матери “двушкой”, что избавляло от необходимости решать извечную проблему молодых семей — “где жить?”



Отец, исчезнувший в неизвестном направлении, когда Валерке было три года, и даже не явившийся на похороны бывшей жены (Валерка тогда учился на втором курсе), неожиданно объявился перед давно забывшим его сыном, подогнав к подъезду канареечно-жёлтую, свежеекрашенную, прилично выглядящую и, как выяснилось, ещё очень шустро бегающую “кошейку”. “Ты, сын, во взрослую жизнь вступаешь, вот я решил, так сказать...” — пряча глаза, неуверенно промямлил отец. Валерка, так и не поняв цели столь неожиданного визита, от подарка отказываться не стал, но от приглашения на свадьбу своего загулявшего на двадцать лет папаши воздержался.

Любимая жена, своя квартира, машина, грядущая научная карьера — что ещё нужно человеку для чувства уверенности в завтрашнем дне?

Рождение ребёнка подгадали к окончанию Юлькой университета. К тому моменту Валеркин институт уже вовсю “переходил на рыночные рельсы”, денег в семье заметно поубавилось, и Юлька в глубине души жалела, что так и не успела никуда устроиться, чтобы, выходя в декрет, оставить за спиной место, на которое можно будет вернуться. Она оказалась куда более осторожной и практичной, чем её эмоциональный и восторженный муж, но в тот момент, о чём впоследствии неоднократно пожалела, поддалась неудержимому оптимизму Валерки, выразившемуся, главным образом, в нехитрой формуле: “Фигня, прорвёмся”. Возможно, они действительно прорвались бы, не случись аварии, погрузившей молодую семью в такую финансовую пропасть, подняться из которой не смог бы никакой Бэтмен.

Расходы на Макса несколько превзошли ожидания, посильная помощь, оказываемая Юлькиной матерью, положения не спасала, зарплату задерживали всё чаще, и пришлось залезать в долги, которые, стоило им только появиться, стали непрерывно и угрожающе расти.

Валерка относился к нарастающим финансовым проблемам с философской стойкостью, и, если бы не Юлькин напор, продолжал бы спокойно мириться со скудным рационом, изношенной одеждой, невозможностью съездить в отпуск и прочими мелкими неудобствами, воспринимая жизнь такой, какая она есть. Но Юлька очень быстро поняла правоту любимого Светкиного изречения: “Твой муженёк — птица гордая, пока не пнёшь — не полетит”, — и всё активней требовала от Валерки если не найти нормальную работу, то хотя бы устроиться на любую подработку. Сама она, регулярно размещая объявления в газете с идиотским названием “Из рук в руки”, пыталась заняться репетиторством по русскому и литературе, но оказалось, что даже с университетским дипломом это не так просто, количество обнищавших филологов явно превосходило количество платежеспособных родителей, и без опыта и рекомендаций найти клиентов пока не удавалось.

Валерка вяло отбивался, неизменно обещая “чего-нибудь поискать”, но однажды, когда Юлька категорически потребовала продать, наконец, никому не нужную машину, вдруг проявил несвойственную ему и неожиданную для жены инициативу:

— Слушай, а зачем её продавать? Она ещё послужить может. Я тут вот чего подумал: попробую-ка я на ней “побомбить”. А что — машина на ходу, куплю карту, вечером после работы часика на два-три буду выезжать. Надо завтра прокатиться на ней, хоть вспомнить, чему в автошколе учили.

Трудовая деятельность новоиспечённого таксиста закончилась быстро, уже на второй вечер. Пассажир — укушавшийся в хлам дядька лет пятидесяти, которого Валерка подобрал голосующим у дверей ресторана и вёз в далёкое Свиблово, — мирно спал на заднем сиденье. Направляясь в незнакомый район, Валерка часто сверялся с разложенной рядом картой, пытаясь разглядеть в полутьме салона мелкие названия улиц. Подъезжая к очередному перекрёстку, он, не совсем уверенный, в какую сторону нужно поворачивать, вновь отвлёкся на карту и не заметил, как двигавшийся впереди “Мерседес” начал тормозить перед включившим красный светофором.

“Шестисотый мерин” — неперенный атрибут “новых русских” и нерядовых бандитов, знак успешности и крутизны, наглядное свидетельство того, что его хозяин уже взял от этой жизни всё, но, если не окажется раньше срока на кладбище, намерен взять ещё больше.

Валерку даже не стали бить, к чему он морально подготовился, ещё вылезая из машины. Очевидно, водитель “мерина” с первого же взгляда на растерянного виновника аварии решил, что здесь не стоит тратить ни эмоциональную, ни физическую энергию. Невысокий, “профессионально” бритый крепыш в неизменной кожаной куртке, трениках и кроссовках “Адидас”, старательно перемалывая челюстями жвачку, мрачно осмотрел прилично вмятый багажник с изогнувшейся дугой крышкой, треснувший бампер и разлетевшиеся мелкими осколками фонари, перевёл на Валерку долгий взгляд чуть прищуренных глаз и выпустил на асфальт длинную струю слюны.

— Ну чего, чмошник, попал ты, — равнодушно констатировал он. — Права давай.

Валера машинально протянул ему права, потом, спохватившись, попытался повернуть разговор в правильное, как ему казалось, русло:

— А... это... ГАИ, наверно, надо?..

Он лихорадочно огляделся в поисках телефонной будки.

— Ты чего, лошара, какое тебе ГАИ? — Казалось, водила “мерина” был на самом деле удивлён таким предложением. — Меня зовут Зубила. Я тебе теперь и ГАИ, и ФСБ, и папка с мамкой, понял? Ты теперь, пока бабки не отдашь, подо мной будешь. Живёшь где?

— А вам... тебе зачем? — чуть осмелел немного пришедший в себя Валерка.

Увидев признаки сопротивления, Зубила лишь криво ухмыльнулся.

— Ты откуда, в натуре, такой лох нарисовался? Я твой адрес, один хрен, через мусоров пробью, а сколько им отдам — тебе же в счётчик включу. Так что лучше не залупайся, залупаться сейчас дорого. И стрёмно.

Проводив тоскливым взглядом отъехавший “Мерседес”, Валерка только сейчас осмотрел разбитый капот собственной машины и, глубоко вздохнув, направился к задней двери, чтобы разбудить до сих пор безмятежно спавшего пассажира.

\* \* \*

Зарплату не дали. Юлия поняла это сразу, едва взглянув на лицо вернувшегося вечером мужа.

— Нет, Юль, ты прикинь, Митрофанов, козёл этот, заходит и говорит, типа, институт в любой момент разгонят, денег на счету нет и не предвидится, если не нравится — силой никого не держим. Он, похоже, и на работу приехал только затем, чтобы это сказать. Через десять минут его уже и в институте не было — сел в свою “Волжару” и укатил, гад.

Как обычно, приходя домой в день зарплаты без денег, Валерка, стараясь не глядеть на жену, выражал бурное негодование в адрес начальства, и Юлька, подавив в себе тоскливое разочарование, обычно ему подыгрывала, вяло возмущаясь открытым разворовыванием института жирными котами из руководства. После такой “пятиминутки ненависти” Валерка, побыв в роли невинной жертвы и чувствуя явное облегчение, быстро успокаивался, Юлька же погружалась в мрачные раздумья о том, что бы сообразить на завтрашний ужин и где взять деньги на замену совсем износившихся туфель.

Но сегодня она почему-то совсем не была настроена ему помогать.

— Конечно, ему, Митрофанову, чего? — Валерка метался по тесной кухне, словно лев в клетке, активно жестикулировал, рискуя снести с плиты чайник или задеть висящие над раковиной полки. — Начальник сектора, он из директорского кабинета не вылезает, наверняка в доле. Все они — директор, главный конструктор, начальники секторов, все — одна шайка. Мáfия, блин. В Союзе такими ОБХСС занимался, сажали, расстреливали да же, а теперь капитализм. А хорошо было бы всех их...

— Вот, приговорила из того, что есть, — кивком головы Юлия указала на стол. — Сахар кончился, чай так попьёшь.

Оставив растерянно замершего посередине кухни Валерку, она медленно прошла в комнату, переступив порог, на секунду замерла, словно о чём-то

размышляя, после чего резким движением закрыла за собой дверь, при этом хлопок получился несколько сильнее, чем она ожидала. Устало опустившись на диван, она протянула руку к низко висящей книжной полке, вытащила первую попавшуюся книгу — это оказался Стендаль — открыла примерно на середине, поправила подушку под спиной и замерла, механически пробегая глазами по знакомым строчкам.

Валерка появился через пару минут, к ужину он, похоже, так и не приоткрылся. Тихо открыв дверь, крадучись, словно вор в незнакомой квартире, подошёл к дивану, осторожно примостился рядом с женой и, после секундного колебания, приобнял её за плечи. Не отрываясь от книги, Юлия сбросила его руку и чуть отодвинулась в сторону.

— Юль, ну, не переживай ты так. Ну, заплатят же они, в конце концов. Заплатят, никуда не денутся.

— Я не переживаю, — отозвалась она спокойно и равнодушно. — Я просто пытаюсь сообразить, у кого бы ещё занять *до полудня*, — в последних словах прозвучал ехидный сарказм, — чтобы любимый муж, приходя с работы, имел хоть какой-то ужин. Да, ещё у Макса каши заканчиваются, а о новых вещах я уже не говорю.

— Слушай, ну, это... — Валера беспокоило заёрзал, словно мягкий диван внезапно стал очень неудобным, — ну, придумаем чего-нибудь.

— Придумай, — тут же подхватила она, резко отложила книгу в сторону и повернулась к мужу, глядя на него с вызовом и с трудом сдерживая слёзы. — Придумай, Валера. Ты мужчина, а я устала. Понимаешь, устала считать копейки, выкручиваться, занимать, унижаться.

— А знаешь, я, кажется, кое-что придумал, — загадочно проговорил Валерка. — Слушай, а давай у Митрофанова “Волгу” его уведём?

Свести всё к шутке — ещё один приём, к которому он нередко прибегал, чтобы снять напряжённость при обсуждении финансовых проблем семьи.

— Я знаю, где он её ставит на территории, завести смогу, тебе нужно будет только на стрёме постоять. “Волжара” новая совсем, с этим, как его, Зубилой рассчитаемся, глядишь, ещё на жизнь останется.

На этот раз испытанный приём не сработал, Юлия уткнулась взглядом в давно закрытую книгу и тихо всхлипнула.

— Юль, блин, но что я могу сделать? Я же не виноват, что нашу тему закрыли...

— У тебя закрыли тему! — В её голосе уже не звучало просительных нот, он стал таким непривычно жёстким, что Валерка, удивлённо глядя на жену, даже забыл убрать с лица улыбку, с которой планировал угон машины начальника. — У Борьки Анисимова, твоего, между прочим, одноклассника, вообще институт разогнали. Два месяца помыкался, всё с лазером своим передовым носился, красным дипломом светил, везде послали, так ничего — на Луже сейчас продавец вкальвает. Там, небось, зарплаты не задерживают. Да и зарплаты там — не чета твоей.

— Я торговать не пойду, — огрызнулся Валера, упрямо насупившись. — Не для того я пять с половиной лет учился и тему свою дипломную не для того пробивал. Палатки, прилавки, шмотки китайские на столиках валяются, и я такой: “Мужчина, купите маечку, ваш размерчик имеется”. Ты вообще можешь меня представить в такой роли?

Она долго молчала, и Валере уже показалось, что очередная гроза миновала, сейчас можно будет постепенно перевести разговор на более спокойную тему, и, возможно, на ближайшие пару дней, как это обычно и бывает, в семье воцарится мир.

— Я сейчас очень хорошо представляю тебя в другой роли, — начала Юлька спокойным, даже, казалось, скучающим тоном. — Я представляю, как придёт Зубила и скажет, что эта квартира уходит в оплату его разбитого “Мерседеса”, а ты начнёшь кланчить у него ещё несколько дней, чтобы собраться. Потом мы переедем к моей матери, и я хорошо представляю, как мы будем там жить вчетвером в двадцатиметровой однушке, а ты, возвращаясь по вечерам, утомлённый непосильным трудом, будешь рассказывать нам с матерью, как все разработки твоего института продали американцам,

поэтому работы никакой нет, а значит, нет и зарплаты. Я представляю, как мы будем жить на пенсию матери и моё репетиторство, если, конечно, я найду клиентов, а ты при этом продолжишь делать вид, что тебя, великого учёного, не волнует, откуда на столе появляется жратва. Всё это, Валера, я очень хорошо себе представляю. Конечно, тебе не место за прилавком с китайскими шмотками.

— Нет, Юль, погоди, ну, ты это... ну, не так всё мрачно.

За два года хронического безденежья и за семнадцать “послеаварийных” дней Валерке не приходилось слышать от жены столь беспощадных в своей правдивости слов. Обескураженно почесав затылок, несколько раз промывав невнятные “ну...” и “это...”, он, наконец, оправился от удара и кинулся в контратаку.

— Да ты чего, Юль? Ты всерьёз считаешь, что у нас отнимут квартиру? — он вскочил с дивана, встал перед Юлькой, по-прежнему не отрывавшей взгляда от лежащей на коленях закрытой книги. — Да чтобы ты знала, я уже поговорил с нашим безопасником, а ты в курсе — это же все комитетчики бывшие. Он сказал: с этими бандюками от замороженными всё порешаем. Ты же, говорит, Валерка — наш, а мы своих в беде не бросим. И вообще, институт наш, между прочим, собираются возрождать, уже есть решение там, — он выразительно ткнул пальцем в потолок, — там же не дураки сидят, всё понимают. Наши разработки уникальны. Да, продали америкосам, но, говорят, того, кто продал, скоро посадят, а америкосы без наших спецов всё равно ничего не поймут и до ума не доведут, у нас же целая школа по этой тематике сформирована. Скоро всё наладится, Юль, понимаешь? Всё будет — и зарплата, и работы много, нормально скоро заживём. Просто потерпеть надо немного, понимаешь? Ты, главное, верь — я всё решу.

Он так эмоционально жестикулировал, так восторженно и убедительно говорил, что очень хотелось ему верить, но...

Там действительно сидят не дураки, там очень хорошо понимают свой интерес, поэтому не пройдёт и двух-трёх месяцев, как Валеркин институт окончательно прикроют. Тех, кто продал за бугор многолетние научные разработки, никто не посадит, они сами кого хочешь посадят. Комитетчик-безопасник действительно в состоянии помочь “своему” человеку, только цена такой помощи хоть и будет меньше суммы бандитских претензий, но всё равно останется нереальной для их почти нулевого семейного бюджета. После закрытия института Валерка некоторое время ещё будет обивать пороги подобных научных учреждений, и, возможно, где-то ему даже предложат место за такую же мизерную и, главное, виртуальную зарплату. А если не предложат...

О том, что будет делать её муж, так горящийся уникальностью своей работы, когда окончательно поймёт, что все его знания, вся фанатичная преданность науке, все захватывающие перспективы новых тем нигде и никому не нужны, Юлька не хотела даже думать. Потому что вариантов оставалось не так много, и любой из них не сулил для их семьи ничего хорошего.

— Что ж, решай, — равнодушно произнесла она и, взглянув на настенные часы, торопливо отложила книгу в сторону и вскочила с дивана. — Блин, с этими твоими Митрофановыми я совсем забыла... Я же Маринке обещала с матерью её посидеть сегодня ночью. У Маринки ночная смена в палатке, подменить некем, а мать плохая совсем, в больницу ложится ни в какую не хочет. Короче, подежурю у неё сегодня.

Распахнув дверцы шкафа и мгновенно оценив его содержимое, она вытащила лёгкий белый сарафан и стала торопливо переодеваться. Валерка, вновь усевшийся на диван, молча наблюдал за её лихорадочными сборами.

— И Маринка больше не нашла, к кому обратиться, кроме матери полугодовалого ребёнка?

— Да я сказала ей, что Макса мать забирает, погоди, не мешай, а то чего-нибудь забуду.

Она вышла в прихожую, стараясь не глядеть на мужа, который теперь стоял на пороге комнаты, сложив руки на груди, села на пуфик и стала надевать туфли. Ремешок никак не хотел пролезать в предназначенное для

него ушко; Юлька чувствовала, что суетится, злилась на себя, и от этого её движения становились ещё более бестолковыми и торопливыми.

— А чего же ты даже книжку с собой не возьмёшь? — поинтересовался Валерка. — Маринка твоя разве что “Робинзона Крузо” за всю жизнь прочитала, не думаю, что у неё дома библиотека имеется.

— Ой, и правда. Не подумала об этом.

Юлька протиснулась в комнату мимо посторонившегося Валерки, схватила так и лежавшего на диване Стендаля, с трудом засунула книгу в сумочку, отчего та стала похожа на маленький, раздувшийся баул.

— Так, вроде всё. — Она вновь посмотрела на часы. — Маринке скоро уходить, как раз успеваю. Утром буду. Не скучай тут. Пока-пока.

Уже в дверях она торопливо чмокнула Валерку в щёку, при этом ей показалось, что в самый последний момент он непроизвольно подался назад, словно пытаясь уклониться, и именно в эту секунду она всё-таки встретилась с ним взглядом. Резко развернувшись, Юлька решительно распахнула дверь и ступила за порог.

\* \* \*

— Привет, Юлёк. Так и знала, что одумаешься, наконец.

Критически осмотрев подругу с ног до головы, Светка слегка скривилась.

— Ничего посовременней не могла подобрать?

Юлька вспыхнула, готовясь ответить резкостью, но Светка примирительно хлопнула её по плечу:

— Ладно-ладно, не менжуйся, шмотки — дело наживное, а в нашей работе главное — не одежда, а то, что под ней. Пошли, а то опаздываем.

Прямоугольные корпуса АБВГДейки — построенного к Олимпиаде-80 гостиничного комплекса “Измайлово” — тридцатипятиэтажными громадами возвышались над подпирающим их зелёным массивом Измайловского парка и своей белоснежной монументальностью сразу притягивали взгляд любого, кто выходил из тяжёлых дверей метро.

— Нам нужен корпус Гамма-Дельта, — деловито произнесла Светка. — Это вон тот.

Перейдя через широкую дорогу, по которой к конечной остановке подъезжали полупустые в этот час автобусы, и начав подниматься по пологой лестнице, девушки увидели перед собой с десяток женщин — в основном, скромно одетых тёток среднего возраста, выстроившихся в почти идеально ровную шеренгу и словно фильтрующих текущий через них поток людей.

— В гостиницу селиться... номера любого уровня, недорого... заселение без наценки... заселение и временная регистрация, — заученно повторяли тётки, почти не глядя на проходящий мимо народ. Одна из них сделала шаг к Юльке со Светкой.

— Девушки, номер не нужен? Могу предложить... — начала она, но вдруг запнулась, бросила оценивающий взгляд на Светку, быстро скользнула глазами по Юльке и, явно потеряв интерес к потенциальным клиентам, тут же метнулась к пожилому лысому мужичку, с трудом тягающему по лестнице огромный чемодан.

“Она поняла, кто мы такие и зачем идём в гостиницу, — метнулась в голове Юльки паническая мысль. — Поняла с первого же взгляда. Неужели это так заметно? Смотрите, люди: вот идут две проститутки! У них сегодня наклёвываются жирные клиенты, давайте пожелаем им успеха в нелёгком ночном труде!”

Почувствовав, что у неё начинают пылать щёки, Юлька усталилась себе под ноги, боясь поднять глаза, чтобы не встретиться ещё с чьим-нибудь понимающим взглядом. Светку, похоже, абсолютно не волновало мнение о ней окружающих: ни на минуту не замолкая, она продолжала наставлять свою неопытную подругу:

— Взяла бабки, отработала и свалила — это, Юлёк, для тех, которые на точках стоят, а мы с тобой — девушки порядочные, — короткий смешок, —

нам общение требуется. А общение — это что? Правильно — нормальный ресторан. Тут, кстати, в Бетте есть местечко классное — уютное такое и выпивка не палёная, меня Федя там в прошлый раз выгуливал. Так что вечер обещает быть томным. Пойдём в кабак — выпей там нормально, чтобы расслабиться, тебе, как я погляжу, это не помешает. И я тебя умоляю — будь с ними попроще, не замыкайся, не молчи. Больше улыбайся и болтай, болтай и улыбайся. Ладно, думаю, в кабаке оживёшь немного. А вот мы и пришли.

Вращающиеся стеклянные двери вели в просторный сверкающий холл. Справа от дверей за крохотным столиком едва умещался охранник — огромный детина в строгом чёрном костюме.

— Добрый вечер, — с ленивой вальяжностью произнесла Светка. — Мы гости в 2815. Нас ждут.

Охранник окинул девушек равнодушным взглядом, чуть склонился над лежащим на столике толстым журналом, перевернул пару разлинованных и исписанных страниц, вероятно, отыскивая нужную запись. На его невозмутимом лице не промелькнуло и тени каких-либо эмоций, но Юлька вновь почувствовала предательский жар на щеках. Охранник медленно водил по странице журнала пальцем, а ей казалось, что все девушки за ярко освещённой стойкой ресепшен, гости, расположившиеся на широких кожаных диванах, бармены и посетители бара, конечно, не сводят сейчас понимающе-насмешливых глаз с этих двух застывших у входа девиц.

— 2815, два человека, — наконец произнёс охранник и поставил в журнале короткую отметку. — К лифтам — прямо и направо.

В лифтовом холле толпилась шумная группа англоязычной молодёжи. Двери одного из лифтов разошлись, и молодые иностранцы, отчаянно галдя и толкаясь, стали заполнять кабину.

— Погоди, пусть уедут, — притормозила Светка ускорившуюся было Юльку. — Следующего дождёмся.

В ярко освещённой, с зеркальными стенами кабине Светка уверенно ткнула пальцем в кнопку с цифрами 28, с понимающей улыбкой посмотрела на напряжённое лицо подруги.

— Не робей, девочка, — весело подбодрила она Юльку. — Напомни потом, расскажу, как у меня первый съём прошёл. История вышла — обхохочешься.

Юлька её не слушала, она заворожённо смотрела на загорающиеся друг за другом маленькие квадратики с номерами этажей, и, как всегда в моменты волнения, крутила на пальце обручальное кольцо. Кольцо!

— Блин, чуть не забыла, — нервно выдохнула она, сорвала с пальца кольцо и раскрыла сумочку, выбирая, в какой бы кармашек его запихнуть, чтобы не потерялось.

— Дура, ты чего? Надень. Надень, говорю, — тут же вмешалась Светка. — Ты ничего не понимаешь, замужние — это же самый цимус, некоторые клиенты за это даже доплачивают.

Номер 2815 находился в самом конце длинного коридора, пол которого покрывал мягкий, глушащий шаги ковёр. Фёдор оказался невысоким жизнерадостным толстячком с рано обозначившейся лысиной и прищуренными, смеющимися глазами. С восторженным возгласом: “Светик, душа моя!” — он прямо на пороге крепко обнял Светку и, чуть приподнявшись на носках, смачно чмокнул её в губы. Оценивающе, с ног до головы оглядев Юльку, он весело подмигнул Светке, не особо скрываясь, показал ей большой палец и, повернув голову, прокричал в глубину номера:

— Аркаша, ты посмотри, какие девчонки нас посетили!

Посторонившись, Фёдор пропустил девушек в номер, при этом довольно грубо, что никак не вязалось с его добродушным поведением, схватил за задницу проходящую мимо Светку.

Аркаша оказался почти полной противоположностью своему приятелю — высокий крепкий мужик лет сорока с окладистой седеющей бородой, он не очень убедительно изобразил приветливую улыбку, бросил короткое: “Привет. Я — Аркадий!” — и точно так же, как Федя несколько секунд

назад, окинул девушек взглядом покупателя, выбирающего товар, и Юлька, всегда любившая самые откровенные купальники и тихо млевшая от удовольствия, когда мужчины на пляже не могли оторвать глаз от её фигуры, сейчас почувствовала лёгкий неприятный озноб. Стоявший перед ней мужик явно остался доволен увиденным, но её это впервые не обрадовало.

— Ну что, мальчики-девочки, время ещё детское, полагаю, было бы неплохо вспрыснуть, так сказать, встречу и знакомство. — Федя вкатился в комнату, как колобок, потирая пухлые ладошки и не спуская со Светки плотоядного взгляда. — Вечер предстоит долгий, для создания романтического настроения предлагаю отужинать, так сказать, при свечах.

— Да уж, неплохо бы, — капризно протянула Светка. — От бокала хорошего вина не отказалась бы.

— Минуточку, — торжественно, словно готовясь сделать важное сообщение, провозгласил Фёдор, укатился в коридор, порылся в карманах висящего на вешалке пиджака и вернулся, держа в каждой руке по белому почтовому конверту.

— Как учит мой незабвенный друг Аркадий, все деловые вопросы нужно решать до начала, так сказать, неофициальной части мероприятия. Прошу вас, мадемуазель. — Он галантно поклонился Юльке, подавая конверт, и тут же поправился, увидев на пальце протянутой руки кольцо: — О, прошу прощения, мадам.

Юлька, ни на кого не глядя, взяла конверт, раскрыла опухшую от Стендаля сумочку — проклятый француз тут же вылез на всеобщее обозрение, — суетливыми движениями сложила конверт пополам и зачихнула прямо между страниц.

— Ну, и вас прошу, дамочка.

Федя развязной походкой подошёл к Светке и, игнорируя уже протянутую руку, вдруг стал пихать конверт за глубокий вырез платья.

— Мужчина, что вы себе позволяете?! — С деланным возмущением она отбросила его руку, выхватила конверт и деловито зачихнула в сумочку. — Хам!

Федя, казалось, был очень доволен её реакцией, вновь потёр ладошки и, похабно хихикая, подмигнул Юльке.

Аркадий, не обращая никакого внимания на кривляния друга, — видно, давно привык, — сидел на диване, откинувшись на спинку, и Юльке казалось, что всё это время он смотрел только на неё. С его лица не сходило выражение расслабленности и добродушия, но во взгляде сквозило что-то смутно знакомое, что Юлька не смогла бы объяснить словами, и это что-то заставляло её нервно теревать ремешок сумочки, натянуто улыбаться, пряча глаза, в общем, ощущать ещё больший мандраж, чем на подходе к гостинице. Она вдруг представила себе, как выглядит в глазах этих двух мужиков: проститутка пришла к клиенту, мало того, что с напыленным на пальце обручальным кольцом, так ещё и с толстой книгой, — интересно, когда она собралась её читать?

— Светик, а чего это твоя милая подружка такая грустная? — с невинным видом поинтересовался Федя. — Может, ты ей что-то нехорошего про нас наговорила?

— Чего-чего, охренела от твоей активности, — добродушно проворчала Светка. — Не успели войти, сразу руки распускать, кобель такой. Что приличная девушка должна подумать? А вообще, по-моему, пора накатить, обещали ужин при свечах — ведите.

Свечей в ресторане не имелось, зато имелась живая музыка — молодой парень восточной внешности за электронными клавишами негромко напевал попсовые шлягеры, — но за столом их почти не было слышно, — здесь солировали Федя и активно подыгрывающая ему Светка. Федя, то и дело требуя от Аркадия подтверждения своих слов, рассказывал какие-то фантастические истории, в которых он неизменно демонстрировал свою находчивость, знание людей и способность “сходу просечь фишку”. Удивительная особенность всех этих рассказов, как быстро подметила Юлька, заключалась в том, что по каждому из них в отдельности и по всем,

вместе взятым, было совершенно невозможно определить, чем же всё-таки занимается в этой жизни ушлый мужик Фёдор. Светка оказалась благодарной слушательницей, залиvisto хохотала над смешными моментами, трагично охала в моменты напряжённые и восхищённо таращила глаза, слушая благополучную развязку.

Аркадий говорил мало, Федины истории выслушивал с доброжелательным терпением, как человек, знающий наперед всё, что скажет оратор, но не мешающий ему получать удовольствие от реакции слушателей. Вообще он производил довольно благоприятное впечатление — солидный бородатый дядька, уже начавший сесть, но видно, что сохраняющий хорошую форму; неторопливый в словах и движениях, явно знающий себе цену и презирающий бессмысленную суету. Его вполне можно было бы принять за добившегося серьёзных результатов учёного из Валеркиного института в лучшие времена этого учреждения, если бы не глаза... Юлька никак не могла понять, что же такое неувовимо знакомое и пугающее прячется в его взгляде. Она как будто пыталась вспомнить недавно приснившийся и мгновенно забытый ночной кошмар.

— А вообще, мы с Аркашей ещё и не такие проблемы разруливали. Скажи, Аркаша, — обратился к другу уже порядком захмелевший Федя.

— А то, — привычно подтвердил Аркадий, едва заметно улыбнувшись.

Увидев эту даже не улыбку, а её неувовимый след, Юлька наконец поняла, кого ей напоминает Аркадий. Зубилу. Бандита, так напугавшего её дней десять назад, когда она, находясь дома с Максом и услышав звонок в дверь, почему-то не спросила, кто, и даже не посмотрела в глазок, а сразу доверчиво распахнула дверь, в которую тут же по-хозяйски, как к себе домой, ввалился будто сошедший с телеэкрана типичный персонаж бандитского сериала. Гость деловито обошёл обе комнаты, коротко осмотрел кухню, заглянул в санузел и только потом обратил, наконец, внимание на Юльку, таскающуюся за ним и механически повторяющую дрожащим голосом: “А вы кто? А в чём дело?”

— Ништяк, — удовлетворённо произнёс он, вернувшись к входной двери, и посмотрев на Юльку, нравоучительно, словно разговаривая с ребёнком, проговорил: — Скажешь своему лошаре, что приходил Зубила, он знает, кто я. Ещё скажешь, что хата у вас — ништяк, так что, если бабки в срок не вернёт, давать отсрочку и включать счётчик ему никто не станет, лучше сразу собирайте барахло и сваливайте с хаты по-тихому. Усекла, куколка?

— Куда сваливать? Это наша квартира.

— Ой, какая непонятливая, — развеселился Зубила. — Я бы тебе ща растолковал всё доходчиво вон на том диванчике, да только это беспредел будет, а я беспределом не занимаюсь, у нас всё по понятиям, усекла?

Он вдруг протянул руку и слегка похлопал её по щеке, причём Юлька была так ошарашена услышанным, что даже не попыталась вернуться.

— А по понятиям так: не хочешь отдавать долг баблом — отдашь тем, что есть.

Аркадий, на первый взгляд являясь полной противоположностью отмороженному бандоку, в неувовимый момент показался Юльке цивилизованной, приукрашенной и окультуренной версией Зубилы.

— Аркадий, а вы вообще чем занимаетесь? — прервала Юлька своё явно затянувшееся молчание. — У вас бизнес какой-то?

— Бизнес? — задумчиво переспросил Аркадий и ответил, слегка улыбувшись: — Да, пожалуй, бизнес.

— Бизнес, бизнес, да ещё какой, — тут же затарахтел Федя. — Это, можно сказать, самый благородный на свете бизнес. Аркаша, Юленька, людям помогает, вот так. Хорошие люди приходят к нему со своими проблемами — а к кому им ещё идти? Вот Аркаша им и помогает, а чего хорошему человеку не помочь? О, у меня тост! Давайте, так сказать, поднимем бокалы за Аркашин бизнес, чтобы, так сказать, не иссякал поток хороших людей.

— И мне коньяку налейте, пожалуйста, — вдруг попросила Юлька.

С самого начала мужики взяли себе бутылку коньяка, девушки же развлекались тем, что заказывали различные коктейли с хитроумными и смешными



названиями, Светка даже заявила, что, пока не перепробует всю карту, отсюда не уйдёт, а потом “можете нести меня в номер и делать со мной, что хотите”. После трёх порций разноцветного пойла голова у Юльки слегка кружилась, но обещанное подружкой расслабление так и не наступило.

Аркадий вновь понимающе улыбнулся — Юлька отметила, что эти чуть заметные улыбки, выражающие самые разные эмоции, с успехом заменяют ему многие слова, отчего он, в противоположность своему другу, и выглядел таким молчаливым и замкнутым — взял чистый фужер и щедро плеснул туда коньяка почти до половины. Все чокнулись, и Юлька, не раздумывая, осушила свой фужер тремя большими глотками. Торопливо схватила дольку лимона, прожевала, почти не чувствуя вкуса, стремясь погасить огонь в горле и вернуть перехваченное дыхание, и слепо ткнула вилкой в остатки остывшего гарнира на своей тарелке.

— Во даёт чувиха, — восхищённо произнесла Светка.

— Наш человек, — удовлетворённо буркнул Федя.

Сейчас Юльке хотелось только одного: чтобы всё, что должно сегодня произойти, поскорее произошло. Стал ли причиной алкоголь или начало сбываться Светкино предсказание о том, что всё не так страшно и после первого раза начинаешь относиться к этому совсем по-другому, но Валеркин взгляд, которым он провожал жену приглядеть за Маринкиной матерью, больше её не преследовал, а перспектива лечь в постель с мужчиной, которого она впервые увидела пару часов назад, со вторым после Валерки мужчиной в своей жизни, уже не казалась такой пугающей.

По настоянию прилично окосевшей Светки, громко заявившей о желании продолжить праздник, с собой прихватили бутылку шампанского. Войдя в номер, Светка намеревалась не прерывать начавшуюся в ресторане пьяную гульбу, сбросив туфли, запрыгнула на диван, подняла в вытянутой руке бутылку и торжественно провозгласила:

— Шампанское пьют только дамы! Эй, где тут в вас бокалы, желаю выпить с лучшей подругой.

Однако поведение мужчин, особенно весельчака Фёдора, вдруг резко изменилось. Глядя снизу вверх на возвышавшуюся над ним Светку, Федя, со своей обычной простодушной ехидцей скомандовал:

— Слышь, дама, ну-ка в душ бегом. Одна нога тут, так сказать... Короче, чтобы через пять минут была готова.

Из просторной гостиной две двери вели в расположенные по бокам спальни. Аркадий, скинув на ходу пиджак и расстёгивая рубашку, направился к одной из них, на пороге остановился, посмотрел на присевшую в кресло Юльку, коротко бросил:

— Давай сразу после неё.

Светка слезла с дивана, с притворной горечью пробормотала: “Эх, мужики... никакой романтики!” — и поплелась к двери ванной. Федя скрылся в своей комнате, и Юлька осталась в гостиной одна. Из душа доносился звук льющейся воды, Федя за полуприкрытой дверью что-то фальшиво напевал, Юлька сидела в глубоком кожаном кресле, держа на коленях сумочку, и молча ждала. Впервые за весь вечер её не терзали никакие мысли и не ощущались ни сомнения, ни преждевременное раскаяние, ни робость, — она просто знала, что нужно дождаться возвращения Светки, а потом пойти в душ. Что может быть страшного в такой домашней, приятной и обыденной процедуре принятия душа?

— А ты чего тут?

Федя застыл на пороге своей комнаты. Покрытый седыми волосами живот нависал над резинкой широкий семейных трусов, почти до колен прикрывавших кривоватые, обутые в домашние шлёпанцы ноги.

— Тебе туда, — он указал пальцем на дверь спальни Аркадия и с ухмылкой добавил: — Пока туда, а там, глядишь, и поменяемся. У нас с Аркашей, знаешь ли, всё общее.

— Да-да, я сейчас... — Юлька сама поразила своему суетливо-угодническому тону, — только в ванную вот...

Она выскочила в коридор, чтобы поскорее скрыться от этого насмешливо-оценивающего взгляда, рванула дверь ванной. Светка стояла голая напротив зеркала, придирчиво вглядываясь в своё отражение и аккуратно подводила брови. Она вытащила все заколки, с помощью которых сооружала на голове замысловатую причёску, и её русые, чуть выпцветшие от частого перекрашивания волосы свободно раскинулись по плечам.

— Заходи, давай, — глядя на Юльку в зеркало, деловито пригласила она. — Быстренько ополоснись, потом халатик накинь, вон, на вешалке висит. Какие, однако, эротичные халатики тут в номерах.

Самое удивительное, что в голосе Светки не осталось и следа той пьяной бесшабашности, которой она козыряла ещё несколько минут назад, сейчас она выглядела абсолютно трезвой и деловито сосредоточенной.

— Ладно, надо идти, — сказала она с тяжёлым вздохом, сдёргивая с вешалки и накидывая на голое тело один из двух висящих там халатов. — Эх, блин, Юлька, если б ты знала, Федя этот... Но — клиентов не выбирают, это ты тоже уясни на будущее, нам капризничать не приходится. Давай, не задерживайся тут.

Она торопливо загнула в сумочку косметическую мелочь и собралась выходить, но Юлька по-прежнему стояла у двери, загоразживая дорогу.

— Ты чего?.. — спросила Светка, застёгивая молнию сумочки, потом подняла глаза и встретилась с подругой взглядом. — Э-э, Юлёк, я смотрю, коньяк тебе на пользу не пошёл — никакого расслабона. Короче, Юлька, мне сейчас некогда с тобой возиться, возьми себя в руки, чего, девочка что ли? Замужняя баба, ничего нового не испытываешь, уверяю тебя. Заднюю врубать по-любому поздно, приехала работать — работай.

Мягко отодвинув Юльку в сторону и уже взявшись за ручку двери, она вдруг спохватилась:

— Блин, чуть не забыла спросить. Ты презики-то взяла? Ага, вижу, что не взяла. Чего бы ты вообще без меня делала? На вот, держи, — она протянула Юльке пёструю коробочку. — Опять же, на будущее тебе: о презиках должна заботиться девушка, половина мужиков вообще на это забывает. Бери, ну.

Несколько томительных секунд Юлька смотрела на протянутую ей пачку, потом подняла глаза на подругу.

— Не могу я, — тихо, но решительно произнесла она. — Прости, Свет.

Юлька резко развернулась и выскочила в тесную прихожую. Ключ в замке — повезло. Уже захлопывая за собой дверь, она услышала Федино: “Э, ты куда?” — донесшееся из гостиной.

И вот она бежит по длинному, очень длинному коридору, тяжёлая сумка болтается, мешает бежать и бьёт по рёбрам при каждом шаге. Хорошо, что на полу мягкий ковёр, почти заглушающий стук каблуков. Лифтовый холл. Над каждым лифтом горит окошечко с цифрой “один”, ждатель — немислимо. Она бросается к двери на лестницу. Боясь остушиться, Юлька бежит вниз, скользя ладонью по периллам. Двадцать седьмой, двадцать шестой, двадцать пятый... Здесь нет ковра, и цокот её туфель разносится, наверно, на десяток этажей вниз. На каждом этаже за стеклом она мельком видит одинаковые холлы, от которых тянутся одинаковые, тускло освещённые коридоры с одинаковыми дверьми номеров. Меняются только номера этажей на белых табличках, и дыхание становится всё более частым, в нём уже пробиваются судорожные хрипы. Третий, второй... Наконец-то! Юлька резко сбавила ход, нужно хоть чуть-чуть отдышаться, чтобы не привлекать дополнительного внимания своим заполошным видом.

В огромном вестибюле на первый взгляд ни души, огни в баре потушены, охранника за столиком нет, его игривый голос звучит от стойки ресепшен, в ответ раздаются кокетливые хихиканья девушек-администраторов. “Спокойно, ты никуда не торопишься, ты просто идёшь... да мало ли, куда ты можешь идти в два часа ночи, это никого не должно касаться. Блин, ну на кой я напялила эти туфли? Мало того, что натирают, так и грохот от каблуков, как от товарняка”.

Вот и широкие вращающиеся двери.

— Эй, девушка, одну минуточку, — донеслось со стороны ресепшена.

“Вряд ли он станет покидать свой пост, чтобы ловить на улице идущую от клиента проститутку. Хотя, чёрт его знает, что он заподозрит”.

— Извините, мне некогда.

“По-моему, прозвучало достаточно высокомерно — то, что надо. Типа, знай своё место. И вообще, я девушка приличная, в гостиницах не знакомлюсь, с администраторшами вон развлекайся”. Юлька ощутила прилив какого-то весёлого азарта, она вдруг поверила, что стоит только покинуть это огромное неуютное здание, оказаться на свежем воздухе, и все сегодняшние нелепые события превратятся в маленькое глупое приключение, которое легко забывается уже через пару дней. Она испытывала радость от того, что всё позади, что больше не надо натужно улыбаться, изображать фальшивый восторг от лживых рассказов самоуверенных самцов, не надо показывать товар лицом и быть хорошей девочкой.

Однако об опасности потенциальной погони она не забывала, поэтому, выскочив из дверей гостиницы, предпочла перейти на бег, насколько это позволяли неудобные каблуки неразношенных туфель. Массивное, светло-серое здание — станция метро “Измайловский парк”. Небольшая, абсолютно пустынная площадь с конечными остановками автобусов. Дальше, дальше — к зелёной стене парка, куда вела широкая заасфальтированная аллея, уже уставленная по бокам новомодными торговыми ларьками, надёжно защищёнными от ночных взломщиков толстыми железными ставнями.

Оказавшись на аллее, она перешла на шаг, чувство опасности заметно притушилось, к тому же очень хотелось, наконец, отдышаться. Юлька обернулась, бросила опасливый взгляд на массив гостиничных корпусов, где тускло светилось лишь несколько окон, и решительно направилась к ближайшей скамейке. Скинула осточертевшие туфли, с наслаждением опустила босые ступни на ещё не отдавший дневной жар асфальт.

“Блин, со Светкой нехорошо получилось, — пришла вдруг запоздавая мысль. — Она меня привела, чего теперь ей скажут? А, ладно. Уж кто-кто, а Светка-то не пропадёт, сама говорила, что ей не впервой за двоих отработывать. В любом случае, конверт этот ей отдам завтра же. Вернее, уже сегодня”.

Подул лёгкий ветерок — не холодный, но показавшийся довольно свежим после недавнего забега. Юлька поёжилась и впервые задумалась о том, как она, собственно, собирается добираться до дома. Общественный транспорт давно не ходит, правда, у каждого корпуса гостиницы дежурят по несколько бомбил-барыг, терпеливо ожидающих ночных клиентов, чтобы домчать их быстрее ветра по нужному адресу по космическим ценам, но, во-первых, денег на бомбил, тем более гостиничных барыг, у неё не бывает уже очень давно (не предлагать же водиле разменять вытасченные из конверта стодолларовые купюры), а во-вторых, сама мысль возвращаться к гостинице вызывала безотчётный ужас.

— Да-а, не далеко убежала. Стоило ли напрягаться, вон, до сих пор отдышаться не можешь.

Аркадий постоял перед скамейкой, насмешливо глядя сверху вниз на сжавшуюся от растерянности Юльку, потом сел рядом, небрежно забросил ногу на ногу.

— Ну что, пришла в себя, отдохнула? Тогда давай-ка, надевай туфли, да пошли.

— Послушайте... — Юлька суетливо полезла в сумочку. — Я, конечно, виновата, вы извините меня, я понимаю — нельзя так, но просто я... просто... вот, возьмите. — Она протянула ему сложенный вдвое конверт. — Возьмите, я его даже не открывала. И ещё раз: извините, пожалуйста.

— Да оставь себе, — сказал он скучающим голосом, даже не взглянув на конверт. — В качестве моральной компенсации.

— Компенсации? — растерялась Юлька. — Мне? За что?

— Как за что? Тебе теперь предстоит работа явно не на триста баксов. Я не хочу устраивать тебе то, что на вашем языке называется “субботник”, поэтому деньги оставь себе — хоть что-то заработаешь.

— Субботник? — Юлька изо всех сил сдерживала подступающую панику. — Что это?

Аркадий помолчал, потом тяжело вздохнул, тихо и укоризненно произнёс: “Эх, Светка”, — и заговорил нравоучительным тоном, словно втолковывая нерадивому ученику прописные истины:

— Ты приехала, взяла деньги и свалила, так?

— Послушайте...

— Нет, теперь ты слушай, — жёстко перебил Аркадий, но эта жесткость тут же пропала, и он продолжал спокойным, даже нудным тоном: — По всему получается — ты меня кинула. Меня. Кинула. На глазах моего делового партнёра, на глазах другой девки. Я должен тебя наказать — это факт, по-другому нельзя. Изобретать наказание не нужно, для таких, как ты, оно известно. Сейчас мы с тобой поедem в одну квартирку, там у меня мальчишки знакомые тусуются, не знаю, сколько их сейчас там, может, четверо, но точно не больше пяти. Они с тобой поупражняются до утра — так ты ответишь за своё “динамо”.

С минуту они сидели молча, Аркадий в расслабленной позе праздного отдыхающего — нога на ногу, рука вытянута на спинке скамейки, и Юлька — слегка сгорбившись и до боли в пальцах сжимая лежащую на коленях сумочку.

— Я же возвращаю вам деньги.

Она произнесла это тихо, почти шёпотом, чтобы не выдать голосом подступающих слёз.

— Это ничего не значит, — тут же откликнулся он. — Ты отдаёшь, потому что я тебя догнал. Попытка кидалова мало чем отличается от самого кидалова. Наказание — то же самое. Только ты не подумай, что мне будет очень приятно тебя туда везти. Просто моя работа не оставляет мне другого выбора, я должен поступать в соответствии со своим положением. Это как этикет, понимаешь? Если облажаюсь, если кто-то скажет про меня: “Ему шлюха динамо включила, а он её отпустил”, — я могу легко потерять всё, чего добивался последние годы. В моём деле так лохануться нельзя. В общем, девочка, не повезло тебе сегодня, не от того ты ноги сделать решила. Ну чего, пойдём, что ли, пока таксисты не разъехались?

В последней фразе Юльке действительно послышалось сожаление, возможно, ещё дающее ей хоть какую-то призрачную надежду. Она вдруг вышла из молчаливого ступора, в который её погрузила перспектива ночного “субботника”, и заговорила, почти не задумываясь о словах, захлёбываясь и сбиваясь, просто выговаривая всё, что накопилось в душе за долгие месяцы нудной борьбы за выживание:

— Послушайте, у меня сегодня первый раз это... в смысле, я никогда ещё... Светка позвала... Денег нет совсем, сына одеть не во что, у меня сыну полгода, мы себе и так во всем отказываем, а тут ещё муж в аварию попал, бандиту какому-то “шестисотый” помял сильно... я уже три года... не покупала себе ничего... а теперь, говорят, с квартиры съезжайте, квартиру заберут из-за этой аварии...

Только не разревётся, только бы не разревётся! Юлька почему-то решила, что плачущую её точно никто не пожалеет, и она продолжала свою быструю, становившуюся всё более бессвязной речь, словно отгораживаясь потоком слов от подступающих слёз.

— Думаете, легко это?.. Я говорила Валерке, сколько раз говорила... ничего... каждый день — одно и то же... Думаете, я просто так? Думаете, за Светкой побежала?.. Да я вообще — филолог, понятно вам? Я, чтоб вы знали, МГУ окончила! — Этот аргумент показался ей сейчас даже более убедительным, чем наличие ребёнка. В самом деле, разве можно отправить на “субботник” филолога с университетским дипломом? — Я не знала, что всё будет так... так...

Она запнулась, не зная, с чем сравнить своё сегодняшнее приключение, окончательно сбившись с мысли и погрузившись в подавленное молчание. Запал кончился так же быстро, как и появился, Юлька сидела, сгорбившись

и глядя на асфальт у своих ног. Она сказала всё, что могла, и оставалось только молча ждать решения своей судьбы.

— Вечером на Тверской улице бывала? Или по Ленинградке из Москвы выезжала? — безучастно поинтересовался Аркадий. — Там девочки стоят шеренгами, возьми любую, и её судьба окажется ничуть не краше твоей, а у большинства — намного печальней, потому что ни мужа, ни московской квартиры, ни машины у них никогда не было и не будет. И у каждой из них когда-то был первый выход. Только не каждая при этом делала ноги с деньгами клиента.

Юлька могла бы возразить, что скоро и у неё не будет квартиры, да и с мужем после сегодняшнего как-то не всё ясно, но она молчала, она просто ждала, когда он повторит своё небрежное: “Ну чего, пойдём, что ли?” И тогда она побежит. Побежит в сторону метро, громко крича, в слабой надежде, что хоть кто-нибудь услышит её крик — загулявшая компания, поздний прохожий, водитель отправляющегося в парк автобуса, — и, может быть, этот спокойный, обходительный и страшный человек не станет тащить её к стоянке такси на глазах заинтересованных свидетелей.

— И чем же, интересно, занимается муж, если жена ночами по гостиницам шляется? — спросил Аркадий, нарушив затянувшееся молчание.

— Звёздами, — буркнула Юлька.

— Не понял, — искренне удивился он. — Звёздами? Эстрадными, что ли? А ты тогда чего тут?

— Какими ещё эстрадными?

Сначала Юлька удивилась не меньше своего собеседника, а когда поняла вопрос, ей даже стало на секунду весело, — этому неглупому, “решающему проблемы” мужику, очевидно, было трудно представить, как можно заниматься какими-то ещё звёздами, кроме эстрадных.

— Этими, — слегка улыбувшись, ткнула она пальцем вверх, в сторону чистого, но почти беззвёздного из-за городской засветки неба. — Астрофизик он.

— А-а, — понимающе протянул Аркадий. — Тогда понятно. Дело по нашим временам, конечно, полезное.

Он опять замолчал, о чём-то размышляя, и Юлька почти физически ощущала, как испаряется мимолётная, вызванная звёздной темой разрядка в разговоре.

— И чего же это у тебя такое пухлое в сумке? Клиенту на ночь почистить собиралась?

— Стендаль.

Аркадий презрительно фыркнул.

— Я чего-то подобного и ожидал. Про Жульена, небось. Ох, и любите же вы, девки, такое чтиво.

— Скажите, пожалуйста, какие познания, — Юлька не удержалась от сарказма, хоть и понимала всю его неуместность. — И что вы, собственно, имеете против Стендала?

— Да ничего не имею, — легко ответил он. — Про Жульена этого — вообще история правильная, пацанам бы молодым почитать, как надо из говна подниматься, себе дорогу пробивать, и баб сторониться, поскольку всё, чего добьёшься, они обнулят за раз. Да только не будут пацаны это читать — слёзы, сопли, монологи, мексиканщина одна, короче. Фёдор Михайлович вон тоже слезливыми монологами увлекался, но ему можно, он — Фёдор Михайлович.

Ощущение сюрреализма происходящего даже потеснило в душе страх перед обещанным наказанием. Несостоявшаяся проститутка в два часа ночи сидит на парковой скамейке со своим несостоявшимся клиентом, который собрался отдать её на растерзание пяти мужикам, но сначала решил провести сравнительный анализ творчества Достоевского и Стендала.

— Диплом-то по какой теме писала? — спросил Аркадий, и Юлька, обрадованная этим вопросом, подумала, что, возможно, ей сегодня ещё удастся выкрутиться.

— По Блоку, — охотно ответила она. — С его творчеством вы тоже знакомы?

— Ну-у, да, — протянул он без особого энтузиазма. — Как там?.. “Вы предназначены не мне. Зачем я видел вас во сне? Бывает сон — всю ночь один...” и так далее. Нет, если уж говорить о тех временах, лучше Серёжи никто не умел: “Дождик мокрыми мётлами / чистит ивняковый помёт по дугам. / Плюйся, ветер, охапками листьев, / я такой же, как ты, хулиган”. А вообще-то, я со стихами не очень... Надумано это всё, да и в жизни что-то поэзии маловато — одна проза голимая.

Боясь прервать спасительный разговор, Юлька выдала первое, что пришло в голову:

— Ну, хорошо, а как вы относитесь, например, к современной российской прозе?

— К чему-у?

Похоже, он удивился не меньше, чем когда решил, что Юлькин муж работает с эстрадными звёздами.

— Ну, к современным писателям.

— Где ж ты их нашла, писателей современных?

— Как же? Вот взять, к примеру...

\* \* \*

Парковые дорожки были погружены в предрассветную серость, когда верхние этажи гостиничного комплекса окрасились ярко-розовым сиянием, первыми встречая лучи ещё невидимого солнца. Многоголосые птички трели радостно приветствовали наступающее утро; по Измайловскому шоссе проехали выстроившиеся в ряд поливальные машины; к ещё пустой конечной остановке автобусов у метро сонно потянулись первые пассажиры. Новый день обещал быть жарким, но пока в воздухе ещё чувствовалась ночная прохлада и временами налетали порывы довольно свежего ветерка.

Юлька не ощущала холода и не слышала пения птиц, она вообще не замечала всей этой утренней благодати вокруг. Юлька говорила. Если бы на аллее парка сейчас появился случайный свидетель — собачник, выгуливающий питомца, или любитель ранних пробежек, — он бы сильно удивился представшей перед ним картине: молодая девица в вызывающе коротком, полупрозрачном сарафане, эмоционально жестикулируя, ходила взад-вперёд перед парковой скамейкой, на которой вольготно расселся прилично одетый бородатый мужчина, слушающий девицу со снисходительной полуулыбкой и лишь временами вставляя негромкие реплики.

— Нет, мне это нравится! — кипятилась Юлька и взмахивала руками, будто приглася разделить её негодование мягко шелестящие на ветру кроны деревьев. — Теперь и Лев Николаевич ему не угодил! Да поймите вы, “решающий проблемы”, роман “Воскресение” — вершина творчества великого писателя, жемчужина русской литературы. Преображение Нехлюдова, путь, пройденный им, фактическое перерождение человеческой души — это, может быть, лучшее, что создала мировая культура.

— И ты в него поверила? — поинтересовался Аркадий, у которого, в отличие от Юльки, спор не вызывал особых эмоций, лишь какое-то добродушное любопытство.

— В кого? — спросила сбитая с мысли и поэтому слегка растерявшаяся Юлька.

— В перерождение Нехлюдова.

— А вы, значит, не поверили? Ну, знаете, тогда я вообще не понимаю, зачем было читать столько книг, да ещё разыгрывать из себя знатока литературы, если даже...

— Единственное, что там правда, — это суд, — вдруг жёстко перебил он. — Сейчас внешне всё по-другому, а по сути — то же самое. Остальное — враньё, вместе с этим перерождением и воскресением. Не было такого никогда и никогда не будет. И главное — зачем он Церковь обгадил? Хорошо

так обгадил, талантливо, большой писатель — не спорю. Только что он сам-то предложил взамен? Кого-то зарезали — вы все виноваты, вырастили убийцу в своём обществе. Бред. Я, девочка, на себя чужих грехов не возьму, у меня самого их — никакой патриарх не отмолит.

— А, так вы, значит, за Церковь обиделись? Ну, надо же, какая ранимость! Может, вы ещё и на службу ходите?

Юлька понимала, что её несёт, что надо сейчас же остановиться, но нервное напряжение этой безумной ночи, казалось, сняло все предохранители, и слова вылетали быстрее, чем она могла обдумать их последствия.

— А когда проституток вызываете, наверно, на следующий день к батюшке идёте, чтобы епитимью наложил?

Она осеклась и, наконец, замолчала. Она вернулась на эту парковую аллею, как возвращаются к безрадостной реальности после пробуждения от приятного сна. Все события последних часов — её идиотское, вызванное сиюминутной обидой, согласие на Светкино предложение, растерянный, понимающий взгляд Валерки, ресторан и гостиничный номер, её спонтанный побег, жуткая перспектива “субботника” — вдруг навалились на неё страшной тяжестью.

Юлька сразу почувствовала утреннюю прохладу, поняла, что замерзла, хочет спать и очень, очень устала. “Он просто с тобой играл, забавлялся, как забавляется кошка с пойманной мышью перед тем, как показать, кто тут настоящий хищник. Ты распиналась про поэтов и писателей, а он смотрел на тебя, ухмыляясь, даже поспорил чуток, чтобы раззадорить и усыпить бдительность, и представлял, как обрадуются пятеро его “знакомых мальчиков” такому неожиданному подарку: “Смотрите, пацаны, кого я вам привёл. Хотела с бабками слинять. Всё при ней, а главное — книжек всяких прочитала уйму, так что вы тут с ней побеседуйте про книжки”. А теперь всё кончилось, она сама своей последней фразой как бы напомнила ему, что завязка этой пьесы явно затянулась, зрители устали и ждут кульминации.

Юлька не знала, сколько продлилось это тягостное молчание, она стояла, боясь поднять глаза, и понимала, что у неё уже нет сил, чтобы бежать и кричать, как она собиралась ещё недавно, хотя сейчас для этого был куда более подходящий момент — у метро появились люди.

Аркадий встал со скамейки, с наслаждением потянулся, разминая затёкшее от долгого сидения тело, сделал пару шагов, подошёл к Юльке почти вплотную, несколько секунд изучающе смотрел на неё сверху вниз, слегка покачиваясь на носках.

— Пойду-ка я спать, — произнёс он, подавив зевок. — И ты двигай, давай, метро через десять минут откроется. И не ищи больше приключений на свою... сама-знаешь-чего. Не твоё это.

Засунув руки в карманы, он неторопливо пошёл в сторону гостиницы. Сделав несколько шагов, замер и обернулся.

— Да, чуть не забыл. Чего там с аварией?

— А чего с аварией? — не поняла Юлька.

— Ну, машина какая, номер ваш помнишь? Где, когда?

— Номера не помню, — медленно проговорила Юлька. — Жёлтая “копейка” у нас. Где — не знаю, я не спрашивала. А число — пятое, вечер. Да, точно, в ночь на шестое. А вам зачем это?

Ничего не ответив, он развернулся и продолжил свой неторопливый путь к гостиничным корпусам.

\* \* \*

— Алло, Валера? Алло, это я, Зубила. Ну, Зубила с “шестисотого”. Узнал?

Валерка действительно не сразу узнал звонившего, и не потому, что голос на том конце провода сильно изменился, просто сейчас в этом голосе звучали какие-то совершенно несвойственные ему интонации. Сейчас в нём явно слышалась заискивающая растерянность, что, в сочетании с обращением

по имени вместо привычного “лошара” и “чмошник” в первые мгновения даже вывало у Валерки какой-то безотчётный страх.

Он не стал ничего отвечать, предпочтя выжидательное молчание.

— Слышь, Валер, тогда, в натуре, косяк вышел. Слышь, я это... рамсы попутал маленько. Ты, в натуре, не обозвался, не сказал, кто за тебя подпишется, ну, я и решил предъяву тебе кинуть, как лоху какому. Слышь, Валер, я, в натуре, фишку не сёк тогда, лох я — базара нет, но мы же нормальные пацаны, давай порешаем всё, братан, разойдёмся по-честному. Я сейчас чувака к тебе отправлю, он права привезёт, ну, и лаве, ясен хрен. Там по лаве ништяк будет, новую тачку возьмёшь, как два пальца. А ты, я гляжу, кручёный пацан... — Мерзкое, подобострастное хихиканье. — На помойке ржавой катаешься, типа, фраер голимый, чтобы, типа, не допёрли, кто за тобой стоит. Ну чего, Валер, братан, закроем базар?

\* \* \*

Монастырь располагался в пяти километрах от трассы, на вершине невысокого холма; узкая дорога с побитым асфальтом, пропетляв между деревянными заборами частной застройки, упиралась в почти пустую в будний день гостевую парковку.

Белый “Лендровер”, вырвавшись из тесных улиц деревни, вальяжно выкатился на середину открытой площадки и замер почти напротив главных ворот.

— Валер, может, тоже с нами сходишь? — обратилась Юлька к мужу, открывая пассажирскую дверь.

Валера театрально закатил глаза и сделал скучающее лицо.

— Ты же знаешь, не люблю я этого — бесцельно бродить, благоговейно глазеть, паломника из себя строить.

— Ну, смотри. Мы пошли, не скучай тут, мы быстро. Макс, канистру в багажнике не забудь.

— Хотелось бы, чтобы быстро, — недовольно буркнул Валера, всегда относившийся к посещению монастырей, как к необъяснимой женской блажи. — До дома два часа пилить, а мне ещё к завтрашнему совету готовиться.

Макс, ловко выскочив из задней двери, помог выбраться из машины своей жене Наде, неуклюжей и медлительной из-за огромного живота, на котором уже с трудом сходились пуговицы кофты, достал из багажника большую пластиковую канистру.

Они возвращались с дачи одного из Валериных сослуживцев, устроившего грандиозные двухдневные гуляния по случаю получения докторской степени, а этот находящийся по дороге монастырь Юля обнаружила в интернете и отметила как обязательное место посещения ещё до поездки.

Войдя в широкую арку центральных ворот, они разделились: Юля отправилась сына к короткой очереди у деревянной часовенки с источником, а сама медленно, чтобы не отставала Надя, двинулась в сторону главного храма. Служба давно закончилась; Юля написала привычные записки, поставила свечку и замерла, разглядывая огромный, богато расписанный иконостас. Не будучи глубоко верующим человеком, на зная толком ни одной молитвы, она любила бывать в храмах именно в такие минуты — когда нет службы и торжественную тишину нарушает лишь отражённый высоким сводом сдержанный шорох от перемещений редких посетителей.

Однако сегодня разглядывание икон и богатого убранства огромного храма пришлось сильно сократить, — Наде, которую безуспешно пытались отговорить от лишних хождений, наверняка было тяжело долго стоять. Да, совсем скоро Юля станет бабушкой, и этот, казалось бы, вполне очевидный факт пока никак не помещался в сознании и ещё требовал осмысления.

Выйдя из храма, Юля заметила в глубине обширного двора, у самой стены, небольшое, обнесённое кованой чугунной решеткой кладбище, могилы которого были так не похожи на обычные захоронения монахов, что она предложила Наде, если та не сильно устала, сделать небольшой крюк. Могила



оказалось не больше десятка, на всех — массивные мраморные памятники с изображением совсем ещё не старых мужчин. Могильные плиты отличались размерами, формами, длиной и содержанием выгравированных эпитафий, а также стилем изображения усопших, их объединяло лишь одно: все они хранили память о мужчинах, никто из которых не дожил и до пятидесяти.

— Ой, Юлия Сергеевна, смотрите, одни мужики, — сказала Надя. — И рожи все какие-то... Чего это они тут? На монахов не похожи. Слушайте, а может, это бандиты, — засияла она от собственной догадливости. — Ну, деньги, наверно, на монастырь давали, вот их тут и похоронили.

Юля не ответила, она смотрела на вторую от ограды могилу. Лучше всего художнику удались глаза, — взгляд жесткого хищника, как и тогда, почти тридцать лет назад, сразу приковывал внимание, поскольку никак не вязался с внешностью добродушного интеллигента.

— О, эти, как там их у вас называли, новые русские?

Макс поставил на землю полную канистру, заботливо приобнял Надю за плечи.

— Считали, что с Богом можно договариваться, как с ментами или судьями: дал денег — и все грехи списаны, билет в рай обеспечен. Ну, наверно, хорошо вложились, я тут прочитал, что от этого монастыря при Союзе почти ничего не осталось, руины одни, а теперь вон какую красоту навели. Слышь, мам, пойдём, чего на них смотреть, там академик наш уже, небось, извёлся весь. Ты же знаешь, перед учёным советом он сам не свой — всё речи репетирует.

— Идите, вы всё равно медленно, я догоню.

Одной рукой Макс поднял канистру, другую согнул, чтобы жене было удобно держаться, и, уже разворачиваясь, бросил ещё один презрительный взгляд на могилы.

— Интересно, кто-нибудь из них сделал в жизни хоть что-то по-настоящему стоящее?

Они неторопливо направились к выходу, а Юля всё смотрела в эти глаза, которые когда-то показались ей такими страшными. Она взглянула на дату смерти — примерно полгода после той ночи в Измайловском парке.

— Хоть что-то сделал, — тихо произнесла она, как бы отвечая сыну, потом повернулась и пошла к воротам, постепенно ускоряясь, чтобы не заставлять нервничать своего сварливого мужа.

НИКОЛАЙ ПЕРЕСТОРОНИН



ЗОЛОТАЯ  
ПОДСВЕТКА СУДЬБЫ

\* \* \*

Это родины добрая сила —  
Облака, купола, образа...  
Слишком громко душа говорила,  
И ответили ей небеса.  
Не забудешь минуты святые,  
Покаянно склоняя главу,  
Будто искры летят золотые,  
Осыпаясь листвой на траву.  
Небосвод, словно с проседью просинь,  
Но спрямляя изгибы тропы,  
Разгорается русская осень,  
Золотая подсветка судьбы.  
И останется в памяти чистой  
На развилке российских дорог,  
Как летит угасающей искрой,  
В листопад опоздавший листок...

---

*ПЕРЕСТОРОНИН Николай Васильевич — член Союза писателей России, заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии Правительства России в области печатных СМИ, Всероссийской премии имени русского поэта Николая Заболоцкого, премии правительства Кировской области имени А. И. Герцена, автор 29 книг стихов и прозы, одна из которых — “Некалендарная весна” — признана лучшей поэтической книгой 2018 года и удостоена диплома Союза писателей России. Главный редактор литературно-художественного альманаха “Вятка литературная” и ежемесячного литературного журнала “Ротонда” в Кирове, член правления Кировской областной писательской организации. Живёт в Кирове.*

## ВЯТСКИЕ МАРШАЛЫ

*Выдворенный из Польши памятник  
маршалу И. С. Коневу установили в  
городе Кирове (Вятке), на площади  
Конева в Юго-Западном районе.*

Памятник выдворят — совесть убудет,  
Голос забвения стих.  
Есть чем гордиться, вятские люди, —  
Мы не бросаем своих.  
Мал пьедестал для манёвра и марша,  
Были щедрей на гранит,  
Но и поныне каменный маршал  
За Юго-Запад стоит.  
Вятские маршалы строй поредевший  
Выведут к бою опять.  
Выстоит Конев окаменевший,  
Нам бы ещё устоять.  
После деспорим о рати и жите,  
В чём и когда на парад.  
Вятские маршалы, просто скажите:  
“Больше ни шагу назад!”

\* \* \*

Деревенька сонная в тумане,  
Словно пролил кто-то молоко.  
И плывёт седое, как преданье,  
Облачное слово над рекой.  
Здесь, в краю немногословных судеб,  
Говорливых речек по весне,  
Счастлив тот, кого оно разбудит  
В предрассветной этой тишине.  
Жаворонком вспыхнет в поднебесье,  
И душа усталая поймёт:  
Счастлив тот, кто сложит свою песню  
И во веки вечные споёт.

## СТАНЦИЯ ЗИМА

Сгрудились продрогшие дома,  
Лето обживается несмело.  
В первый раз на станции Зима,  
А она тепла мне пожалела.  
Зябко поднимаю воротник,  
Запоздало всё же понимаю:  
Я к чужому роднику приник,  
Оттого прохладно и встречают.  
Но холодным жажду утоля,  
Возвращаюсь в тёплое пространство,  
За окном Сибирская земля,  
Русского пейзажа постоянство.  
И во всём потворствуя судьбе,  
До того мы на родном речисты,  
Даром, что соседнее купе  
Заняли немецкие туристы.  
Отстают от поезда дома,

Впереди стремительно светает.  
Вот и холод станции Зима  
Понемногу в сердце моём тает.

\* \* \*

Заповедник зимы. Белоснежное царство покоя.  
Сокровенной тиши бессловесная повесть души.  
И не в силах уже одолеть притяженье земное,  
Снег нисходит с небес и назад уходить не спешит.  
В целом мире весна наступила по солнечным срокам,  
Нерастраченным дням снег ведёт свой особенный счёт.  
Он в молчанье своём так светло говорит о высоком:  
Просто смотрит в окно или рядом с тобою идёт.

### ВОЛОГОДСКИЙ МОТИВ

В полуночной Вологде ветер стихает,  
И белая церковь видна из окна.  
Мне кажется, что и душа отдыхает,  
Хранима Всевышним на все времена,  
Но запертый воздух холодного крова  
Рванётся наружу, знакомый до слёз,  
И каменный шарфик на шее Рубцова  
Затянет потуже крещенский мороз.

НАТАЛЬЯ РОМАНОВА-СЕГЕНЬ



## ВЕЛИКИЙ СТЯПЧИЙ

РОМАН

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Летним вечером в казино Монте-Карло вошёл respectableный господин лет сорока. Он был настолько хорош собой, подтянут, элегантен и даже аристократичен, что, казалось, люди и животные на картинах — и те повернули головы в его сторону.

Гость небрежно огляделся по сторонам. Обстановка вестибюля ему явно не нравилась, помпезность не впечатляла. Сияющее золотом убранство дворца оставляло равнодушным его обычно живые блестящие глаза. Это читалось по брезгливо-надменному выражению барственного лица.

Внутренне ухмыльнувшись, вышколенная работница казино, с важным видом сидящая в окошке слева от входа, взяла в руки паспорт заносчивого господина.

— Русский? — подивилась она этому обстоятельству, внимательно взглянула на гостя и улыбнулась отнюдь не дежурной улыбкой: — Добро пожаловать, мсье.

---

*РОМАНОВА-СЕГЕНЬ Наталья Владимировна родилась в селе Леуши Тюменской области, окончила Уральский педагогический университет по специальности “социальный работник”. Член Союза писателей России. Публиковалась в журналах “Смена”, “Юность”, “Литературная учёба”, “Наш современник”, “Простор”, “Север” и многих других. Лауреат премий “Русский позитив” Российского Фонда мира, “Патриот России” Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, историко-литературной премии “Александр Невский” и других. Автор книг “Гефсиманский сад”, “Рецепт хорошего настроения”, “Крестовая дама” (вышла под названием “Елизавета Фёдоровна. Земная и небесная”), “Повелитель камней”. Живёт в Москве.*

Господин с дольчатыми глазами, то бишь, внешние уголки которых располагались ниже внутренних, повертел в руках входной билет ценой в десять евро и небрежно сунул его в карман брюк.

— Приступим! — вслух сказал он и, сложив ладони лодочкой, будто в молитве, тотчас потёр их одну об другую.

К середине девятнадцатого века экономический кризис довёл княжество Монако до банкротства, и тогда правящая династия Гримальди открыла игорный дом в Монте-Карло, ставший со временем знаменитым на весь мир и дойной коровой для бюджета монте-карликовского государства. Кого в этом казино только не было...

— Делайте ваши ставки, господа! — произнёс традиционную фразу крупье за столом, где играли в европейскую рулетку.

В первом раунде эlegantный гость из России сделал ставку на комбинацию двух чисел — сплит. Сработало. Во втором — внутренние ставки. И тоже успешно. Вскоре на его выигрыши уже стали обращать внимание.

Весь вечер он то выигрывал, то проигрывал. И всё-таки с большим плюсом в кошельке покинул заведение под утро.

Все следующие вечера недели со вторника по воскресенье он провёл в казино, выиграл внушительную сумму и стал новой легендой заведения. Когда он явился вечером в воскресенье, все ринулись посмотреть, как и сколько он снова отхватит. Что ж, и в это вечер ему снова везло, да ещё и больше, чем в предыдущие. Все восторгались и при каждом новом выигрыше аплодировали русскому.

— Кто этот счастливчик? — наконец, не выдержал Борис Березович, российский магнат. Ему сегодня не фартило.

— Какой-то русский, — ответили богачу.

— Да? Однако. Интересно, интересно... — Березович даже вышел из вип-зала.

— Интересно ему, — фыркнул вслед Березовичу его компаньон Крылов. — Как шнурок на ботинке, во все дырочки влезет.

Тем временем Березович подошёл туда, где играл везучий соотечественник, и стал его беззастенчиво изучать. Вспомнил:

— А! Так это Рогачёв! Новый адвокат Могилевского. Так ему же сам чёрт помогает. Такие дела повернул...

И Борис Борисович подошёл к везунчику. Тот, выиграв в очередной раз, сидел довольный, откинувшись на спинку стула. При виде Березовича, шедшего явно с ним поздороваться, встал.

— Поздравляю! — протянул ему руку олигарх. — Будем знакомы. Борис.

— Борис, — ответил Рогачёв, пожимая руку всемирно известного богача. — А ещё говорят, вы не интересуетесь азартными играми.

— Не интересуюсь, — кивнул Березович. — А я гляжу, вам везёт не только в адвокатской деятельности.

— Да уж, чёрт знает, что такое, — засмеялся адвокат.

— Однако помните, кому в игре везёт, тому в любви, сами, знаете, что...

— Вот я как раз и собирался больше не разорять заведение. — Рогачёв нахмурился, и Березович смекнул, что надавил на больную мозоль рулеточного счастливчика.

— Мы с вами тётки...

— Только вы Борис Борисович, а я Борис Андреевич.

— Так вот...

К магнату подошёл Крылов, сказал тому что-то на ухо.

— Жаль, — цыкнул зубом Березович. — Хотел угостить вас бокалом вина. Держите. Захотите у меня поработать... — И он сунул адвокату то, что мечтали бы получить тысячи других адвокатов. Визитную карточку. На которой значилось совсем немного — фамилия и цифры одного-единственного телефонного номера.

У памятника Людовику XIV, вечно сидящему на своём коне в вестибюле отеля "De Paris", Рогачёв увидел китайца, который сегодня на его глазах в пух и прах проигрался. Китаец стоял напротив короля и плакал. Жалобно,

по-детски. И в то же время как-то особенно, по-китайски. Рогачёв услышал, как сквозь рыдания китаец пробормотал:

— Жену, жену!..

Ему стало вконец жаль его, и он подошёл ближе. Китаец устыдился своего плача, глянул на русского, который любезно протягивал ему свой носовой платок.

— Жену? — спросил Рогачев.

Оказалось, китаец хорошо говорит по-французски, правда с некоторым смешным акцентом — вместо “р” всюду чётко говорил “л”. К примеру, “beaucoup d’argents” (много денег) он произносил как “боку далжан”, будто он кому-то в Баку задолжал. А слово “жену” оказалось коленкой — “genou”:

— Тёр-тёр колено этому животному, а всё зря!

— Какому животному? — не понял адвокат.

— Вот этому! — вскричал китаец, кивая в сторону коня, на котором восседал Людовик. — Мне сказали, что если потрёшь коня за колено, выиграешь!

— Я никого не тёр, — ответил Рогачёв.

— А я в полном дерьме... — всхлипнул китаец, говоря вместо “merde” — “мельд”. — Деньги не мои. И ничего мне не остаётся, как повеситься на собственном языке! — И он высунул далеко вперёд свой язык, длинный, как у хамелеона.

Утешать мужчин Борис Андреевич не умел. Он немного постоял возле плачущего китайца, а потом, кинув взгляд на облезлое колено бронзового коня Людовика, поставил на пол перед китайцем барсетку. Тот не обратил на это внимания. Тогда Рогачёв ногой пододвинул барсетку ближе к китайцу и тронул его за плечо.

— Возьми, — сказал он.

Китаец недоуменно нахмурился:

— Что это?

— Деньги. Возьми себе.

Китаец быстро поднял барсетку и заглянул в неё, как в пропасть или в вечность. Увидел, что там много.

— Здесь больше, чем я проиграл. Нет, не могу. Я лучше повешусь. Мне нечем будет отдавать. Ты же с процентами даёшь?

— Нет. Бери. Навсегда.

— То есть и отдавать не надо? — Китаец округлил глаза.

Рогачёв покачал головой.

— Почему? Я твой раб отныне?

— Хватит молоть чепуху, — сказал Рогачев по-русски.

— Ты тот русский, который много выиграл. Я видел. Завидовал тебе.

— Радуйся, что есть русские, — сказал Рогачёв и собрался идти в свой номер.

— Да здравствуют русские! — Китаец подпрыгнул и кинулся обнимать Рогачёва, которому был по грудь.

— Прощай. — Рогачёву надоело быть добрым ангелом, и он зашагал прочь.

— Постой! — окликнул его китаец.

— Что?

— Слушай, русский! Теперь у тебя мало денег, а у меня много. Я хочу тебя угостить!

Тёмной ночью на берегу моря под светящимися огнями Монте-Карло двое в лоскуты пьяных пили из горла коньяк и по очереди откусывали от огромного батона сыровяленой колбасы, за свою перчённость имеющей название “язык дракона”.

— Ты отныне мой брат, — говорил китаец, чувствуя, что из его французского словарного запаса слова высыпаются, как из худого мешка, и нужно успеть их сказать русскому. — Нет, отныне ты мой отец!

— Как Мао? — смеялся русский.

— Даже больше, чем Мао! — отвечал китаец и, хоть и был в стельку пьян, оглянулся по сторонам, по привычке боясь таких слов про Великого Кормчего.

— Сталин и Мао — дружба навек! — запел русский по-русски и не стал с испугом оглядываться, поскольку родился уже после смерти Вождя Народов. — Эх, черт! Не знаю слов. Да и музыки не знаю. А ведь была такая песня.

— Я не понимаю по-русски, — сказал китаец.

— Да и не надо, — продолжая говорить на родном языке, ответил русский. — Пей коньяк, ешь колбасу... С неё, кстати, всё начиналось. Первым делом Бог создал колбасу. Потом добавил к ней небо и землю. И увидел Бог, что это хорошо...

Постановили: уничтожить храм благоверного князя Александра Невского. Запланировали: на его месте построить колбасный цех. Да и кому нужен храм в Юровске, городе со славными революционными традициями? Нескольким богомольным старушенциям, которые приходят в него облобызывать старые иконы, да вдове, молящейся за упокой раба Божьего Иоанна, погибшего на войне. Сколько ей ни грозило начальство на работе, а она знай себе ходит и ходит в эту церковь. Когда-то много вдов ходило сюда, но — то ли поумирали от тоски, то ли замуж повыходили, а может быть, и крепкого нагоняя получили на работе от вышестоящих.

— Не в тридцатые живём! — бубнили противники сноса храма, но осторожно, тихонько, в кулачок.

Это на поганом Западе, чуть что, так сразу демонстрации, а здесь — никаких волнений со стороны населения, и тем не менее почему-то решили храм оставить. А колбасный цех поместить прямо в нём.

Начальником колбасного производства назначили Андрея Ефимовича Рогачёва. Фронтвик, после войны работал адвокатом, а затем перебрался в горисполком. Полученной должности он не был рад, хотя место хлебное. Точнее — колбасное.

К старшему брату Михаилу Андрей приходил не с пустыми руками.

— Угощайтесь! — выкладывал он на стол разные колбасы.

— Убирай, Андрей! — каждый раз закипала Нюра, жена брата.

— Ну, ты, мать, даёшь. Как убирай?! Это же колбаса. Или подослепла?

— Бога-то побойся. И не мать я тебе.

Андрей брал нож и щедро нарезал колбасу толстыми кружками. Михаил тем временем лез в комод за водкой. Нюра только качала головой и доставала из погреба огурцы и капусту, тем её муж, убожавшийся жены своей, и закусывал. Колбасу же, произведённую в стенах бывшего храма, ел гость. Ел и нахваливал.

Вообще-то братья жили дружно. Их осталось только двое из пятерых. Трое, что родились между Михаилом и Андреем, сгнули на фронтах. И если Михаилу повезло в личной жизни, то младший этим похвастаться не мог. Была у него когда-то жена. Звали Татьяной. Красивая, эффектная, всегда при причёске. Правда, чуть хромала на одну ногу. Война покалечила, а изуродовать не смогла. Они познакомились в сорок девятом. Поначалу у них всё хорошо складывалось. Только детей долго не было. Наконец, на свет появился мальчик — Борис.

В один не прекрасный день Татьяна заявила, что уходит от Рогачёва к Васнецову, с которым Андрей Ефимович когда-то работал в Юровском горисполкоме. У них, дескать, любовь, и уже давно. Рогачёв возражать не стал, подумал только, что фамилия его пришлась кстати. Зато стал выпивать, и частенько. А когда назначили на колбасную фабрику, так вообще не просыхал каждый вечер. Пил помногу, но не буянил и людям не докучал. Закрывался у себя в однокомнатной квартире и пировал вдоволь. Только один раз позволил себе ударить соседского мальчишку.

На фронте Рогачёв был отважным политруком, всегда первым бросался в атаку, увлекая за собой бойцов.

— Подумаешь, пол-литрук, — однажды протянул юнец, слушая рассказы о войне дяди Андрея Рогачева, когда тот однажды пил с его отцом водку на кухне. И тут же резкая челюстная боль, от которой потемнело в глазах, затмила белый свет. За всех политруков страны, погибших на



войне в огромном количестве, потому что они, подавая пример, первыми поднимались на врага.

— Своего бей! — заступился сосед за сына. — Или теперь его новый папа воспитывает?

— Да пошёл ты... — сказал изрядно пьяный Рогачёв, после чего встал со стула и твёрдой уверенной походкой вышел из кухни.

С сыном Андрей виделся нечасто. Они расстались с Татьяной, когда Борису исполнилось три. Нет, Васнецов его не усыновил, да и Рогачёв не позволил бы, но всё-таки отчим смог заменить мальчику отца. Хотя Боря знал и понимал, что Рогачёв Андрей Ефимович его отец, он тем не менее относился к нему просто как к хорошему доброму дяде. И с удовольствием кушал колбасу, которую тот приносил.

— Хорошо, что бывший работает на колбасе, да ещё в начальстве ходит. Хоть толк от него какой-то, — говорила мужу Татьяна, когда закрывала дверь за Рогачёвым.

— Как бы мы не пострадали от его колбаски, лапочка, — опасливо поглядывая на свёртки, осторожничал законный муж.

— Да брось ты! Он весь горком партии кормит этим продуктом. Тебе ли не знать?

Конечно, Васнецов всё прекрасно знал, потому как сам работал в этом горкоме, куда перешёл недавно из горисполкома.

Рогачёв-младший рос очень общительным. В школе — круглым отличником. Сначала активист-пионер, потом активист-комсомолец и даже секретарь комсомольской организации школы. Его уважали, его слушались, с ним хотели дружить. Яркую внешность унаследовал он от матери. Рослый, подтянутый, спортсмен, к тому же с подвешенным языком, остроумный Борис пользовался оглушительным успехом у девушек. Даже молодые учительницы заглядывались на него. Он был галантен, красиво ухаживал, в отличие от его сверстников, давая почувствовать каждой замухрышке, что она дама. В общем, являлся кумиром для многих школьниц.

Школу окончил с золотой медалью. На семейном совете приняли решение — будет поступать в юридический. И попробуй ослушаться, останешься без денежного довольствия. А деньги Борис любил и мечтал их зарабатывать тоннами.

С отцом он виделся по-прежнему изредка и с большой неохотой. Андрея Ефимовича уже сняли с должности. Да и сам колбасный цех перенесли в только что отстроенное здание, а в бывшем храме теперь разместился кинотеатр. Вот там и работал Андрей Ефимович, только он теперь здесь не командовал, а отрывал корешки на билетах у входа. И, как всегда, пил.

— Здравствуй, сынок! — Билетёр пожимал руку сына своей нетвёрдой рукой.

— Здорово, старик! — Борис по-отечески напоказ обнимал отца.

— Это кто? — как-то спросили его, когда они компанией пришли в кино впервые.

— Материн первый муж, — небрежно ответил Борис.

Желания общаться с отцом у него не осталось. Неудачник. Жену от него увели. Был начальником, скатился до билетёра, пьёт. За что такого уважать? И тем не менее Борис прописался в квартиру отца.

— Конечно, сынок! — согласился Рогачёв, когда тот сам предложил оформить прописку.

В четырёхкомнатной Васнецовых комната Бориса была самой просторной, но это же не отдельная жилплощадь!

А недавно их домработница видела Рогачёва:

— Не протянет он долго, Татьяна Валентиновна, не протянет.

— Почему ты так решила, Катюша?

— Уж больно плохо выглядит.

— Так он последние лет пятнадцать плохо выглядит, и что с того?

— Ну, не знаю я, Татьяна Валентиновна. Серый он весь, словно пылью покрыт. Не протянет долго, уж точно.

“Вот бы!” — промелькнуло у Бориса, слышавшего разговор матери с домработницей, но он тут же осёкся. Да и чего отцу умирать? Лет-то всего ничего. Под шестьдесят. Правда, выглядит плоховато для своего возраста. Так пить надо меньше.

Слова домработницы оказались пророческими. Рогачёв прожил ещё всего каких-то несколько месяцев.

Стояли тёплые осенние деньки. Борис перешёл на второй курс юридического. Жизнь радовала. Лето прошло на “ура!” Он с друзьями съездил в Крым, хорошо провёл время с девушкой по имени Настя. Ничего ей не обещал, да и она не ничего не ждала от него, поэтому на душе при расставании было легко, особенно у Рогачёва.

Однажды Борис пришёл из института домой.

— Доедать будешь? — спросила домработница.

— Сколько раз тебе говорить: не доедать, а есть! Что за дурацкое “доедать”!

— Хорошо, есть.

— Завтра на картошку, — сказал Рогачёв, уплетая котлету по-киевски.

— И ты поедешь?

— Ну, ты даёшь! Что за вопросы?

— Я было подумала...

— Что подумала?

— Что незачем тебе туда.

— Это ещё почему? — Борис оторвался от еды, но Катюша не успела ничего ответить. Она рысью метнулась к зазвонившему в прихожей телефону.

— Борис, к телефону просят.

— Катюша, скажи, что занят. Попозже перезвоню. Узнай только, кто.

— Это из морга.

Из морга? Борис моментально выскочил из-за стола. Что случилось? Мать? Только бы ошиблись номером.

Он выслушал всё, что ему сказали в трубке.

— Боренька, что случилось? — встревоженно спросила Катюша.

— Какой я тебе Боренька!

Катюша, поджав губы, ушла на кухню. Она работала в семье Васнецовых уже восемь лет и никогда не видела Бориса таким раздражённым.

— Доедать будете? — перешла она с ним на вы.

— Да не доедать, а есть! — в бешенстве закричал Борис. — Сколько раз повторять можно? Доедать будешь ты, а я есть. Что непонятного?

Катюша, сорвав передник, утопая в слезах, выскочила из квартиры.

— Обувь забыла, дура, — прошипел Борис, а затем лёг на диван и закрыл глаза.

На похоронах отца он, как и полагается, выглядел удручённым. Его подбадривали друзья, мол, ну, что поделаешь, старик, крепись, дружище...

Борис же старался по-честному отгонять от себя мысли о квартире. Потом будешь думать о ней! Имей совесть. Отец же!

Проводить в последний путь Андрея Ефимовича Рогачёва пришло много народу. Почти никого из тех, кто присутствовал, Борис не знал. Люди со скорбными лицами стояли у гроба, делали печальные глаза и произносили душещипательные речи. Неужели они все так искренне расстроены? Странно даже. Собравшиеся говорили ему, какой у него был замечательный отец, как его любили люди, как он любил людей. Борису было приятно, ведь никто даже и не вспоминал, что, кроме людей, Рогачёв любил водочку.

В один из моментов Борис сидел, погружённый в свои мысли, и поначалу даже не заметил, что остался с отцом наедине. В первое мгновение ему стало не по себе, словно предстоял важный и откровенный разговор. Он, не отрываясь, смотрел на отца. А в гробу-то выглядит краше, и пыльный цвет куда-то исчез. “Ну, вот и всё, сынок”, — вдруг у себя внутри услышал голос Борис. “Приехали! Сам с собою разговариваю”, — и Рогачёв-младший торопливо вышел из комнаты.

Когда гроб с телом опускали в могилу, какая-то женщина рыдала во весь голос. Борис смотрел на неё и думал: кто она? Кто может так убиваться по отцу? Точно, не родственница. Хотя Борис и не общался с родственниками отца, визуально знал их. Вон брат его стоит, сжимая кепку. Молчаливый таковой, хмурый. Михаилом Ефимовичем звать. Рядом с ним поленькая, невысокого роста моложавая жена, тетя Нюра, кажется. Погодки Ваня и Лена — их дети, которые приходятся Борису двоюродными братом и сестрой. А они ничего, с виду приличные! Ванька умник на вид, а Лена так просто красавица. Ваня в этом году окончил школу, Лена в десятом. Когда Борис учился вместе с ними в одной школе, они виделись частенько, но просто здоровались и проходили мимо. Кто ещё здесь из родственников? Трое братьев отца погибли во время войны. На двоих пришли похоронки, а Николай пропал без вести. У него, у дяди Коли, осталась жена и сын Витька Рогачёв, тоже его, Бориса, двоюродный брательник. Родился накануне войны, значит, ему за тридцать. А выглядит хреновато. Наверное, тоже пьёт.

Ещё были двоюродные братья и сёстры отца, их дети. Но с ними Борис был мало знаком, кого-то только видел на фотографиях. Да и сам отец, наверное, с ними немного общался. Так что нечего вам, родственнички, корчить из себя скорбящих при кресте.

Кто была эта женщина, Борис так и не узнал. На поминках её он не видел. Кстати, его мать и Васнецов сразу же после похорон уехали в аэропорт. У них давно намечался отдых на сентябрь в Мисхоре, и билеты куплены были заранее. Да и вообще, мать с отцом уже пятнадцать лет не живут вместе, и пусть только кто-нибудь попробует про неё здесь что-то нехорошее сказать.

На поминках Борис выпил изрядно. А выпивал он с дядькой — дядей Мишей и его сыном Ваней. Ваня, правда, окосел рюмки с третьей, а дядьку не брала ни одна бутылка. Борис и сам не заметил, как очутился у них дома. Раньше он был у них всего один раз, когда им дали квартиру, и Рогачёвы всем семейством переезжали из своего старого дома. Отец Бориса помогал брату выгружать вещи, а Боря играл с ребятишками. Да и давно это было, лет десять назад.

Борис с дядькой долго не могли уснуть. Разговаривали, разговаривали, разговаривали, он даже не помнил, о чём конкретно. Хотя разговоры серьёзные. Несколько раз приходила тётя Нюра и стыдила мужа.

— Дай Борису-то поспать. Ну, такой трудный день был у ребёнка.

— Какой же он ребёнок? — возмущался дядька. — На втором курсе института! Да его отец в его годы...

— Ага, полком командовал. Марш спать, я говорю! — сердилась тётя Нюра и уходила.

Дядька Борису определённо нравился. Крепкий, приземистый, не то, что его субтильный отец. Да и горячей крови в дяде Мише поболее будет, хотя при этом довольно сдержан. И силища в нём чувствуется какая!

Наутро у Бориса голова, словно ею долбили лёд. Возле кровати — тазик. Уф! Хорошо, что пустой. Он припомнил, что его мучило, когда ложился спать, и заботливая тётя Нюра поставила этот большой алюминиевый таз. Рядом на полу храпел дядька. На кухне уже кто-то шебаршился. Борис мысленно охватил вчерашний день и то, чем он был знаменателен. Его вдруг охватила такая тоска, что защемило сердце. Он вспомнил портфель, который ему подарил отец. Классный портфель. Правда, сносил ему не было, и где-то уже к середине второго года подарок Борису сильно поднадоел. Он даже специально прорезал его ножиком, чтобы купили другой.

Проснувшись, они все вместе ходили на кладбище к отцу, и дядька спросил брата:

— Ну что, Андрюша, как спалось на новом месте?

Потом они ещё не раз его помянули, покуда дядя Миша не опьянел. Проснувшись, Борис отправился осматривать отцову квартиру.

Он открыл дверь ключом и вошёл. Темно. Нащупал на стене выключатель и зажёл свет. Зеркало в прихожей, как и положено, занавешено. Борис редко бывал у отца, и никогда ему не доводилось находиться в квартире

одному. Он прошёл в комнату. Открыл шторы. Комната налилась сентябрьским солнцем. Борис оценивающе посмотрел вокруг. Хорошая вообще-то хата у отца. Просторная. Потолки высоченные. Голову заирать приходится. Люстра-то какая помпезная! Хрустальная. Её подарили отцу на какой-то юбилей. Давно ещё. И Борис, будучи маленьким, боялся этой люстры. Ему всё время казалось, что она свалится с потолка и обязательно на голову. А мебель простенькая. Впрочем, так было во все времена. Ничего не изменилось, ни убавилось, ни прибавилось. Отцовская квартира всегда напоминала Борису неухоженный, заброшенный яблоневый сад. А сейчас и ябллок-то нет в этом саду...

Он прошёл по квартире. Теперь она принадлежит ему. Ремонт надобно сделать. Обстановочку поменять. Но это чуть позже. Главное, у него есть отдельное от родителей жильё. И друзья будут приходиться без особой робости, и девчонок можно будет сюда таскать, и вечеринки устраивать. Вот жизнь-то начнётся! Вольностуденческая! Наследник откинулся на спинку дивана, раскинул руки и стал мечтать о будущем. Эх, выпить бы сейчас за свои роскошные мечты. Может, поискать, вдруг что-нибудь да отыщется.

Рогачёв заглянул во все шкафы, обшарил комод, сервант — ничего. Может, куда-то запрятана? Думай, куда. Хотя зачем отцу было прятать? От кого скрываться?

Бутылку “Столичной” он нашёл в пиджаке отца, висевшем в прихожей на вешалке.

— Початая.

Видимо, отец её начал пить не дома. Скорее всего, это то, что он выпил незадолго до смерти. Один глоток отпит. Не отравил ли? Борис подозрительно уставился на бутылку. Рассмотрел со всех сторон. Открыл. Понюхал. Водка как водка.

— Да нет! — успокоил он себя. — Не отравил.

К тому же отец умер от сердечного приступа, а не отравился спиртным. Вышел из квартиры, позвонил соседям, что-то хотел сказать, но схватился за сердце и упал. Хорошая смерть, быстрая и не мучительная.

Борис достал из серванта стопку. Протёр манжетой рубашки. Налил водки и махом выпил.

— За тебя, отец, — проглотив, сказал он.

Странная какая-то водка. Пьётся легко. Как вода.

Борис ещё налил стопку и снова выпил. Нет, правда, как вода. А пахнет водкой! Может, в бутылку из-под водки специально воды налили. Зачем? Ну, чтобы отец пил воду, думая, что водку. Кто? Нет, это водка, просто не берёт она его сегодня.

— Так стресс какой! Вот и не берёт. Шутка ли — похоронить отца.

Борис снова налил и выпил. Резко захотелось есть. Да, закусить бы не помешало. Он поискал еды на кухне, но ничего, чем можно было бы заесть горькую. Одни крупы, ну, не варить же кашу! Придётся пить без закуски, а выпить ещё хочется.

Борис выпил. И ещё. Нет, это всё-таки водка. В голове приятно шаяло. Когда наливал очередную, в дверь позвонили.

На пороге стоял пожилой мужчина. Кажется, он его уже где-то видел. На похоронах вроде бы мелькнул.

— Здравствуй, Борис. Я к тебе.

Незнакомец прошёл в комнату и сел в кресло. Наверное, знакомый отца, ведёт себя так, словно сто раз бывал здесь.

— Помянем? — кивнул Борис на полупустую бутылку, удивляясь, с каким трудом ему даётся родная речь.

— Да тебе, кать, самому тут нечего уже пить.

— Так будете или нет? За отца!

— Пей. Я воздержусь.

— А я нет! — Борис вновь налил себе и хмуро посмотрел на гостя. — За отца! — Рогачёв опрокинул в себя водку.

— Без закуски, — поморщился незнакомец.

— Нету.

— Колбасы хочешь?

Гость достал из кармана кусок колбасы. Борис хмыкнул, освободил колбасу из целлофановой плёнки и, поднеся к носу, вдохнул её запах.

— Запах детства... Отец всегда, когда пр-ходил к нам, пр-носил колбасу. Он — начальником колбасного цеха. Знаете, н-верное.

Незнакомец кивнул:

— Я, кать, всё про твоего отца знаю.

Странная манера — вставлять некое “кать”. Понятно: “так сказать” сокращённо.

— Так уж всё? — Борис поднял бровь и попытался сосредоточиться, чтобы разглядеть гостя, который виделся ему в какой-то полупрозрачной целлофановой плёнке. Кто это вообще такой? Чо надо?

— Вот видишь, кать, дождался квартиру.

— И чо? — Борис недобро посмотрел на гостя и подметил, что у того волосы крашеные. Ни единого седого волосочка. А лет-то, поди, за шестьдесят.

— Ничего, кать. Так просто, обыкновенная история. М-да, кать...

Борис ещё налил водки. Бутылка нескончаемая!

— Чо хотели? — Голова Бориса болталась в разные стороны.

— Хорошая квартира. Теперь, кать, заживёшь тут в своё удовольствие.

— Хотели-то чо?

Незнакомец ответил не сразу. Наконец медленно и внятно произнёс:

— Будешь моим стряпчим.

— Кем?

— Стряпчим.

— Чо за хрень?

“А где крашенный?” — первое, что пришло на ум Борису, когда он проснулся. В кресле никого не было.

— Вот чёрт! Я и не помню, как он ушёл.

Голова болела нещадно. Ну и назююкался же вчера! Никогда так не напивался.

Фу-у-у, и как её пьют, эту водку, днями! Надо срочно привести себя в порядок. Завтра ехать в Старовойтово на картошку.

Зачем приходил крашенный? О чём они говорили? Чего он хотел? Борис никак не мог вспомнить разговор. А вообще, приходил ли кто? Может, померещилось с пьяных шахмат-то? Конечно, приходил! Неужели уж он вчера совсем потерянный был, что не помнит, приходил кто к нему или нет. Хотя... может и приснилось. Борис до конца так и не мог понять, был ли кто у него в гостях или нет. Был — не был, пить надо меньше!

Рогачёв всё раннее утро трясся на попутках, пока не показалось село Старовойтово. Приехал до того, как студентов вывезли в поле на сельхозработы. Они жили на окраине села в бараках, но так называть эти помещения запрещалось, величали продуваемые дома из подгнивших досок корпусами.

Однокурсники, едва завидев Рогачёва, бросились сочувствовать ему на разные голоса.

— Да всё нормально, братцы, всё путём. Спасибо вам, хорошие мои, — с неловкостью в тоне отвечал Борис. — Ну, а вы как тут устроились?

— Поначалу не очень-то показалось, особенно в первый-второй день, — жаловались девчонки, — никакого комфорта, а потом вроде бы ничего. Весело!

— А как насчёт досуга?

— Самогон ядрёный!

— Да я, братцы, про культурные мероприятия, — засмеялся Борис, — и пить-то к тому же не могу больше. Недавно до чертиков... Еле-еле отошёл. Думал, сдохну.

— А насчёт культурных вмеруприятий — всё зашибись! Танцы по вечерам.

— Местные девочки. Тоже ядрёные, как самогон. И доверчивые-е-е! Очаровать местную простушку не составит труда, особенно для тебя, Борька!

— А сеновал, какой мягкий и душистый!

— Только деревенщина местная лютая.

— Я смотрю, вы тут обжились за пять денёчков-то, — смеялся Борис. — А насчёт труда поподробнее, плиз.

— Трудиться приходится... — в голосе одного из уборщиков картофеля уже не слышалась столь бурная радость, — как говорится, урожаи растут, а рабочих рук катастрофически не хватает! Работаем за семерых.

— Ага, — возмутились студенты, — скажешь тоже, Колян, за семерых он трудится! Как бы не так! Ходит по полю, нога за ногу запинается.

— О, я теперь понял, что за особая миссия у меня, — вскинул руки Борис, — меня к Коляну в помощь прислали!

— Бригадир, бригадир, чёрная фуфайка! Сам картошку посадил, сам и убирай-ка! — пропел Колян частушку.

Работать Борису нравилось. Быть лидером, так во всём, включая и уборку картошки. Стоните, замерзайте, жалуйтесь, плейтесь при жареной картошке на обед и варёной на ужин, — ему это нипочем. Месяц работы на уборке картофеля так же неизбежен, как крах империализма, чего тогда ныть, стонать и жаловаться?

К тому же у него появилась пассия из деревенских. Конечно, свои девочки ему, красавчику и весельчаку, не давали прохода, но на то они и есть свои — примелькались уже.

Тоня. Скромная, хрупкая и таинственная. Она понравилась Борису в первый же день на танцах, и он, было, пригласил её, как только заиграла медленная композиция, но девушка, к его сильному удивлению, отказалась. Чуть позже Рогачёв узнал, что Тоня не танцует никогда. У неё с рождения одна нога короче другой, на танцы она ходила от скуки — за компанию с подружками. Борис чувствовал, что нравится Тоне. При его взгляде на неё девушка опускала глаза, но украдкой посматривала на рослого красивого студента, который от души веселился с друзьями-однокартошниками.

Недолго пришлось Борису обихаживать местную недотрогу. То ли никто за ней так умело не приударял, то ли она и впрямь подумала, что это любовь единственная и навсегда, а может, из-за своей неполноценности никогда и не была обласкана мужским вниманием. В общем, через несколько дней все только и судачили о Тоне и Борису.

— Ну, ты, Борька, и дурак! Такие девахи на тебя виды имеют. А ты? Деревенскую да покалеченную... Дело твоё, конечно...

— Она его приворожила, — огорчались девушки, — в деревнях столько ещё колдуний осталось.

Но Борису действительно нравилась Тоня. Нет городской наглости, острого намётанного девичьего глаза с мыслями кого бы подцепить получше. Искренняя, нежная, романтичная. А нога? Да, нога. Ну и что, что нога? У него у самого мать хромает на одну ногу с войны. Им хорошо с Тоней вместе, а это главное.

От бурных ночных дежурств с Тоней Борис не высыпался. В поле девушки собирали картофель в ведра, а задача ребят была уносить эти ведра к машине и сгружать в мешки. Борис засыпал на ходу, когда шёл с полными ведрами.

— Борька у нас по ночам работает.

— Ему надо ночные разнарядки давать!

— Да ему Тоня разнарядки даёт.

Однажды просто упал на мешки возле поля и уснул. Его не тревожили, понимали, что значит хорошо проведённая ночь. И если студенты прощали спящего Рогачёва, то одной из колхозных тёток, отличавшейся от других повышенной сознательностью, этакое спанье пришлось не по душе.

— Чо разлётся? — наклонилась она над спящим.

Борис оторвал голову от мешка, посмотрел на неё невидящим взглядом и снова уронил голову.

— Нет, вы только посмотрите, какой наглец! Вставай, говорю! Девки вкальвают, корячатся сверху задом, а ему хоть бы хны! — и она вновь принялась тормошить спящего студента.

— Хватит орать, ведьма, — еле открыл Борис глаза, — дай поспать.  
— Ведьма! Вы слышали? Ведьма! Да у меня грамота из города есть! Да я на Доске почёта! Тунеядец! Паршивец!

— Иди на хрен! — зевая, сказал Рогачёв.

Та аж задохнулась от возмущения.

— На хрен? Он меня на хрен! Меня! Да я! Да я всё пойду расскажу вашему бригадиру! Как твоя фамилия?

— Моя?

— Ну, не моя же!

— Пенис.

— Как?

— Пенис.

— Латыш, что ли? Ну, Пенис, ты у меня сейчас быстро проснёшься! — и она стремглав понеслась в штаб к картофельному бригадиру.

Тот сидел, спокойненько уткнувшись в какие-то бумажки.

— Вот ты тут восседаешь, — с порога закричала колхозница, — а Пенис у тебя не работает!

— Чего? — опешил бригадир. — Почему это он не работает?

— А ты у него спроси! Девки корячатся, кверху задом стоят, а Пенису твоему хоть бы что! Вальяется.

Бригадир помолчал, украдкой глянул на штаны.

— Вам-то откуда знать?

— Откуда, откуда! Видела! Своими глазоньками! Да и не одна я! Все, все видели, как он лежит спит! Ещё и на хрен меня твой Пенис послал! Если он сейчас же на работу не выйдет, я ему голову оторву!

Борису был, конечно, нагоняй от начальства за такую выходку, но не сильный. Всё-таки побаивались его родителей, и то, что не позволялось простому смертному студенту, прощалось пасынку самого Васнецова. Зато студенты потом много раз со смехом вспоминали эту историю, поражаясь находчивости и озорству Рогачёва.

В один из уборочных дней в колхоз позвонили из горисполкома, а следом пришла телеграмма на имя Бориса. Татьяна Валентиновна, приехав с югов, занемогла. Видимо, на неё так сильно подействовала жара. Она лежала в больнице, и картофельному начальству поступил приказ отпустить студента Рогачёва домой. Даже колхозную машину выделили. Борис всю дорогу нервничал и сразу же по приезде в Юровск, не заходя домой, поехал к матери.

— Что с ней? — первым делом спросил у врача.

— Был гипертонический криз. Осложнённый.

— То есть?

— То есть чрезвычайно высокое давление.

Сына провели в палату. Татьяна Валентиновна, блее его халата, несмотря на южный загар, лежала под капельницей.

— Мама! — кинулся Борис к матери. — Что случилось?

— Плохо мне, сыночек, ой, как плохо...

Бориса и Васнецова возил в больницу к Татьяне Валентиновне личный водитель отчима дважды в день. А в перерывах Борис навещал друзей, дядьку, с которым сходил на кладбище к отцу, и всё это время он не переставал думать о Тоне. Она снилась ему, звала его. Он во снах бежал ей навстречу, но падал и просыпался. Не терпелось уехать обратно в Старойтово. Мать уже пошла на поправку, давление стабилизировалось, сама попросилась домой.

— Ма, я завтра обратно, — сказал Борис за ужином.

— На картошку?

— Угу.

— Побудь ещё немного. Да и зачем тебе эта картошка? Ведь можно без неё обойтись.

— Танечка, пусть поработает, если ему так хочется, — поддержал Бориса Васнецов, — к тому же у них там весело, студенческая жизнь, романтика!

— Какая там романтика? В земле да грязи копошиться?

— Танюша, это только повод, чтобы туда поехать. А так, наверное, танцы, девочки, звёздное небо. Ах, да! Деревня ведь, ещё и сеновал!

— Какой сеновал? — Татьяна Валентиновна, не мигая, смотрела на мужа.

— Таня, ну, какой, какой. Деревенский, вот какой, — засмеялся Васнецов. — Парень-то у нас не ребёнок, так ведь, Борис?

— Ага! — опустил себе в рот ложку с земляничным вареньем “не ребёнок”.

— Борис, да что ты всё заладил: “Угу да ага!” — повысила голос Татьяна Валентиновна.

— Тише, кисонька, не волнуйся, тебе нельзя. — Васнецов положил свою ладонь на кисть жены, но она высвободила руку.

— Что значит: “Не волнуйся?” Ему об учёбе думать надо! А не о сеновалах и звёздах!

— Какая там может быть учёба на картошке-то? — мягко возразил ей муж. — Развлечётся парень да приедет и сразу, сразу в учёбу окунётся.

Татьяна Валентиновна внимательно посмотрела на сына.

— У тебя кто-то есть?

Борис не выдержал взгляда матери и отвёл глаза.

— Да, есть.

— И кто? Со студенточкой роман закрутил?

— Почему сразу же роман и почему со студенточкой?

— Не роман, значит?

— Нет, не роман.

— А что, позвольте спросить?

— А может, это любовь?

— Так ты сам, значит, ещё не знаешь, любовь это или нет? — вдруг закричала мать, вскакивая со стула.

— Тише, Танюша, успокойся!

— А я-то думаю, что с ним? Весь такой задумчивый, одухотворённый ходит. А он в любовь вздумал поиграть!

— Я не играю, — твёрдо сказал Борис.

— И кто она?

— Девушка.

— Я понимаю, что не крокодил. Кто она?!

— Ну, как тебе сказать. Одна очень хорошая девушка. Тоня.

— Откуда она?

— Оттуда.

— Откуда, я тебя спрашиваю? Откуда она взялась на нашу голову?

— Из деревни. Из Старовойтово. Село это вообще-то, а не деревня.

— О нет, — простонала Татьяна Валентиновна.

— Танюша, водички? Танюша, сядь, — закудахтал Васнецов.

— Ты слышал? Из деревни.

— Слышал, слышал. — Васнецов подал жене бокал с водой. — Ну, не волнуйся так, лапочка, тебе же нельзя.

— А влюбиться единственному сыну в деревенскую потаскуху, которая коровам хвосты крутит, можно? — Татьяна Валентиновна со злостью швырнула бокал в угол. Вдребезги.

— Катюша, приberi! — крикнул Васнецов прислуге.

— Пошла вон! — закричала Татьяна Валентиновна на Катюшу, едва заведя её на пороге столовой. — Видеть тебя не могу! Деревенщина.

Борис молча смотрел на мать. В бордовом атласном халате с выбившимися из причёски каштановыми прядками, раскрасневшимися щеками, не смотря на свой гнев, она выглядела изумительно красивой. И вдруг у Бориса промелькнула мысль, заставившая его сжаться. А если она умрёт? Эта живая, прекрасная женщина ещё недавно была почти при смерти...

И в этот момент Татьяна Валентиновна, словно прочитав мысли сына, тяжело задышав, схватилась за сердце.

— Таня, Танечка! “Скорую”, срочно “скорую”! — заверещал Васнецов.



Борис ринулся к телефону, но Катюша оказалась проворнее и уже крутила диск.

— И ни в коем случае не волноваться, — сказал врач “скорой помощи” перед уходом, — иначе... Пожалейте вы её, ведь только из больницы выписали.

Татьяна Валентиновна после уколов уснула прямо на диване в гостиной.

— Борис, я хочу с тобой серьёзно поговорить, — сказал Васнецов.

Они прошли в кабинет. Отчим включил настольную лампу. Его загорелое круглое лицо выглядело постаревшим.

— Я очень люблю Татьяну, — Васнецов взял со стола карандаш, — с первой минуты, как увидел. Она для меня самый дорогой человек на свете.

Борис понимающе кивнул.

— Если с ней что-то случится по твоей вине, я тебя лично сломаю. Как грифель.

Борис не успел моргнуть глазом, как карандаш в руках отчима был поделён надвое.

— Так и я Тоню люблю.

— Я всё сказал. — И Васнецов, откинувшись на спинку кресла, закрыл глаза, давая понять, что разговор закончен.

Борис не очень-то уже боялся отчима, хотя и понимал, что этот довольно мягкий человек может превратиться в зверя, если отнимут у него лакомый кусочек. Дело было не в Васнецове и не в страхе перед ним, дело было в матери.

Рано утром Борис отправился в Старовойтово и прибыл в тот момент, когда ребята рассаживались по грузовикам, успел взять рабочую одежду и запрыгнуть на последнюю из машин.

— Тонька-то обрадуется. Ждала тебя, спрашивала всё время. Вот дура, думает, всё серьёзно у вас.

— Ага, наивная.

— Так деревня, что взять с неё?

Борис, казалось, не слышал друзей. А если бы он сказал матери, что у Тони тоже как у неё, ну это... с ногой?

— Наконец-то! — при встрече радостно выдохнула Тоня, прижимаясь к Борису. — Будто бы не пять дней не было тебя, а целую вечность!

Борис смотрел на неё и думал, как же сказать ей, что между ними должно быть всё кончено? Она весело щебетала, пересказывала нехитрые деревенские новости за последние дни.

— Боренька, а тебе неинтересно, да? Ой, и впрямь, зачем это я всё на тебя выливаю? Ты-то как съездил?

— Понимаешь, — начал Борис не глядя в глаза девушке, — тут вот такое дело...

— Я понимаю, понимаю, Боренька, мама ведь! Я понимаю, что тебе трудно говорить о ней. Поправилась она, и слава Богу!

— Не до конца.

— Поправится, Бог даст поправится!

При чём тут Бог? Глупость какая.

— А я молитвы знаю, — продолжала Тоня, — почитаем с соседской бабушкой за неё. Эта бабушка все молитвы знает! Я, когда родилась, чуть было не умерла! Слабенькая-слабенькая! Бабушка Авдотья надо мной молитвы читала, я и выжила! И теперь видишь? Здоровая!

— Не совсем, — сдуру выпалил Борис.

Тоня резко замолчала. Глаза её вмиг наполнились слезами.

— Тоня, да я не про то, что ты подумала. Кашляешь ведь. Где простыла, пока меня не было? А! Я знаю! На свидания ходила! Без меня, да? Все вы женщины такие, ветреные! — говорил Борис, привлекая её к себе, а она отстранялась, пока он не сжал её крепко и не стал целовать. Объяснение откладывалось.

Некоторые его однокурсники тоже нашли себе деревенских и вовсю крутили с ними, постоянно нарываясь на злобные взгляды и угрозы местных парней. Те обещали им рано или поздно переломать кости, у студентов на

них тоже кулаки чесались, мол, что они себе позволяют, колхоз “Красный лапоть”, но насчёт драк их строго-настрого предупредило начальство — сразу же исключение из института и — здравствуйте, доблестные вооружённые силы Советского Союза. Поэтому приходилось терпеть и с трудом, но сносить усмешки, подковырки и задиранья местных.

Только к Борису деревенские относились уважительно. Понятное дело, из-за Тони.

— Повезло этой хромоножке, — злились на неё девки на выданье.

— Да будет вам, дуры, — стыдили их Тонины подруги, — ей, бедной, и так с рождения не везло. Отвезёт он её в город, может, выпечат.

— Да как выпечат-то? Ногу вытянут, что ли?

— Может, и вытянут! Говорят, у его семьи связи большие.

— Да он и сам-то из семьи начальника. Шутка ли, второй человек в Юровске — папаша евойный.

— Ага, можно подумать, разрешат они ему жениться на Тоньке, держи карман шире!

— Женится!

Быстро подошёл к концу месяц пребывания студентов в селе Старовойтово. Для Бориса так он вообще пролетел мгновенно. Рогачёв припозднился вначале из-за похорон отца, да потом ещё уезжал на несколько дней навеситить больную мать. Оставалось всего три дня, и если до этого погода не очень-то баловала, то в последние денёчки она вдруг вспомнила, что впереди зима, и напоследок решила одарить всех теплом.

Тоня и Борис миловались на лавочке.

— Пойдём на наш сеновал. У меня там сюрприз для тебя.

— Сюрприз?

Борис помог девушке взобраться на сеновал. Тоня огляделась по сторонам. Не видать никакого сюрприза. Борис привлёк её к себе и стал жадно целовать. А, теперь понятно какой сюрприз. Тоже ничего, хороший! Но Борис отстранил её и нырнул в самую прорву сена.

Взъерошенный и с соломинками на голове он протянул Тоне большую коробку.

— Вот!

— Что это?

— Тебе.

Тоня бережно взяла коробку. Чуть приоткрыла её. Закрыла, посмотрела на Бориса, а потом снова открыла.

— Туфли.

Ярко-синие лакированные туфли на тонком каблучке. Тоня присела, положила коробку, из неё достала сначала одну туфлю, потом вторую. И, прижав их к груди, как драгоценности, расплакалась.

— У меня никогда не было таких красивых туфель. Думают, раз у меня нога такая, значит, только в тапочках ходить...

— Тэфлей, — поправил он, и чуть было не вырвалось: “Колхоз!” — Не плачь! Кому говорю, не плачь. Примерь!

Туфли оказались впору. У Бориса вдруг зло мелькнуло в голове: “Туфли тебе подходят, а ты мне — нет!”

— Не буду снимать!

— И спать будешь в них?

— И спать!

Всё-таки приятно, что подарок понравился.

— А это ещё не всё!

— Ещё не всё? Ну, ты даёшь!

Борис постелил газету, достал бутылку вина, шампанское и яблоки.

— У нас сегодня есть что отметить.

Выстрелил шампанским, и пробка, отскочив от досок, с силой ударила о газету, о портрет члена Политбюро.

— Мы товарища Суслова убили, — сказал Борис, озираясь, — что делать будем?

Тоня засмеялась:

— Разорвём на мелкие клочки! И закопаем!  
— Товарища Суслова? Ну, вы, мадам, и кровожадная. Я давно это подозревал. Хищница!

— А куда мы будем наливать?

Борис стукнул себя по лбу:

— Вот я дубина стоеросовая! Совсем из головы вылетело.

— Давай я домой за кружками сбегаю? Или... или давай так!

Тоня схватила тяжёлую бутылку шампанского, сделала большой глоток и тут же поперхнулась. Ну и замашки...

— Газы! Газы! — Тоня кашляла и смеялась одновременно. — Да ещё в нос!

Борис легонько стукнул по её хрупкой спине.

— Сильнее! Боря, ну, сильнее же!

Борис вновь ударил, но с той же силой.

— Ты чего так бьёшь-то слегонца. У нас, когда кто подавится, знаешь, как лупят по спине, чтобы не помер. — Тоня, наконец, прокашлялась. Он вдруг будто впервые увидел, какая она вся... неказистая.

— Как тебя лупить-то? Ты же хрупкая, как яйцо! Разобью ещё...

— Так для дела же! — Тоня протянула ему бутылку с шампанским. — Теперь твоя очередь.

Борис сделал несколько глотков. Потом Тоня, потом снова Борис, они беззаботно хохотали. “Как дураки!” — подумалось Рогачеву.

— Закусывай! — командовала Тоня. — Грызи яблоки так, раз нож с вилочкой не предусмотрел!

Борис, изображая из себя грызуна, хрумкая яблоко, быстро-быстро двигал челюстями.

— Кролик, кролик, самый настоящий кролик!

— Я бык! — грозно сказал Борис и принялся жевать сено, чем ещё больше наемшил Тонию.

— Всё, я не могу. Не могу смеяться! — Тоня вытирала слёзы. — Ты такой весёлый! А теперь, — сказала она, глядя на свои лакированные туфли, — давай выпьем за мою обнову.

— Да, давай! Снимай их!

— Зачем? — Тоня придвинула к себе ступни.

— Мы пить из них будем! Ты из правой, я из левой или наоборот.

— Ну, уж нет. Не дам. Ещё чего. Вдруг покрасеется?

— От шампанского-то? Хорошо, на нет и суда нет. Да чего ты скисла? У нас всего три дня осталось, а она печалится.

— Три дня? Какие три дня?

— Так выпьем же за наши три дня! Не побоюсь сказать, за наши великих прощальных три дня!

Они сделали по глотку. Разгорячённая Тоня, не мигая, смотрела на Бориса.

— Тонька, ты и вправду хищница! Пантера!

— Да, я такая! — Тоня со смехом бросилась на Бориса и жадно, словно рыба, которой не хватает воздуха, стала осypать его лицо поцелуями.

— Я всегда говорил, что шампанское — беспроегрый вариант, — засмеялся Борис. — Вон как раздухарилась!

Они лежали в ломотной истоме на мягком, словно перина, сене.

— А ты в туфлях. — Борис гладил её волосы.

— Говорила же, что снимать не буду. А тебе пора. Завтра опять будешь клевать носом на картошке.

— Я завтра не поеду на картошку.

— Как? Почему?

— И послезавтра тоже. Все три дня не пойду никуда. Будем с тобой.

— Так заругают же!

— Кто? Ну, кто меня может заругать? Я сам, кого хочешь, заругаю. Я вообще мог не ехать на эту картошку. Ты же знаешь, кто мой отчим. И хорошо, что поехал. Нисколько не жалею. — Борис притянул к себе Тонию и с силой обнял.

— Так значит, все три дня мы будем вместе! Ура! А с ребятами не будет конфликта? Они скажут, мы работаем, а этот...

— Не будет, — Борис отстранил Тонию и сел. — Ну, кто они такие? Тоня пожала плечами.

— Ну да. У тебя же отчим.

— Да при чём здесь отчим? Отчим-то при чём? Я и без отчима что-то значу. Вон, у Сысоева отец тоже большой начальник. А Димон кто? Ничтожество.

— Это который всегда гладко причёсанный? Тёмненький? Он ещё с нашей Валькой любовь крутит.

— Ну да. Этот Димка полный ноль. Ни постоять за себя не может, ничего другого.

— Я знаю, что ребята тебя уважают. Видно.

— Да они, знаешь, где у меня? Вот здесь! — Рогачёв сжал кулак. — А всё почему? Потому что они слабые и тупые. Бесцельные какие-то.

— А у тебя есть цель?

— Конечно, есть. А отчим так, небольшое средство для её достижения. Но я бы и без отчима пробился. Читала “Мартена Идена”?

— Про то, как простой человек стал писателем? Читала. Джек Лондон написал.

— Цель была у него. Вот он и горы свернул. И никакого папаши или отчима. Всё сам.

— Ну, навряд ли тебя по головке погладили, если бы ты три дня на работу не вышел. Получается, отчим...

Борис не дал ей договорить:

— Так, а кто Сысоеву мешает сделать то же самое? Боятся, что заключают.

— А может, потому что он так Валуху не любит, как ты меня?

Борис не ответил.

— Да ведь, Боренька? Он же так с Валькой, всем видно всё и понятно. А у нас не так, да? Ну да ведь, Боря?

— Тоня, — медленно начал он, — я не хочу говорить про любовь. Она удивлённо посмотрела на него.

— Но ты говорил, сам же говорил, что любишь.

— Тоня, я говорил, что влюбился. В смысле, что ты мне нравишься.

— Только нравлюсь?

— Тоня, ты хорошая. Весёлая. В тебе есть что-то такое неуловимое. Меня тянуло к тебе.

— А сейчас?

— И сейчас тянет, но...

— Что “но”?

Борис взял в руки бутылку с вином:

— Чёрт, и про штопор забыл!

— Что “но”? Борис!

Рогачёв крутил в руках бутылку.

— Чем же открыть её?

— Боря, я тебя спрашиваю!

— Да подожди ты. Не видишь, проблема у меня. Ну-ка, держи бутылку, да не эту, с вином. За дно её возьми.

— Боря! Ответь же!

Рогачёв взял бутылку из-под шампанского за горлышко.

— Поберегись! — и он ударил мощным задом “Советского” шампанского по узкому горлышку “Арбатского” красного.

— Ой! — Тоня чуть не выронила бутылку из рук.

— Давай ещё раз. Держи крепче! Никуда она от нас не денется!

— Боря, — зажмурилась девушка и отвернулась, — ты мне так и не ответил.

— Вот пристала! Ну чо ты пристала? — Рогачёв вошёл в раж и бил с силой. От этих ударов всё маленькое тело Тони содрогалось, но она крепко держала бутылку.

— Положи! — приказал Рогачев.

Тоня положила всё еще здоровую бутылку. Борис занёс для удара руки, как палач. Только вместо топора он держал пустую бутылку из-под шампанского.

— Боря, да подожди ты с этой бутылкой. Давай поговорим. Ты меня любишь?

— Нет! — Он с яростью обрушил удар. Горлышко вдребезги.

— Вот то-то же, как головы-то не иметь! — Он поднял бутылку с пола. Неровные края смотрели хищно. — Ну, и как пить?

— Боря, ты меня не любишь, да? А три дня это что?

— Тонька, как я устал от тебя за сегодняшний вечер. В самом деле. Думал, повеселимся, время хорошо проведём, а ты, как ромашка. Любишь, не любишь. Чёрт! Из чего пить-то? Из горла теперь не получится, потому что его нет! Порежешься. Тоня, сделай ладони лодочкой.

Она повиновалась. Борис влил ей в ладони вино и жадно припал, чтобы не успело просочиться через щель. Выпил и налил ещё. В этот момент они встретились глазами. И Тоня выплеснула ему в лицо вино из ладоней.

— Ты что, дура?! — зашипел Борис, глядя на светлую рубашку в бурых пятнах. — Идиотка! Истеричка! Не захотела по-нормальному расстаться. Всё впечатление о себе испортила. А что ты хотела? Нет, скажи, что ты хотела? — Борис стал трясти её, как яблоню. — Чтобы я что? Женится на тебе? В город увёз? Нет, ты скажи, скажи!

Тоня молчала. Потом она с величавым спокойствием отстранилась от Бориса и села на колени.

— Да не надо мне этих поз! На колени она встала. Умолять сейчас будет. Вставай! Не беси меня! Вставай!

Тоня закрыла уши указательными пальцами. Борис по-прежнему кричал, наклонившись, потом стал её тормошить. Её молчание грохотом стояло в ушах Рогачёва. А затем, так и не сказав больше ни слова, Тоня встала и, прихрамывая, направилась к выходу.

— Итак, гражданин Рогачёв, вы утверждаете, что изначальные сведения, записанные с ваших слов, неверны?

— Да, товарищ следователь.

— И поэтому вы решили поменять показания?

— Ну, разумеется, товарищ следователь. — Борис с усмешкой посмотрел на высокого грузного следователя, стоявшего в полный рост.

— Вы действуете под нажимом? Вам кто-то угрожает?

— Товарищ следователь! Я вас умоляю! Ну, кто или что мне может угрожать?

“Да, действительно, попробуй тебе поугрожай”, — подумал Ивановский, следователь по делу, по которому свидетелем шёл Борис Рогачёв.

— Я внимательно слушаю вас. И помните, что за дачу ложных показаний...

— Я в курсе. А можно закурить?

Ивановский кивнул.

— Угостите тогда. — Рогачёв указал глазами на следовательские папиросы.

Ивановский подвинул Борису папиросы и спички.

— Сысоев никого не убивал, — закуривая, сказал Рогачев, — я перепутал.

— Перепутал? И кого с кем?

— Вернее, я не видел вообще.

— Как не видел?

— Так, не видел. Меня вырубили с самого начала.

— Зачем же свидетельствовал против Сысоева? Это же не шутки, а ложные показания.

— Меня, когда допрашивали, я был после сильного удара. Контузия! Вообще ничего не помнил. До сих пор в голове беспорядочно. — Борис потрогал то место, куда был нанесён удар. — Да я и не видел ничего.

- Значит, вы утверждаете, что Сысоев не убивал?
- Да.
- А как вы можете утверждать, если ничего не видели и не помните?
- Я утверждаю, что не видел, что Сысоев убивал.
- Но вы не утверждаете, что он и не убивал, раз не видели?
- Товарищ следователь, я утверждаю, что ничего не видел и не знаю, убивал Сысоев или не убивал.
- Мог убить, а мог и не убить? Но ведь мог убить?
- Не видел я ничего. Не видел. — твёрдо сказал Борис. — Мог — не мог... Мог и кто-то другой.
- Другой кто?
- Пётр Михайлович, я же объясняю, что меня сразу же вырубил.
- Давайте всё по порядку. С начала.
- Так я уже всё рассказывал.
- Вы всё рассказывали, а теперь, оказывается, что всё не так.
- С какого момента рассказывать-то?
- Как приехали в колхоз.
- Этот разговор на полгода затянется.
- А нам спешить некуда, — сказал следователь, закуривая.
- Что рассказывать про колхоз? Приехал с опозданием из-за смерти отца. Работал, как все студенты. Хорошо работал. Познакомился с местной девишкой по имени Тоня. Понравились друг другу. Дело-то молодое.
- Была ли у вас с ней интимная близость?
- Какое это имеет значение, товарищ следователь?
- Так была или нет?
- Была.
- Продолжайте.
- Уезжал в Юровск. Мать в больницу попала. Приехал обратно в колхоз. Работал. Старался. Встречался по-прежнему с Тоней. Потом расстался.
- Почему расстались?
- А это уж моё дело. Расстались, и всё.

Перед глазами Бориса встала прощальная сцена на сеновале и ковыляющая походка Тони под занавес. Не будет он этому следователю рассказывать, что мать с отчимом заставили отречься от деревенской девки. Борис и сам знает, что она ему не пара. Он-то ястреб. А она кто? Каракатица. Да ещё столько проблем из-за этой дыры.

— Что за история с туфлями?

— Я же рассказывал.

— Поподробнее, пожалуйста.

Куда ещё подробнее? Он подарил этой дуре туфли, купил их, когда ездил навестить мать. Подарил, когда были на сеновале. Потом они поссорились, она ушла.

— Причина ссоры?

— Причина? Причина всё та же самая — расставание.

— Что было потом?

А потом Борис остался лежать на сеновале. Ему жаль было Тоню, но вместе с тем он чувствовал против неё все закипающее раздражение. Интересно, а если бы мать не вмешалась, что случилось бы дальше? Неужто он бы её в город повёз? А ведь повёз бы... Хотя... Нет, здесь не могло быть никакого продолжения. Можно девушку достать из деревни, но нельзя из девушки достать деревню. Ну, поначалу бы друг другу письма писали. Сначала часто, а потом всё реже и реже. И разбежались бы, как в море корабли. И какой из него муж? Сам только на втором курсе юридического...

Он ещё недолго полежал на сеновале, а потом решил пойти к своим на танцы, они как раз начинались. К этому времени народ только собиравается. Интересно, Ирка Фролова пришла уже? Она ему явно симпатизировала, и не только она. Но он её выделял больше других. Беззаботная и весёлая. Но это следаку знать без надобности. Пошёл, значит, к своим. Недалеко от "пятак", где проходили танцы, услышал громкие голоса. Направился туда.

— Какие отношения на протяжении всего времени были у вас с местными жителями?

— Конкретно у меня? Нормальные.

— Конкретно у всех.

— Конечно, местные задирались. Деревенские девки сами к студентам липли. Хочется же из деревянных изб в каменные высотки перебраться. Вот и пытались охмурить моих однокашников.

— С чего началась драка?

Когда он подошёл к ним, один из местных приблизился к нему вплотную и, толкнув грудь, спросил:

— Жить хочешь?

— На тупые вопросы не отвечаю. Если нет ничего по делу, тогда мы на танцы.

— Зачем ты так с Тонькой? Мало тебе нормальных баб?

— Не твоё дело.

— Слушай сюда, городской ублюдок.

— Чёт тебя заносит на поворотах. Не попутал ли ты, с кем разговариваешь, щенок?

— Не попутал, козлина. На тебя уже заява строчится.

— Заява? На тему?

— На тему изнасилования.

— О-хо-хо! — Борис рассмеялся ему в лицо.

— Да пошёл он, Седой! Отдадим ему его подарочек, — встрял в разговор другой деревенский, — всё равно скоро закроют.

— Забери! — Седой протянул Борису переданную ему кем-то из местных коробку.

Рогачев, конечно же, узнал её. Кстати, пустая коробка оставалась на сеновале, когда он ушёл отсюда.

— Пригодятся, — хмыкнул он, — на следующий год подарю бабе твоей, Седой. Если не стоптанные ещё.

Видно было, что Седой еле сдерживается.

Борис открыл коробку и от неожиданности присвистнул.

— Чего там? — окружили его друзья и заглянули в коробку.

Каблуки ярких лакированных туфель были свернуты, словно головы птиц, и покоились рядышком.

— Колхозники. Что с них взять. Хоть бы память осталась у нее какая, — вздохнул Борис.

— Уж лучше никакой памяти, чем такая, — зло сказал Седой. — Вот и тебе будет память, когда отсидишь за изнасилование. А в зоне таких, как ты, не любят... И папочка твой не поможет. Статья суровая слишком.

— Изнасиловал? Кто кого изнасиловал? — засмеялся Борис. — У вас тут через раз давалки, да какое через раз! Каждая первая, и Тонька туда же. Оттрахать своих баб нормально не можете.

Рогачев первым получил удар в челюсть. Отреагировать он не успел, в руках была та злосчастная коробка. Так и упал с коробкой в руках. Второй удар последовал молниеносно. Сапогом в голову.

— Вот, товарищ следователь, тут меня и накрыло. Как я мог видеть, кто кого ударил, убил, оскорбил?

— Больше участия в драке не принимали?

— Нет, не принимал. Я сознание потерял.

— А когда очнулся?

— Когда очнулся, все было кончено.

— Как вы это поняли?

— Кто-то крикнул: “Седого убили!” — и все бросились бежать, кто куда.

— А вы?

— А я не мог пошевелиться от головной боли. Мне казалось, что в ней идет война.

— На каком расстоянии вы находились от трупа?

— На прилично.

— Но если вас ударили, и вы упали, вы должны были лежать практически рядом с убитым. В эпицентре драки. Или дерущиеся переместились куда-то?

— Откуда я знаю, что да как было? Может, они перемещались во время драки.

— А вы сами не могли прийти в себя и отползти на безопасное расстояние? А заодно и посмотреть, что да как?

— Я? Я не мог, — уверенно ответил Рогачёв.

Ивановский пристально посмотрел на Бориса.

— Сдаётся мне, Борис Андреевич, что вы мне сказку рассказываете.

— Почему?

— Да потому что я вас насквозь вижу, не первый год в органах. На самом деле было так, как вы изначально рассказывали. Сысоев Дмитрий, скорее всего, убил Разуева Анатолия, Седого, как вы его называете. Но это убийство в Старовойтово нерядовое. Здесь подозреваемый — сын самого начальника милиции. Сейчас и самого Сысоева отстранили от занимаемой должности до выяснения обстоятельств. Чтобы надавить не мог, чтобы не воспользовался служебным положением. А это ведь он, — Ивановский наклонился над Рогачёвым, — да, да, он настоял на том, чтобы ты поменял показания.

— Тыкаете мне, гражданин следователь, ай-яй-яй...

— Не проведёшь меня на мякине, дурашка. Всё же и так ясно как белый день. Зачем тебе это надо? Всё ведь и против тебя может повернуться. Товарища оговорил, да и в чём? Убийство ему приписал! Да ты и сам входишь в круг подозреваемых.

— Не путайте. Я свидетель. Любой может подтвердить, что я в это время мирно лежал под кустиком в забвении.

— Что они там видели? Каждый был занят делом — прицельно бить врага и уходить от ударов. Может, это ты вылез из-под своего кустика, тюкнул камушком по голове Разуева и уполз обратно, а потом Сысоева оговорил. Ведь и так дело-то может повернуться. Так что не выгораживай Сысоева. Не было у нас с тобой этой задушевной беседы. Не было. Дело раскрыто.

— Какая же это задушевная беседа под протокол? Нет, гражданин следователь, всё было именно так, как я вам сейчас рассказал. Ничего я не видел, ничего не знаю, потому как сознание потерял сразу, в начале драки. Надоело уже сотый раз по одному и тому же кругу. А вы ищите убийцу, может, найдёте ещё. Больше мне добавить нечего. К тому же, какие мотивы для убийства у Сысоева?

— А у кого есть мотивы?

— Это свои его грохнули, — свидетель обвинения зевнул. — Видать, было за что. И драку затеяли, чтобы на нас убийство повесить. Вы бы эту версию прорабатывали. Советую! — И Борис нагло посмотрел на следователя.

Ивановский понимал, что сделать с этим Рогачёвым он ничего не может, и методы, кои применяются к другим подозреваемым или свидетелям, к нему никак не допустимы. Что ж. Придётся копать дальше. Он — следователь с двадцатилетним стажем — выведет всё наружу. И Сысоевым мало не покажется. Он-то уж сумеет доказать, что начальник милиции своего сыночка выгораживает.

Всё из-за баб! И это надо же! Не из-за миловидной француженки или скандинавки с холодной надменной красотой, а из-за какой-то хромоноги из села, название которого сразу и не вспомнить. Из-за неё у него, Бориса Рогачёва, так круто переменилась жизнь. Чёрт дёрнул связаться с ней! Лучше бы уж с Ирккой Фроловой или Галкой Васильевой. И время бы весело провели, и последствий никаких. А эта Тонька та ещё штучка оказалась! Сломанные каблукы чего стоят! И, по сути, из-за неё была драка, в которой случайно убили местного идиота, а его, Рогачёва, и его друзей, участвовавших в деревенском буйстве, исключили из института. Но, в отличие от товарищей, он недолго ходил в исключённых. Всего какую-то неделю. А потом



его восстановили, но с условием, что он переведётся из этого вуза. Сейчас ему придётся учиться на юрфаке в другом городе, не в родном уральском, а в далёком сибирском. Всё из-за Тоньки! Всё из-за баб!

Нет, больше никаких влюблённостей. Впереди учёба, работа, слава, деньги. И чего все Чичикова не любят? Правильно рассуждал гоголевский герой, что сначала нужно свить гнёздышко, а потом туда хозяйку впускать. Всё, пока надо держаться подальше от слабого пола, от которого у сильного одни неприятности.

И он, как декабрист, отправился в сибирскую ссылку — в далёкий Приангарск. В новой группе Рогачёва приняли хорошо. Он сделал правильно, что захотел жить в общезитии с однокурсниками, отказавшись от предложения родителей снять отдельное жильё.

В один из вечеров, когда Борис лежал на кровати с учебником и на полях чертил рогатых существ, в дверь постучали.

— Да, да! — крикнул Рогачёв.

Дверь распахнулась, и в её проеме появилась девушка. Но не просто девушка! Борис аж даже сел. Она что-то сказала, вероятно, поздоровалась, но ошалевший от её красоты Рогачёв ничего не расслышал.

— Вас, кажется, Борис зовут?

— Я люблю вас, — первое, что он произнёс в ответ.

— То есть?

— Я люблю вас, — повторил он.

Девушка, смеясь, вышла из комнаты.

Среди ночи с грохотом завалились Витька Челябин и Мишка Рых. Пришли со студенческой попойки, галдели.

— Да хватит ржать-то! — Борис кинул подушкой в Витьку, который просто закатывался от дурацкого пьяного смеха.

— Бо... Бо... Борька, ты чего не пришёл-то? Сто...лько по...потерял!

— Слушайте, братцы, а вы не забыли про завтрашний зачёт? Накирились от души!

— А ну его! Не будем о грустном, — Мишка махнул рукой, — зря не пошёл, класно было, весело. Лета угощала. Вискарем. Ви-ска-рем. Всех! Первый раз в жизни пробовал.

— Видать, много пробовали, раз вас так унесло.

— Много, — согласился Мишка. — Лета во! — он показал большой палец.

— Какое лето, Миша, сейчас осень.

— Ясен пень, осень. Осень во и Лета во!

— Понятно. Дрыхните уже.

Утром Борис проснулся с мыслью о девушке, приходившей вчера. Правда, что ли, влюбился?

Витька спал беспробудно, а у Мишки со страшной силой болела голова.

— Вискарь, поди, дерьмовый пили? — почувствовал Рогачёв.

— Нет, вискарь нормальный был, просто мы его хлестали под пиво. О-о-о, чо ж я не сдох вчера?.. Всё у Леты выдули.

— Ну ничего, не переживай, лето не обидится.

— Да, Лета мировая. А красивая! Да ты её видел вчера. Она к тебе заходила, звала тебя к нам.

— Кто приходила?

— Боря, ты чо? — Мишка пощёлкал пальцами перед его лицом. — Лета приходила.

— Лета? Это имя такое, что ли?

— Нет! Это время года! Лета Виноградова, наша однокурсница.

— А почему я её раньше не видел?

— Мне откуда знать...

— Странное имечко, однако.

— Ничего странного. Виолетта. Уменьшительно — Лета.

— Понятно. А я думаю, чего ты заладил — лето да лето.

— Да нет же, болван! Лета! Имя такое женское, сокращённо от Виолетта!

— Понял я, понял уже. И что приходила она, я тоже услышал.

— Во-от, наконец-то! Мы её попросили сходить за тобой. Она из Грейт Бритен недавно прилетела. К отцу ездила, он работает там. Послом! Дума-ли, что она тебя уговорит.

— Никто ко мне не приходил уговаривать! Подожди... — Рогачёв со-скочил с кровати. — Мишка, так это Лета вчера заходила ко мне?

— Борян, — Мишка посмотрел на него как на идиота, — с тобой дей-ствительно всё в порядке?

Но Рогачёв уже не слышал его.

— Лета, — мягко произнёс он. — Виноградова.

Лета, Лета, Лета — только это и вертелось на уме. Рогачёв никогда не испытывал ничего подобного. Он летал. Ле-тал!

В тот же день в студенческой столовой, которую все называли рыгалов-кой, Борис сидел за столиком, поглощая пюре с котлетой. Пюре было на ред-кость невкусным и выглядело, как клейкая масса, к тому же картошка кис-лила. А вот котлета даже очень ничего, сочная и тёплая. Однако Рогачев, слишком разборчивый в еде и привыкший к Катиным кулинарным шедев-рам, в этот раз, кажется, даже не понимал, что он ест. Мысли его кружи-лись возле девушки по имени Виолетта, как назойливые пчёлы над развер-стым нутром арбуза. “Кот-лета...” — с нежностью подумал он.

Мысленно вытерев рот салфеткой, он небрежно бросил её в грязную та-релку. Резким движением отодвинул стул, но тут же услышал женский “ойк”. Он повернулся и обомлел. Нос к носу Рогачёв столкнулся с Виолет-той, сидящей за другим столиком спиной к нему. Это было так неожиданно, что теперь ойкнул сам Рогачёв.

— Больно же, пусти! — вылетело из накрашенного ротика. — Ты мне волосы прижал!

Рогачев отодвинулся, и Лета плавным движением рук перенесла милли-арды золотых нитей со спины на плечо.

Кретин, болван, осёл, придурок, футляр из-под очков. Рогачёв бранил себя что было мочи. Попытался отшутиться:

— Подсудимый полностью признаёт свою вину!

Лета озорно усмехнулась:

— Ошибки надо не признавать. Их надо смывать. Кровью!

Борис засмеялся:

— “Кавказская пленница”, финальные сцены. Приглашаю вечером в кафе!

Лета одарила Рогачёва долгим взглядом, потом прищурилась и отверну-лась.

— Так что же?

— Сначала парик мне купи, а то волос совсем не оставил, — сказала она, подвинула к себе тарелку и уже не смотрела на Рогачёва. Типа “отвяжись”.

В шесть вечера Рогачёв подошёл к комнате Леты. В коридорной системе этажа её жильё было в самом конце — рядом с кухней. По обыкновению, в комнатах жили по три-четыре человека. Борис распрямил плечи, выдохнул и постучался.

— Да, да, — услышал он и тотчас же толкнул дверь, да не рассчитал силу. Плюгавенькая дверца, резко открывшись внутрь, с грохотом ударилась о шкаф.

— Ты её высадить хотел? — Лета даже не оторвалась от дела. Она си-дела за столом и старательно выводила жгуче-красным лаком для ногтей но-мер комнаты на зеленом чайнике. В комнате больше никого не было.

— Можно?

— Парик принёс?

— Разумеется.

— Врать-то! — Лета оторвалась от нумерования чайника и, наконец, взглянула на Бориса. — И часто ты врешь?

— Нет, но учусь. Будущая профессия обязывает.

— Ну, ну... — И она снова склонилась над чайником.

Рогачёв осторожно закрыл дверь. Заглянул в распахнутую на столе книгу:

*...А если он ворвётся силой,  
За дверь стань и стереги:  
Успеешь — в горнице немилой  
Сухие стены подожги...*

— Блока любишь?

Лета молчала.

Довольно уютно. Цветы в горшочках, несколько ампельных, или висячих, проще говоря. На одной из трёх кроватей высыпаны книги. На другой брошен бордовый лифчик. Он скользнул по нему взглядом и посмотрел на Лету. Интересно, это её? Лета тем временем с чайника перешла на ногти.

— Неудобно левой рукой-то. — Рогачев наблюдал, как девушка добросовестно покрывает красным лаком ногти. — Помочь?

— Это правой рукой неудобно. Я левша.

— Давай помогу, — повторил Борис.

Виноградова протянула гостью левую руку. Но Рогачёв, попросив правую, достал из кармана брюк ключи. Две похожие друг на друга железки сиротливо болтались на большом кольце. Борис моментально надел на тонкий безымянный палец Леты кольцо с ключами.

— О прекрасная из прекраснейших... — начал он.

— Не подходит. Сваливается, — усмехнулась Лета. — Ключи от комнаты в общежитии?

— Ага. От верхнего замка и от нижнего.

— А что, есть что воровать? — Она вернула ему обратно ключи.

— Пойдём в кафе или в кино, — предложил Борис.

— Я ногти крашу.

— Ничего, подожду. — И Рогачёв сел на кровать с лифчиком.

Лета красила ногти и одновременно что-то напевала. Через какое-то время, вытянув вперёд правую руку с накрашенными ногтями, склонила голову набок, оценивая свою работу. Одобрительно хмыкнув, поднесла руку ко рту и стала дуть на ногти. Затем принялась за левую. Правой рукой Лета действовала медленнее, то и дело промазывала. Сердясь, корчила гримасу и ваткой убирала лишний лак вокруг ногтя. Рогачев смотрел на неё и думал, что её красота совсем не мешает ей быть смешной и даже простецкой.

— У тебя действительно отец посол? — спросил Борис.

— Всё, накрасила. — Лета игнорировала вопрос.

— В кафе или в кино?

Лета посмотрела на Бориса удивлённо.

— Парика-то нет. Я тебе что, лысая пойду? — Она тряхнула золотистым морем волос.

— Почему нет? — Борис достал из-за пазухи пакет и протянул Лете. — Вот.

— Что это?

— Кошка дохлая.

Лета брезгливо поморщилась, но заглянула в пакет.

— М-да. Парик.

— Идём? — Борис встал с кровати.

Лета по-прежнему смотрела в пакет.

— Почему он рыжий? — Она достала парик и повертела в руках. — Клоунский какой-то...

— Он вовсе не рыжий, а апельсиновый! К тому же, детали не оговаривались.

Парики только входили в моду, и достать их было и трудно, и дорого.

— А разве мне нужен парик? — Лета холодно взглянула на Бориса, тот в недоумении пожал плечами.

Лета подошла к подоконнику, где среди разной мелочи жёлтой скалой возвышался трёхлитровый бидон. Она перевернула его дном вверх и напялила

парик. А затем губной помадой нарисовала на эмалированном бидоне круглые глаза и большой рот.

— Нравится? — спросила она.

— Бидон?

— Дама в парике.

— Цвет лица у неё какой-то желтоватый, а так ничё...

— Ну, и женись на ней!

— Жёнюсь с горя, если ты за меня замуж не пойдёшь.

Лета, запрокинула голову:

— А я и не пойду!

— А в кино пойдёшь хотя бы?

— И в кино не пойду. И вообще, я сегодня очень занята. Иди.

Борис по-прежнему сидел на кровати.

— Уходи, я сказала! — Лета повысила голос.

Борис безропотно встал и вышел из комнаты. По лестнице, минуя свой этаж, спустился вниз и вышел на улицу. Ноябрьский ветер сдувал с ног. Чёрт, шапку не надел и перчатки, но возвращаться не хотелось. Лета, озорная и колючая, кружилась перед глазами.

То, что она будет с ним, он не сомневался.

Вдоволь намёрзнув, Рогачёв вернулся в общагу. Он лёг на кровать и, отвернувшись к стене, уснул. Спал недолго, но крепко. А когда проснулся, увидел на тумбочке рыжий парик.

— Вы, правда, так не делали? — изумился Рогачёв, рассказав очередную историю про то, как он с друзьями весело проводил время в предыдущем институте.

— Да ну, ерунда! — выслушав внимательно рассказ Бориса, махали ребята руками. — Быть такого не может!

— Может, — настаивал Рогачёв. — Давайте проведём эксперимент. Вот только на ком? — он оглядел присутствующих.

— На мне, — предложил самый неверующий Фома, он же Мишка со странной фамилией Рых.

— Ну нет! — возмутились скептики. — Потом ещё грыжу лечить.

Суть эксперимента: выбирались четыре человека, одного — он подопытный — сажали на самый красшек табуретки, другой становился позади него, двое по бокам. Этим двоим предстояло на четырёх пальцах поднять сидящего. Который стоял со спины, был подстраховщиком, а двое с боков — каждый клал по одному пальцу под коленки и под ягодицы сидящему. Но перед этим троица несколько раз надавливала сидящему на голову, после чего подсовывала пальцы в указанные места. Сидящий взлетал.

— Ну что, кого? — не унимался Борис.

— Надо кого полегче.

— А давайте Виноградову, она самая стройная!

— Ну уж нет! — встрепенулся Рогачёв. — Ещё уроните! Здесь практика нужна.

— Почему нет? Я согласна. — Лета села на край табуретки. — Давайте поднимайте. Поднимайте, кому говорят, а то скучно становится.

Борис встал позади неё. Здоровенный Рых и толстопузый Витька Челябин — с боков. “Вот сволочи! — мелькнуло у Рогачёва, — пальцы под ягодицы ей будут подсовывать!”

— Я пошутил. — Рогачёв готов был оставить свою затею с поднятием.

— Ну, уж нет! Давай уж! — Зрителям, да и самим участникам не терпелось.

Борис ещё какое-то время помедлил и, наконец, решительно скомандовал:

— Кладём ладонь на ладонь, — и он первый осторожно положил свою руку на голову Лете.

Далее следовала ладонь Мишки, а потом почти невесомая Витьки, несмотря на его габариты. И снова Витькина, Мишкина и замыкающая Бориса.

— Давим на голову. Не сильно, но давим. Я считаю до пяти, — Борис явно нервничал, — а потом без промедления пальцы по своим местам и поднимаем. Поняли? Не мешкайте!

— Да поняли, поняли, — хором ответили Мишка с Витькой.

— Лета, а ты закрой глаза и расслабься. — Рогачёв наклонился к ней. Лета, чуть прищурив глаза, с полуулыбкой посмотрела на Бориса, а потом так гавкнула, что Рогачёв резко дёрнулся назад. — Начали! — прохрипел он.

Кто-то недоверчиво хмыкнул.

— Раз, два, три, четыре, пять, взяли! — скомандовал Борис.

Парни дружно подхватили девушку. И... Лета взлетела! Оторвалась от стула чуть ли не на полметра. Перед глазами Бориса качнулось нежное море её волос.

Наверное, с минуту в комнате все молчали.

— Вот это да! — наконец выдохнул Фома неверующий. Но тут же вслух начал искать объяснение случившемуся.

— Если сильно надавливать на голову, происходит уменьшение расстояния между позвонками. Затем, после снятия рук с головы, это расстояние резко увеличивается — Он почесал нос. — Поэтому Лета и взлетела благодаря небольшому усилию.

Желающих полетать следом за Летой оказалось немало. А сама летунья отправилась в свою комнату. В коридоре её догнал Борис. Запах жареной картошки, вырвавшись на свободу из кухни, гулял по коридору, и Рогачёв остро почувствовал голод.

— Лета! — Он попытался взять ее за руку, но она увернулась и быстрым шагом направилась вдоль по коридору.

Борис обогнал её и заслонил путь, расставив руки.

— Отстань. — Лета нагнулась и прошла под правой рукой Бориса.

Тот снова вырос перед ней, загородив проход. И так несколько раз. Видно было, что Лете изрядно поднадоели ухаживания Рогачёва, но она молча проделывала одни и те же действия.

— Парижская триумфальная арка, — сказал Борис, когда Лета в очередной раз прошла под его рукой. — Расположена в верхней части Елисейских полей, на холме Шайо.

Борис с давних пор любил историю архитектуры. Он даже хотел поступать в архитектурный, но мать с отчимом настояли на юридическом.

— Зодчество твоё — это блажь, — сказала тогда мать. — Тоже мне, “романтик с большой дороги”.

— Но мне нравится архитектура!

— Любить люби, а пойдёшь в юридический.

Почему Васнецова так хотела, чтобы её сын стал юристом? Как любая мать, она желала своему чаду только лучшего. Во-первых, не будет работать тяжело физически, а во-вторых, со временем появится возможность получать высокие знакомства, позволяющие решать многие вопросы, начиная с продуктовых и вплоть до жилищных. Ведь слово “дефицит” самое популярное... Да и юрист, как ни крути, всегда хлебная профессия. К тому же зреет семейная традиция.

— Бранденбургские ворота в Берлине, — Рогачев выставил над Летой правую руку. — Снова Париж. Триумфальная арка на площади Каррузель, — выбросил левую. — Бранденбургские ворота в Потсдаме, — правую. — Триумфальная арка в Барселоне, — левую. — Триумфальная арка Константина. В Риме, если кто не знает, — добавил он, на что Лета усмехнулась. — Триумфальные ворота в Москве.

— Надо же, до Советского Союза снизошёл. — Лета вновь прошмыгнула под рукой Бориса.

— А в интонации чувствуется патриотизм. — Борис отступил на несколько шагов и вновь выкинул руку. — Нарвские триумфальные ворота. Санкт-Петербург!

— Отвали! — наконец Лета не выдержала и стукнула его по руке.

Но Рогачёв не унимался.

— Тимгад, Алжир, — левая. — Вновь Рим. Арка Тита, — правая. — Что характерно... Послушайте, девушка, я для вас одной веду экскурсию! Что характерно, арки начали строить римляне. В память о знаменитом событии, ну, или в честь какого-нибудь важного лица.

Наконец Лета остановилась и устало посмотрела на Рогачёва. При тусклом коридорном освещении её лицо казалось оливкового цвета, но не цвета оливок, а цвета масла — с зеленовато-бежевым холодным оттенком. Рогачёв будто впервые увидел однокурсницу. Он день ото дня слеп от её красоты, но сейчас... Борис аж застыл, разглядывая девушку. Умело нанесённый макияж подчёркивал роскошь её невыносимо-прекрасного лица. Тщательно прокрашенные ресницы каре-зелёных глаз выделялись на фоне медно-золотистых теней верхнего века. Каштановая помада с лёгким перламутром. Тёплая ржавчина скул. Картина глубокой осени, — мелькнуло у Бориса. А обрамлялась эта картина багетом золотых волос. Шафранового цвета кофточка как нельзя лучше подходила к божественно-красивому лицу. Этот цвет удачно оттенял необычный оттенок её кожи.

— Осень, — сказал вслух Борис. — Непременно осень.

Лета, кажется, не поняла его, и вообще она стояла нахмурившись. А Борис неожиданно пришли на ум строчки:

*— Лес, точно терем расписной,  
Лиловый, золотой, багряный,  
Весёлой, пёстрой стеной  
Стоит над светлою поляной.*

Бунин пришёлся как нельзя кстати. Точно. Лета — бунинская осень!

— Не люблю Бунина, — сказала Лета.

— Да? — растерялся Рогачёв. — Не любишь?

— Не люблю. И осень не люблю.

*...Последние мгновенья счастья!  
Уж знает Осень, что такой  
Глубокий и немой покой —  
Предвестник долгого ненастья...*

И, кстати, у Бунина лучше весна получается.

— А что тогда любишь? — задумчиво произнёс Борис.

— Как что? Лето! — звонко рассмеялась девушка.

Её смех мощной волной ударил его в сердце.

— Волюбилис, — специально акцентировав слог “би”, он раскинул обе руки. — Арка Каракаллы. Волюбилис. Город в Марокко. Самый юго-западный город Римской империи. Для тех, кто не знает, — добавил он улыбаясь.

Но Лета на сей раз не стала проходить под его руками, а повернула назад.

— Неожиданный ход, — пробормотал Рогачёв.

Ноябрь сошёл с ума. Всё больше холодило день ото дня. Говорили, что последний раз так же невыносимо холодно было сто лет назад. Люди, обморозившись, массово толпились в травмпунктах. “А мы ещё поживём!” — Рогачёв заскочил в тёплое помещение, где телеграф и междугородка составляли единое целое. Народу толпилось много, однако пара окошек оставались пустыми. Люди заходили сюда погреться. Борис прошёл к одному из пустующих окошек. Крупная пожилая дама несколько надменно посмотрела на посетителя. Рогачёв ответил ей с не меньшим презрением.

— Десять минут с... номер... — грубо произнёс он, дыша на окоченевшие пальцы.

— Ждите, — сказала толстуха.

С матерью соединили быстро. Пришлось идти в стеклянную кабину, не успев дослушать разговор опрятного старичка, вероятно, с сыном. Хотя старичок и говорил упавшим голосом, но слышимость на телеграфе была что надо.

— Учишься? — Татьяна Валентиновна опустила приветствия. — Или дурака валяешь?

— Можно подумать, я когда-то дурака валял. — В последнее время у Бориса так и сидели на языке грубости в адрес матери, но каждый раз приходилось сдерживаться.

— Звонишь сказать, что деньги нужны?

Борис сделал паузу. А для чего ещё?

— Отвечай! — вдруг разозлилась Татьяна Валентиновна.

— Да, нужны. Хотелось бы... — не ожидая резкого тона матери, промямлил Борис. — Думаю с квартирой договариваться.

Васнецова помолчала. Ей нравилось помогать сыну, и она охотно это делала. Борис никогда ни в чём не знал отказа.

— Ну, так иди и заработай! — гневно выпалила Татьяна Валентиновна.

Борис даже не сразу понял, что сказала ему мать и потому переспросил:

— Что?

— Заработай. За-ра-бо-тай! Что непонятного?

— Но... но... — растерялся Рогачёв. Такой родительницу, он, пожалуй, не видел, то есть не слышал. — Что случилось?

— Ничего! — И Васнецова повесила трубку.

Она там чего? Рехнулась? Рогачёв держал в правой руке холодную телефонную трубку и не спешил выходить из кабинки.

— У меня десять минут было заказано. Почему разъединили? — крикнул Борис, открыв стеклянную дверцу.

Его попросили подождать. Но вскоре объявили, что номер не отвечает.

Деньги нужны позарез. Его всегда снабжали родители, у которых этих бумажек имелось, как у дурака фантиков. Однажды он даже пробовал возражать против потока денежных средств в карманы его пиджака, сказав, что будет разгружать вагоны. Разумеется, Борис кокетничал. Однако родители от такого заявления сына лишились сна и аппетита.

— Твоя задача выучиться! — глотала мать сердечные таблетки.

— Не позорься и нас не позорь! — Отчим то и дело гневно бил ладонью по столу.

Рогачёв особо долго мучить родителей не стал и в тот же вечер снизошёл до получения очередной порции червонных купюр с изображением товарища Ленина.

Что же произошло сейчас? Рогачёв перебирал разные версии, но ни одна из них так и не была им утверждена. Попутно Борис думал, где бы раздобыть денег. Какая-то мелочёвка у него имелась, но с недавнего времени Рогачёв занимался поисками квартиры, поэтому нужны были более существенные банкноты. Ещё пару недель назад мать с отчимом настаивали на отдельном жилье, а тут вдруг на тебе...

Он остановился у киоска “Спортлото”. На одной из боковин металлического цилиндра-киоска, сужающегося книзу: “Выигрыш от 3 до 10000 рублей”. А над ней в овале: “спринт”. Мгновенная лотерея. Покупаешь конвертик, срываешь полоску и с замиранием сердца достаёшь изнутри бумажку с выигрышем, вернее, как правило, без выигрыша или по мелочи. Однажды Борис всё же выиграл в этот спринт двадцать пять рублей. А сосед с нижнего этажа выиграл денег себе на баян, но не в спринт, а в “Спортлото”.

“Индустрия азарта”, — усмехнулся Борис, протягивая молоденькой продавщице полтинник и покупая билет. Девушка общалась нехотя. Через окошечко уличный холод проникал в её тёплую каморку. “Тоже мне, ловцы счастья!” — читалось на её лице.

Однако билет, купленный молодым красивым человеком, оказался счастливым. Девушка поняла это сразу. Но выигрыш наверняка небольшой. Парень только подмигнул ей и слегка улыбнулся. Она выдала две пятёрки счастливицу, а потом ещё долго смотрела ему вслед из своего окошечка, не чувствуя холода. Поставив дату и штамп на билете, который покупатель был обязан вернуть в обмен на выигрышную сумму, продавщица билетиков счастья мечтательно выдохнула. Ей очень понравился парень.

Борис тем временем намеревался где-нибудь отобедать. Замёрз, поэтому хотелось горячего. Зашёл в первую попавшуюся столовку. Взял дымящийся борщ, стакан сметаны, пару кусков хлеба, чай. Повертел в руках холодный гранёный стакан, раздумывая, с чего начать, всё же сначала принялся за борщ.

В столовой имелись свободные места, поэтому Борис слегка опешил, когда за его столик подсел парень с подносом.

— “Сигнатор” есть, — сказал сосед, обжигаясь рассольником. — Надо же, горячий! В кои веки.

Борис молча ел свой борщ.

— Червонец, — не отрывая взгляда от тарелки, сказал парень.

— “Сигнатор” за червонец? Больно дорого. Буханка хлеба стоит шестнадцать копеек, мороженое двадцать, — пустился в рассуждения Борис. — Да и духи всего четыре рубля, если память мне не изменяет.

— А ты попробуй достань! — зло прервал его незнакомец шёпотом.

Борис почесал в ухе.

— Это же Болгария!

— А по запаху и стойкости любые “Клима” затмят, — парень внезапно перешёл с шёпота на голос.

— Червонец, говоришь... — Рогачев внимательно оглядел соседа.

Щупленький, суетливый и, видно, жадный до денег. У Бориса на столе лежала сдача мелочью, так тот и на эти копейки кидал алчные взгляды.

Духи, конечно, так себе. И десятку не стоят. Но мать любит этот резкий запах болгарской розы, помноженный на тюльпан и ещё чего-то там, мандарин, кажется. Рогачёв представил, как она обрадуется, беря в руки белую упаковку с выдавленной на ней золотистой медалькой, внутри которой оттиск буквы “С”. М-да... И червонец ему даром достался.

— Давай. — Борис отставил недопитый чай.

— Здесь, что ли? Ну, ты болван.

“Болван” Рогачёва покорило, но он молча встал, сгрёб сдачу со стола и прошагал за парнем следом. Тот протопал в туалет.

— Только здесь и торговать ароматами, — засмеялся Борис.

— Мани.

Рогачёв посмотрел на коробку, потом на хилого фарцовщика.

“Заработай!” — вспомнилось недавнее материно, и ему вдруг расхотелось покупать ей любимые духи, и тем не менее он протянул руку.

— Э нет, червонец, как договаривались, — парень отвёл руку назад.

— Дороговато всё же.

— Чего ты мелочишься в таком прикиде! — вспыхнул торговец.

— А ты-то сам почему в совпаршиве?

Внезапным ударом ноги Рогачёв буквально свалил парня с ног.

— Ты чего! — завопил тот, вскакивая.

Рогачёв подошел к нему вплотную. Парень прижимал к себе коробку.

— Убью, — сказал Борис. Но сказал спокойно и даже как-то вежливо.

Угроза, произнесённая с такой особой невозмутимостью, неожиданно подействовала на продавца.

— Да не стремайся, — хохотнул Рогачев, забирая духи. — А насчёт мелочишься... На вот, забирай, не жалко! — и Борис протянул парню ту самую мелочь, что лежала на столе во время обеда.

— Ты пожалеешь! — Горе-продавец ударил кулаком о кафельную стену.

— Факмен! — Рогачев употребил расхожее в те времена ругательство, означающее “неудачник”, убрал трофей за пазуху. Выйдя на улицу, рассмеялся. “И куда он катится?” — сказала бы обчество, припомнив ещё и драку с убийством. Да никуда! Так, поразвлекался.

Рогачёв вскрыл целлофановую упаковку и достал из коробки рифлёный флакончик, украшенный голубой воздушной ленточкой. Подумать только, он, будущий юрист, совершил грабёж. От этого Рогачеву стало ещё веселее. Грабёж! А что у нас такое грабёж? А грабёж у нас — это хищение чужого имущества, совершенное открыто, то есть в присутствии владельца вещи или иного лица, понимающего, что происходит преступление. Выражается



в похищении имущества, совершённом без насилия над личностью или с насилием, которое не опасно для жизни и здоровья. Молодец, Рогачёв! Зачёт. С этим преступлением вы прекрасно ознакомились. И теоретически, и практически. Борис веселился от души. А что? Грабь награбленное! “Да! — поддакнул он сам себе. — Не грех было спекулянта проучить. Фарцовщики — социальный недопустимый элемент!”

Борис открыл флакончик с духами и поднёс к носу. На морозе они пахли гораздо резче обычного. Он положил их обратно и, прежде чем убрать, ещё раз взглянул на белый футляр, на забавно выведенную надпись.

— Сигнатор, — повторил он вслух. Подпись, автограф, подписание... date of signature — дата подписания, например, соглашения. — А что? Из меня мог бы получиться неплохой адвокат. Хороший даже, я бы сказал!

С этой минуты Борис твёрдо решил, что хочет быть адвокатом. Соглашение подписано. Сигнатор.

Когда он вернулся в общагу, в их комнате пили домашнюю наливку. Это Мишка съездил домой на выходные. Народу набежало много. Столько наливки у Рыха не было, но ребята приходили не с пустыми руками. Заглянула и Лета. Сразу обратила внимание на духи.

— Чьи это? — спросила удивлённо, доставая их с полки над кроватью Бориса.

— Твои, — ответил Рогачев.

— Это совсем не мой запах. — Лета вертела в руках коробку.

— Конечно, вам только французские подавай, — деланно проворчал Борис. — Болгария не катит.

— А знаешь, что французы приобретают сотни тысяч декалитров продукции наших парфюмерных фабрик? К примеру, ленинградской “Северное сияние”.

— Зачем? — удивился Борис.

— Флаконизируют и продают под своим брендом.

— Наши духи?!

— Наши духи.

— Почему?

— У нас слишком простенькая посуда и маленькая цена.

— Хм... Надо же. А ты откуда знаешь?

— Много будешь знать, плохо будешь спать! — улыбнулась Лета, подушив запястья духами. После чего выросла очередь из девчонок, желающих сделать то же самое.

Борис совершенно не отчаивался, оставшись без родительского попечения. Он никогда не просил денег ни у матери, ни у отца. У него на книжке, которая постоянно пополнялась, лежала довольно внушительная сумма, но Борис и не помышлял о ней. Теперь же, оставшись без копейки в кармане, Рогачёв по несколько раз на дню вспоминал о заветных денежках. Необходимо была квартира, а также подарки для Леты, да и вообще на жизнь. До сих пор у него не выходили из головы духи. Лета достойна большего, чем эта Болгария. Вон она и пользоваться ими не стала, отдала Ирке Самойленко. Той в самый раз. Обольётся с ног до головы и ходит радуется. Теперь Рогачёв этот запах терпеть не мог — от переизбытка. И чем он так матери нравился?

Борис вновь задумался о матери. Что же такое с ней случилось? Может, Васнецов что-то учудил? Ушёл к любовнице или понизили в должности. Нет, в это трудно поверить. Отчим всегда такой осторожный, расчетливый и предусмотрительный, с ним навряд ли случится что-то неординарное. Но даже если предположить, что всё-таки что-то произошло, денег у матери хватит накормить всю Африку, да ещё останется. Зачем трудиться, если родители выполняют любые капризы?

Обращаться к матери за деньгами, а тем более вытаскивать их из сберкнижки он не станет. Стипуха хоть и повышенная — пятьдесят пять рублей, но это же курам на смех! Ну, и где же взять недостающие? Хотя бы... Точную сумму Рогачёв назвать не мог. Чем больше, тем лучше, естественно.

Заработать, как сказала мать. Варианты? Фарцевать можно. Но не нужно. Тогда где? Придётся торговать своей физической силой. Пойти на станцию разгружать вагоны. Поразгружаешь ночку, заработаешь пятнадцать рублей. Или на мясокомбинат.

Эх, было бы лето, намного проще! Мишка Рых работал проводником. И не только он. Ребята рассказывали, что за месяц можно заработать рублей триста с лишним. Четверо суток в пути, двое дома. Получается пять рейсов в среднем. Триста — если честно работать, как Мишка. А если с выдумкой — то... В общем, насколько выдумки хватит. К примеру, “зайцы”. Отдельная статья дохода! Кто-то не успел купить билет, кто-то от поезда отстал, кто-то... да мало, что ли, этих “кто-то”? А водка? А водка так вообще прибыльное дело. Приторговываешь ей — и денежки сразу и быстро наполняют твой кошелек. Однокашник Запалов как-то откровенничал, что не гнушался и по карманчикам пройтись пьяненьких купешников. Правда, он, когда рассказывал о тонкостях проводничьего ремесла, сам под хмельком был. Потом отрёкся от своих слов, сказал, что это подсудное дело и так делать нельзя! Назидательно сказал, сурово! Ещё он говорил, что “китайку” использовал — постельное бельё по второму кругу пускал. Вот это Борису непонятно, как такое возможно? Люди слепые, что ли? Или Запалов заранее управлялся с постельями? Человек думает, что о нём заботятся, расстилают для него, а, оказывается, он на вторичке спит. Но всё равно, как не почувствовать, свежее бельё или нет? Надо будет спросить у Запалова. Хотя зачем? Он всё равно, если и будет когда проводником подрабатывать, то только без вот этих штучек-дрючек. Не те деньги, на которые можно позариться. Интересно, а почему название этого мошенничества такое странное? При чём тут китайки?..

— А сколько всего оставляют! То зонты, то сумки, то деньги, — ударялся в воспоминания Запалов. Его рыжее веснушчатое лицо замирало в блаженстве. — Скажи, Мишка!

Здоровяк поддакивал. Рассказывал, как однажды сто рублей нашел под полкой. Сто! А по мелочи и говорить не приходится. Сколько её выгребешь, пока вагон убираешь.

— Я всякие приветы передавал, за это хорошо давали. — Запалов подмигнул Мишке.

— Какие приветы? — не понял Борис.

Рых с Запаловым переглянулись и одинаковыми снисходительными взглядами посмотрели на Рогачева.

— Посылки, письма, — ответил Мишка.

— Да, — протянул Борис, — жили вы припеваючи, как я посмотрю.

— Не то слово! — Запалов с воодушевлением принялся вспоминать дальше. — Пустые бутылки, братец, — тоже отдельная статья дохода.

Рогачёв уже не вникал в рассказ. Надоела железнодорожная тема.

Проводник отмазается. Работа летняя. Попробуй не появляйся в институте по четверо суток, если опоздать на лекции считается постыдным. Нет, этот вид “отъёма денег у населения” подождёт до июня, конечно, если мать по-прежнему будет выкидывать странные фортели.

Все же разгружать вагоны не очень-то манило. Зато будут хоть какие-то деньги. И тело станет сильным и выносливым. Как ни крути, одни плюсы. Рогачёв представил себе картину: он под руку с Летой заходит в “Рубин”. Магазин их встречает блеском витринного золота. Лета замирает от желания иметь красивую дорогую побрякушку. Он в предвкушении покупки любого драгоценного изделия, на которое укажет своим капризным пальчиком его несравненная Виолетта Виноградова. Она склоняется над серьгами с рубином. Недаром магазин “Рубином” называется.

— Золото 585 пробы, вставка — рубин. Стоимость 165 рублей 50 копеек. Цена за грамм 36 рублей. Масса 4.40, — отчеканивает продавец.

Но Лета уже устремляет взор к более дорогому колечку...

Эх! Рогачёв с досады хлопнул ладонью по колену. Оставшиеся три червонца совершенно не грели душу. Он встал с кровати. Быстро оделся и вышел из общежития. Где грузовая станция, он не знал, поэтому взял такси.

Ему даже обрадовались!

— У нас есть хорошая сплочённая бригада, — сказали ему, — из непьющих студентов. У тебя как с этим?

— Хорошо, — ответил Борис, — в смысле не пью, — поправился он, — особо не пью, — добавил. — Короче, не алкоголик.

На него посмотрели внимательно и продолжили:

— В бригаде шесть человек, но шестой у нас с аппендицитом слёг, а впятером им тяжело.

Рогачёв понимающе кивнул.

— За разгрузку вагона мы платим шестьдесят, то есть по червонцу на брата. Разгружают обычно четыре вагона, правда, смотря с чем, но ваша бригада разгружает обычно спиртное. Кумекаешь, почему непьющие нужны?

Борис снова кивнул.

— Четыре вагона разгружаете, каждому по сорок. Неплохо, да?

Рогачёв и на этот раз кивнул.

— Считаю, стипендию за ночь зарабатываешь.

На этот раз Рогачёв вздохнул.

— Согласен?

Что ж, опять пришлось кивнуть.

Эту первую ночь Рогачёв не забудет никогда! Ноябрьская холодрыга отступила сразу. Даже пришлось раздеться до рубашки.

— Не выдумывай! — замахали руками бывалые грузчики. — Воспаление лёгких захотел?!

Борис послушно надел свитер, но в нём было нестерпимо жарко.

Разгрузив четыре вагона за шесть ночных часов, бригада из шести человек получила честно заработанные деньги. А ещё в качестве премиальных им выдали пару ящиков коньяка, по двенадцать бутылок в каждом.

— Это из процента боя, — пояснили удивлённому Рогачёву.

“Какой бой?” — не понял Борис. За разгрузку всех вагонов ни разу никто из них не уронил ни одного ящика. Но переспрашивать не стал.

Ребята разделили оба ящика между собой. Но Борису делёжка была до фонаря. Только бы доползти до кровати. Он с трудом засунул бутылки в спортивную сумку. Руки не слушались. Хорошо, что разгружать ящики со спиртным всего раз в неделю!

Кроме ветра, на стоянке такси никого не было. Новоявленный грузчик отдал трёшку частнику и вскоре очутился возле дверей родной общаги. Поднимаясь по ступеням, Рогачёв вдруг ощутил гордость за себя. Пусть всего сорок рублей, но какие! Трудовые. Лично им заработанные. Конечно, мать бы ужаснулась. Но она сама толкнула его этой ночью разгружать вагоны, и, как ни странно, он ей безмерно благодарен.

Рогачёв бесшумно вошёл. Мишка и Витька спали, причём оба храпели, как Поль Робсон и Луи Армстронг. Борис, скинув с себя одежду, нырнул в постель и тотчас же вырубился.

Его растолкал Витька:

— Ты на лекции-то идёшь?

Борис открыл глаза и снова закрыл. Сил не было даже держать их открытыми.

— Не идёшь, что ли?

— Сколько времени? — простонал Рогачёв.

— Ещё немного и опоздаем, — ответил другой сосед по комнате — взъерошенный Рых. Он уже обувався.

— Откуда такая странная фамилия — Рых? — по-прежнему не открывая глаза, спросил Борис.

— Вставай давай! Сегодня Пистолет, забыл? — Суетливый Мишка игнорировал вопрос. — Витька, выкидывай его из кровати.

— Да мне хоть пулёмёт, — вяло ответил Борис. — Я сегодня не пойду. По крайней мере, сейчас не пойду.

— Заболел? — учтиво спросил Витька.

— Веришь — нет, не пошевелиться.

— Так заболел, что ли, спрашиваю?

Борису не хотелось говорить приятелям, что он разгружал вагоны.

— А где ты ночью был? — Мишка застёгивал куртку.

— А! — махнул рукой Борис и отвернулся.

Встать он не мог, даже если бы очень хотел. Его тело словно выкинули, а вместо него положили огромную неподъёмную мраморную плиту. Так что пугать Пистолетом было бесполезно.

Преподаватель гражданского права Валерий Вадимович Полянко частенько говаривал: “Да, это сложно. Проще взять пистолет и застрелиться”. Отсюда и прозвище. Студенты его не любили и опасались. Тот ещё тип...

“Не пойду сегодня в институт, — думал студент Рогачёв, вновь погружаясь в сон, — хотя свобода в определённой мере предполагает возрастание риска... Да, впрочем, чёрт с ним, с этим Пистолетом”.

А проснулся Борис, только когда Витька с Мишкой ввалились в комнату.

— Если грузишь — грузинский, если в армии — армянский. А французский кому дают? А французский французенкам, — острил Рых.

Вечером троица дружно попивала рогачёвский коньячок. На огонёк к ним заглянули Ирка Самойленко и Рада Дерепашук. Они делили комнату с Летой. Ирка и Рада нравились приятелям Бориса — полнотелому Мишке и толстопузому Витьке.

— А Лета где же? — спросил Борис у девушек.

Рада насмешливо посмотрела на Рогачёва. “Противная девка, — подумал Борис, глядя на русую вредную однокурсницу, — сейчас что-нибудь непременно съязвит”.

— Её величество устало. Подданных попросила удалиться. И никого. — Она бросила многозначительный взгляд на Бориса, — не принимает. — Рада подошла к тумбочке с коньяком и закуской, взяла початую бутылку, повертела в руках, понохала. — У неё мигрень.

— Голова болит? — переспросил Мишка. — Так это коньяком правят. Надо срочно позвать её.

У Рады с Мишкой назревали отношения. Но Рыху, как и многим другим ребятам, нравилась Лета. Однако понимая ху из ху, даже не пытался смотреть в её сторону. Его сапогом была Рада Дерепашук — жирная, всеядная стерва. Борис так и видел их вместе — безвольный Рых и властная Дерепашук. Рада, как и всякая собственница, на Мишкину реплику разозлилась, приревновав ещё незаконного кавалера.

— Вот ещё! Бегать за ней.

— Так голова у неё болит, — Мишка кивнул Борису, иди, мол, сходи.

— Голова не жопа, завяжи и лежи, — твякнула Рада, — будем мы ещё за этой цацей...

— Пошла вон. — Борис встал со стула.

Повисла пауза. Все четверо — Ирка, Витька, Мишка и Рада — удивлённо смотрели на Рогачёва. Чего это с ним?

— Боря, ты чего? — с наездом в голосе спросил Рых.

— Пусть не забывается, — раздражённо произнёс Рогачёв. — Пошла вон, говорю!

— Тебе не кажется... — Мишка выдвинулся вперёд.

— Не кажется. — Борис подошёл к двери и открыл её. — Вон.

— Ты не один здесь живёшь! — вспыхнул Рых. — К тому же она моя девушка.

И без того круглые глаза Рады Дерепашук округлились ещё больше и заскользили по сторонам. Его девушка!

— Извинись! — напирал Рых.

Он подошёл к Борису. Неожиданно для всех Рогачёв съездил Рыху в челюсть. Здоровяк от такой внезапности не удержался на ногах. Ирка завизжала, а Рада набросилась с кулаками на обидчика. Борис, даже не уворачиваясь, как котёнка, взял за шиворот Дерепашук и выкинул за дверь.

— Я тебя... сейчас... — Мишка подскочил к Рогачёву, но тот оттолкнул его.

— Однако... — Ирка Самойленко зачем-то взяла в руки бутылку. — Однако!

Рогачев с усмешкой посмотрел на неё, потом на бутылку. Приготовилась ударить, что ли?

— Или ты сейчас догонишь Раду и извинишься...

— Или что?

— Или я за себя не ручаюсь.

— Последнее, — нагло усмехнулся Борис. — Выбираю последнее. Дальше что?

— Подлец ты. — Самойленко смерила Рогачёва презрительным взглядом и вышла из комнаты.

Витька Челябин не знал, что делать: то ли броситься за Ирккой, то ли остаться. По всей видимости, разговор между Рыхом и Рогачёвым не закончился. Так оно и оказалось, поэтому Челябин остался и насулленно смотрел на приятелей.

— Ты чё вытворяешь? — Мишка сплюнул.

— Ну, а ты чего? — зевнул Рогачёв.

— Я за девушку защищаюсь.

— Так и я тоже.

— Как-то по-свински.

— Как умею.

— Знаешь, Рогачёв, я после этого тебя знать не хочу.

— И я тебя, Рых. — Борис плеснул себе в рюмку.

— Извинись немедленно перед Радой! — вновь взорвался Мишка.

— Нет, — и Рогачёв опрокинул рюмку в себя.

Витька подошёл к Борису и сел рядом с ним на кровать. Налил себе в стакан “Буратино”, выпил.

— Понимаешь, Боря, — Челябин принял на себя роль морализатора, — ты — хороший парень и все тебя уважают, уважали, то есть, пока ты вот сейчас... Как можно так с девушкой? С другом?

— Заткнись, а!

— Неправ ты, старик, ой, как неправ.

— Да что ты с ним разговариваешь? — кипятился Рых. — За это морду бьют!

— А ну, давай! Кишка тонка. И вообще, не советую со мной связываться! Так что, колхозники, зарубите на носу...

— Ничего я себе на носу рубить не буду, — обиделся за “колхозников” Витька.

— Зарубите на носу, — жёстко повторил Рогачёв, и глаза его недобро блеснули, — если кто ещё раз про Лету худое скажет или, не дай Бог, обидит, порву.

Он резко встал и вышел из комнаты.

— Я это так не оставлю, — сквозь зубы процедил Рых. — Он ещё не знает, с кем связался. Порвёт он... Я за Раду сам кого хочешь порву.

— Колхозниками нас обозвал. — Из всей истории Челябин именно это задело больше всего.

— Козёл, — с ненавистью выпалил Мишка. — Недаром что Рогачёв!

— Рогачёрт, — усмехнулся Витька.

— Точно, Рогачёрт! — неожиданно развеселился Рых.

А Борис, выйдя из комнаты, сразу же забыл о ссоре. Этих двух увальней — толстопузого Витьку Челябин и рыхлого Мишку Рыха — он вообще-то и за людей особо не считал. Колхозники, что с них взять?..

Когда Рогачёв вернулся к себе, его соседей по комнате не было. Наверное, к девкам ушли. Ну, и славно. Борис плюхнулся на кровать. Всё болело после сегодняшней ночи. А руки так вообще судорогой сводило. Это с непривычки. “Пройдёт!” — подбадривал он себя. Кинул взгляд на кровать Мишки, потом Витьки. Поначалу Борис думал, что Мишку зовут Рыхом, потому что он рыхлый. Оказалось, нет. Рых — Мишкина фамилия по паспорту. Правда, по отчиму. Странная фамилия, однако. Мишка из деревни. Хоть его деревня и не так глубоко зарылась, а всего в сорока км от областного города, и тем не менее...

Витька Челябин подобие Мишки. Из провинциального городка, название которого нет надобности запоминать, всё равно потом ни разу не услышишь.

И эти два недотёпы — будущие юристы? Вот это никак не укладывалось в толковой рогачёвской голове. У юристов должна быть особая хватка. Юрист должен быть личностью. А они? А они нет, не личности. Хорошо смазанные шестерёнки. Жить по закону — вот их лозунг. Ха! Юристы живут по закону? Насмешили. Видел он этих юристов предостаточно. Ещё с пелёнок видел. У них такое восприятие собственного “Я”, что ни Мишке, ни Витьке и не снилось. А это очень важный компонент.

— Жизнь по совести не может быть успешна и выгодна, — однажды услышал Борис эту фразу от друга их семьи дядя Жоры, “закоренелого” юриста, как называли его в шутку родители Рогачёва.

Судья, следовательно, прокурор, нотариус, юристконсульт и, наконец, адвокат — кто из деревенщины может претендовать на эти звания? Ну, выучатся, будут свободно оперировать юридическими понятиями и категориями...

Порассуждать о себе не дали ввалившиеся предметы рассуждения. Они хоть и были в контрах с Борисом, а всё же его коньячок прихватили, отправившись коротать вечерок со своим бабьём. Цирк.

Борис отвернулся к стене. Мишка с Витькой тоже не собирались вступать с ним в дискуссии и завалились спать. Они заснули сразу, а вот Рогачёв, несмотря на непроходящую ещё с ночи усталость, ворочался долго, пока, наконец, сон не сморил и его.

Утром Рых и Челябин вели себя так, будто Бориса и не существовало вовсе. Рогачёв, увидев, что от коньяка осталась одна початая бутылка, сказал с уменшкой:

— Принципиальные-то мой коньячок попивают. Чтобы вечером всё было на месте. — Рогачёв открыл форточку. Холод тотчас же повалил в комнату.

— Ты ещё и жлобяра! — В голосе Мишки слышались нотки презрения. Он, одетый в модные брюки-клёш и пёструю рубашку с расклепёнными рукавами и воротником-ушками, которая едва сходилась на нём, продирали расчёской перед зеркалом густую копну медовых волос.

— И жлобяра, и подлец, — согласился Рогачёв.

Вообще-то отношения с деньгами у Бориса были лёгкие, он лихо бросал их на ветер, тратил на друзей, на девчонок, на всякую ерунду. И уж определение “жмот” под него никак не подходило. Поэтому логика колхозников — взять чужой коньяк, выдринькать его и потом обозвать жлобярой — Рогачёва вовсе не обескуражила, а рассмешила.

“Где ещё брать деньги?” — думал он по дороге в институт. Допустим, будет разгружать коньяк. Тридцать-сорок рублей смена. Но раз в неделю. В среднем за месяц выйдет рублей сто пятьдесят. Стипуха есть. В итоге двести рублей набегают, не считая натуру — коньяком или водкой. Но и двести — это не деньги. Квартира — тридцатка, а хорошая так и все пятьдесят. А нужна только хорошая! Вот и считай... Но что, если чаще разгружать вагоны? Два-три раза в неделю. Вот и сегодня можно пойти. Нет, только не сегодня. Болит ещё сильнее, чем вчера. Завтра. Завтра он пойдёт снова на грузовую станцию.

Все лекции напролёт Рогачёв переживал о Лете. Её не было на занятиях, приболела. Борис утром заходил к ней. Она спала, а Ирка сквозь зубы сообщила о недомогании подруги. Рада демонстративно отвернулась. Жирная дрянь! Слышала бы Лета, что они за её спиной говорят! А духи-то у неё выклянчили и поливаются ими. Щедро так, особо не экономя. Лета им ещё что-нибудь отвалит...

На днях он с Толиком Механошиным ушёл с последней пары, упрямил вахтёршу дать ключи от Летиной комнаты и, пока она с подругами была в институте, разукрасил потолок надувными шариками. К каждому шарiku они с Толиком привязали по цветку — белой гвоздичке. Девчонки пицали от восторга, Лета снисходительно улыбалась, а Борис ликовал от её снисходительности.

Обычная женщина в Советском Союзе в среднем получала цветы дважды в год — в день рождения и на Восьмое марта. Ещё цветами встречали из

роддома, провожали в первый класс, дарили на свадьбу, пожалуй, всё. Цветы считались роскошью, без которой можно обойтись. Да и достать их трудно, особенно в ноябре. Приходилось покупать на рынке втридорога.

Три дня назад Лета получила аж целых три букета. По дороге из парикмахерской в общагу к ней подошел незнакомец и вручил букет цветов, через несколько метров ещё один, и возле общежития её тоже ждали цветы. К каждому из букетов было прикреплено жаркое любовное послание. И не важно, что цветы помёрзли на холоде и простояли не больше суток.

— Целое состояние замёрзло, — вздохнула Ирка, выкидывая увядшие букеты и провожая их жалостливым взглядом, — на что бы путное потратил.

Чувствовалось, что Ирка завидует Лете и тому, как ухаживает за ней Борис. Завидовала не только Самойленко, но и многие девчонки. Завидовали и самой Лете. Тому, что у неё тени не похожи на гуталин, а пудра на dust. Тому, что она с лёгкостью может отдать “Сигнатор”. Тому, что она не красится хной и басмой... А на ногах она носит инженерскую зарплату — югославские сапожки. Но даже те, которые могли себе позволить то же, что и Лета, втайне завидовали её красоте и самоуверенности. Парни юридического института сходили по ней с ума, и у Рогачёва хватало соперников. Однако в том, что Лета будет с ним, Борис не сомневался и брал крепосте штурмом. Он чувствовал симпатию Леты, а это ещё больше распалило. Только стихов не писал. Не хотел выглядеть глупо. А в остальном ухаживал настойчиво и красиво. У такой девушки должно быть всё самое лучшее! Хотя он удивлять мог и без денег.

В день, когда Лета приболела, Рогачёв поехал на заправку и купил два литра бензина. Вечером он расчистил от снега асфальтовую площадку перед окнами Леты и бензином написал её имя. Заранее отправил ей записку, чтобы выглянула в окно в восемь вечера. А когда она появилась, зажёг буквы. Её имя ярко запылало пламенем.

Уже две недели через день, вернее через ночь, Рогачев разгружал вагоны. За семь смен он заработал сто пятьдесят пять рублей, из них восемьдесят за две ночных разгрузки спиртного. Остальные семьдесят пять (по пятнадцать рублей за смену), — разгружая, что придётся, — гвозди, яблоки, стиральный порошок. Он ходил невыспавшийся, усталый, но по-прежнему пытался шутить, каламбуричь, веселиться. Как всегда, тщательно следил за собой. Многие от такой нагрузки становились потрёпанными, измученными, жаловались на замотанность, но только не Борис. Никому не нужно знать о твоих трудностях и неудачах, — так он считал и всегда придерживался этого правила.

— Везёт же! — как-то с завистью сказал Рых, узнав, что Рогачёв, разгружая коньяк, за смену получает сорок рублей, да еще и выпивку.

— На остальном-то он по пятнадцать зарабатывает, — возразил Витька.

— И зачем? Раз в неделю разгружал бы свой коньяк. Да ещё стипендия повышенная. Неужели не хватило бы? Эх, жадность движет человеком. — Рых с презрением посмотрел на рогачёвские вещи на стуле. — Коньячок-то даром ему достаётся, а с нас стрясал.

Отношения у Бориса с соседями по комнате оставались напряжёнными, особенно с Мишкой. На требование вернуть коньяк Витька с Мишкой, разумеется, чихать хотели, и в один прекрасный день не смогли попасть в свою комнату. Стоял новый замок. Борис в это время устраивал Лете огненный шоу. Вернувшись, ещё из конца коридора увидел ребят, сидящих возле двери на корточках. Подошёл, открыл ключом дверь.

— На хрена ты замок менял? — Рых собирался войти в комнату.

— Коньяк принесли? — Борис встал в проёме.

— Не понял. — Мишка удивлённо посмотрел на Бориса, потом на Челябинева.

— Свободны. — И Борис, резко оттолкнув Рыха, захлопнул дверь перед носами бывших приятелей.

— Ах ты ... — заматюгался Рых и начал неистово колотить по двери. — Открывай!

— Борька, мы тут тоже живём, — вторил Челябин.

— Я щас снесу эту картонку к едрене фене! — Мишка пинал по двери ногами. Внезапно дверь открылась. На пороге с усмешкой стоял Борис.

— Вот то-то же! — Рых тёр левой рукой косточки правого кулака.

— Друзья! Не нужно портить казённое имущество, причём умышленно. Вам ли не знать? Денег у вас лишних нет. А те, что есть, придётся потратить на три бутылки коньяка. В противном случае вы будете вынуждены жить, где попало.

— Ты не подохренел ли? — Мишка накинулся на Рогачева, но получил ответный удар. И снова в челюсть, как и в прошлый раз.

Бил Рогачёв мастерски. “Бокс для современного гражданина, как шпага для дворянина, не владеть им неприлично”, — повторял его тренер в ДЮСШ.

— Не связывайся, — Витька держал Мишку за плечи, — подожди, сейчас что-нибудь придумаем.

— Чё тут думать! — Рых рвался в бой.

— Не шуми ты! — Челябин пытался унять друга.

— Послушай товарища. — Борис стоял, прислонившись к косяку со скрещенными руками на груди, — в противном случае я буду вынужден написать заявление в милицию о пропаже личного имущества.

— Тварь самодовольная! — Рых с ненавистью смотрел на Бориса.

— Ты как всегда прав, Миша, — сказал Рогачёв, закрывая дверь.

— Ну, ты и слабак! — накинулся Рых на Челябин.

Челяев принялся объяснять другу, что не стоит связываться с Рогачёвым. Но Мишка не стал слушать его доводы и, обозвав Витьку скотиной, в оскорблённых чувствах куда-то умчался.

— А что, разве я не прав? — рассуждал Челябин. — Вышибить дверь не проблема, она вон какая хлюпастая, одним плевком можно. Но поднимется шум, может, начнётся драка. Обязательно прибежит вахтёрша, — а сегодня гримза Поля! — вызовет милицию. Вдруг Рогачёв и вправду скажет, что у него украли личные вещи. В общем, вся эта заваруха ни к чему. Рогачёрт, ясно дело, сухим из воды выйдет, а нас, не дай Бог, ещё привлекут как бузотёров.

К тому же ни для кого не было секретом, что у Рогачёва влиятельные родители, что у него имеются деньги и что ему всё сходит с рук, даже драка с убийством.

— Нет, — говорил Челябин, — с ним не враждовать надо, а, наоборот, дружить. К тому же парень он, в общем-то, неплохой. Интересный, умный, с ним весело. Девки от Рогачёва без ума, парни уважают. А в ссоре, если разобраться, они сами с Рыхом виноваты. Действительно, кто им позволил взять чужой коньяк? Да ещё когда на острие тот вечер прошёл. Правильно, Борис из принципиальных соображений сейчас поступает. Да и Мишкину симпатию — Дерепашук — он за дело выставил, нечего Лету было оскорблять.

В конечном рассуждении Челябин вывел, что Борис вообще ни в чём не виноват, и поэтому надо быстрее доставать коньяк и постараться примириться. Только где вот достать-то сейчас грузинский? Надо найти Мишку и поговорить с Рогачёвым, может, он деньгами возьмёт? Или пообещать, что на днях коньяк будет. Витька пошёл разыскивать Мишку. Зашёл к одним, к другим, но Рых у них не появлялся. Так и не найдя друга, Челябин отправился ночевать в комнату к девочкам. Заботливая Ира Самойленко, возмущившись поведением Рогачёва, постелила Виктору на полу, отдав ему своё одеяло и подушку. Сама же укрылась зимним пальто. Челябин уснул сразу, а Ирка и Рада ещё долго судачили о Борисе, пока проснувшаяся Лета не заткнула им рты. Она так и сказала:

— А ну, обе заткнулись. Быстро! Ещё хоть одно слово про Рогачёва, и я головы вам откушу.

Дерепашук и Самойленко от удивления замолчали, однако мысли у обеих были примерно одинаковые: “Кажется, наша королева вторилась!”



Утром Рых появился в институте с рукой в гипсе. Хмурый и невыспавшийся, он не отвечал на вопросы, а только сопел. Витька Челябин с трудом выяснил, что произошло. Оказывается, Мишка, разгорячённый беседой с Борисом, сознательно пошёл выплеснуть накопившуюся энергию. А попросту говоря, почесать кулаки.

Неподалёку от общаги на высоком поребрике, наклонившись к столбу линии электропередач, сидел щупленький паренёк. Рых подошёл к нему с классическим: “Дай закурить”. Пацан ответил, что не курит и ему не советует. Мол, вредно.

— Каждые десять секунд уносят жизнь одного курильщика, — сказал он правоучительно.

Мишка издевательски смотрел на типичного ботана в предвкушении удара в его противно-умное лицо.

— Наверное, приятно чувствовать эту гляцевую гладкость в своих пальцах. — Щуплик ехидно посмотрел на Рыха.

— Чего? — не понял Мишка.

— И вот первая затыжка, и дым в твоих лёгких. И ощущение уверенности в себе!

Рых отчего-то медлил, хотя знал, этот лектор сейчас огребёт.

— Ты ведь для уверенности куришь, не так ли? — Щуплик ещё хотел что-то сказать, но не успел. Мишка обрушил удар на парня, вложив в него всё негодование сегодняшнего вечера.

Однако щуплик ждал этого и в последний момент резко увернулся, поэтому Мишкин удар пришёлся по бетонному столбу. Острая боль пронзила кисть. Рых, закатив глаза, сел на поребрик.

— Больно? — Щуплик участливо склонился над Мишкой.

— У-у-у, — простонал обидчик.

— Строение кисти — законная гордость человека разумного. В ней во всей наглядности отразился эволюционный путь homo sapiens.

Мишка был не в состоянии слушать сейчас эти умные речи.

— Эволюционно развившееся противопоставление большого пальца руки всем остальным дало человеку возможность использовать огромный арсенал орудий. А управление мелкой моторикой пальцев потребовало создания особых отделов головного мозга, что окончательно отделило нас от животного царства.

Рых, стиснув от боли зубы, с ненавистью посмотрел на щуплика.

— Наступи на язык, — выдавил Рых и матерно выругался.

Щуплик загоготал. Мишка встал и направился в сторону общаги. Его качало.

— Так больно? — услышал он за спиной голос догонявшего его щуплика.

— Пошёл на...

— Покажи руку. Покажи, кому говорят.

Мишка покорно вытянул посиневшую правую руку.

— У тебя не перелом часом? — щуплик нахмурился. Его насмешливость как рукой сняло. — Пошевели пальцами.

Рых покачал головой.

— Надо в травмпункт. Я побежал “скорую” вызывать, а ты суй руку в снег. Руку в снег. Ты слышишь?

Однако даже Мишкин перелом не смягчил Рогачёва. Пришлось Челябину срочно покупать коньяк, чтобы им с Рыхом вселиться обратно в свою комнату.

От матери по-прежнему не было никаких вестей, и какая муха её укусила, до сих пор оставалось неясным. Больше, чем эти несчастные сто пятьдесят пять рублей за две недели, Рогачёв выжать не мог.

— Слушай, а ты загоняй коньяк! — предложил ему Толик Механопшин. — К примеру, по пятёрке. И не надо ничего, кроме коньяка, разгружать. Работать раз в неделю.

— М-да... — Рогачёв несколько раз провёл пальцами по подбородку. — Торговать, говоришь.

— А что такого? Да у тебя очередь выстроится. Запись будет. А хочешь, — Механошин блеснул глазами, — я буду посредником? Продавать по пятерике, рубль себе, тебе четыре. И у тебя прибыль, и мне четвертной в месяц за работу.

— Себе-то тоже чего-нибудь надо оставить, — усмехнулся Борис. — Не всё же на продажу.

— Значит, согласен? — Толик заглянул под кровать, где в спортивной сумке лежали бутылки с последней разгрузки. Он вытащил сумку, раскрыл её, пересчитал коньяк и, кивнув Рогачёву, вышел из комнаты.

“Вот ухарь! — пронеслось у Бориса. — Я и глазом не успел моргнуть”.

Через полчаса предприимчивый Механошин принёс Борису выручку за вычетом своих процентов.

— Как я и говорил — в очередь! — Толик был явно доволен совершённой сделкой. — Где ещё они вечером бухло достанут?

Механошин прав. Стоит работать раз в неделю по ночам на коньяке и продавать его. В месяц примерно триста, вернее двести семьдесят, за минусом Толиковских.

“Ага, как бы не так! — встрепнулся Борис. — Я буду продавать коньяк, а потом его же бегать покупать? Выпить-то хочется время от времени. Да и студенческие вечерки частенько случаются, не с пустыми же руками появляться. Придется оставить всё как есть. А это ночь через ночь — морковь, гвозди, коньяк...”

Ну, нет, такой темп жизни его совершенно не устраивал.

— Вы что-то сдали в последнее время, — неожиданно во время лекции Пистолет обратил внимание на Рогачёва.

— Как что-то сдал? — встрепнулся Борис. — Зачёт сдал. Так на прошлой неделе ещё.

— Вот видите, — обратился преподаватель к студентам, — как важно слышать оттенки. Рогачёв, — он вновь повернулся к Борису, — я говорил про ваш плохой внешний вид.

— Неужели? — не растерялся Рогачёв. — Я этого не заметил.

— Ох, молодёжь, молодёжь, — вздохнул Пистолет, — не бережёте себя. А ведь это сложно, прощ... — и он засмеялся, зная, что каждый в аудитории произнёс про себя окончание его фразы: “взять пистолет и застрелиться”.

Если бы Борис во время лекции по гражданскому праву был более внимателен, то увидел бы, как Полянко Валерий Вадимович, или Пистолет, не первый день пристально вглядывается в своего студента Рогачёва.

После пары преподаватель попросил Бориса задержаться.

— Я вам не зря сказал про внешний вид. — Пистолет вздохнул. — Вы к нам пришли гора-а-аздо симпатичнее. У вас разве сложности с учёбой?

— Нет, у меня всё хорошо.

— Вы слишком замучены, мой друг.

— Уверю вас, у меня всё в порядке. — Рогачёв вопросительно посмотрел на преподавателя, зачем, мол, велел остаться?

Полянко молчал. Казалось, преподаватель совсем забыл о студенте. Он подошёл к окну, распахнул его. Несколько раз громко и жадно вдохнул свежий воздух. А он действительно чем-то похож на пистолет! Плоский, сутулый, с коротким телом и вытянутой вперёд головой. Кадык выпирает, как спусковой крючок. Всегда в торжественно-чёрном.

— Скажите, Борис... — Полянко вновь замолчал и задумался.

Рогачёва молчание преподавателя стало уже выводить из себя. Пара последняя, сейчас он доторчит здесь до того, что Лета без него уйдёт.

— Что вы хотите услышать? — В голосе Бориса чувствовались нотки раздражения.

Полянко неожиданно зло посмотрел на студента и усмехнулся. Когда взгляд его смягчился, наконец, он задал развёрнутый вопрос.

— А что там у вас была за история с дракой, убийством?  
Это уже совсем борзость!

— Вас, кажется, поэтому сюда перевели?

— Я сам перевёлся. Это детей через дорогу переводят за ручку. — Рогачёв сам от себя не ожидал подобной резкости.

— Ну, ну... — Пистолет вновь уставился в окно.

— Валерий Вадимович, я очень спешу.

— Вагоны разгружать?

Что за хамство!

— Нет. Вагоны разгружаю ночью. Чтобы это не мешало учебному процессу.

— Вот я и говорю. Вы слишком уставший. Едва держитесь на ногах. Послать бы его к чёртовой бабушке!

— Вы не должны заниматься разгрузкой вагонов. Не ваше это дело.

— А чьё же?

— Бездарей. Вы умный студент и яркая личность. Таких в юриспруденции мало. Я сразу определил вас. Вы пришлись мне по вкусу.

Охренел. “Вы пришлись мне по вкусу”. Станный, однако. Чего он хочет-то?

— Поэтому вам надо учиться, учиться, учиться! — Полянко посмотрел на бюст вождя.

— Я учусь. Хвостов у меня нет. Проблем с непониманием материала тоже.

— Да вы круглосуточно думаете о деньгах!

Борис развёл руками. Мол, приходится, и что с того?

— Рано или поздно вы надорвётесь. А вам, как я уже говорил, нужно учиться! Зачем вам деньги? Стипендии совсем не хватает? А ваши родители? — Из Пистолета, как из пулемёта, посыпались вопросы. — Я слышал, они влиятельные люди.

— А почему мне должны помогать родители? А как другие? А если бы у меня не было родителей?

— Но вы же перетруждаетесь! Уходите из института, уезжайте на Север, на стройки, зарабатывайте в десятки раз больше, если у вас цель — деньги!

— Я хочу иметь высшее образование.

— Вот тогда и учитесь! А о вагонах забудьте!

Какой бессмысленный разговор... Надо всё расставить по местам и быстрее дёргать отсюда.

— Понимаете, Валерий Вадимович, — Борис внимательно посмотрел на преподавателя, — учиться я буду в любом случае. Это нужно мне, это нужно моей матери. Честно сказать, мне больше по душе был бы архитектурный, ну, да ладно, об этом не будем. Но и деньги мне нужны тоже.

— Так почему же вас не учат родители? У них есть такая возможность! Вам нужно думать только об учёбе. Они это прекрасно должны понимать.

— С родителями у меня напряжёнка. Думаю, временно.

— Вот как... — Полянко потёр лоб. — Семейная ссора.

— Поэтому я вынужден подрабатывать. Пусть и таким трудом, как разгрузка вагонов.

— И сколько у вас выходит, если не секрет?

Борис покосился на Пистолета.

— Вы ведь работаете нелегально? У вас нет ни записей в трудовой, ни договора о найме. Левый доход, так сказать. С него не уплачиваются налоги. Получается, вы обманываете государство.

Борис вскинул бровь.

— Не бойтесь, этот разговор останется между нами. Никуда ничего я сообщать не буду. И всё же, позвольте любопытствовать, сколько у вас выходит?

Рогачев назвал сумму.

— Не так и много, но так корячиться... — Полянко пробормотал себе под нос. — Но для чего?!

Борис промолчал. Пистолет, окинув студента взглядом, выстрелил:

— Есть женщины в русских селеньях?

Рогачев кивнул.

— Ясно. Шерше ля фам.

— Шерше ля.

— А я, кажется, знаю, кто она, — прищурился Полянко — Это Виолетта Виноградова. Красавица Леточка. — Казалось, Полянко остановил дыхание. — Я прав?

Борис благодушно молчал.

— Я вас понимаю, мой друг. Как я вас понимаю! Ради такой девушки... — Пистолет с грохотом отодвинул стул и сел за преподавательский стол. — Ради такой девушки, — повторил он, — я бы и сам вагоны разгружал, будь помоложе. — Полянко усмехнулся. — Но вы же знаете, — Валерий Вадимович наклонился вперёд и понизил голос, — у неё много поклонников.

— Знаю, — Борис поёжился.

— И какие! — Полянко нарочито громко вздохнул.

— Какие бы ни были!

Рогачёв выглядел так, словно собрался на войну.

— “Вставай, страна огромная!” — покачал головой Пистолет.

— Что? — нахмурился Борис.

— Так... Ничего... А знаешь, что я тебе скажу? Ты хоть парень и головастый, сильный, мышцы по ночам накачиваешь, но ты главного не знаешь...

Опять молчание! Да будь он неладен этот Пистолет.

— О чём вы? — не выдержал Рогачёв. Он подался вперёд всем корпусом.

— Ну, ну... Тихо, приятель, тихо! Тебе дай волю, ты и меня сейчас одним ударом...

— О чём вы? — почти выкрикнул Борис.

— Не о чём, а о ком.

— О ком?

— О сопернике твоём. Очень важная фигура. Очень! — Пистолет поднял вверх указательный палец.

— Плевать я хотел.

— Ну, ну.

И снова молчание. Как дать бы ему, этому Пистолету, по роже!

Полянко, словно устранившись от разговора, начал перебирать учебники на столе.

— Валерий Вадимович, так говорите, раз начали.

— О чём? — Полянко недоумённо посмотрел на студента.

— О каком-то сопернике, — Рогачёв еле сдерживался.

Пистолет засунул указательный палец в ухо и почесал им. Потом подёргал мочку и снова залез в ухо, но теперь мизинцем.

Сука, я тебя сейчас прибую!

— Боря, во-первых, успокойтесь.

— Я спокоен! — Рогачёв был в гневе.

— Нет, вы взволнованы. А во-вторых, это такой серьёзный разговор...

Так говори же! Битый час с тобой тут валандаемся!

— Очень серьёзный разговор. И ты к нему не готов.

— Почему?

— Очень взвинчен. Тебе сейчас расскажешь, а ты пойдёшь и человека, скажем, убьёшь.

Это что ещё за новости!

— А вечером я после ваших новостей не пойду и не убью?

— А до вечера ты выплывешь и постараешься стать спокойным.

— И всё-таки нельзя сейчас договорить?

— Нет. К тому же я спешу. О! — Пистолет посмотрел на часы. — Заговорились мы тут, однако.

— Я не понял. Вы для чего меня...

— Хорошо, — быстро заговорил Пистолет, — у меня есть кое-какая информация относительно человека, который домогается Леты. И, — он жестом остановил Рогачёва, который попытался было встрянуть в его речь, — это не просто поклонник, иначе бы я не стал говорить с вами на такую щекотливую тему.

— Ну, а вам-то это зачем?

— Здесь я тебе ничего не могу рассказать.

— Где?

Полянко назвал время и адрес кафе.

Борис вышагивал по улице Карла Маркса. На противоположной стороне, на крыше дома, выстроились буквы: “Решения съезда партии выполним!” Хотелось спать, но в общагу идти не хотелось. Рогачёв бродил по городу в разных направлениях, пока окончательно не замёрз. Скорее, чтобы согреться, он зашёл в мужской салон “Сибиряк” на улице Ленина.

Советский куафёр — сморщенная тётка лет пятидесяти с волосами, никогда не видевшими любви и заботы, — без лишних слов превосходно подстригла Бориса. Не спрашивая клиента, подушила его каким-то цветочным ароматом.

— Огурец! — сказала она, стряхивая волосы с накидки.

— Разве? — Борис припохался. — Это цветочная серия.

— Ты, говорю, как огурчик! — засмеялась парикмахерша.

— А, в этом смысле...

Недалеко от драматического театра, всё на том же Карла Маркса, располагалось кафе “Банька”. Здесь-то и назначил встречу Полянко. “Банька для тебя — это не место, где можно помыться, а где можно пропить молодость на лавке”, — шутили завсегдатаи кафе. Обычно в нём собиралась золотая молодёжь города. Сидела там, сколько хотела, и не торопилась на выход. Поэтому в кафе было очень сложно попасть. “Банька” не отличалась большими размерами, и столов в ней числилось восемь. Чем же привлекал этот общепит? Элитным спиртным и вкусным мороженым. Мороженое в декабрьскую стужу ни к чему, а спиртное — самое то, да ещё элитное.

Рогачёв пришёл вовремя, но Полянко уже сидел в ожидании, поглядывая на часы.

— Пунктуален. — Пистолет кивнул на свободный стул напротив него.

Протянул меню. Борис взял его, но тотчас же вернул обратно блестящую кожаную книгу с листами, где мелким шрифтом были пропечатаны яства и цены на них.

— Я не голоден.

— Ужин за мой счёт и не принимаю возражений! Заказывайте. Что, я не могу накормить лучшего студента?

Но Рогачёв покачал головой.

— Вы хотели мне сказать... — Борис расстегнул верхние пуговицы яркого батника.

— Терпение, мой друг, терпение. На пустой желудок и разговоры пустые.

Пистолет подозвал официантку и принялся делать заказ. Брал он на себя и на Бориса. Видимо, Полянко бывал здесь не раз, поскольку хорошенькая девушка называла его по имени-отчеству.

— Коньячок? — Валерий Вадимович оторвался от меню и посмотрел на Бориса, но тут же засмеялся. — Это для вашего случая — поперёк горла.

Рогачёва кольнуло, но он не подал вида.

— И всё же коньяк. Грузинский. “Варцixe”. Разговор предстоит долгий, поэтому, Людочка, несите нам сразу много. Бутылку!

— “Алкоголики — это наш профиль!” — засмеялась премиленькая Людочка. Фразы из комедий Гайдая никогда не увядали.

Рогачёв придвинулся к преподавателю, а Пистолет же, наоборот, откинулся на спинку кресла.

Принесли коньяк, а к нему нарезанный лимон.

— Напиток истинного мужчины. — Валерий Вадимович взял в руки бутылку коньяка. — Какой янтарь!

“Я и получше пивал”. Рогачёва сейчас этот КВ семилетней выдержки интересовал меньше всего. Полянко налил сначала себе, потом Борису.

— Опыт бывалого, — глядя в рюмку, сказал Пистолет, — поначалу вкус кажется резким и отдаёт виноградным спиртом. Это я к тому, чтобы ты не подумал, что всякой ерундой угощает Валерий Вадимович. Но это только поначалу. А потом ты почувствуешь, как нечто восхитительное наполняет тебя — ваниль в сочетании с кофе и виноградом. О как! — Полянко причмокнул. — Ну что, мой друг, за предстоящий разговор!

Выпив рюмку и загусив лимоном, Пистолет, оглядевшись, приступил к долгожданной теме.

— Вижу, ты совсем измучился, поэтому не буду ходить вокруг да около. Дело в том, что освобождается место завкафедрой. Не скрою, я хотел бы получить это место. Меня обещали назначить, как только оно освободится. Я не один год ждал этого. Но чёрт подери! Оно мне не светит!

Полянко налил себе в рюмку коньяка и залпом выпил, забыв про всякие ноты и букеты напитка.

— Представляешь, это место достаётся Волошину.

Рогачев смотрел на преподавателя с недоумением. Во-первых, с чего это он так разоткровенничался? А во-вторых, ему, Борису, в общем-то, всё равно, кто будет завкафедрой гражданского права и процесса. Ради этого признания стоило сюда переться?

Полянко перехватил обескураженный взгляд своего студента.

— Ты думаешь, при чём тут ты? А при том! Этот Волошин — негодяй и бабник. Он волочитя за молоденькими студентками.

Рогачёв ухмыльнулся.

— А чё ты улыбишься? — Пистолет ядовито посмотрел на Бориса. — Он к твоей Лете клинья подбивает. И она, кажется, не против.

— Перестаньте! — Рогачёв встал из-за стола. — И вообще. Засиделся я что-то. — Он достал из кармана брюк три рубля и положил их на стол. — Это за рюмку коньяка. Я, признаться, не люблю, когда за меня платят.

— Ой-ёй-ёй! Какой суровый и ретивый юноша. Садитесь на место, да садитесь же, говорю, вон и заказ несут.

— Спасибо, я сыт.

— Сядьте! На нас уже смотрят!

Борис по-прежнему стоял.

— Сядьте, я вам кое-что покажу.

Рогачёв сел. Полянко достал из портфеля журнал “Правоведение”.

— Волошин брал у меня читать. На днях вернул. Полюбуйтесь! — Валерий Вадимович открыл журнал, достал несколько фотографий и протянул Борису.

Снимки были сделаны на какой-то вечеринке. На всех трёх фотографиях Лета полуобнималась с Волошиным — преподавателем юрфака. Рогачёва заколотило. Он отложил фотографии, взял журнал. Шестой номер за 1975 год. Открыл оглавление. Пробежался по странице.

*Дмитриева Г. К. О международной защите прав женщин*

*Просвирнин Ю. Г. Система депутатских полномочий в СССР*

*Розенбаум Ю. А. К понятию управленческих кадров*

*Воло...*

Дальше содержание сливалось. Рогачёв захлопнул “Правоведение”. Полянко тем временем спокойно уплетал отварного судака с польским соусом и отварным картофелем, пребывая в блаженстве.

— Ешь, остынет, — кивнул он на порцию Бориса, но тот покачал головой. — Тогда нарезку бери, не стесняйся, — с набитым ртом промычал Пистолет.

Он, жуя, наполнил рюмки. Борис слегка вытянул вперед руку с жестом “нет”.

— Что вы знаете об их отношениях? — стараясь говорить как можно спокойнее, спросил он. Скрестив руки на груди, крепко прижал правую ладонь к сердцу.

— Я знаю, что он заядлый ловелас, соблазнитель молоденьких девочек. Говорят, не одна уже студентка с ним того... За зачёт... Каково, а?! Дуры, тьфу!

— Но Лета... Странно вообще-то, чтобы она, да за зачёт... — Рогачёва чуть не вывернуло наизнанку.

— А здесь, брат, кажется, другая ситуация. Он, по всей видимости, влюбился. Да и как тут не влюбиться? В такую красавицу, — вздохнул Полянок, придвинув к себе тарелку Бориса. — Точно не будешь? Только я не верю в его любовь, если в крови похотливость. Так, поматросит да и бросит.

У Рогачёва разом шумело в голове, звенело в ушах, гудело в теле.

— Разве так справедливо? Этот бабник будет занимать кафедру, кувыряться со студентками. Видишь, шустрик какой, — Полянок взял фотографии в руки, — у тебя девушку уводит, у меня — кафедру.

“Ну, уж нет! Не бывать этому!” — Борис сжал кулаки. То, что возле Леты вертится какой-то серьёзный поклонник, Рогачёву мнилось давно. Уж не он ли причина постоянного полуравнодушия Леты в ответ на его ухаживания?

— Что делать? — Рогачёв машинально сунул в рот кубик льда.

— Надо подумать. Только, чур, без убийства, — ухмыльнулся Пистолет.

Борису не терпелось выйти на воздух и вдохнуть полной грудью. Сердце металось внутри и тоже просилось наружу.

— Разговор должен остаться между нами, — сказал на прощание Полянок.

Рогачёв утвердительно кивнул.

То, что Волошин мог быть её страстным поклонником, Борис ничуть не сомневался. Фотографии — дополнительное тому доказательство. И снимки сделаны недавно. Лета на них в платье с высоким воротником и шнуровкой, появившемся у неё дней десять назад. Не от этого ли ухажёра перепало? Рогачёва распирало от подобных мыслей.

Снимки Полянок, конечно же, не отдал. Но Рогачёв, единожды взглянув, хорошо разглядел их. На одном Лета наклонила на Волошина голову, на другом он приобнял её за талию, на третьем, где много народу и дурачатся, Лета опять рядом с Волошиным. Когда это могло быть? В прошлую пятницу? Он тогда заходил к ней перед тем как идти на смену. Она была недовольна, что опаздывает. Куда, не сказала. Он, значит, вагоны разгружает, а Волошин тем временем... Чёрт знает что!

Что делать? Мозг выворачивало. Пойти набить морду Волошину? Это ничего не даст. Поговорить с Летой? Она и слушать его не станет. Что делать, что делать?... Дальше добиваться её, как ни в чём не бывало. В том, что Лета станет его, он даже не сомневался. Но Волошин — большое препятствие. А значит, его нужно устранить. Но как? Не убивать же, в самом деле...

А Волошин — тот ещё тип. И что она в нём нашла? Красавчик, тоже мне!.. Что ж, красавчики для красивых, а для простых смертных и обычные подойдут. Хотя, интересно знать, каких девок он окучивает? Пистолет говорил, что у него очередь из студенток. Так ли это? Для секса, конечно, важнее внешность, а не богатый внутренний мир. А у Волошина, как назло, и с тем, и другим полный порядок. Наверняка на нём бабёе гроздьями виснет. А если ещё и о зачёте или экзамене идёт речь...

Рогачёв вернулся в общагу измотанным до предела. Никакие вагоны не хотелось разгружать. Но сегодня был коньяк, и пропускать его нельзя. Он предложил Челябину отработать смену за него. Витька с радостью согласился. А то только и трывдел: “Везёт Рогачёву — коньяк разгружает за сорок, а мы мясо за десятку”.

Борис, быстро приняв душ, отправился к Лете. Но она куда-то ушла. Ирка и Рада уже дулись через не хочу, а когда Самойленко услышала, что

Витька, которому она нравилась, пошёл вместо Рогачёва разгружать вагоны, так и вовсе заулыбалась.

Девчонки пили чай, налили и ему большой бокал. Чай оказался так себе, а вот сушки вкусные, с маком.

— А куда Лета-то ушла? — Борис с тоской посмотрел на ее кровать.

— Собралась и ушла. Она нам не докладывает, — отрезала Дерепашук. — Ты, Борис, хочешь, снова обижайся на меня, но я тебе так скажу: ну, и характер у твоей Виноградовой!

— Что есть, то есть, — нехотя согласился он. — Но люблю я её, понимаете вы?

— Ой, Борька, — по-бабски вздохнула Ирка Самойленко, — об неё зубы можно сломать. А ты всё со своими стахановскими излишествами. Тебе ли, такому купидону, за девкой волочиться? Они сами вон с тебя глаз не сводят. Бери любую. Уж мы-то знаем все эти женские разговоры и видим.

Рада закивала в знак согласия.

— Да, девчонки только о тебе и говорят. Да ещё о Волошине.

Рогачёв как раз в этот момент отпивал из бокала. Но эти слова обожгли его нутро больше, чем горячий чай.

— О Волошине?

— Ну да. Красивый мужик, скажи. — Рада посмотрела на Ирку, но та только хмыкнула в ответ.

— Ну, не знаю, — с деланным равнодушием протянул Борис.

— Сохнут, сохнут по нему! Ещё бы! Такой...

Но Рогачёв не дослушал:

— Так он же преподаватель!

— Одно другому не мешает. — Ирка разломилла сушку пополам.

— Вы так спокойно об этом рассуждаете, — тон Рогачёва внезапно стал резким, — а ведь комсомолки! Не стыдно?

— Одно другому не мешает, — повторила Ирка, разломив ещё одну маковую сушку на части.

— Но это же падение морали!

Ира и Рада переглянулись и в голос рассмеялись.

Утром довольный Витька рассыпался Борису в благодарностях. Борис с Толиком Механозиным и Мишкой Рыхом отправились грызть гранит юридической науки. Холода немного отступили, но сегодняшним фиолетово-сизым утром было по-прежнему студёно. Дворники делали своё чистое дело. Сонные дети в санках с укутанными в шарфы лицами досыпали. Люди встречали новый день, торопясь на работу, запрыгивая в последние секунды в отъезжающий транспорт. Обычное утро, всё, как всегда. Только на душе у Рогачёва отчего-то было неспокойно.

— А правда, Волошин к девкам клеится? — спросил он у приятелей.

— Ну, как сказать... — Толик слыл знающим человеком во всех студенческих делах. — В общем, да.

— Смазливый-то? — Мишка здоровой рукой слепил комок из снега и запульнул им в кота, греющегося на колодезном люке, но не попал. — Помоему, они сами по нему сохнут, а не он по ним. У него жена, дети.

— Жена? — Борис сглотнул.

— Ну и что, что жена и дети? — Толик недоумённо покосился на Мишку. — Можно подумать, кого-то они останавливают.

— Кого-то и останавливают. Не, Смазливый знает себе цену. Эстет по натуре, — возразил Рых. — И то, что он за нашими девками волочится, помоему, ерунда.

— А я тебе говорю, он крутит романы с ними. Просто так болтать не будут.

Борис уже не слушал лёгкую перепалку между приятелями. Волошин женат. Значит, Лета — его любовница. Пудрит мозги ей, а не женится. Выходит, не любит её, а так, развлекается.

В перерыве между лекциями к Борису подошёл Полянко:

— Ну что, переварил информацию?

Рогачёв кивнул.



— Они вот только что вместе зашли в институт. Сомневаюсь я, что Виноградова ночевала у себя в комнате.

Как бы ему хотелось придушить сейчас этого Пистолета за такую новость!..

— Думал, что делать?

Борис стоял, прислонившись к стене, и молчал.

— А я знаю. Давай отойдём.

Они прошли в закуток в конце коридора. Там находился диванчик и журнальный столик. На столике стоял большой горшок с каким-то высоким, но чахлым растением. В землю воткнуты огрызки от яблок.

Полянко сел на диван, а Борис — напротив него на подоконник.

— Ты бы ещё на крышу залез! — Пистолет произнёс это шёпотом.

Рогачёв слез с подоконника и тоже сел на диван.

— Думаю, действовать нужно вот как... — Полянко достал из портфеля лист бумаги и карандаш. Следующие слова он написал уже на бумаге.

*Необходимо разоблачить Волошина. Рассказать о его беспутстве парторгу.*

Рогачёв выхватил карандаш и с нажимом написал:

*Позорить Лету я не дам!!!*

Пистолет пожал плечами.

— У меня и без неё разных доказательств полно, — сказал он вслух.

— Какие?

— Студентки и бывшие студентки. Ему несдобровать.

От волнения у Рогачёва вспотели ладони. Надо же, как чётко выделяются папиллярные линии, и линия любви из них самая глубокая и очевидная.

*Когда?* — появился на бумаге вопрос Бориса.

*Надо письмо составить.*

*Какое?*

— Чтобы не только устно.

— Ну, так это вы быстро сделаете.

— Я? Почему я?

— А кто? — Борис отчего-то оглянулся по сторонам. Никого не было. — Я, что ли?

Полянко кивнул:

— Так вы более весомая фигура!

— Тс-с! — Пистолет приложил палец к губам. — Идти-то тебе придётся.

— Мне? Почему мне?

— Мне нельзя, — сказал Полянко без голоса, одними губами.

— Почему?

— Ты сам не догадываешься?

— Ну, в общем-то да... — промямлил Борис.

*Если я пойду, скажут, что я под него копаю из-за места,* — написал Полянко.

— Но я не уверен, что мне надо именно так поступить. — Борис отодвинул листок в сторону.

— А как? — ухмыльнулся Пистолет.

— Ещё сам не знаю.

*Ты открываешь глаза общественности на него, его увольняют, Лета при тебе, кафедра при мне,* — предложил Полянко.

— Всё просто. — Пистолет отложил карандаш и откинулся на спинку дивана.

— А где гарантия, что она не будет встречаться с ним после его увольнения?

Полянко вновь взял карандаш:

*Думаю, не будет,* — написал он. — *Не будет точек соприкосновения. Пусть с женой соприкасается.*

Пистолет улыбнулся своей шутке. Рогачёв же пребывал в нерешительности.

— Он тью-тью, — Полянко сдул с ладони невидимый предмет, — а дальше твоя забота, как действовать с девушкой. К тому же подзаработаешь.

Не всё время тебе вагоны разгружать, за конспектами тоже надо сидеть иногда.

— Заработаешь? — не понял Борис.

Полянку аккуратно вывел цифру на бумаге: 1000.

Рогачёв молчал.

— Мало, что ли? Бога-то побойся. Я же и тебе помогаю. И в будущем буду помогать. Ну что, по рукам?

На мгновение Борис представил себе картину — он хочет пожать руку Пистолету, а из-за угла вылетает сюрискен и вонзается Полянко в ... Куда вонзается сюрискен Полянке, Рогачев нафантазировать не успел, потому как уже пожимал ладонь Валерия Вадимовича.

“Пистолет решил разгрести себе дорогу к должности завкафедрой моими руками, — рассуждал Борис, — но и мне действительно это на руку, если турнут Волошина. Как ни крути, а нужно идти в партком. Партийная атака, что может быть сейчас сильнее?”

Что же ты, преподаватель юридического факультета Волошин Игорь Эдуардович, носишь фамилию талантливого поэта и художника? Хотя какое это имеет значение? Ну, был бы он, допустим, Иванов или Косолапов, что бы это изменило? “Не имя красит человека, а человек имя”, — любит повторять домработница Рогачёвых Катя. Вот бы сейчас Катиных пирожков или борща густого...

Лекции закончились, и студенты покидали институт, кто гурьбой, кто поодиночке. Рогачёв догнал Виноградову на выходе из института. Она чем-то оживленно делилась с подружками.

— Лета, можно тебя?

Они подотсгали от Летиных приятельниц. Те некоторое время ещё оглядывались, идёт ли к ним их подруга, но, поняв, что она остаётся с Рогачёвым, ускорили шаг.

Какое-то время шли молча. Лета то и дело поскальзывалась, но Рогачёв каждый раз предупредительно брал её за локоть.

— Лета. — Борис остановился, девушка тоже. Рогачёв не знал, как заговорить на тему Волошина, мучившую его беспрестанно. — Скажи, а у вас, у тебя, — он опустил глаза вниз, — вы...

Лета внимательно смотрела на Бориса:

— Ну, спроси же, чего хочешь!

— Вы с Волошиным в близких отношениях?

Во взгляде Леты читалось полное недоумение.

— Конечно! А ты разве не знал?

У Рогачёва всё поплыло перед глазами

— Какая-то помощь нужна? С зачётом проблемы? Я могу переговорить с Игорем.

Так просто... С Игорем... Рогачёв вдруг почувствовал, что куда-то исчезает, растворяется, сливается с улицей, снегом, дорогой.

Соберись! Немедленно! Борис зачерпнул пригоршню снега, утёрся. Зачерпнул ещё. Невольно слепил комок. “Неужели она не понимает, не видит, не чувствует, как я её люблю! Может, она и не догадывается?”

— Лета, я люблю тебя! — выпалил Рогачёв. — Выходи за меня замуж.

— Замуж зовёт, а сам ещё ни разу не поцеловал.

От этих неожиданных слов он чуть не задохнулся.

— Ни разу? — И он молнией притянул к себе Лету, с силой впился в её губы с ярко-рыжей помадой.

Они целовались посреди улицы так отчаянно и самозабвенно, что даже не заметили, как возле них остановились двое ребятшек лет шести — мальчик и девочка.

— У тёти сейчас из глаз сыплются звёздочки, — сказала девочка.

— И у дяденьки тоже.

— Нет, у дяденьки нет.

— Почему?

— Потому что не сыплются. Звёздочки только для тётенек и девочек.

— А для мальчиков что? — спросил мальчик. — И для дядей?  
Девочка несколько раз подняла и опустила плечи. Мол, не знаю, не знаю, не знаю.

— Не знаешь, а говоришь! А я вот знаю. — Мальчик явно не знал, что ответить.

— Что? Кирюха, говори! Ну что, если не звёзды?

— Что, что... Комки снежные!

И они оба, захихикав, принялись кидаться друг в друга снегом.

Весь остаток дня Борис не мог поверить, что это произошло. Их первый поцелуй!.. Тем сильнее боль — мысль о Волошине, о том, что были близки, — прямо копьём в сердце, в самое яблочко. Но теперь всё. Баста, карпузики!

Борис сел за письмо парторгу. Написал шапку. Правильно ли он поступает? Боря, что за вопросы! Безусловно. Безусловно правильно. Он борется за свою любовь. А в любви, как на войне, все средства хороши. Сомнительная, конечно, фразочка, но сейчас она как нельзя больше подходит ему.

Вспомнилась домработница Катя. Она в свободное время тайком читала богословские книги. Однажды Борис сильно обидел друга, причём из-за какой-то ерунды. Катя тогда сказала ему: “Я верю, что в жизни работает закон воздаяния. Не делай и не желай людям того, чего не хотел бы для себя. Бог через Святое Писание обращается к нам с предупреждением: каждому воздастся по делам его”.

Это Полянко пытается подсадить коллегу. Не Полянко, а Подлянко какой-то. А разве Борис собирается сделать что-то не так? Он откроет глаза общественности на похотливого самца. Преступник будет разоблачён. Потенциальные жертвы должны сказать ему спасибо. Он и для себя лично сделает хорошее дело. Устранит конкурента.

Итак:

“В романе-антиутопии Евгения Замятина “Мы” показан жёсткий тоталитарный контроль над личностью. Имена заменены буквами, номерами. Государство контролирует всё и вся вплоть до сексуальных отношений. Слава Богу, мы — другие и живём в другое время, не в тридцать втором веке, а в двадцатом. И имена, и фамилии у нас есть — Петров Иван Иванович, Никифоров Пётр Наумович, Волошин Игорь Эдуардович... Но есть и схожесть. Наша страна — Советский Союз, — занимаясь построением социалистического общества, не оставляет без внимания личную жизнь каждого. Не потому, что лезет, куда её не просят, а потому, что оберегает, радует за всех нас. Государство — это народ. А слово “народ” очень сходно со словом “народиться”. И чтобы народившийся ребёнок в будущем стал полноценным членом своего государства, ему необходимо воспитываться в здоровой семье. Поэтому и важно любому Отечеству, чтобы семьи — ячейки общества — были ровными, не покосившимися, чистыми.

Однако не зря в ходу изречение: “Запретный плод сладок”. Как бы ни было гнусно осознавать, многие мужчины испытывают искушение при виде красивой женщины. Кто-то справляется с этим искушением, кто-то — нет. И видимо, это не всегда удаётся и преподавателю юридического факультета Волошину Игорю Эдуардовичу. Человек высокообразованный, первоклассный специалист, приятной наружности. Казалось бы, человек высокой культуры должен отгораживаться от всего низменного, но, увы, в некоторых случаях животное начало побеждает духовное. Как жаль, что Игорь Эдуардович попал в категорию “некоторых случаев”. Страшнее всего, что преподаватель видит своих студенток не как юных особ, которым необходимо донести знания, а как секс-объекты. Неужели советский преподаватель, коммунист, считает, что для интимных отношений с девушкой достаточно поманить её оценкой в зачётку? Неужели у Волошина выработалась такая психология — продажность возведена в норму?

Я как бдительный комсомолец не могу проходить мимо вопиющих случаев. А здесь мы имеем дело именно с вопиющим случаем. То, что я не голословен и не клевету на преподавателя юридического факультета Волошина Игоря Эдуардовича, свидетельствуют следующие данные, а именно

показания студенток и бывших студенток Волошина. Они готовы подтвердить написанное мной, то есть сексуальные домогательства со стороны Игоря Эдуардовича. Молоденькие девушки, неокрепшие души, могли соглашаться от безысходности или страха остаться без высшего образования. Каков донжуанский список преподавателя-коммуниста, страшно подумать... Возможно, эти девушки нуждаются в лечении. И если домогательства повлекли психологические расстройства личности, необходимо провести комплексную психологическую экспертизу потерпевшим. Также одним из косвенных доказательств вины могут стать её результаты. Хотя, как я уже писал выше, имеются прямые доказательства

Дополнение. Волошин И. Э. женат и имеет несовершеннолетних сына и дочь”.

Рогачёв перечитал написанное несколько раз, кое-что вставил, что-то вычеркнул. Затем переписал заново и, вложив листок в конспект, убрал подальше от людских глаз. Завтра он со своей депешей пойдёт куда надо, а потом заберёт обещанный гонорар у Полянку. Необходимо срочно искать квартиру, да получше! У него будут деньги снять жильё и оплатить его на год вперёд. Ещё и останется почти столько же.

А жизнь-то налаживается! И спина не болит от разгрузки.

Двухкомнатную квартиру сосватал ему пройдоха Толик. Бесплатно, конечно. В хорошем доме в центре города. В чистом подъезде вкусно пахло кофе. Хозяева, довольно приятная пара средних лет, любезно встретили потенциального квартиранта. Они уезжали на два года работать в Алжир, и аренда предполагалась долгой. Очень хорошо! Не хотелось через месяц-другой вновь заниматься поисками жилья.

Он прошёлся по “апартаментам” — как называли сами хозяева свою двушку. То, что надо! Планировка удачная — отдельные комнаты, кухня с застеклённой лоджией. Потолки высокие. Добротный сталинский дом. Глянцевая мебель в зале, придающая торжественность комнате. Ему нравилась такая обстановка, где порой блики и сполохи создают мистическое ощущение. Ничего не скажешь, повезло с квартирой!

В спальне сразу привлекли внимание оранжевые обои с крупным геометрическим рисунком.

— Жизнеутверждающе! — заметил новый жилец.

— Мы недавно ремонт сделали, командировку не планировали. — Хозяйка, по всей видимости, ещё не нажилась в обновлённой квартире, слишком уж печальный взгляд у неё был на эти весёленькие обои. — Борис, у меня к вам огромная просьба. Я знаю, вы студент. Я всё понимаю, хочется развлекаться и прочее, сами ещё недавно были молодыми. Но если вы хотите снимать у нас жильё, вы должны пообещать нам, что не будете приводить сюда друзей и устраивать вечеринки.

Её муж отвёл глаза. Было видно, что и ей неудобно говорить на эту тему. Странно, почему? Это же их жильё! А они стесняются запрещать.

— Конечно, конечно, мне квартира нужна для молодой жены. Я собираюсь жениться.

— А свадьбу вы не здесь ведь будете справлять?

— Не волнуйтесь, свадьбу мы закатим в ресторане.

Рогачёв представил, как он вносит через этот самый проём на руках Лету в королевском свадебном платье...

— И всё же к вам время от времени будет наведываться соседка из квартиры этажом ниже или её дочка, — прервала его мечтания хозяйка. — Кстати, у них есть запасные ключи на случай, если вы вдруг свои потеряете или случайно захлопнете дверь.

Рогачёв дал хозяевам небольшой задаток, пообещав остальные деньги принести на днях, и, преисполненный весенней радости, вышел на зимнюю улицу. Конец декабря на удивление погодой баловал. Даже без перчаток не холодно. Скоро Новый год. Ёлка и прочая обычная мишура. Но в этот раз Новый год будет особенным, и ёлка особенная, да и мишура тоже.

На междугородке почти никого не было. Очень быстро соединили с домом.

Трубку взяла Татьяна Валентиновна и, судя по голосу, обрадовалась звонку сына.

— Я думала, ты раньше позвонишь.

— Я квартиру снял.

— Наконец-то! Хорошую? Далеко от института?

— Хорошую, хорошую, лучше не бывает! На год снял, а там видно будет.

— А где деньги взял?

Рогачёв представил, как мать округлила глаза и обязательно приложила руку к груди.

— Ну... В общем, заработал.

— Борис, это приличная сумма, по моим подсчётам!

— По моим тоже, — усмехнулся сын.

С того момента, как подметное письмо отправилось по назначению, прошло три дня. Наконец, парторг вызвал автора.

— Вы не передумали, Борис? Может, показалось?

Рогачёв сурово посмотрел на парторга:

— Как можно? Вы за кого меня принимаете? За сплетника? Я комсомолец!

— Через три недели, не раньше, вам поступит ответ. А пока проверка. Мы тоже не можем просто так взять и начать трепать имя преподавателя. А вдруг это всё же честное имя?

Борис, найдя Полянку в институте, очертил ситуацию и спросил о деньгах.

— Жизнь Волошина не поменялась, ничего не произошло. Когда его схватят за блудливое место и привлекут, тогда и увидишь деньги. — Пистолет резко повернулся и нахмуренный отправился по длинному коридору института.

На мгновение Рогачёва взяла оторопь. Он удручённо смотрел на сутулую спину Пистолета. Но ведь это подло! Он выполнил дело, а дальше не его забота! А Подлянку отказывается давать ему деньги! Прощайте рыжие обои? Ну, уж нетушки! Рогачёв стремительно догнал Пистолета.

— Мы не договорили, Валерий Вадимович.

— Разве? — Пистолет даже не замедлил шаг.

Рогачёв положил ему руку на плечо и крепко сжал его.

— А я говорю, разговор не окончен, — зло прошипел Борис.

— Ты что, обалдел совсем! — Пистолет дёрнул плечом.

Их взгляды встретились: решительный — Рогачёва и с опаской — Полянку. Борис уловил некий испуг в глазах Пистолета.

— Значит так, — громко сказал Рогачёв, — если...

— Да тихо ты!

— Если вы мне не выплатите гонорар, — сбавил тон Борис, — я пойду снова к парторгу и скажу, что вы меня заставили это сделать.

— Каким образом?

— Спекулируя экзаменом! А вам, как никому другому, это выгодно — смести Волошина. На завкафедрой, наверное, только вы метите да он.

— А ты хлеще, чем я предполагал. — Полянку прищурился. — Не думаешь, что тебе не поверят? Сначала одного преподавателя хотел оболгать, потом другого.

— У меня мотивов нет. Так что гоните тугрики. Я своё дело выполнил честно. А вы в вознаграждении мне отказываете.

— Я не отказываю. По окончании дела.

— Нет. Сегодня. Или я иду...

— Чёрт с тобой! — махнул рукой Полянку. — Но только половину суммы.

Борис удивлённо поднял бровь.

— Вторую половину после.

— Расписку.

— Что?

— Расписку, пожалуйста, мне, — повторил Рогачёв.

В тот же вечер Борис встретился с Полянкой у театра драмы. Пистолет отдал ему пятьсот рублей и расписку. Через полчаса Рогачёв уже передавал эти деньги, всё ещё пахнущие Подлянкой, хозяевам двушки.

При встречах с Волошиным Рогачёв старался не смотреть ему в глаза. Да и тот как-то не искал взгляда Бориса, он всё больше интересовался, смотрят ли на него самые красивые девушки курса. Это не ускользнуло от Рогачёва, внимательно наблюдавшего за преподам. Что ж, совесть его, Бориса, чиста — Волошин действительно оказался ходяком. И всё же смотреть ему в глаза было неловко.

Снимать квартиру Борис условился с первого января. Но поскольку хозяева улетали за три дня до наступления Нового года, они сами позволили ему вселиться в квартиру, как только покинут жилище. Рогачёв пока доживал последние денёчки в общежитии. Вечерами студенты собирались в его комнате. И не потому, что он на радостях угощал всех коньяком, а потому, что с ним, несмотря на шипы его характера, всегда было весело и интересно. Пели под гитару. Витька Челяев, на удивление Рогачёва, прекрасно играл на своей семиструнке, украшенной множеством разных наклеек, преимущественно с девушками.

— Тебе бы не в юрсты, а в музыканты, — восхищённо сказал Борис, слушая в очередной раз виртуозную игру приятеля. — Кифара — вот что твое, а не судейская мантия!

— Бренчалка, а не кифара, — ухмыльнулся Челяев, но было видно, что ему приятна похвала Бориса.

В один из вечеров отмечали дни рождения у родившихся в конце декабря — Толика Механошина, Иры Самойленко, Лены Кутузовой и Арсена Арутюняна. В середине вечеринки все дружно накинулись на Витьку, и Челяева не пришлось долго уламывать. Он с важным видом взял гитару, поместил её на выпирающем брюшке и принялся настраивать. Все притихли. Наконец, проступили первые внятные аккорды. Пели всё, что приходило на ум. И Витька ловко подстраивался под любую песню.

— А теперь, — сказал он, когда запасы песняров поиссякли, — в честь именинников декабря песня про декабрь. “А будет это так”.

Ирка Самойленко взвизгнула.

*— А будет это так: заплачет ночь дискантом,  
И ржавый ломкий лист зацепит за Луну,  
И белый-белый снег падёт с небес десантом...*

Слов новой песни Визбора многие ещё не знали или знали частично. Поэтому в основном Витька солировал, а остальные, как и положено при задушевных песнях, либо задумчиво и отрешённо молчали, либо чуть покачивались из стороны в сторону в едином движении с остальными покачивающимися.

Лета, положив голову Борису на плечо, играла пальцами его левой руки на своих коленях.

*— Еще придёт зима в созвездии удачи,  
И лёгкая лыжня помчится от дверей,  
И, может быть, тогда удастся нам иначе,  
Иначе, чем теперь, прожить остаток дней...*

Витька спел песню, какое-то время ребята молчали.

— Да... — наконец вздохом прервала молчание Самойленко.

— Как-как там в пэсне? “Поднымэм воротник, как парус декабря”? Предлагаю поднять тост за именинников! — Отчего-то Арутюнян произносил не все слова с акцентом и вообще часто говорил, как пародист, который гротескно подчёркивает закавказское произношение.

— А давайте вспомним стихи про декабрь! — предложил Борис, когда вышли за именников-декабристов.

— Свои или чужие? — уточнила Рада Дерепашук.

Никому из ребят не пришёл в голову этот вопрос, потому что только Рада сама писала стихи.

— Любые, — ответил Борис.

Задумались.

— Может, всё же, про зиму? — Мишка отложил гитару. — Про декабрь как-то сложновато сразу вспомнить.

Ребята одобрительно загудели.

— Я знаю про декабрь. — Лета подняла голову с плеча Бориса и расправила волосы по плечам. — Но предупреждаю, оно грустное. Цветаевское.

— Лета, читай! — попросили в голос.

*— В декабре на заре было счастье,  
Длилось — миг.  
Настоящее, первое счастье  
Не из книг!  
В январе на заре было горе,  
Длилось — час.  
Настоящее, горькое горе  
В первый раз!*

— В январе сессия, — ухмыльнулся Рых.

— Но сначала Новый год! — воскликнул Рогачёв.

— У Соргонина есть про декабрь. — Видимо, у Рады не было своих стихов о декабре. — Он иркутский, кстати. И получил юридическое образование.

— Рада, знаем. Но он в Польше живёт, если что... — Толик Механошин покосился на дверь.

— Нет, уже не живёт. Умер недавно.

— Но... — Толик пытался что-то сказать, однако Рада не стала слушать его.

— “Весна в декабре”, — громко произнесла Дерепашук.

Механошин на всякий случай пересел на подоконник, сделав вид, что увидел там что-то интересное среди наваленных конспектов и учебников, однако никто не придавал значения его перемещениям. Все смотрели на Раду.

*— Смотрите все! Прохожий — ты свидетель,  
над декабрём навис весенний день!  
Растаял снег, узоры льдинных петель  
исчезли в солнце дальних деревень...  
В садах — свежо, безветренно и сыро,  
на лепестках легла росой капель,  
И в синеве развернутой земного мира,  
запела дней неведомых свирель!*

Дерепашук кашлянула. А потом вновь принялась читать по-прежнему громко и празднично:

*— Смотрите все! Нам чужд смысл старых сплетен.  
Душа горит острее, чем огонь!  
Измученный народ и слаб, и безответен,  
как этот день весенний в декабре!  
Но мы живём! Прохожий, ты свидетель,  
над декабрём навис весенний день!  
Растаял снег, узоры льдинных петель  
исчезли в солнце русских деревень.*

После стихов принялись травить анекдоты, сыпались и новые, и бородастые.

— А знаете этот? — Борис подмигнул Лете. — “Бог сказал мужику: “Я дам тебе, что захочешь, но учти, соседу вдвое больше”. “Господи, выколи мне глаз!” — воскликнул мужик”.

За весельем и не заметили, как прошёл вечер, и разошлись уже за полночь.

Лета и Борис собирались вместе отмечать Новый год в квартире, снятой Борисом. Рогачёв, получив ключи от хозяев, был приятно удивлён сверкающей чистотой. А ещё больше — бутылочкой шампанского в холодильнике.

Недавно он узнал, что Лета в детстве спасла тонущую одноклассницу. За это её тогда наградили путёвкой в “Артек”.

— Ты что, хорошо плаваешь? — Борис, признаться, не ожидал такого поступка от Леты.

Она пожала плечами:

— Обычно.

— Ну, расскажи, как это было?

— Честно говоря, по собственной дури.

— Как это?

Видно было, что Лета не хочет рассказывать, но Рогачёв не отставал.

— Дело было в лагере. Моя подруга Вика Лопырёва после купания на озере оставила очки. Но вспомнила о них только, когда пришли в лагерь. Мы с ней отпросились у вожатого пойти на поиски очков. С нами пошла ещё одна девочка — Аня Дорожных. Очки мы нашли сразу, они лежали там, где Вика раздевалась. И нет бы нам повернуть обратно...

— Вы решили искупаться?

— Ага. — Лета открыла “Ассорти”, взяла себе конфету и протянула коробку Борису.

Он взял шоколадный прямоугольничек в бордовой фольге и небрежно бросил коробку на стол. Лета неодобрительно покачала головой.

— Я обещала девочкам коробку оставить целой и невредимой.

— Зачем?

— Зачем, зачем... Под мелочи всякие. Они трясутся над этими коробками, как над Красным знаменем.

Лета развернула конфету и отправила её в рот, а под зелёную золотинку положила десять копеек и стала их прорисовывать ногтем.

— Итак, вы решили без спроса искупаться.

— Мы решили взять на берегу какую-то старую лодку и покататься. Отплыли совсем немного, но в лодку почему-то внезапно стала набираться вода. Вычерпывать было нечем, пришлось выпрыгнуть. Мы все втроем поплыли к берегу. Аня первая, мы с Викторией за ней. Вдруг у Вики стало сводить ногу. Она закричала: “Помогите! Тону!” Вот и всё.

— И вы помогли ей? Спасли?

— Разумеется.

— Ну, вы молодцы! Не побоялись. Вам ведь путёвки в “Артек” дали?

— Да, мне дали путёвку. Медаль ещё прилюдно повесили “За спасение утопающих”.

— А Ане?

— А Аня... А Аня сказала потом, что как можно быстрее поплыла к берегу за помощью.

— Понятно...

— Над нами потом шутили, что мы специально в лодке дно прорубили. Как в фильме “Спасите утопающего”. Смотрел?

Борис засмеялся.

— Смотрел, как же! Там потом пионер, не помню, как его звали...

— Андрей Васильков.

— Да, точно! Ходит, опытом делится, на собраниях выступает.

Лета усмехнулась, мол, как мне всё это знакомо.

— Так ты, получается, геройская девушка! — Рогачев притянул Лету к себе.

— А то! — засмеялась она, отстраняясь.

Что ещё знал Борис о Лете? Ему стало известно, что она рано осталась без матери, а отец её действительно работал в генконсульстве СССР в Зальцбурге и быстро женился после смерти первой жены. Лета воспитывалась



в семье брата, значительно старше неё. Отец не забывал, давал денег на её содержание, одаривал умопомрачительными подарками.

— А почему ты решила жить в общежитии? — поинтересовался как-то Борис.

— А ты почему? — Лета пристально посмотрела на Рогачёва.

— У меня обстоятельства.

— У меня тоже.

— Послушай, Лета! Я снял на год квартиру. Хозяева съезжают перед Новым годом. Двухкомнатная. В одной буду жить я, в другой ты. Согласна?

— А почему в разных комнатах?

— Почему в разных?.. Можем и не в разных... Ура?

— Ладно уж, ура.

Но в последнее утро уходящего года между Летой и Борисом неожиданно разразился скандал. Причём из-за пустяка. С двадцать девятого декабря Борис уже поселился в съёмной. Обустроился. В ночь на тридцать первое томился в предвкушении. Ни свет ни заря он соскочил с постели, ещё раз прошёлся влажной тряпкой по мебели, украсил квартиру новогодней мишурой, заранее сделал нарезку на завтрак и укрыл её целлофановым пакетом. Поменял в вазе воду, подрезал стебли роз, купленных вчера. А ёлку было решено украшать вместе. Продлав кучу нужных мелочей, Рогачёв вызвал такси и помчался к Лете. Он думал, она с нетерпением ждёт, а она ещё спала. Мало того, и не думала собираться.

— Лета! — Борис был возмущен. — Мы же договаривались!

— Я спать хотела.

— Но... Давай собирайся скорее, там нас ждёт такси.

— Подождёт! — Лета села на кровати.

Видя, что сборы будут долгими, Рогачёв решил отпустить машину, а потом взять другую. Пока он спускался вниз, расплачивался и заходил к приятелям — Мишке и Витьке, — Лета и не думала начинать сборы. Она мирно посапывала, когда тридцать минут спустя на пороге её комнаты снова появился Борис.

— Лета! Ну, что же это такое?

Рада с Ирккой, взлохмаченные и сонные, шикнули на гостя.

— Давай попожже. — Лета сладко потянулась. — Мы всю ночь не спали. За стенкой уже начали отмечать Новый год и буянили так, что вахтёрша вызывала милицию.

— У меня выспишься, у нас... то есть, — поправился он.

— Давай я посиплю, потом соберусь, а ты придёшь часика через три-четыре?

— Лета! — взмолился Борис. — Поедем, а?

— Нет, говорю. — Лета отвернулась к стене и накрылась одеялом.

— Лета! — Рогачёв попытался стянуть с нее одеяло, но это отчего-то сильно разозлило девушку.

— Вообще никуда не поеду! Сказала же, дай поспать!

— Лета, вставай! — не унимался Борис. — Что за бабский лепет: “Дай поспать, дай поспать”, — передразнил он её. — Студентка Виноградова!

— Слушай, студент Рогачёв, катись ты! — Лета векочила с постели и со злостью оттолкнула его.

— Ну и спи! — сгорая от обиды, выкрикнул Борис. — Можешь вечно спать!

— Могу? — Лета внимательно посмотрела на Бориса. — Вот и хорошо. Буду вечно спать. — Она легла в постель и, укрывшись одеялом с головой, вновь отвернулась к стене.

Борис в сердцах сильно ударил ладонью по железной спинке кровати и вышел из комнаты, хлопнув дверью.

В общежитии царил предпраздничная суета. Девчонки с волосами, накрученными на бигуди и укрытыми платками, похожие на веземной разум, то и дело сновали по коридорам общежития. Попадались и редкие экземпляры в белых масках, от которых в нарочитом испуге отскакивали ребята:

— Привидение!

Послониавшись часа два от одних к другим, Борис отмяк от своей обиды, решил сходить к Лете и помириться, но тут его увлѣк к себе в комнату Толик Механошин, где небольшая компания уже всюю отмечала праздник, провозжая старый год. Рогачёву сейчас пить не хотелось, но он, чтобы не обидеть хозяев, выпил две рюмки какой-то самодельной бурды и, немного посидев с ребятами, отправился к Лете.

Дерепащук и Самойленко уверяли, что не знают, куда подевалась их подруга. Сначала Борис подождал, болтая с Радой и Ирккой. Потом вновь походил по однокурникам и вернулся обратно. Лета словно канула в Лету. Рогачёв ещё немного побыл в общаге. Наконец его осенило, что Лета могла поехать к нему. А вещи? А вещи можно в любой момент забрать, взяв для начала самое необходимое. С этой мыслью он, попрощавшись с ребятами, помчался на свою съёмную.

Ключи от квартиры у Леты были, но всё говорило о том, что дома она не появлялась. От нечего делать Рогачёв принялся наряжать ёлку. Ёлочные игрушки хозяева, уезжая, положили на журнальный столик. Целый мешок, и Борис почти час украшал новогоднее дерево. Получилось красиво, даже слишком. Полюбовавшись на свою работу, он сильно затосковал о Лете. Ведь они вместе собирались украшать. И, подумав, Рогачёв принялся раздвигать ёлку. Нервничал, много раз укололся. Две игрушки разбились, выскользнув из рук.

— Чёрт! — вскрикнул он, собирая осколки, когда один вонзился ему в указательный палец. Он долгое время держал руку под холодной водой. Кровь не унималась, видно, ранка оказалась глубокой. Его затошнило. Нет, вида крови он не боялся, просто хотелось есть. Борис пообедал бутербродами, запивая их холодным молоком. Выпил почти литр. Допивая прямо из горлышка, поперхнулся и пролил остаток себе на рубашку.

— Ну, ёлки-палки! — психанул Рогачев. — Что за чертовщина сегодня?!

Переодевшись и застирав пятна на рубашке, вновь поехал в общагу. Леты по-прежнему там не оказалось.

— Куда она могла уйти?

Подруги только разводили руками. Но Борису показалось, что Дерепащук и Самойленко знают, куда подевалась Лета.

— Вот сяду тут, — он уселся на кровать Леты, — и не уйду, пока вы не скажете или пока она не придёт. Делать мне всё равно нечего. — Он потянулся за журналом мод.

Такая перспектива девчонок явно не устраивала. Нужно прихорашиваться перед праздником, поэтому вскоре Дерепащук не выдержала:

— Она к какой-то подруге ушла. Велела тебе не говорить.

— К какой?

— А нам почём знать?

— А зачем она пошла к этой неизвестной подруге?

— Сказала, что забыла Вере “Бурду” отдать, а перед Новым годом нужно отдавать долги. Заодно поздравить с праздником.

— Значит, подругу Верой зовут? А говорите, не знаете, кто.

— Кроме имени, мы больше ничего и не знаем, — ответила Ирка Самойленко. Им обоим хотелось как можно быстрее выпихнуть Бориса из комнаты. Праздник уже наступает на пятки, а у них ещё конь не валялся.

— А она что, у Веры собиралась отмечать Новый год?

— Вообще-то она сказала, что к тебе пойдёт. Но это она совсем не велела говорить! — Рада понизила голос и сообщила, как агент резиденту: — Она к тебе перед самым боем курантов явится. С тебя подарок, Рогачёв, за информашку.

— Так что же вы молчали, дуры? — Борис резко соскочил с кровати и выбежал за дверь.

— И это вместо благодарности? Ну, и мужики пошли!

— Спасибо, девчонки! За мной не заржавеет!

Ожидание полуночи в съёмной квартире казалось немислимо долгим. Он пробовал читать, но странице на третьей, не понимая, о чём идёт речь,

забрасывал книгу. Не спасал и телевизор. Борис позвонил матери, о чём она ему говорила, он тоже отказывался понимать. После матери позвонил нескольким друзьям, поздравил с праздником. Но и во время этих разговоров думал только о Лете. Всё-таки до чего же интересная девчонка! Вечно что-то придумает, чтобы подразнить его.

На кухне в хозяйской вазе стоял букет искусственных цветов. Среди них — несколько ромашек. Рогачев принялся гадать: придёт — не придёт. По двум выходило, что не придёт, по двум, что придёт.

А время, как ни старалось тянуть резину, всё же двигалось к полуночи. Он вышел на балкон и простоял долгое время в домашней одежде, вглядываясь вдаль и нащупывая глазами силуэт Леты. На улице весёлые компании шли в гости отмечать праздник. Они то и дело наперебой кричали: “С Новым годом! С новым счастьем!” В том числе и Борису, одинокого стоявшему на балконе. Он в ответ махал рукой. Ушёл с балкона, только когда стало совсем невозможно от мороза.

“Лета, Лета! Что же ты такая надменная, как моя судьба?” — Рогачёв вглядывался в зеркало, поворачиваясь то в профиль, то анфас. А вдруг она не придёт? От неё можно всего, чего угодно, ждать.

Есть женщины прилагательные, есть сказуемые, а есть — непредсказуемые. Лета — из разряда последних. Придёт ровно в двенадцать, когда будут бить куранты. “Вот увидишь!” — убеждал он сам себя.

— Если придёт, — открывая бутылку шампанского, торжественно произнёс Рогачёв, — мы будем с ней всегда!

Времени оставалось без трёх минут двенадцать.

После тягучей речи Брежнева ровно в полночь, как и полагается, пробили кремлёвские куранты. Борис, налив в два фужера игристое шампанское, вышел в коридор. Поставив фужеры на столик, открыл дверь, ожидая увидеть Лету в подъезде. Но её там не было. Рогачёв не поверил! Он прошёлся по этажам вверх и вниз, но Лета нигде не пряталась! Во многих квартирах слышалось безудержное веселье. Ему даже показалось, что за дверью одной из них раздаётся знакомый смех. Он затарабанил в эту дверь, но она оказалась незапертой и тотчас открылась. По квартире с бокалами разгуливали радостные люди, в первые минуты праздника уже в изрядном подпитии. Не найдя среди них Лету, Борис в растерянности вышел на площадку.

Всю ночь он не сомкнул глаз. Часто звонил телефон, и Борис каждый раз поднимал телефонную трубку в надежде услышать голос любимой. Но звонки в основном адресовались хозяевам. Многие из их приятелей почему-то не знали о том, что те уехали в Алжир, и очень удивлялись этой новости. Говорить о том, что Борис — квартирант, нельзя было ни в коем случае. Он представлялся племянником хозяина квартиры, присматривающим за жильём.

Раз ошиблись дверью. Дважды приходили соседи с первого и третьего этажей и, подобно звонившим, удивлялись отъезду хозяев. Борис молча принимал поздравления от незнакомых людей.

Под утро его сморил сон. Рогачёв проспал аж до двух часов дня. Входная дверь всё время оставалась незапертой.

По пробуждению первая мысль — о Лете. Где она? Следом пришло раздражение. Он переживает, а ей хоть бы хны! Какая обидчивая...

Рогачёв открыл дверь, выглянул. В подъезде тишина. Люди спят после праздничной ночи. Они веселились и куролесили, и лишь он один провёл новогоднюю ночь в мучениях и тоске.

Борис слонялся по квартире, и с каждой минутой его охватывали то безудержное отчаяние, то слепая ярость. Стоявшая в углу так и не наряженная ёлка даже при взгляде на неё больно колола иголками.

Где же Лета, где она, где? С кем? Рогачёв рисовал в своём воображении сочные картины, как Лета проводит время в компании красавца Волошина.

Он достал из серванта бокал, налил в него шампанского и залпом выпил. Затем из горла осушил всю бутылку. Нестерпимо захотелось есть. Проглотил три подзасохших бутерброда с икрой. Рыбный вкус усилил вкус горечи.

Борис уткнулся в подушку и, если бы не стук в дверь, зарыдал. Он подскочил с дивана и, не выпуская подушку, помчался в коридор. Ура! Пришла! Ему сейчас было всё равно, где Лета справляла Новый год. Мало ли где? Отец приехал. Что бы ни сказала Лета в своё оправдание, главное, что она пришла!

Рогачёв резко открыл дверь и замер. Это была не Лета.

— Здравствуйте, — пролепетала непрошенная гостья. — Это вы? Ты? — Девушка выглядела очень растерянной.

Борис равнодушно кивнул.

— Ты не помнишь меня?

Рогачёв, даже не всматриваясь, покачал головой.

— Ты билеты покупал у меня. Спортлото. Недавно совсем. Не помнишь?

Борис недоуменно смотрел на девушку. Несёт чушь какую-то. Про билеты, будь они неладны. Какие билеты? При чём они тут?

— Ещё билетик счастливым оказался, ну, вспомни! А я тебя сразу узнала! — Защебетала гостья. — Хоть ты и был в такой шапке высокой, мохнатой. Вон той, — девушка указала на вешалку с шапкой Бориса. — А ты что, здесь живёшь? А чего ты подушку держишь?

Борис по-прежнему крепко прижимал к животу подушку обеими руками.

— Пойду положу. — Рогачёв направился в комнату, девушка проследовала за ним.

— А я посмотреть пришла, всё ли в порядке. Нам Потаповы ключи оставили, а сегодня ночью, когда звонили, поздравляли из своего, ну, куда там они уехали... В Инжир свой.

— В Алжир.

— Ну да, в Алжир! Попросили навестить тебя. Волновались, всё ли в порядке с квартирой. — Соседка оглядела комнату и остановила свой взгляд на ёлке. — Давай украсим? — девушка кивнула на дерево. — У меня ёлочных игрушек полно осталось.

— Игрушки есть, — мрачно ответил Борис.

— А ты чего с подушкой-то не расстаёшься? — засмеялась гостья.

Отчего-то от этого смеха Борису стало легко, словно частичка праздника просочилась и в его дом.

— Не знаю, — улыбнулся в ответ Рогачёв и кинул подушку на диван.

С приходом Нади, так звали соседку, Борис оживился. Она будто проплась по квартире и смела паутину застойного ожидания веселья. Надя сбегала домой, принесла на подносе салаты, маринады и прочую снедь. Борис достал свой разгрузочный коньяк.

— Жаль, что шампанское кончилось, — он взглянул на пустую бутылку.

— И у нас нет, выдули, — сказала Надя извиняющимся тоном.

Она стояла перед зеркалом в коридоре, прихорашивалась.

— А с чем это фужеры? — громко спросила гостья.

Борис вышел в коридор и взглянул на тумбу с двумя фужерами, налитыми всклень шампанским. На мгновение его охватила тоска.

— Шампанское! — Надя сунула мизинец в один из фужеров и облизала пальчик. — А говорит, шампанского в доме нет.

Борис ничего не успел ответить, потому что Надя уже протягивала ему фужер.

— На брудершафт! — даже не предложила, а приказала гостья.

Как ни странно, Рогачёв подчинился. От Нади пахло мятой. Этот запах всегда вселял в него уверенность и спокойствие. Их домработница Катя любила заваривать чай с этой травой. Вот и сейчас, как в детстве, тёплая волна окатила его с ног до головы.

Потом они пили коньяк, ели салаты, конфеты, украшали ёлку и дурачились. Конечно, Рогачёв не мог не думать о Лете, но сейчас она ему казалась оставшейся вдалёке, позабытом сном. В какой-то момент ему вдруг пришла мысль, вот нагрянула бы сюда Лета сейчас и увидела, что он вовсе не страдает по ней, а очень даже неплохо развлекается с премиленькой девушкой, смотрящей на него влюблёнными глазками.

А Надя даже хорошенькая. И прямая противоположность Лете. Лета — красивая статная, Надя же, наоборот, невысокая и слегка полноватая. Но полнота её совсем не портила, а даже добавляла детскости и очарования.

— А ты мне сразу понравился! — Надя целиком запустила в рот конфету. Борис усмехнулся, вспомнив, как Лета съедала в три откуса... — Я год работаю в этом киоске и, чего душой кривить, присматриваюсь к парням, но такого симпатичного, как ты, ни разу не было, — вздохнула гостя. — Знаешь, а ты зацепил меня. По тебе сразу видно, что ты хороший.

Борису излияния Нади очень даже нравились. Давно ему никто не говорил, что он хороший. А он ведь и впрямь неплохой! Только Лета отчего-то так не считает... И праздники проводит непонятно с кем...

— А ты где встречал Новый год? — Надя закрутила волосы на затылке в пучок и, чтобы он не распадался, воткнула в него ложку. Получилось забавно.

— Здесь.

— Здесь? — Надя огляделась по сторонам. — А с кем? Гости приходили?

— Ты спрашиваешь, чтобы Потаповым доложить? Так учти, я их племянник, они не очень-то будут на меня сердиться, даже если я тут на ушах стоял со всем институтом.

— Вот ещё! Буду я им докладывать! Просто интересно, как ты встретил Новый год.

— Один.

— Один? — Надя чуть подалась вперёд. — Один?

Рогачёв кивнул.

— Как один?

— Вот как-то так, — усмехнулся он.

— Первый раз вижу человека, который один встречает Новый год. — Гостя на мгновение ссутулилась, опустив плечи. — Надо же... А почему?

— Я девушку ждал, — честно признался Борис.

Надя растерянно взглянула на него, но тут же приняла весёлый вид.

— Так поэтому два бокала невышитые...

— Поэтому.

— Она не пришла, да?

— Как видишь!

— Почему?

Почему... Борис откинулся на спинку дивана. Надя сидела на полу возле столика, обхватив колени, и выжидательно смотрела на Рогачёва.

— Почему она не пришла?

— Почему, почему... Потому что сука! — Борис соскочил с дивана и, схватив бутылку с коньяком, вышел из комнаты.

Он стоял на кухне перед открытой форточкой, когда вошла Надя.

— Извини, — прислонилась она к дверному косяку. — Тебе сейчас хреново, а я с такими расспросами... Я, пожалуй, пойду.

Борис повернулся. И, о Боже! что на него нашло? Рогачёв ни сейчас, ни потом не мог дать себе объяснений. Он как дикий лев бросился на девушку и стал её жарко целовать. Так, не отрываясь друг от друга, в поцелуях, сбрасывая с себя одежды, они очутились в спальне и упали на кровать, утоляя нестерпимый телесный голод.

— Весёленькие обойчики! — первое, что сказала Надя после секса, разглядывая оранжевые обои с крупным геометрическим рисунком.

— Да, жизнеутверждающие, — повторил фразу Борис, сказанную когда-то им при первом взгляде на спальню.

Да Бог с ней с этой Лерой, тьфу — Летой! Она ещё сама побегает за ним! А пока... А пока жизнь продолжается!

— Да, Надежда? — подмигнул он Наде и вновь навалился на неё всем своим существом.

— Раздавишь! — смеялась она сквозь поцелуи.

Весь день они не вылезали из спальни, пили и весело болтали.

Дважды звонила Татьяна Валентиновна.

— Ты что, пьян? — каждый раз допытывалась она. Чтобы не огорчать гостиницу, пришлось отключить телефон. Да и, честно говоря, ни с кем не хотелось общаться в этот день, кроме Нади.

Они долго и весело играли в “одеяло”. Лежа под одним покрывалом, Надя с Борей отбирали его друг у друга. Весёлая возня голых людей, конечно же, закончилась неужённым сексом.

— Давай играть в бревно? — предложила Надя, как только они отдышались.

— Как это?

— Ты будешь строить из себя бревно. А я буду тебя ласкать. Но тебе запрещается реагировать на прикосновения и ласки. Я должна как можно быстрее расшевелить бревно.

— Нет, давай бревном будешь ты! — воспротивился голый Борис.

— Нет, ты!

— Да нет же, ты!

— Ладно, давай никто из нас не будет бревном, — решила Надя.

— Ну, если хочешь, давай я буду бревном, — смилостивился Рогачёв, — но ты тогда будешь инжиром. — И они вместе задорно рассмеялись.

Борис устремился в другую комнату за “ещё” и вернулся с коньяком и яблоками на подносе.

— А вина случайно нет? — спросила Надя.

— Случайно нет, — вздохнул Борис.

— Я вообще-то не особо крепкие напитки.

— Да будет тебе, расслабляйся! Сегодня праздник, можно.

Они, выпивая, закусывали яблоками, вернее одним яблоком на двоих и без помощи рук. Поедание заканчивали вкусным поцелуем.

Включив музыку на полную катушку, принялись сначала танцевать по-серьёзному, но это им быстро наскучило, и Рогачёв с Надей стали дурачиться и кривляться, прыгать по дивану и носиться друг за другом по квартире. Пару раз им стучали по батарее и один раз в стенку. Они на какое-то время делали музыку потише, но вновь, расшались, прибавляли звук.

Через какое-то время стали тарабанить в дверь.

— Чёрт, что за люди! — пьяный Борис подошёл к проигрывателю и снял с пластинки иголку. Пластинка одиноко продолжала крутиться дальше.

— И не говори, — едва выговорила Надя. — Праздник же!

В дверь по-прежнему стучали.

— Давай не будем открывать, будто нас нет, — предложила Надя.

— Ага! — засмеялся Борис и, шатаясь, пошёл в коридор, надевая на ходу трусы. Это ему не особо удавалось, потому что он дважды чуть не упал.

С трудом, но всё же Рогачёв дошёл до двери и, не посмотрев в глазок, распахнул её. На пороге стояли институтские друзья — Витька и Мишка, не одни, а со своими половинами. Вид у всех был хмурый и недружелюбный.

— Привёт! — Рогачёв кинулся к ним обниматься. — С Новым годом, ребята! Молодцы, что зашли.

— Это было весьма затруднительно, — как всегда назидательно сказала Дерепашук. — Битый час бились, чтобы попасть к тебе.

Ребята зашли в квартиру.

— Мы вот чего, — замялся Витька.

— Раздевайтесь! — пьяный Рогачёв принялся стаскивать с него куртку. — И ты Мишка, и ты, Рада, и Ирка!

— Сейчас, — Витька чуть отстранился от приятеля. — Дело в том... Боря, мы пришли...

В эту минуту в коридор выглянула Надя, обернутая белой простыней.

— Здравствуй, — кивнула она вошедшим, — Боря, а ты не видел моё платье? — понизила она голос.

— Знакомься, Надя, это мои друзья!

Друзья во все глаза смотрели на полуголую Надю.

— Надо же, — наконец произнесла Ира Самойленко.

— Не надо же, а Надя же! — Рогачёв развеселился от собственной шутки.

— Загул а-ля Киса Воробьянинов... — Рада Дерепашук брезгливо поморщилась.

— Так вы не из-за музыки? — Надя как можно тщательнее проговаривала слова.

— Говорю же, мои друзья! Раздевайтесь, раздевайтесь, — и он вновь принялся стаскивать с них одежду, схватил Раду за шарф и сильно потянул его.

— Пожалуй, мы пойдём, да ребята? — Дерепашук с трудом отобрала у Бориса свой шарф. — Потом... — И она принялась всех подталкивать к входной двери.

— Нет, нет! — Борис схватил Мишку за рукав. — Вы куда?

— Да, да, мы потом, — Рых попытался освободиться от приятеля, но тот держал его мёртвой хваткой.

— Надька, не выпускай их, — скомандовал Борис, ещё сильнее притягивая к себе Мишку.

Надя тоже схватила Рыха за рукав и стала тянуть на себя, забыв про простыню. В какой-то момент простыня съехала, обнажив грудь Нади.

— Кошмар какой! Бессовестная! — завопила Дерепашук и что было силы оттолкнула девушку от Мишки. Надя упала, стукнувшись о тумбочку. Она хотела подняться, но это оказалось непросто. Простыня не давала. Надя ворча, принялась выпутываться из простыни, в итоге оголившись совсем.

— Срам какой! — Ира, заплакав, выбежала из квартиры. Следом за ней выскочил Витька Челябин.

— Куда вы? Вы чего? Ну, подумаешь, упала! Надя, вставай, — Борис помог девушке встать. — Да куда вы? Постойте!

Однако все гости уже были за порогом. Витька с Ирой поджидали друзей внизу, и Рада стучала на весь подъезд каблучками по направлению к ним.

— Ну и валите! — крикнул Рогачёв Мишке, единственному оставшемуся на площадке.

Однако Рых не ушёл, а стоял и в задумчивости смотрел на Бориса.

— Приходили-то чего? — Рогачев уставился на Мишку пьяным взором.

Рых ответил не сразу, но ответил:

— Про Лету сказать.

— Я про неё слышать не хочу! — нарочно громко сказал Борис.

Рых понимающе кивнул.

— И видеть. Так и передайте ей!

Рых снова кивнул.

— Ну ладно, бывай, старик! Дела у меня, сам понимаешь! — Борис подмигнул Мишке и начал закрывать дверь, но тут же вновь широко распахнул её, да так, что дверь стукнулась о соседнюю. — Ах да, забыл, привет Лете в кабриолете!

— Леты больше нет, — мрачно ответил Рых. — Сгорела.

*(Продолжение следует)*

ВАСИЛИЙ КИЛЯКОВ

## ПОСЛЕДНИЕ

ПОВЕСТЬ\*

**Лапти**

Взволнованный, совершенно проснувшийся, глядел я в потолок, не смея собраться с мыслями от быстрого сна. Собраться с духом, двинуться не хватало ни воли, ни желания. И было радостно-страшно вспоминать жесты, интонацию деда и лёгкую беседу. И я всё бы лежал так-то да лежал, укрытый двумя одеялами и шинелью, как вдруг в дверь забарабанили совсем уж нешуточно, и громкий голос Кузьмы привёл меня в чувство:

— Отширай, открывай, скорее, скорее, опаздываем!

В открытую дверь Кузьма вошёл боком, нехорошо косясь на меня, ещё не одетого. Принялся ворчать немилосердно; он отряхивался шапкой, и снежная игольчатая пыль летела на меня, бросая в дрожь:

— Опаздываем. Хлеб, а главное — водку развезут, разберут, нам не достанется.

И уже с упрёком несмываемого моего позора лежебоки теперь уже на веки вечные добавил:

— Ну, а у вас что там, в ракетно-зенитных войсках, где ты служил, все так спят, что ли? Ай все? Э-э, брат, тогда нам никакой “Тополь-М”, ни “Сатана” не поможет. Первой же бомбой, как цыпят, того... Бомба как ахнет! Мериканцы, они, поди ж ты, этак не спят, не-е-е.

Дед сразу сразил меня своей одежкой-обуткой, как он сам говаривал: в допотопной огромной овчинной шапке, сшитой, верно, им же вручную. Полушубок — подрезанный зипун, заплата на заплате. Зипун туго-натуго перехвачен обрывком верёвки, на ногах — огромные лапти, серые онучи из суконного одеяла. Меня разбирал смех. Я своими глазами видел у деда Кузьмы хороший полушубок, новые валенки и довольно хорошую шапку.

— Чего ты гогочешь-то, — бросая на меня косые недовольные взгляды, ворчал дед. Он вынул из вещмешка новые лапти, онучи, поторапливая. — На-ка, новые даю, надевай. Да поскорее, в валенках-то ай пройдёшь по бездорожью? Шаг-другой — и увяз по горло, и сиди выбивай. Хуже, чем по болоту иттить, вот увидишь.



— Нет уж, дед, уволь. Да я и обуваться в лапти забыл, как. С крепостных времён, как вольную дали, ни разу не нашивал.

— Не таракти, недолга тебя выслушивать. Садись на лавку, я умею и обмотки вязать, и лапти того...

Тогда и смех разобрал меня, и жалость, когда глядел, как старался Кузьма над моими ногами, краснея лицом от прилива крови, стоя внаклон:

— Нынче лапти никто не носит, людей перепугаем, что подумают? Эх, Лукич, загремим с тобой вместо сельпо да в психбольницу или в отделение до выяснения личности.

— А и глуп ты, малый, вот что! — сердился дед Кузьма. — По сугробам пойдёшь, вспомнишь меня, моё слово. И легко, и тепло, и сухо.

— Да нет, что ты, шутишь, что ли? В Дубровине знакомых полно, ровесники ещё по школе-интернату, стыдно будет.

— Да? Твоё последнее слово?.. Ну, как знаешь. Пожалеешь, что меня не послушал, неслух окаянный, — дед Кузьма, огорчившись, кинул на лавку лапти и портянки и, не переставая ворчать и ругаться, вышел.

Одевшись, я взял охотничьи лыжи без палок. Дед строго посмотрел на меня.

— А лыжи-то зачем? — удивился — Мы же не на охоту, что ты? Как санки-то повезёшь на лыжах?

— Мы по очереди. Один везёт санки, другой идёт на лыжах пустой...

— Да что ты, малый, я и молодой-то на них не вставал сроду, да и не полезут ремни на мои лапти. Мои ноги не для лыж. Стой-ка, ты деньги взял? Побольше надо взять, может, Силантий на тракторе подбросит, он мне друг, тракторист-то, Силантий.

День устоялся как по заказу, яркое солнце заливало улицу, солнечные поля горели каждой снежинкой. От яркого солнца ломило глаза, привыкшие к полусумеркам да тёмным сениям и чувалу. Редкие белёдые, как бы весенние облачка, мазками по голубому, стояли, не меняясь, высоко на северо-востоке. И ни единого следочка не было. Дорогу можно было различить только по столбам, как по вешкам, стоящим далеко друг от друга.

За деревней, минуя кладбище, пошли напрямки, не разбирая дороги.

Дорога наша в Сонино лежала через деревню Поляки, недалеко. И дед Кузьма часто останавливался, садился в санки и курил. Когда шли мимо кладбища, дед пристальным взглядом смотрел на голые тополя, вязы, оградки и кресты, мучительно думая о чём-то.

— Скоро, чувствую, туда идти, — одышливо кряхтя, воняя самосадам, проговорил он, догнав меня. Глаза его слезились, бородёнка растрепалась от ветра. — Так оно есть, сколь тут воду ни мути, а под тополя не миновать идти. И домовина готова. — И, отвернувшись, мелко-мелко закрестился и скорее зашагал по снежной равнине прочь.

В пустых снежных полях поволокло позёмку. Она змеёй вилась за нами следом, то обгоняя, то отставая. Всё словно вымерло. Радовал простор, солнце. По солнцу истосковалась душа, и только дед, как опытный шкипер, останавливался и подолгу смотрел в ту сторону, где высоко и прелестно уже размазывались по небу высокие парные облачка. В голубой дымке синели дали, леса и посадки, кое-где стояли омёты, стога овсяной соломы в снегах. Остожье возле них было основательно потрепано и ополовинено: понятно, не тридцать шестой, за пять колосков не посадят. Редкие болота чернели голыми лозинами и осинниками. Ровным порядком стояли подновлённые, несокрушимые, гранёного бетона столбы электролинии, ведущие в центральную усадьбу Дубровино, так что удивляло: как и кто нашёл время и средства в этой глуши выставить столь стройный ряд столбов, казавшихся признаком какой-то совершенно иной цивилизации.

Дед всё чаще останавливался, широко и с размаху садился на санки на притороченные к ним пустые мешки, с подчёркнутой неторопливостью и старанием поправлял свои лапти, натягивал онучи и увязывал покруче да покрепче, и выше, к коленям... Наконец я сделал вид, что понял намёк, стал уговаривать деда не вставать с санок и, уложив лыжи, потащил деда прямоком к большой дороге, ведущей в село Поляки. До него было уже рукой

подать, но я и сам изрядно вымотался. Валенки засыпало снегом, и в глубине души я уже ругал себя за то, что не послушал старика и впрямь не обул лапти, не поддался на уговоры Кузьмы. Да и перед кем, в самом деле, форсить. Оскользаясь то и дело и проваливаясь, я слышал сзади ворчание:

— Неслух окаянный, — ругал меня дед вполслуха, сидя на саних, сложив запорошенные снегом лапти крест-накрест, — совестно ему, вишь ты, в лаптях. А как же мы с дедом твоим всю жизнь. Ботиночки за спинку, лапоточки на ноги — и в дорогу дальнюю. Кто стариков не слушает да не почитает, тот век в добре не живёт, горе мыкает.

Сразу за распадком, в подъём закурились громадные тополя и берёзы села Поляки. Низина к деревне порадовала лёгкостью передвижения. Временами я подсаживался на старые, но добротные сани Кузьмича, и мы летели вниз с горы.

— Ого-го-го, — гоготал он, распугивая зайцев, следы которых там и здесь пестрели на сугробах, покрывших озимые, — ого-го-го-оо, тудыт-т-т вашу мать! Эх, мать не замать, а отца не трогать. Что, в детство вернулись мы с тобой, мальчуган? Вот тут-то самая Царь-гора и была у нас помальству-то... Только туда не скатись... “Эх-ха-а... Поляки — дураки!”

Распадок огромной воронкой приковал мой взгляд. Это было озеро необыкновенной чистоты. Скользко же я не был здесь! Теперь оно было усыпано снегом, покрыто льдом. Несколько лунок обозначалось на нём. Диаметром метров в пятьсот-семьсот, это озеро, обозначенное на карте Рязанской области как Морской Глаз, феноменальное, самородное, было неизвестного происхождения. Летом оно было синее до ломоты в глазах. И если я усаживался на берегу, обозревая пространства, часами не мог уйти. И немудрено. Я родился над этим озером, вон в той больничке. Оно первым приняло мой крик: на берегу этого тектонического чуда стояла единственная на все деревни больница, она же служила и роддомом — теперь стоит с закрытыми и забитыми дверьми и окнами.

Сердце забило в груди, когда, шагая по берегу, перелезая и ломая хрупкие берёзовые прясла, я пришёл к корпусу, где когда-то мать произвела меня на свет. Кузьма едва попевал за мной. Дальше, вниз, я увидел деревянную церковь, в которой меня крестили. Крёстный вёз меня, младенца, на мотоцикле, мать, сидя в люльке, держала меня на руках. И так зримо, так ясно я пережил это своё рождение-крещение. Это кажется невозможным, но я помню и своё рождение, и крещение. Тогда открыты были светлые ворота в алтарь, и священник нёс меня туда, в эту тайну, прижав в груди. Детская душа моя замирала от восторга: что же там, там, за дверями... Ничего. Светел был Христос, простирающий руку, благословляя. Семисвечник. Алтарь. И словно бы помнил шепоток какой-то бесовский над моим детским ухом слева: “Да это всё фокусы, обман. Церковь — обман”. И я зашёлся от испуга и недоверия долгим-долгим детским криком, который никак не могли унять. Частые всхлипывания и потом — опять долгая дорога отсюда, длиною в жизнь. “Дунь и плонь” — и этот страх при крещении я запомнил на всю жизнь.

И вот теперь было странно видеть, что деревянная церковь не устояла, разрушалась от времени, от нерадения людского и от жадности людской — растащить всё, что можно и нельзя: иконы, ставни, ступени крыльца. Да слава Богу, не один я здесь родился и крестился. Видно, дорожили многие люди своим истоком, своим началом, и это место оставалось святым. А кому не святым, то заветным.

Церковь звала меня. Сквозная на снегу, она, казалось, обгорела или черно окостенела от времени. Она звала и звала, и я, как зачарованный, пошёл и пошёл туда, к ней. Неужели я мог помнить своё рождение, свои крестины? Что это за дальние давние картины, которые я так зримо вижу и вспоминаю не один десяток лет уже? Или это было каким-то наваждением, колдовством памяти, воображения, детской выдумки?

— Эй-эй, мальчуган, ты что? Потолок обрушится, приплюштит. Нет, давай-ка назад. Так мы не уговаривались.

— А иконы? — спросил я старика, цепenea, ступив на крыльцо. — Где же все иконы отсюда?..

— Порасташили. Какая где. Ишь, вспомнил, иконы! Пойди теперь найди... Кто поумней да посноровистей, да Бога не боится, тот первый те иконы из иконостаса и повыдрал. Повыдрал да пропил. Или спрятал до поры. Да ведь и им счастья нету, все почти — упокойники уже, не своей смертушкой поотшли в мир иной. Вот и верь или не верь...

### Автолавка

Мы догнали автолавку часу в одиннадцатом. Трактор на огромных санях протянул и развернул этот самородный передвижной сельмаг. Первое, что бросалось в глаза, — высота этого сооружения и толпа народа. Вагон (такие, верно, таскают по тайге с лесорубами) был проходной. С одной стороны продавали съестное, с другой — скобяные товары и готовую одежду, нехитрую обувь, немудрёные приспособления — тысячу мелочей. Очередь змеёй извивалась вдоль закрытой и обвалившейся школы, вокруг палисадника. Дед Кузьма оживился, вытащил из бокового кармана загодя приготовленный нами список покупок. Не говоря ни слова, выхватил у меня пустые мешки и пошёл, продираясь сквозь толпу, не обращая внимания на окрики молодых мужиков и баб. Старики и старухи здоровались с Кузьмой, величали его по имени-отчеству. Я не спускал любопытного взгляда с Кузьмы Лукича, думая: “С ума сошёл! Толпа сейчас же выкинет его на улицу!”

В самом деле, каждый из стоящих в очереди знал, что теперь на их Сомино, четвёртое по счёту село на пути автолавки, может и впрямь не хватить продуктов. Не хватит на всех. Везде, где она торговала, — вытряхивала пенсии у стариков, а в Кошбеево, у святого колодца, и на свадьбу народ затаривался, и на поминки, — большое село, может не хватить многим элементарного: хлеба, спичек. Ждать полтора месяца, отстоять очередь и не купить соли, спичек, мыла... И всё из-за какого-то чудака-старика, похожего на чучело, залезшего бесстыдно и нагло без очереди, просто обворовавшего временем и удачей, человеческой гордостью, — такая перспектива, вероятно, устроит не всех.

И в самом деле, тотчас раздались недовольные окрики, на Кузьму бросали возмущённые взгляды. Кто-то, скрываясь, толкнул его так, что Кузьма едва устоял.

— Куда это чудо-юдо огородное лезет! — орал молодой мужик в богатой новой шапке. — Эй, дед, ты чё, оборзел, в натуре, не видишь, сколько народу стоит?

— Дед, а мы тебе тут что, лохи? Очередь соблюдай.

— Ишь, прёт как на буфет, да какая там совесть, на нём пробу негде ставить.

— Смотрите-ка, бабы, глядите: наглость — второе счастье. У него душа, а у нас — клюшка.

— И мужика ни одного нет, выкинуть его.

Со словами: “Ты чё, старик, дупля не отбиваешь? Или тебе рамсы поправить?” — к Кузьме двинулись. Я тоже, наперерез. А Лукич вдруг затряс головой, забормотал что-то нечленораздельное:

— Кто кур воровал, у того руки трясутся. Кто кур воровал... Косо бродит, за нос водит. Косо бродит, за нос водит.

На губах появились слюни с сукровицей. Густые брови то взлетали, то повисали хмуро, глаза, угрожающе глядя, вдруг стали закатываться, закатились. Он упал и скорчился. Пробившись к Кузьме, я обомлел от испуга: страшные бельмы глаз сплошь в красных лопнувших капиллярах были изжелта-сизы, зрачки закатились. Я не узнал его. Над ним нагнулись.

— Эй, кажись, сейчас помрёт.

— Пустите, пустите, — загалдели надо мной и впереди меня (впереди очереди народ всегда добрее), — пустите, вы что, он фронтовик, право имеет. Ишь, трясёт его всего, пустите.

— Ха! Фронтовики. Все они — фронтовики. За чекушкой лезет, поди, а не разобрал, что это не частники. За касимовской косушкой мы все фронтовики.

— Точно! Не выгнали б фашиста, подчинились бы, глядишь, по-другому бы жили теперь, не стояли бы в очередях как сейчас. С немками бы то-во, якшались.

— Гутен-так, майн либен гёрл, даст ист фантастишь!

— Ты что же, стервец, Славка, а? Это тебе демократия глаза так открыла? Да Гитлер — он не только цыган да евреев того, он и нашего брата пожёт миллионы.

— Да, демократия мне глаза открыла, раньше слепой был, — резко и пьяно уже отвечал тот, кого называли Славкой. — Тридцать лет мантулил на ваш социализм, и уже все вступили одной ногой... Ан, оказалось, не туда вступили. Вовсе не туда.

— В дерьмо ты вступил, а не в социализм. Ты вспомни, как ты в партию-то рвался, в председатели... Почёту хотел?

В очереди кто-то кого-то схватил за грудки, повалил в снег. Гомон взлетел над толпой, как стая испуганных птиц. Стали разнимать. Я подхватил Кузьму и ловко подсадил его с мешками вверх, в лавку по железной приставной лестнице. Шибануло в нос, в глаза острым запахом залежалой сельдки, дешёвого мыла, свежеспеченного хлеба. И ещё чего-то странного, незнакомого, как если взять и смешать ворвань с патокой. Пахло зубным порошком с мятой, гуталином.

— Эй, кто за хлебом, не вставайте больше. Хлеба хватит не всем! — крикнула продавец-молодуха.

Дед Кузьма и так был на голову выше многих в своей ободранной овчинной шапке, а тут, влезши к прилавку, и вовсе оказался у всех на обозрении. Он всё ещё не переставая тряс головой, бормотал, ему совали в губы, в беззубый рот, в десна валидол. Он стал кидать один за другим через головы впереди стоящих пустые мешки, потянулся со списком к продавцам. И вдруг опять замычал на какой-то вопрос, громко и немо, и так угрожающе страшно, что у меня у самого пробежал мороз по коже. Продавец, молодая и миловидная, испуганно закивала головой, мол, всё ясно, не волнуйтесь вы так. И вдруг Кузьма заплакал, запричитал что-то, вытирая глаза смятой шапкой. Помощник и продавщица засуетились вокруг него, стали утешать, раскладывать по списку в мешки. Сзади всё ещё покрикивали:

— Да это киник, председателей печник! Дурак набитый!

— Чу, чу-ка, у него падучая, молчите.

— Мужики, да я его знаю, он из Выселок.

— Мальый, помоги, — оглянувшись, сказал мне дед и, обернувшись, выхватил из моих рук последний мешок, нехорошо взглянув на меня. — Держи-ка, держи, на, мешок-то!

Буханки хлеба, спички, куски хозяйственного мыла, банки с килькой, сельди в прозрачных пакетах полетели в наши мешки из-под прилавка, меняя место своего пребывания и наполняя один за другим два больших сидора. Шум возмущения на улице возрастал, как морской прибой. Я уже пожалел, что не встал в очередь вместе со всеми, а пробирался следом за Кузьмой. Когда начали укладывать пиво, бабы заорали, заулюлюкали, затоптались вокруг мешков, да всё с подначкой:

— Больной-больной, а пиво жрёт!

— Никакой он не больной!

— Больной, а хоть на ярмарку! В соку ещё старик.

Вылезли мы из лавки на улицу по приставным ступеням, без шапок, разгорячённые, как из бойлерной, начали увязывать мешки верёвками. На деда смотрели, как на чудо: лапти, латаный-перелатаный полушубок, шапка набекрень, и весь вид Кузьмы — смех и слёзы. Уход наш не был уходом победителей, скорее наоборот. Остроумные злые и глупые шутки сыпались во след... Толпа шугала собак из-под ног, с любопытством подбегая к нам поближе и с интересом разглядывая нас обоих.

Увязав мешки, подняв сидорок на плечи, дед снял с себя шапку, расстегнул малахай и вдруг запел:

*Не судите, господа,  
Что я отерхался,  
У меня тятка такой был —  
Я в него удался!*

Меня взяла оторопь. Никогда прежде не приходилось попадать в такое двусмысленное и глупое положение. Удивлению моему не было предела: что с ним, он что, сдурел, что ли? Видно было по всему: быть нам с ним сегодня битыми.

— За хлебом и пивом больше не становитесь! — звонко и словно катая бусину во рту, картавя, закричала опять младшая из продавцов из лавки.

После такого объявления стало понятно, что надо уходить поспешно и по добру-поздорову, а дед, продолжая чудить, собрал толпу вокруг. Мокрая лысина его блестела под зимним солнцем. Пот бисером застыл и на шее, а он, всё размахивая шапкой, сам распояской, тоная лаптями, синел, приплясывая, потешал публику:

— Эх, пой, страна, разговаривай, Рассея!..

— Ну-ка, давай, дед, делай! — молодёжь уже где-то хлебнула и пива, и сасовой сыты на медовухе, веселились от души.

И дед “делал”, старался изо всех сил, не обращал внимания на мои знаки-намёки. Он, как видно, не хотел уходить с бранью, оставлять дурной след по себе, дурную память, хотел потешить народ. Ему удавалось.

*Раньше ел я каждый день,  
А теперь — с полочки,  
Этот, с пятнышком на лбу,  
Нас довёл до ручки!*

— Эвон, вспомнил, “с пятнышком”!

Тут дед ловко показал огромную дулю и, согнув руку, ударил себя под локоть, обозначая этим неприличным жестом окончание спектакля. Восторгу толпы не было границ. Подхватив мешки, волоком, я стал под шумок ретироваться к салазкам, приторачивая их, не спускал глаз с Кузьмы, а он, как пьяный или в недуге, вставал на носки, топал ногой, задира лоб, сглатывал, двигая кадьком, потом попытался пойти вприсядку и всё сыпал частушками.

— Ой, Кузя! — слабо вскрикнула древняя старушка, верно, знавшая его. — Будя тебе, отступишь. Ведь родимец расшибёт, окочуришься.

— Во-во, окочуришься, а то и посодют...

— А что ты думаешь, и посодют. Нынче они опять у власти, — поддерживали её, — и будут! В Москве с пушек по народу палили, это называется, за народ стоят.

— Да это когда было, чтобы палили, опомнися.

— Давно опомнися. Ты ещё под стол пешком ходил. А теперь что: кого давеча не постреляли, и там, в столице — по помойкам лазют.

— Где, в Москве?

— В Москве, а ты думаешь, там все сластуют?

— Да в Москве — тебя там продадут с потрохами, купят и опять продадут. Одна Москва и жирует посреди страны.

Дед мой пошёл боком по круту, руки на пояс, приговаривая:

*Заседают депутаты,  
Всё дебаты да дебаты,  
А в селе — томатный сок,  
Да м...дянины кусок!*

— Во-во, это так, это верно, — ребята вскрывали банки с пивом, стреляя ими с шипением, как проколотыми велосипедными камерами.

Народ добирал то, что осталось из продуктов, толпа редела. С деловым видом, задрав откидную доску прилавка, вышла на улицу, протирая прилавок снаружи, продавец. С круглым лицом и круглыми плечами, она старалась

казаться самоуверенной, смеялась, сияя золотыми зубами. Расходясь, все ещё трунили, шутили, удивлялись происшедшему, кто-то сочувствовал. Я, как мог, уговаривал деда уйти, удалиться поскорее от греха, исчезнуть из поля зрения народа. Наконец-то силы и деланая молодцеватость покинули его. Тяжело дыша, опустил он на сани, нахлобучил шапку, застегнул zipун и, поправляя онучи, стал вычитывать мне:

— Ох, ох, не могу... Поспеем, поспеем, не торопись. Ишь, народ-то я повеселил чуть-чуть, а то бы нас с тобой тут того, в шею наладили.

— К тому всё шло, — подтвердил я.

— Кубарем бы так и полетели друг за дружкой, вон в овраг-то. Вот это: выходит теперь, ты мой кормилец, а я твой кто?

— Кто?

— Я твой добытчик и спаситель, вот что. Да... А ты оробел, парень, я видел, растерялся.

— Да и растеряешься. Не ждал спектакль.

На мои упреки о позорище он вперил в меня сильные глубокие глаза с стеклянневшей в них слезой и спросил коротко:

— Тебе сколь годков?

Я ответил.

— Ты, Саша, мал и глуп. — Потом он достал из-за пазухи матерчатую сумку и с полушёпотом: “Силантий, Силантий” — побежал за трактористом. Они недолго шушукались и расстались, оба довольные друг другом. Дед едва тащил сумку с касимовской водкой.

— Лизавете на поминки, — шепнул мне Кузьма. — Ну, паря, теперь ты не жадуй, поди расплатись, да не жмись с деньгой-то. На тебя теперь вся надежда.

Цена, заявленная трактористом и, видимо, утверждённая без моего присутствия Кузьмой, неприятно поразила меня.

— Да ты что, друг, — попробовал возразить я, урезонивая тракториста. — Ну и аппетит у тебя: сто рублей за фуфурь — таких цен и в Москве нет. “Кристалл” дешевле.

— Дешевле? — возник за моим плечом Лукич. — А спирта не хочешь, электролизного, вон, его полно село. Двадцать рублей пол-литра, для тех, кому жизнь не дорога. Тут что не месяц — то и гроб от этого спирта.

Пришлось раскошелиться.

— Аппетит, — ворчал, пересчитывая деньги, Силантий — приходит во время еды, да... — А пересчитав, повеселел: — Ну, все на месте, бумажка к бумажке. Кузьма, когда другой раз буду, везти тебе ещё?

— Вези.

— Закон! Всё, договорились.

Мы возвращались молча. С дедом ладить становилось всё трудней. Шли по своим следам, след в след в сугробах, сэкономили силы на возвращение. Шагали с обидой друг на друга. В самом деле, самоуправство и вольность деда поражали. А его, по-видимому, удивляла моя жадность.

— Так-то, мальй. Дорого, да мило. Не гоношись больно-то, Сашка, святое дело делаем — на поминки собираем.

Я молчал, твёрдо решил, что Лукич и впрямь выжил из ума: и откуда он взял, что продукты и вино — на поминки.

Под Поляками над крутизной снежного обрыва он вдруг схватил меня за шею и, хохоча, повлёк с горы, смеясь и кашляя до слёз. Барахтаясь, стараясь не скатиться в опасную к озеру близь, я тоже, хохоча уже без злобы, покатился за ним. Потом вытаскивал деда, как сказочного мукомола или сказочного фавна, из сугроба, на меня пахнуло гнилым виноградом — запахом перегара:

— Стой, стой, Сашка, задавил меня совсем... Я весь взмок, за тобой тягаясь.

Тяжело, с одышкой, весь в инее и снегу, мой попутчик развалился и, лёжа так недвижимо некоторое время, вдруг изрёк глубокомысленно:

— Облака. Они раз в жизни, облака-то. А и жаден ты, парень, и впрямь. Сейчас всё говорят: “Мытарь, мытарь!” — по радиве. Так вот ты,

парень, тот самый мытарь и есть, из Библии. Давай-ка глотнём на посошок, а то не будет пути нам, не доползём, обессилел я что-то. Ноги как ватные, лучше бы не плясал.

— Дома выпьешь. Тут ни стакана, ни закуски, потерпи. Да ведь ты же говорил, что Силантий подбросит на тракторе, на автолавке до полпути?

Дед нахмурился, с досадой поглядывая на меня снизу вверх.

— Не пондравился ты ему, знать. Я так думаю. А ты над этим голову не ломай, ты лучше во-он куда глянь, — старик, пристально глядя куда-то вдаль и вверх, и впрямь стал путать меня своим нетрезвым видом и нетвёрдой походкой.

Я стал пристально вглядываться вдаль и вверх за ломаную кромку леса и мало-помалу, сравнивая горизонты, нашёл то место, куда показывал, по старческой своей дальнзоркости, наблюдательный Лукич. Тучи по окоёму и впрямь тревожили: мертвенно почернели они, распластались и угрожающе теперь вытянулись едва приметными облачками — чернильными пятнами на восходе. Пока я разглядывал дали окрест, дед достал бутылку, сорвал “косыночку” и приник к горлышку. Закусил он коркой хлеба.

Стоял лёгкий морозец, ярко и весело светило солнце, и так хорошо было сидеть на санках, глядеть в это высокое почти по-весеннему небо, на пустое заснеженное поле. Где-то высоко, рисуя белую рыхлую дорогу за собой, в мутной синеве летел самолёт.

### Искушения

Святочные дни коротки, с воробьиный скок. Сумерки сгущались, и всё ближе подступала чернота. И когда мы со стариком вошли в родные Выселки, то выглядели, верно, не то беглыми арестантами, не то пленными, оставшими от своей разбитой армии, едва-едва не потерявшими ещё присутствия духа. Темно стало так, что впору передвигаться ощупью. Возле избы Акулины нас встретила бабка Лиза и вдруг заплакала:

— Акулина отходит, похожь, ночь не протянет.

— Куда отходит? — не понял спяну Кузьма. — Уже отходит?

— К Богу, Кузя. Вот куда. По её мукам ясно, что в рай...

Мы вошли в избу. Свет не включался из-за аварии на электролинии. Светила, чадя и отпуская кудельки дыма, семилинейная керосиновая дореволюционная лампа. Бабка Акулина лежала навзничь. Лицом вверх, с закрытыми глазами. Лоб её ещё больше пожелтел, глаза запали темно и глубоко, нос заострился. Руки на груди, совсем как мёртвая. Она не отвечала на наши вопросы. И вся она как бы и невозвратно усохла, уменьшилась. Стала как-то незаметней и прозрачней. Рыдая, Елизавета полезла на печь. Я поднёс стакан с водой, хотел было попоить бабку Акулину, но куда там. В горле бабки клокотало, на печке устоялся тяжёлый запах тряпок-шболов, овчин и нездорового голодного дыхания старушки.

Почему так трогательно, необычайно жалко это несвежее дыхание голодной больной? Тем ли, что напоминает о бренности бытия, наполняет сердце сочувствием, и каждая смерть ближнего — точно веха на нашем пути?..

— Конец, — сказал дед Кузьма, снимая шапку и кладя перстами широкий размашистый крест на плечи. — Надо думать, что-то делать теперь.

— Может, ещё оклемаются... — с надеждой и не веря себе самой, произнесла бабка Лиза. — Ей бы лекарство какое. Да вот тут есть на подоконнике, а от чего — не знаю.

— У меня есть лекарство. От всего лечит. Ото всего хорошо. От всех болезней. На разных травах, с самогоном, деготком и на майских тополиных почках настояно. Принести?

— Ох, сиди уж, — резким тоном оборвала деда Елизавета. — Знаю я твоё лекарство. Лечилась. А потом животом страдала, не знаю как, с боку на бок повернуться не могла. Господи, хоть бы оклемалась, весь день так вот, пластом. Даже головы не поднимает.

Бабка Лиза подтапливала печь в избе Акулины, но с нашим приходом горницу выстудило, становилось холоднее, угарнее, дышалось тяжело и сыро,

как в подполе или подвале. В печи что-то варилось, бабка Лиза гремела за-слонкой, причитывая:

— Вот горе-то горькое. Ни телефона, ни лошадёнки нету, больную от-везти в больницу.

— Что верно, то верно. Ни на лошади, ни на машине. Вот на собачьей упряжке разве, — молвил дед Кузьма, угрюмо поглядывая на печь. — Да и собаки нет. Да-а, дела-делишки.

Я был глубоко поражен, уязвлен увиденным, пережитым в походе к ав-толавке. Это была вовсе не дальняя Аляска времён знаменитого писателя “Белого безмолвия”, не Аляска и не Чукотка. Это была та деревня, которая десять-пятнадцать лет назад жила, работала не переставая ни днём, ни но-чью. Около сотни домов, изб. И не было тогда ни одного двора, где бы не мычала скотина, не мельтешили куры, утки, гуси.

А конный двор!.. Мальчишкой я тайком, сквозь чертополох и репейник, по несколько раз в день босиком бегал смотреть на чёрного, как жук, пле-менного коня по кличке Рыбак. Этот тяжеловоз выделялся какой-то особен-ной статью, мощью. Он стоял в своём стойле на конном дворе неподвижно, с головой, вознесённой под самую крышу. Прочие лошади ржали, стучали, хрустели сеном и овсом, а этот стоял, как замороженный, лишь изредка меня-няя затёкшую заднюю ногу с огромным, с решето, с копытом. Пробираясь в детстве через овраг в купырах и прикикая к расщелинам в дверях, я, как зачарованный, глядел с опаской в радужное полуокно-полудверь и не мог оторвать глаз от этого мерина невиданной гигантской породы, гордого и пре-красного, точно это был конь русского сказочного богатыря.

Стадо овец пригоняли раньше, чем деревенское стадо коров. Коров по-или у колодцев, выкликали по именам-кликкам. Машины с зерном в убороч-ную так часто сновали по дороге, что пыль не успевала оседать и стояла в воздухе, как туман. И вот теперь — не деревня, пустыня. Снежная Аляс-ка. Зови, кричи, ругайся — никто не услышит, никто не поможет. И эта явь так ударила вдруг под самое сердце, что не нужны были уже никакие слова. Душа взлетела, взглянула с высоты вниз и обомлела.

— Думайте же что-нибудь, мужики, ну, что вы всё молчите да смолі-те, — взмолилась Лиза. — И за попом не худо бы съездить.

— На чём съездить, на метле? Или на ухвате? — не выдержал раздра-жённый наступившим уже похмельем и нежданно свалившимися хлопотами, оборвал её дед. — Ты же видишь, как мы пластались, еле-еле добрели, кру-гом по поясу. “За попом, за попом...” За попом надо аж в Дубровино, за двадцать километров. Туда теперь и на гусеничном тракторе не пробьёшь-ся. Подождём до утра. Бог милостив.

— Я сам утром, Кузьма, слыш-ка, на лыжах за фельдшером побегу. У фельдшера же есть лошадь, не может не быть. На лошади и приеду, в са-нях. Что-то ведь надо делать, как-то помогать.

— Господи! Сашенька, выручай, кормилец, без покаяния, без причастия помрёт старушка... Ведь пособоровать, причастить, отчитать положено. Вот незадача-то, — не унимаясь, всхлипывала бабка Лиза, с размаху грохнув на стол между мной и Кузьмой чумазый чугун с нечищеной картошкой в мун-дире. — Ешьте, мужики. Да вышейте, вышейте. И я выпью, если нальёте.

— Давайте-ка выпьем за здоровье Акулины, — приказал дед Кузьма. — Что же всё плакать да ныть. Слезами горю не поможешь.

За ужином бабка Лиза попросила Кузьму погадать на спичках, помрёт или выздоровеет Акулина. И с азартом стала рассказывать мне, как хорошо гадал на спичках Лукич, всё угадывал и ей, и Акулине. Дед Кузьма, разо-бравшись с картошкой и ржавой селёдкой, заметно повеселел от двух рюмок, вытащил из кармана коробок спичек, кинул и высыпал. Разложив крестика-ми, замысловатыми фигурками “серники”, он с самым серьёзным видом и печалью во взоре поднял три спички, говоря:

— Кирпичи вы, кирпичи, жопу три и не кричи! — И, кинув три спич-ки на свои дивные фигурки, добавил: — Семь да восемь — крышка!.. Смерть.



Бабка Лиза взмахнула платком и вскочила вдруг, как ужаленная, пересела с табуретки на лавку, подальше от Кузьмы.

— Да ты что! — вскрикнула она. — На меня направил спички-то?! Очумел ты, что ли?

— А может, и ты помрёшь, — стараясь казаться равнодушным, продолжал свой кураж дед. — Все под Богом ходим.

— Чтой-то я-то помру-то? — вспыхнула гневом старушка. — Ты старей меня, ходишь вона, пузо поглаживаешь, а мне умирать? Ай уж и совсем спьянел? Ну, что выходит Акулине, говори.

Дед, хмурясь, пошевелил бровями, поскрёб лысый череп, пощипал бородажку и стал объяснять:

— Смотрите, вот, вот и вот, все спички — головками к печке. На Акулину глядят. Значит, не миновать того. Под тополя.

— Ой, а я-то пересела как вовремя. А то было на меня направил, идольщина окаянный. Вот колдун-то, колдун и есть. Ну что, под тополя, помрёт?..

— Да видишь, все головками к печке лежат, туда и глядят, ты смотри сама.

— Эх, типун бы тебе, Кузьма, на язык! — ругала бабка, точно Кузьма был виноват в болезни Акулины. — Ты что, совсем очумел? Как хоронить, в такие морозы, что ты?

И тут, верно, быть бы ссоре, да с печи послышался стон. Елизавета полезла на печь, стала поправлять Акулине подушку, осторожно положила руку сверху одеяла, и эта трогательная забота едва живого о чуть живом тронула, я заметил, даже сердце Кузьмы.

Керосиновая лампа, умирая огоньком, всё сильнее воняла чадом, давила сумраком на глаза и гнала кудель копоти уже беспрестанно. Пузырь на ней помрачнел изнутри. Усталость давала себя знать, ноги были мокры, и я несколько раз стряхивал с себя дремоту, в голову приходили самые нелепые идеи, отчаянные думы. Первая из них — уехать. Как можно раньше сорваться... Тотчас же, сейчас... Но тогда совесть подавала голос: нельзя бросить стариков в таком положении. Тени кидались, липли к стене и потолку, как летучие мыши в логове колдуньи. То ли сон, то ли бред. Выйти бы из избы, идти бы куда-то, сам не знаю куда, не останавливаясь, не замедляя шага. Вот уж верно, куда глаза глядят. В темь, в ночь, в снег. Горька участь людей на этой грешной земле!

Вновь безуспешно попытался напоить Акулину тёплым сладким чаем. Дед Кузьма долго глядел на умирающую, потом надел шапку, приказал Елизавете:

— Гляди за ней тут. Коли что — прибежишь, скажешь.

— Да посидели бы ещё, одной-то страшно, боязно как-то, — вытирая слёзы, сморкаясь в уголок платка, говорила Лизавета. — Ой, головушка моя горькая, одна, старуха, остаюсь, чего теперь делать, не ведаю.

Мы вышли на улицу; одиноко и печально, шаром, висела в облаках недалёкая луна в радужном ореоле. Светила широким, но каким-то робким и синеватым неверным светом. Такие же призрачные, изгибающиеся по сугробам, лежали на синеватом снегу тени яблонь и вишен. Серебрились наледью голые тополя-великаны среди пустых изб и колодцев под деревянными навесами.

— Пойдём почивать ко мне, — уговаривал меня дед, — что твоя халу-па. Поди-ка, и продуло её, не протопишь скоро-то, прогнила вся.

Я чувствовал правоту его слов и какую-то острую тоску на душе. Особенно болели глаза. От солнца и мороза, что ли, от ветра и потом — от крошечной темноты. Глаза деда Кузьмы тоже были красны и больны. Он развёл пять капель зелёнки на стакан и предложил мне промыть. Потом старым спитым чаем. Я накапал, промыл. Помогло и впрямь будто. Словно и мир стал тотчас милее и немного иным, или я увидел его по-другому.

— Сейчас подтопим грубку, чайку сварим, напьёмся. То-сё, пятое-десятое. Глядишь, и ночь пройдёт. Вдвоём-то если поговорить-побаять, то и ночь вдвойне короче.

## Ночёвка у Лукича

Кузьма Лукич, замешивая поросёнку, вспомнил: забыли дать заявку, чтобы прислали электромонтёра.

— А всё я виноват, — ворчал дед, — проплясал, просвистал электрика. До него от лавки-то было рукой подать. Поленницу берёзовую видал, под вид огромного стога сена сложенную? Ну вот, его дом-то и есть, электрика. Любит в бане париться, дров наготовил. Теперь приходится нам с лампой сидеть...

Кузьма Лукич долго прилаживал на крючок под потолком лампу “летучая мышь”. Наконец, подвесил за кольцо, которое осталось на матице с древних времён, ещё с тех времён, когда подвешивали на него зыбку, люльку для новорождённых малышей. Я сидел на низком продавленном диване, смотрел на пылающий огонь и дремал.

— На этом диване сживал твой дед Терентий, ох, и рассказчик был, заслушаешься, бывало. Соловей. Его даже в косовищу брали, чтобы слушать, а пай косили за него. Он только переворачивал сено, а так всё в шалаше. Силов у него уже не было. Сидят круг него и слушают. Хохочут до потери памяти. Умел твой дед рассказывать.

— А про что он рассказывал, Лукич?

— Про что? Про плен, про баб тоже рассказывал. Потом вот это, прочитал где-то книжку, где баба султану сто сказок рассказывала. Чтоб он её не казнил. Время тянула, отсочку делала... До чего ловко там они, султан да сказочница. Заслушаешься.

— “Тысяча и одна ночь”? — догадался я.

— А я, как схоронил свою старуху, один остался, затосковал, хоть плачь. Он мне как доктор был, дед твой. Я к нему, было, за семь вёрст ходил. Навроде — к священнику или старцу. Подскажет, посоветует. Сердешный. Я его, бывало, как увижу издалька — рад-радёшенек. А то он от старухи своей прибежал ко мне. Ну, и выпивали, конечно, не без того.

— А ещё о чём рассказывал?

— О фашистах, парень, всё больше о войне. Как работал в Германии на крахмальном заводе, горе мыкал, да всё-то с юмором, а то и со слезами. Как картошку воровали, пекли и ели. Вот он раз и попался за этим делом: “Ап!” А наказание суровое, на плечи рюкзак, в рюкзак ему — кирпичи. Вот его и давай гонять: “Бегом, ложись!”

И так загоняли враги его, сознание потерял. Ох, и болел он, парень, дед твой. Не дай Бог. Помню, пришёл в сорок пятом, кожа да кости. А тут наши, энкавэдэшники, привязались. Каждый год таскали его, бедолагу. До самой смерти Сталина. Всё брось: скотину, двор, — да по бездорожью, в грязь и в снег, а он идёт, идёт. Лошадёнку-то разве дадут. Разве попутчик какой подвернётся, хоть до полдороги.

— А что спрашивали?

— Да всё то же: в какой части служил, как попал в плен, кто с ним был до плена и в плену. Знаешь, что спасло его от каторги? Память. Память имел редкую. Номера армий, штабов — всё помнил, и всё в точку. Память и грамота. Помню, после допроса-то придёт ко мне, лица на нём нет, аж заплачет, бывало. Я сбегая за чекушкой, сальца добуду, чайком попою. А времена тяжёлые были, голодные. Хлеб давали по карточкам. Я, когда уже хлеб возил на своей кобыле в столовую, без карточек жил. Буханку, а то и две заведующая давала за труды, а карточки продавал. Вот он, бывало, Терентий-то, хватит немного водчонки... А век не закусьвал, хлеб только понюхает, пожует. А не глотал уже, верно, болело у него в кишках, что ли, пожует-пожует, да и выплюнет. Провожу его за переезд, телогрейка старенькая, штаны мотает по ветру, как пустые. Эх, и бедность была, голодуха. В сорок шестом, сорок седьмом — страшная. Считай, два года засуха. Потом два лета пекло нещадно, с водосвятными молебнами ходили, кропили. Даже картошка не уродилась.

Чайник тоненько запел, зашептал на плите. Лукич заварил крутой чай, принёс сушки, сахар в комках, крошил в заварку зверобоя, брусничный

лист и ещё какие-то листочки, похожие на мяту-мелиссу. Все эти снадобья он хранил в отдельных полотняных мешочках, всяк отдельно.

— Всё завидовал он, дед твой, мне: и на войне не был, и при дёпе сыт, обут и одет, хлеб, опять-таки. А завидного-то и не было ничего. Только название, что сыт, а тоже лиха хватил. После нужников шарахались от меня, как от лешего. Все нужники были мои, с самой коллективизации. А зимой какво? Да и летом не сахар. Но летом хоть помыться проще. А бывало, к выгребной яме подойдёшь, только-то помытый, а надо опять лезть. А какво оно, вонь, аж в лоб шибает. Нос воротишь, в струнку вытягиваешься, тяжело, все колени съела жужка. В кожу въелась, вонь-то.

— А всё же из колхоза сумел убежать, а дед не убежал, — напомнил я, отхлёбывая душистый взвар с брусничкой. Луквич не обиделся, капнул и мне, и себе в горячие кружки по полрюмки касимовской.

— Тебе одному расскажу. Получилось не так, как Елизавета доказывала, хуже было дело. Я тебе сейчас разжую по пунктам. Пей чай-то, пей, полезный. Да, так вот, слушай. В колхозы загоняли нещадно. В газетах писали про “великий перелом”, Сталин придумал. В Выселках остались нас три двора, всё не вступали, ждали — обойдётся. Не обошлось. Явились и к нам активисты, Венька Косой, агроном, Коля Разин и уполномоченный из района. Все заметно на развях — к отцу: почему, такой-сякой, заявление не пишешь? Не подчиняешься советской власти? А Венька Косой, голь-моль и рвань, беспробудный пьяница, в активисты попал. Нахрапистый, наглый, как танк. Хвать тятку за грудки, я кинулся отнимать. За Веньку вступились эти двое, агроном и инструктор-уполномоченный. Шире-дале, шум. Прибежала мать с подворья с вилами. Инструктор начал палить в потолок из нагана. Тятка выхватил топор из-под печки и кинул в инструктора. Да промахнулся. А может, нарочно, пугнуть, остепенить их. Топор вылетел в окно. Тут народ прибежал, ушли эти бродяги подобру-поздорову, но с утрусами. Тятка мне сразу: “Уходи к дяде, пока не поздно, а мне, видно, сидеть на роду написано”. Заплакали мы. Мать завязала мне в котомку хлебушка, яицек, картох, и пошёл я задами, дворами да огородами. Через лесок убежал в Сонино. Рассказал я дяде всё, как было. Тот понял: неладное, и подался в Выселки. А с Венькой Косым мой дядя был не разлей вода, неразлучные, лёд да вода — вот беда... С детства. И теперь не могу в точности сказать, то ли дядя помог замять дело, то ли сами агитаторы побоялись дело до прокурора доводить, стрельба была всё же. Ведь, как ни кинь, а пришли по пьяному делу — раз, самогон просили — два, за грудки хватали и стреляли — три. Им, верно, тоже, “спасибо” бы там не сказали, свои-то. В колхоз записывай, агитируй, а зачем же за горло хватать? В тот же день тятка мой и заявление отнёс, и скотину согнал на общий двор. А я у дяди-то всё прятался, да так и остался.

Теребя бородёнку, дед дрожащей рукой подлил в остывший чай и мне, и себе, огладил бороду, да и выпил взвар в один глоток, глаза его заблестели. Заговорил он с такой слабостью и таким малодушием, какого я у него и предположить не мог.

— Вот он, Сашка, и век мой. Короток наш век, кажется, и не жил, а только посидел, как ворона на колу.

— Выходит, ты и колхозником-то и не был? А что это такая за присказка у тебя, ты и в очереди всё так-то. Я слышал: “... за нос водит”.

— А судьба, счастье такое кривое. Кривое, выходит, что так. В колхоз не успели записать. Потом уж дядя в депо устроил со снисхождением к малолетству моему и его собственным заслугам. Сначала временно, а потом и постоянно. Так и околачивался при дёпе до пенсии.

— Но не всё же золотарём, а вон и хлеб возил.

— Хлеб возил — это другое... Да говорю же, без малого... Сначала как-то совестно было по молодости, а потом привык. Прирабатывал даже у деповских. Тогда все частные дома были, огородишки свои имели. Как прижмёт чистить да вывозить — ко мне, а у меня спецбочка всегда на ходу, содержал её, следил за ней, кормилицей. И кобылёнки две были хорошие, кормил их, чистил, запрягал. Значит, Сашка, скажу тебе так: навоз, хоть

и человеческий, — а это, малый, тоже дело прибыльное. А в помощники, к паровозу не пробиться было и тогда.

— Выходит, так, — подтвердил я, думая почему-то о деде Терентии, о том, как он бежал под выстрелы фрицев с рюкзаком на плечах, а потом всю жизнь харкал кровью.

### Благовест

Я проснулся... от ударов колокола. Пела пожарная рында, что ли, оглушала звоном будто рельса, о которой рассказывал дед Кузьма. Я лежал, не открывая глаз, различая звуки. Они плыли разные. Язык колокола с тяжким усилием раскачивался и ударял. И звон этот, мощный и прекрасный, заполнял пространство. Несколько тяжёлых ударов языкастого гулко колокола “Илья Муромец” — и вот тотчас весело и совсем пасхально-радостно завелись, запели ангельские подголоски во всём множестве.

Я совсем проснулся от колокольного, как я стал понимать, звона, и лежал так, не шелохнувшись, в недоумении, пока Кузьма не грохнул дверьми, кинул охапку дров на пол у печи и тряхнул меня за плечо.

— Вставай-ка да на-ка вот чаёк. Чай попьёшь — орлом летаешь, водку пьёшь — арык лежишь. Заслужили и угощение, конфетки сладенькие. Если бы не ты, Сашка, не дошли бы вчарась. Пей, пей, зажуй-ка. Как говаривал твой дед, пей да дело разумей. А что, правда! Вот колокол — просто машина, железо, а известно: на десять вёрст в округе бесов разгоняет. Мне, когда тяжело или недоумение, я всегда колокола включаю, благовест. Слышишь, как поёт?

Как долго, десятилетия заглушали колокола России! И вот снова полились эти звоны, золотые, малиновые, разные. Когда колокола исполнили последнюю мелодию и стали затихать, затихли, и звонари в моём воображении уже спустились со звонницы, я, уже совершенно проснувшись, мысленно приложил ладонь к колоколу. Могучий колокол продолжал жить и вибрировать звуком, точно радуясь возвращённому дару, точно ему хотелось звонить и звонить ещё и ещё.

— Откуда это чудо, Лукич? Я думал, мне мерещится.

— А вот техника, Санька! Лазерный магнитофон, слышал про такое? Включил — и как в церкви. От так-от кнопочку — чик. Звони-ит. А? А так — вон, ещё громче звонит, ровно ты и сам на колокольне. Забрался — и там. А тут на кнопочку нажимаешь — он “волны” ловит. Вражьи голоса, Америку, Германию. И ты знаешь, что? Все и там бают на русских языках. Сам-то я его, конечно, бы не купил. Лазер-то, куда. Да ты, может, не знаешь? Ведь он тут жил, в Выселках, Витька, после освобождения. Вот и приёмник — память от него.

— Так что, дед, Витька Сорока освободился, приезжал к тебе? Так, что ли? Когда? Это его приёмник?

Сорока был другом моего детства. Перевернув радужный диск, я прочитал на наклейке-ярлычке: “Колокольные звоны России, Звонница Успенского собора Ростовского Кремля”. И дальше: “Благотворительный фонд “Православное видео”... Телефон, факс...”

— Так он где был, всё сидел, что ли? Ведь я лет пять назад писал ему “туда”, приглашал в гости, хотел трудоустроить.

Дед притих. Помедлил, словно прислушиваясь сам к себе или боясь задеть за живое, ответил:

— Оно конечно. Ты, может быть, не знаешь ещё.

Витьку я знал с детства. Беловолосый, курчавый, это был необычайной красоты и силы малый. Волосы вились у него по плечи, как у былинного богатыря. Я узнавал его за версту по этим его волосам и по его широкой походке. Когда, тренируясь, он подтягивался на турнике, сбегались смотреть: такой природной силы был этот парень. Подтянуться мог на левой руке, затем на правой. И отжимался так же: то на одной, то на другой, по очереди. Родители отправляли меня в деревню, отпрашивая у директора школы с мая по сентябрь. И выходило, что с Витькой мы не расставались по полгода.

Были не разлей вода. Рос он без отца. “Безотцовщина”, “заугал”, как за глаза называли его в деревне. Безоглядная отвязность, присущая многим деревенским парням, была присуща ему в особенной степени. В драку он лез по любому, даже малейшему поводу. В клуб или в соседнюю деревню ехать с ним на мотоцикле значило заранее обречь себя на приключения и передраги. Доставалось ему всяко и разно: и на кулаках нянчили его, если нападали толпой и первый падал ему в ноги, чтобы свалить, и кололи финкой в бедро, и били кольями, и даже цепью от велосипеда попало ему, едва жив остался. Однажды чуть не заporоли вилами на сеновале за девку, за любовь — три месяца прыгал он на костылях, и всё нипочём. Отлежится, поползает, поковыляет, покашляет — и как ничего и не было. Мать его молилась на сына непрестанно. Не отмолила. С детства мать учила и его молитвенному правилу. Молилась за него, даже когда он шёл воровать в совхоз. Знала, зачем ушёл, а всё же молилась.

Жизнь его испортилась как-то мгновенно и нелепо. Ему было двадцать с небольшим, когда он угнал совхозный трактор, пригнал в Выселки. Народу на ту пору в “бесперспективных” деревнях было ещё много, да приезжих набиралось на лето столько же. На тракторную телегу набилось множество народу для поездки в клуб в центральную усадьбу и кататься. Полный прицеп. Вышили. Потом купили самогон, вышили ещё. Пьяный, он рассадил полный прицеп молодёжи: девчонок к бортам, чтобы держаться было за что, ребят — в центр. И погнал трактор в Дубровино. Дороги у нас известные: не дороги, а направления. По пути один из бортов открылся. Те, кто был в прицепе с правой стороны, вывалились, не успев вцепиться, посыпались вниз на всем ходу, как картошка. Дощатый борт стучал и бил под рывками трактора. Пьяному “герою”-Витьке стали кричать, стали бить кулаками по кабине. Он остановился не сразу, стал сдавать назад, чтобы подобрать потерявшихся... Да сослепу и в темноте подавил-помял несколько человек.

Дали Витьке пять лет. Там, “на киче”, добавили ещё три за его характер. Сломали судьбу. Он вернулся таким же отвязным, даже ещё безбашенней, безоглядней. Вернулся весь и сплошь покрытый наколками, он стал будто бы иным, безжалостней и злей. Однажды мы ловили бреднем рыбу в Мокше. Нас накрыл рыбнадзор. Моторная лодка наряда от рыбхоза набирала ход, подпрыгивая на скорости, и пошла к нам. Мы едва успели затащить мокрые плети бредня на песок в кусты тальника и мать-и-мачехи. “Отвлеки их, — сказал мне Витька, выбирая на берегу самородный крупный камень. — Я зайду сзади”. Мне едва удалось уговорить его не делать этого. “Да я ж тихонько. Не насмерть. Или ты уже простился со своим бреднем?..” Помню, откушившись от рыбнадзора, я пытал Витьку: “Что с тобой? Ты что, смерти ищешь? Или ты и впрямь ударил бы человека по голове?” Он только посмеивался, покуривая

Этот русский оторви-характер до сих пор непонятен, неясен мне. И часто-часто впоследствии узнавал я на своей дороге жизни этих “витек”. Многих из них видел я в Киевском окружном военном госпитале, когда попал туда на лечение. Отчаянные, они добросовестно исполняли “интернациональный долг”, приняли на себя и пули, и мины, и предательство чиновников-перестройщиков. Семьи, тысячи семей, матерей не дождалось сыновей и из Чечни, таких же отчаянных и разбитных. Витьку не взяли контрактником по судимости.

— Прибыл твой Витька, — рассказывал дед Кузьма. — Поселился у Грушнй, в её доме. Старался не показываться днём. Со двора у меня то топор пропадёт, то лопата. Таз у Акулины “ушёл”, а мы всё вид делали, что не знаем о нём и не замечаем его приезда. А апрель был уже в конце. Тут я его и застукал. Сидит он, сок собирает берёзовый. Я так притворился, что будто обмер: “Витька!” Мать-то его, Марья, давно ушла. Мать похоронить и то не отпустили его оттуда, из зоны-то, знать, и там досадил он. Но это тоже не правы они там, в милиции-то. Мать есть мать. Смотрю на него, а похудел он, кожа да кости. “Там, — говорит, — дед, пирогами не кормят”. Поговорили с ним. Так и не понял я, то ли отсидел он, то ли сбежал. Сказал, что ни водки, ни самогону не пьёт. Привёз с собой из Ростова чемодан.

Зашли в его дом, а там запах такой душистый, сладкий. В чемодане у него открыто — на солнце на подоконнике толчмя — конопля эта самая, самые, значит, верхушки. Эти конопы мы раньше мочили и били. Верёвки из неё плели. А сейчас он их натрёт через марлю или тряпку — и в кастрюлю. Потом завернёт в фольгу, фольгу раскалит, аж дымок такой ароматный по всему дому, навроде того, как с кадилом в храме прошлись. Раскалит — и фольгу эту зажмёт под ножку стола. Сам сядет на стол, для весу, и байки травит. Потом заправит этот порошок из фольги по папиросам... И больше ничего ему, слышь-ка, не надо. Ходит он и пьян, и не пьян. Весёлый, вежливый, а глаза дурные. И то не ест сутками, а то сядет за стол — быка может съесть. За один раз. И вот всё слушал музыку он. Звоны эти самые. Очень эти колокольные звуки любил. Мне давал попробовать её, махорку-то свою из конопей. Не пондравилась она мне: слабая, кислая, хоть вроде как и вкусная, махорка-то у него. И тут что главное: сколько по деревне раньше сажали мы эту самую коноплю. Почитай, у каждого во дворе дубом она росла. И мочили в озере на задах деревни, и колотили, и хоть бы раз кому на ум пришло, чтобы курить её, окаянную, а уж, было дело, сколько без табака порой сидели. Это уж при нём, при Мишке Меченом — как в войну жили. Ни водки, ни табаку. Сахар, пшено — по талонам. Два кило в руки. Из картошки, из свёклы самогон гнали, а то чтобы вот коноплю эту — нет, никогда на ум не приходило. Тут уж в конце мая прознали про него, про Витьку. Милиции понаехало, аж три воронка. Руки за спину, вывели. “Прощай, — говорит, дед, — всё, навсегда прощай”. — “Не навсегда, — я-то утешить его хотел. — Отсидишь маненько, да и выпустят”. Ну, чего он натворил опять, думаю, по горячке по своей? А он так глянул на меня, взгляды этот век буду помнить: “Я, дед, больше не сяду. Никогда не сяду”. Слух вскорости прошёл: он там, на решётке окна. Вот дела какие.

Поминали Витьку. Слушали звоны. Московские, ростовские... И всё звонили-гудели, ныли, жаловались колокола. Ростовский знаменитый колокол “Сысой” так гудел, казалось, вынимал душу. Я скинул громкость, но и на крайнем пределе, со сброшенным звуком так били и били-говорили звоны колоколов, выжимали слезу.

В последнем письме Витька писал мне, что, если не возьмут его контрактником, то уедет он в город Псков, в монастырь, в Печоры. Не добрался парень до Пскова. “Во Пскове, — писал он, — даже песочек в пещерках святой, его с пищей приемлют”.

### Спас Нерукотворный

Слабый утренний рассвет сочился в окна, когда бабка Лиза отчаянно застучала в дверь с криком: “Откройте, откройте!” Я вскочил с дивана, вбил ноги в валенки и, накинув полшубок, выбежал в сенцы. Бабка Лиза, видно, уже намучалась за ночь, сообщила осевшим голосом:

— Померла Акулина, Царствие Небесное... Нагадал Кузя. И не поговорила я с ней, не в своей памяти скончалась.

Дед Кузьма, как был — полуодет, отставил стакан и лёг опять.

— Силов нет, поясница гнетёт, — заявил он.

Бабка Лиза страдала от сердца, и тем резче, необъяснимее, контрастнее, что ли, “объясился” Кузьма.

— Два раза к вам приходила утром, стучала, стучала. Так вы ведь так колокола свои включили, что святых выноси. Тут вам ай церква. Бывает звон церковный, а бывает бесовский. Вот бесы-то и не давали мне до вас достучаться.

— Ну, будет буровить-то. Померла — похороним. Не впервой. Я тут всех стариков похороню, один останусь, как перст. Вот и поцарствую. В любой дом заходи, чего хочешь бери. В ремонте опять сподручно: лампочка, скажем, сторела или петля на двери подломилась — эвон какой выбор. Сколько изб, и все пустые.

Мы вышли на улицу, было морозно и ветрено. Вставал мрачный рассвет, рождалось запоздалое утро.

— Отмучилась, болезная, — сбивая с валенок снег на крыльце Акулины, тихо сказала Елизавета. — Давно заболела, сердешная. Всё равно никакие врачи не могли бы помочь. Старость нынче страшна!

— “Страшна”, слышь, Сашка, не то слово!.. Только теперь поняла?! — сурово ответил Лукич. — Интересные люди, право слово. С интересными людьми я, Сашка, прожил. И ещё отметить: опять у неё надежда. Сначала — поп, теперь — “врачи”. А ты знаешь, от какого слова это “врачи”? Вот я тебе скажу и последнюю, так сказать, надежду отниму: врачи — от слова “врать”! Сначала лечить не умели, не было лекарств, всё травы собирали да камни прикладывали, куриный помёт, заговаривали раны. Заговоры их и называли “вранье”, а знахарей — врачи. Ну, дело пошло. Опять же деньги, нажива. А на лекарях так имя и осталось: к ним так и прилипло звание — “врачи”. А я знаю только одно средство от болезней, самое верное — кровь пущать. Или выпить вот настойки рябиновой. Тоже.

Как всегда, с трудом отвалили избяную дверь на одной петле. Мрачный свет чадающей висячей лампы еле-еле освещал печь, косо осевшую на половицы кухни. Низкий потолок, прокопчённый до черноты, блестел испариной. В переднем углу горела лампадка на трёх цепях, светом неверным и прядяющим.

Дед Кузьма снял лампадку, взял зеркальце со стола и полез на печь. Спускаясь, он вдруг удивил меня своей набожностью, опустился на колени перед иконами в красном углу и долго истово молился, мучительно медленно крестился, говорил, не спуская глаз с иконы Спаса Нерукотворного: “Не по грехам нашим, а по милости Твоей, спаси нас и за всё прости...” Бабка Лиза смотрела на Кузьму искоса и тоже тяжело и мучительно опустилась на колени, подобрала юбки. Молились так искренне, что и я был поражён как бы духом сущим, правдой слов, коснувшейся меня самого.

Вставая, охали от болячек. Акулину перенесли с печи на кровать. Бабка Лиза закрылась, занялась обмыванием и переодеванием умершей, а мы с дедом принялись искать доски на гроб.

Двор, хлев и сени — всё было осмотрено самым пристальным образом, но не оказалось даже и близко тех досок, которые требовались.

— Шаром покати, — заключил дед, закуривая, — как у святой!..

Зауток для поросёнка был разобран и наполовину сожжён в печи вместо дров. Тут дед начал охать и вздыхать, и я догадался: жаль ему отдавать свою домовину, а не миновать. Дед был неплохой плотник и старался, подгонял доска к доске. А теперь — на вот, возьми и отдай совсем с такой любовью сотворённый гроб. Обошли все задворки, постройки и даже залезали на сушила двора бабки Лизы.

— Нету! — кричал я оттуда Кузьме. — Ничего подходящего!

— Ась? — переспрашивал он, точно не веря, не желая верить своим ушам или нарочно придурковато, обдумывая что-то своё, гоняя свои сокровенные думки. — Ась? Не видать? А ты порой, порой там, под сеном-то. Поковырай мал-мала. Я, даве, сунулся у себя-то, знаешь, какой горбыль нашёл. Из него и домовину совостожил. Находка и на ум навела. Рой, рой, конай.

Ясно было, что дед Кузьма израсходовал все доски на домовину. Не нашли и у Лизаветы. Заглянули ещё в три заброшенные избы, но и там не обнаружили.

По улице косо полетел редкий лёгкий снег, всё крупнее и безнадежнее, ложились хлопья под ноги, забивались под воротник. Перед полуднем стало теплее. Низкое серое небо как бы опускалось всё ниже и мрачнее, и дали задержнулись непроглядной серой фланелью оттепели, идущей на нас сплошным фронтом. Всё кругом казалось теперь грифельно-чернее на фоне белого, как смертный саван, снега. Было безропотно, грустно и мрачно. И эта безнадега, словно оторопь, брала в плен. “Не спастись ни одной душе в этом, этаким мире”, — приходило на ум, и душа притихала замёрзшим за пазухой голубем...

И вдруг, будто сам себе, словно оглянувшись на этот мир с высоты полёта, отвечал Лукич:

— Спасёмся все! Не дрейфь, Сашка!

Даже оторопь взяла, он словно прочитал мысли. А может быть, просто подумал о том же вслух?

В полдень бабка Лиза повела нас хлебать щи, помянуть усопшую. Акулина лежала уже убранная. За обедом никому не хотелось говорить ни о чём, всё только думалось. Наевшись, Кузьма Лукич промокнул губы скатертью.

— Ну, вот оно и ладно, земля ей пухом. Ничего ей теперь не надо. А, кажись, недавно бегала, всё чего-то хлопотала, свинину искала в соседней деревне. Кому-кому, внукам. Их только прикорми. Так и будут рот открывать, как кукушата в чужом гнезде: “Корми!” Уж я-то знаю. За её задаток ей одних рёбер и нарубили. Да голяшек вон я принёс в сенцах, глянь.

Бабка Лиза в сердцах подняла голову, удивлённым взглядом посмотрела на Кузьму Лукича, как бы говоря: “Молчи уж, плут!” И под ее удивлённый взгляд, охваченный сложными чувствами, дед начал вспоминать:

— И платочек Акулина мне дарила с вышивками.

— Хм, хм. — прикрывая щербатые зубы ладошкой, не утерпела, не смолчала бабка Лиза, — вот уж никогда бы не подумала.

Кузьма Лукич кисло дёрнул губами, строго взглянул на бабку Лизу:

— Чего смеёшься-то? Никогда бы она, глянь-ко, не подумала. А всё из-за матери её, Фёклы. Сватали, а она, упокойница, не отдала, мол, “не отдам за синие посконные портки”. Так и сказала. Акулина любила меня, песни пела: “Не носи, Кузя, кубаночку, я и так тебя люблю, а то девушки влюбляются в кубаночку твою”.

— Ты гляди-ка, ты гляди-ка, — бабка Лиза не могла поверить. — А я и не знала.

— Хот-хот, затрясла головой... Не трясина головой-то, не трясина. Я молодой-то и на балалайке играл, и плясун был первый в Выселках.

— Да ты и сейчас-то артист, — махнула ладошкой на Кузьму бабка Лиза. — Только тыкнуть да плясать.

Неловкий этот разговор с малопонятными упрёками нужно было прекратить: человек умер, чего они, о чём? Но люди всегда остаются людьми, со своими слабостями, даже на самом краю, не понимая, что время ушло и былые достоинства на сей час показывают их смешными.

— Дед, — напомнил я о делах, — не пора ли на что-то решаться?

Дед закричал. Я понял, что гроб он отдаст.

### Из рода в род

На широком дворе лежали дубовые дрова, заготовленные ещё осенью. Дед долго выбирал, пристальным взглядом высматривал самую удачную лесину, затесал и прошёлся рубанком. И до позднего вечера мы делали крест бабке Акулине, а надписи сделали на другой день утром. Уложили крест на большие санки для дров, взяли пень, топор. Запирая ворота, дед проговорил:

— Ну, малый, с Богом! Может, за день-то и вырою могилку Акулине.

Наученный опытом, я надел лапти, накрутил онучи выше колен, как научил меня дед Кузьма. Оба в лаптях, мы шли к кладбищу напрямки, улицей, огородами, запущенными садами. Кладбище занесло так, что пришлось пробиваться с лопатой. Только теперь я заметил чьи-то следы справа, увидев повисший дымок недалеко среди обступивших кладбище осин. Кузьма Лукич направил стопы к тому месту, откуда струился дымок. Елизавета уже очистила площадку для могилы и давно, с темноты, принялась отогревать землю костром. Сухостоем да валежником, лапником, что собирала тут же.

— Еле отыскала место-то, — сообщила она с некоторой гордостью, даже героизмом. — Покойница просила рядом с матерью, Фёклой, похоронить. Отогрелась земля, а то чугун была.

Лизавета, прокопченная насквозь, умывалась снегом. Чистили снег и разгребали ещё горевшие, сопротивлявшиеся поленья — в чёрную кашу, грязь с золой. Начали долбить пеньем, Кузьма Лукич вспомнил давно усопшую Фёклу:



— Эх, и суровая была старуха. Долгушей звали. По-уличному. Шаг долгий... Ходила, будто овдовевшая царица или княгиня какая... Ох, и не ндравился я ей, от Акулины отгоняла меня с бранью. Ну, да дело прошлое, что вспоминать.

Едва сняли золу да холодную грязь, и земля загудела под пешнем и ломом, будто под ногами лежала бетонная плита. С самого начала стало ясно, что за день нам не управиться. Так и случилось. В сумерках к подстанции, к торчащим над ней изоляторам, к площадке высотой в метр от земли, стоящей за оградой кладбища невдалеке, подкатил на лыжах электромонтёр. Дед Кузьма сразу узнал его, крикнул:

— Здорово, соколик! Когда нам свет сделаешь?

— Где-то замкнуло, — угрюмо ответил электрик и полез открывать шкафы, но, убедившись, что причина где-то на линии, в полях, подошёл к нам. Я сказал ему, что схлётка проводов — в Выселках. Электромонтёр поправил провода, вновь приехал, заменил предохранитель в щитке подстанции, сменил сгоревшую лампу в фонаре. Яркий свет разлился по кладбищу, и в редющих сумерках злое выросло тени деревьев, крестов и памятников.

— Дайте-ка я подолблю, погреюсь, — попросил электромонтёр.

Дед Кузьма дал ему пешень, и молодой парень с обезьяньей ловкостью начал долбить. Дед Кузьма журил электрика:

— Две ночи с керосиновыми лампами сидели, а тебя и днём с огнём не сыщешь.

— А в Архипове загорали, — не переставая долбить землю, говорил электромонтёр. — Скотный двор загорелся от проводки. Два дня там и торчали. Собачья работа. Выпить некогда.

— Ой, на-ка, на-ка, у меня есть, — и дед Кузьма начал угощать своего знакомого.

— Считай, и дома не бываю, мотаюсь по всей округе, как кобель, — глотая водку из горла и задыхаясь, жаловался электромонтёр. — В деревне то что! Вот в поле закоротит — поди попробуй найти. Нескоро сыщешь.

— Эх, бедолага! — суя в руку электромонтёру хлеб и сало, жалел его дед. — Зажуй-ка, на вот, зажуй, закуси хоть чуть. До дома-то далеко.

— А водка-то того, настоящая, — с приятцей удивился электрик. — А то всё спирт электролизный, горький — польнь. А чего, болела, старушка-то?

— Болела, соколик.

Фонарь светил хоть ярко, да низко. Тени мешали долбить и копать землю. Тени, как живая распуганная нечисть, нетопырями вспархивали и взлетали — живо мешали, путались, и голова шла кругом. Деревья качались от ветра. Заметив, что мы в лаптях, электрик захохотал.

— Как увижу деда Кузьму в лаптях, смех разбирает, — становясь на лыжи, кричал мне электрик. — Сам видел на нём новые валенки, а он, вишь ты, в лапотцах. Ай, не холодно, ай, валенки-то уже и сносил, дед? Концерт, да и только. Ну, пока.

Кузьма решил оставить всё до завтра. Незаконченную могилку, “струмент”, санки — всё это возле могилы он закидал снегом, чтобы никто не украл. Пустые санки потащили назад. И когда вышли в поле, чернота зимней ночи ослепила, оглушила тишиной. Ни следа, ни звука, никаких признаков жизни. Лишь в Выселках на столбе чётким перевёрнутым конусом света горела из-под чашки-отражателя лампочка.

Хоронить Акулину везли на санках. Дед Кузьма делал для себя большие дровяные сани, на них он зимами возил хворост из леса, и эти санки, лет уж им было пять, служили теперь похоронными дрогами. Мы с дедом шли впереди, тащили за верёвку санки, а бабка Лиза шла сзади, хваталась за поясницу и останавливалась.

День удался хороший, солнечный, и мороз небольшой. На высоких сугробах гроб с Акулиной грозил падением, и мы часто поправляли домовину.

— Ну, слава Богу, привезли, — задыхаясь, проговорила бабка Лиза и тотчас начала говорить с Акулиной, как с живой, а под конец и плакать с причтом:

— Ой, Акулина, Акулина, отмучилась, убралась. На кого ж ты нас оставила? А я одна, горемычная, остаюсь на всю-то деревню.

Пронзительный, как сверло, голос бабки Лизы нестерпимо резал мозги и сердце. В этих причитаниях на старинный лад слышалась какая-то жгучая, безнадежная правда, жалость к себе, ко всем живущим, и жалоба на нищее и одинокое существование. Какой-то эпический трагизм судеб людей среди сугробов, нищета и тщета жизни.

Начали прощаться с Акулиной, и бабка Лиза уже завывала — не остановить. Дед начал бормотать:

— Ну, будя, будя, болезная. Прости, Господи, люди Твоя. И благослови достояние Твое. Не по грехам нашим, а по милости Твоей. Прости и ты, Акулинушка. Если б не матушка твоя тогда, укатили бы в город из этих Выселок, пропади они пропадом, по-другому бы всё и вышло. Прости-прощай.

И тут любопытная бабка Лиза вдруг смолкла, дернула по глазам рукавом плюшевого полупальто и посмотрела на Кузьму своими ясными серыми глазами. Дед пощипал-пощипал бородку, поправил подушку под головой покойницы, смахнул завиток стружки с её груди. Вытащив из кармана гвозди, зажав лишние во рту, начал деловито и умело заколачивать гроб, с удивительной ловкостью. А заколов, искал глазами сумку, висевшую на сучке рядом, вытащил водку, глотнул и поставил себе в боковой карман, чтобы грелась до поры. И когда подровняли бугорок могилы, бабка Лиза повесила на крест собственноручно сделанный венок из бумажных цветов.

Мы двинулись в обратный путь мимо полузанесённых памятников, крестов — этого селения мертвецов. Сколько тут известных и неизвестных трагедий хранится под снегом и мёрзлой землёй! Вот пожелтевший медальон юноши — застрелился в лесу из охотничьего ружья. Двое мальчишек лет десяти играли в охотников и зайцев. Один из них снял со стены ружьё старшего брата и убил наповал второго “зайца”. Женщина, уже не молодая, облила себя бензином и подожгла. Смерть наступила в муках, потом пожар, тут же, в предбаннике... На свадьбе гуляли, пили самогон, — сгорел от сивухи запойный молодой тракторист, так и не отпоили молоком. Старуха туррила самогон да меняла его на дрова и зерно у заезжих механиков. Бабка хозяйственная, характерная, крепкая, как объясняла бабка Лиза, но сама “вружилась” и в запое умерла от сердца, неделю пролежала на своей печке, пока хватились её. Тракторист лет двадцати ехал пьяный на тракторе и не мог миновать оврага, перекувырнулся вместе с трактором, придавило колесами. Бабка Лиза останавливалась возле могилки, смахивала снег с крестов и памятников, подкладывала корочки хлеба птицам, щепотки пшена — для того и припасённые, чтобы помянуть, — да крошила блинцы на пшённой кашке. Рассказывала, кто и какой смертью умер.

— Акулина счастливая, — заключила она, и в словах её, тоне, самой интонации голоса я не услышал, к удивлению моему, никакого лукавства. Мало того, почудилась зависть к такой смерти. — Она счастливая: своей смертью умерла и на своей печке. Мне бы так-то. И похоронили честь честью, и помянули. Даже есть вот и помянуть, и на девятины тоже есть чем. А нынче — студень я наварила, кисель овсяный с сытой, то бишь со сладкой водой на меду.

— Похороним и тебя, не горюй больно-то, знать, не твоя была очередь. Только уж гроба такого я тебе обещать не могу, — начал пощучивать дед. — Да и себе тоже. Но если ты вперёд помрёшь, и ты будешь такая же счастливая, как Акулина. А вот уж если я помру последним, нескоро придумаешь похоронщика.

— Да рази я одна-то, — проговорила бабка Лиза, — но лучше об этом не говорить, авось Бог милостив.

Поминали в Акулининой избёнке. Избу подмели, образили. Ввернули большую лампочку, в лампадки долили масла. За окном было уже и вовсе невпрогляд, когда мы управились с делами, разложили варезки в печурке да развесили одежды. Бабка Лиза собрала на стол:

— Да ить святки! Святые дни. Ой, нет, нет, милостив Бог к Акулине. И похоронили, это... С родителями. С одной стороны рябинка, с другой — черемуха. Подальше от дороги — как хорошо лежит-то...

— И чего ж ты? Завтра едешь в Москву? Твёрдо решил? — спросил меня дед Кузьма.

Я твёрдо решил не испытывать больше судьбу, ехать.

— Отпуск мой кончился. Был нужен здесь, вот и оставался, — отвечал я.

Мне было неприятно это напоминание о том, что предстояло как ни крути — ретироваться, хотелось уйти и от разговора, и от объяснений. Я спросил набожную бабушку Лизу:

— Почему на Рождество к столу подают гуся и свинину в первую очередь?

— А поделом им. Когда Господь родился в вертепе, как бы во дворе, так по вере — они спать не давали, гуси гоготали, свиньи хрюкали. Ни Господу, ни Приснодеве Марии не давали уснуть.

Я поймал на себе угрюмый взгляд деда Кузьмы:

— Тяжело до тракта добраться по бездорожью.

Помолчали. Старики стали мне за это короткое время точно родными.

— Тяжело, так что помни моё: лапти! В лаптях до большака, как мы и шли, милое дело. А там можешь и похерить, выбросить их. Наденешь свои городские ботинки. И всё.

Выпили по первой, после второй я уже услышал от бабки Лизы:

— Нет-нет, мне по Марьин поясок, чтоб жизнь полнее была.

— Вот дикий народ, да ай от этого зависит? Счастье-то? Ну, ладно, с Богом, земля пухом и Царствие Небесное, как говорится, из рода в род, — не жадничал Кузьма.

Разговор завели про Акулину, про её похороны и какие мы всё-таки молодцы. Бабка Лиза раскраснелась, бегала в кухню за закуской, подавала хлеб.

— Акулина молодая — весёлая была, не велела плакать.

— Да ты её молодой-то ай помнишь? — не унимался и дед Кузьма.

— А как же не помню-то, ты что, Господь с тобою. Я не какая-нибудь бесполовая да беспамятная, я бядовая. Я в трактористках была! — Запела: — Трактористкой я была и под трактором спала.

— Титьки пахли керосином и соляркою ссала, — закончил частушку Кузьма.

Бабка Лиза не обиделась, засмеялась разливисто и громко и начала уже в который раз рассказывать всё об одном, всё о том же, как работала на колёсных тракторах, тех, что ХТЗ обзывались.

Я слушал и не находил утешения, гнал думы о Москве. О её театрах, казино и ломбардах. О Тверской, где с удачью проносятся на автомобилях лихачи, везущие новоявленных господ в новоявленный “Яр”, в недавнем прошлом — ресторан “Советский”.

Утром следующего дня я поднялся поздно. Стояло будто бы всё то же утро, надоевшее, со снегом. Серой дымкой заволокло окрест. Снег не падал, а как бы только грозил падением. С тяжёлой головой, собрав свои нехитрые пожитки, я стал раздумывать, чего бы и впрямь обуть мне и как по бездорожью пробиться до большака. Не надевать же и впрямь лапоточки в век компьютеров и жидкокристаллических плазменных телевизоров. Да ещё машина или трактор попадётся по пути или навстречу. А там молодые. А если и девки — засмеют. Впрочем, молодые вряд ли попадутся.

Повесив амбарный замок на двери, я скорым шагом зашагал Выселками с чувством невыразимой пустоты и грусти. Это, верно, был последний мой приезд в родную деревню. Всё было кончено.

Бабка Лиза и дед Кузьма провожали меня до снежных гумен, до голых садов без оград, за которыми и ещё дальше широко и вольно лежали снежные, тяжко-белые барханы и дюны. Сквозь — здесь и там торчала то чахлая берёзка, то ветла.

В полукилометре от Выселок, возле дубовой рощицы, прощались:

— А я, мол, пальни-ка из ружья-то, посигналь на росстанях, — попрощал дед Кузьма.

Я гордо вытанул из чехла “Сайгу” дарёную и дважды пальнул. Дед Кузьма обнял меня, а бабка Лиза прослезилась.

— Летом приезжай, — твердил мне дед. — Жив буду, все грибные места обойдём. Грибов много будет. Ну, летом что за охота, баловство. Разве утка, так это пса надо натасканного. А то в сентябре, когда зажирует птица, первого ледка глотнёт... А не то и лета не жди, а в мае — так оно вернее. И не забудь, черкни письмецо-то, когда приедешь. Не забудь...

— Не забуду.

— О-го-го-о-о! — кричал он мне уже вослед, и эхо наискосок сносило в сторону что-то ещё, то, что казалось в ту минуту важным старику.

Я обернулся, помахал рукавицей и, еле сдерживая слёзы от какой-то доселе неясной мне тоски и жалости к ним, побрёл по колёно, порой оступаясь по поясу.

Тепло протившись со стариками, я сделал себе ещё больнее. И прислушиваясь теперь к этой боли, я шёл, стараясь ускорять шаг по заметённой дороге без следов. Так соскочил бы на берег бывалый матрос, оглядываясь душой на море.

То, что я оказался в Выселках, — случайность. Выбрался, отодрал себя от сумасшедшей Москвы, возмечтал устроить праздник душе, сделать повесть.

Да и вся жизнь, если разобраться — случайность. Редчайшая из случайностей. Вспомнилась бабка Акулина, высохшая, точно слюдяная, остроносая от мороза, куклой каменевшая в гробу. Вспомнилось, что и вьюшку-то в трубе дома я не закрыл, не поставил заслонку в трубу, забыл по давней привычке к городской жизни. Не возвращаться же теперь, плохая примета.

Уходить надо было мимо кладбища. Здесь от Выселок всегда была дорога в райцентр, “дорога жизни”. За недели среди снегов я привык волковато и сноровисто бродить по глубоким сугробам, но, пройдя через село и ещё дальше, вдруг почувствовал такую усталость, что снял шапку и опёрся на ограду, чтобы перевести дух.

Снежно-сумрачная зима расстилалась кругом. Сквозь вымахавшие на кладбище тополя, всосавшие прах моих родственников, похороненных здесь, сквозь древесные замшелые и корявые стволы виднелись снежные могилы и кресты, часовенки без дверок с вывороченными из них святынями. Всё было неухожено, брошено. В молодость мою в каждой из них всегда аккуратно лежало по три медово-жёлтых свечи, в уютной деревянной часовенке под иконой. Даже и при атеистическом социализме лежали, совсем недавно, а теперь разор? Храм Спасителю в Москве восстановлен, и оживляют Печоры во Пскове, а тут — погибель полная. Не сходилась, как-то не срастался вывод о нынешней жизни с итогом, как не сходится в начальных классах сюжет задачи с готовым ответом в конце задачника, ну никак. Не хватало какого-то действия или усилия ума. “Молитвы мне не хватает!” — спохватился я и стал подниматься. И пошёл, пошёл. Стал вновь настёрно пробиваться к дороге-большаку, как вдруг вспомнил, внутренне услышал вновь колокола.

Так и шёл. Прислушиваясь к бою колоколов, которые звучали, били, гудели в ветре и вьюге. Без шапки, прислушиваясь, продирался через сугробы. Ударял язык невидимого колокола, повисал и, очертив круг в пространстве, ударял, снова расходилась, и шёл дальше, замирал вдали широкозвонный удар. И в ответ много и дружно, как на Светлое Христово Воскресение, разбегались быстрые и частые удары, радостно и минорно частили всполохи малинового звона. Удар и перезвон, перезвон. И опять удар, и перезвон, долгий и грозно-торжественный. И под этот перезвон, который вспомнила душа из запределья, из иной стороны жизни, грянул, как из храма на паперть в детстве моём, церковный хор поющих Рождество Христово...

Дед Кузьма — не профессиональный могильщик, но плотник, столяр, печник. Меня поразило его равнодушие при раскопке ямы под могилу именно потому, что под личиной равнодушия он скрывал, как оказалось, тайну. Тайну его отношения к покойной. Он не рассуждал, коная.

А колокол бил и бил. И всё выше выводил-выпевал хор на клиросе церковный. И я, кажется, слышал скрип помоста-площадки и скрип полозьев саней под гробом Акулины. А его, Кузьмы, кажущееся равнодушие к жизни...

И этот холм земли над могилой сиротливый, сырый среди выбели сугробов и берёз. Так, согревшись движением, без шапки я шёл, огибал кладбище. И уже виднелся большак за четой двух сосен и за колком дубняка. Рассажженные здесь давным-давно дубы, с тех времён, когда ещё засевали широкие просторы озимыми. И надо было возможно дольше задержать на полях и снег, и влагу. И урожаи эти, полные бункера с зерном в комбайнах на полях я отлично помню.

С краю кладбища чернел крест над уже занесёнными порошей могилами. Ветер сорвал и угнал венок, со свежей насыпи могилы, прибил его к забору, он пошевеливался от ветра и будто дышал, как живой. Я нашёл его и привязал-приладил к кресту. Крест стоял вытянувшись в облака, простирал перекладыни в небеса, крест-опора словно всем видом своим противостоял этой жизненной сумятице, этой “мрети”, которая сжигает и пополяет всё самое дорогое, человеческое. Символ-крест православный, он полон жизни в двух мирах, он сам по себе и жизнь, и система, и смысл, и философия... Выкинул руку, поглядел на часы. Все поезда уходили до обеда, последний — глубокой ночью. В день приезда я переписал расписание поездов на вокзале. Надо было поторапливаться.

Полы фельдъегерской шинели моей мотались, хлопали по коленям. Впереди простиралось широкое сплошное море снегов, до самого горизонта, сходилось с небом, и я шёл вперёд к этой выпуклой линии горизонта, как в чаше, в страшной, крошечной тишине.

Ломаный лозняк да бильник сухой полыни бились на ветру. Сухой чёрный репейник осыпался. Я оглянулся назад, надел прохваченную холодом и ветром мокрую от пота с шёлкового испода шапку. Мой след шёл от деревни мимо кладбища и дальше вниз. Сзади полукругом стоял Большой Лес, полумесяцем, с заснеженными елями. Он обступал меня первобытно и незнакомо, словно я попал в кратер потухшего вулкана. Древняя, словно бы миллионы лет уже заснеженная планета, забытая, покинутая!

Стоило проступить мрачно-розовому солнцу, зарозовел и снег, словно застывшее море с кромками и хребтами-сугробами. И огромный тополь над Выселками с косыми сучьями крестом. Древний тополь. Я вышел на угор, открылась занесённая балка реки. Стояла тишина, такая тишина, от которой давило в уши. Наверное, так же тихо бывает на мёртвых, никогда не оживавших звёздах в холодной Вселенной. И так же плывёт там розовое, немое и низкое, круглое шароподобие солнца, гаснет в тучах, ослепляет розовой яркой каймой, катится обручем красным.

Всё это неумолимо огромное пространство так надавило на душу, стало нестерпимо и безотчётно тоскливо... Жаль было не только тех, кто остался в умирающих деревнях, но и вообще всех людей, живущих со мной по всей России в это, одно и то же со мной время, в этот день и час. Даже и тех, которых я никогда не видел и не увижу.

Неприятна эта планета. Совсем не устроена она для жизни. И снег, и снег, и снег, и мороз. Тот мороз, что хуже пламени.

Небо становилось всё синей, всё равнодушной. Представилось, как стоит там, вверху, это холодное подобие солнца, тоже равнодушное к мелким делам мелких людей, к их жизням, к хаосу строек и войн, смертей и рождений на этой грешной земле. Солнце с текущими под ним облаками, кажется, плывёт и плывёт, крутит ослепительно красной каймой-ободом. Оттуда сверху неразличима, верно, и моя деревенька Выселки. Неразличим и я в этом плывущем океане снегов, позёмки, вьющейся под ногами.

Сколько раз наблюдал я здесь этот поздний зимний рассвет и только сейчас увидел его таким сиротским, каким не видел даже в далёких красноярских, забайкальских и читинских краях, за Слодянкой, в холмах Амазара. Почему же так жжёт этот рассвет зимой, оглушает таким бездушием Вселенной? Я впервые так остро, физически-зримо почувствовал мёртвый холод времени и безучастность к жизни везде: и на земле, и в космосе; какое-то трагически вселенское бездушие и временность всей, в том числе и своей жизни. Безучастие ко всему, что так внезапно рождается и так же случайно умирает. И это зовётся жизнью.

Жизнь. Как она похожа на мох или на пышную плесень. Неизвестно, зачем мы родились, и неизвестно, зачем мы умираем. И моя деревенька, жалкая и родимая, просто сжималась и меркла, и вот дождалась своего часа, чтобы быть погребённой под снегом или под совком бульдозера. И моя горница, та, что “с Богом не спорница”, тоже похоронена будет, и это так же несомненно, как эта зима. И всё, что связано с дорогим мне детством, добрым и человеческим окружением, — всё это уйдёт, уже убило бездушное время.

И тут я внутренне обомлел, остолбенел от догадки — врозь этому моему представлению: я вдруг отчётливо почувствовал, что всё существование наше должно быть явно поддерживаемо свыше, одержимо и направляемо. “Рождаться” — не значит ли это “рождать себя”? И если столько раз жизнь человеческая выстаивала под всей этой громадой мрака и холода, откуда же взялась эта жизнь, откуда черпает она силы? И от всех ударов стихий, зла, невежества она только уверенней вжимается в землю, пускает корни в неё. Все мы, порознь и все вместе взятые, выполняем и вынуждены выполнять какой-то долг, долг искупления, выдерживать испытания, искушения. Все: и кто большой, и кто малый. И тогда эти умирающие старики в деревне представились мне вдруг героически уходящими, сделавшими своё дело, исполнившими свой долг на этой земле, а это ничуть не меньше, чем героизм человека, идущего на смерть, в войну, в спасение, в верную смерть за другого. Каким эпическим спокойствием повеяло вдруг на меня, когда стоял я над распадом реки за кладбищем!

Я вгляделся в необъятное, необозримое до окоёма небо, и на одно мгновение словно стало оно зеркалом, отразившим всю Вселенную, всё необъятное бытие этого мира. И тогда вдруг почувствовал я, что ради вот таких мгновений и живём все мы, и ради таких вот ощущений сокровенных и откровенных по силе. Именно в них смысл жизни, всё остальное — мёртвая материя. И злость, и зависть, и вражда уничтожаются вместе с ней, с материей, но живёт нечто главное, не преходящее в веках, что исторгает из страждущего сердца слёзы, что заставляет целовать руки матери, любимой, отчего появляется желание исповеди кому-то за страдания и радости, за всё на этой земле.

Солнце погасло. Бескрайние барханы снегов, холодная мгла. И всё сметала, змеилась по моим следам метель. Я оглянулся. Стариков уже не было видно. И стоял тополь, как крест, как мрачный и непобедимый символ и смысл жизни над моей умершей деревней. И я тоже ставил крест, совсем недавно, над могилой.

Помню, как, поставив крест, ощутили мы какое-то внутреннее благоговение, душевное возвышенное движение, почти созерцательное настроение. Я как бы смотрел теперь на всё со стороны и сверху. И если нечто подобное испытывают люди, искренне верующие, в храме, то, честное слово, стоит верить!

Снега, снега. Куда ни кинь взгляд — снега! Лишь изредка голые лесочки, овраги с непролазными торосами сугробов и тихий пронизывающий боковой ветер. Онучи на ногах сползли, оголяя икры, онемевшие от стужи заснеженного то и дело снега; я поправлял их, подтягивал ближе к коленям. Мешал полупустой вещмешок и ружьё. Ориентируясь по линии электропередачи, минуя болотца с густым кустарником, я наконец-то добрался до большака, ведущего к станции. Подложив под себя вещмешок, снял лапти, надел ботинки и призадумался, не взять ли лапоточки с собой в Москву, на память о Выселках. Портянки я выкинул и оборы развязал.

Мороз лез под воротник и за пазуху, жёг уши, клещами выворачивал кожу щек. Я натянул шапку поглубже, как вдруг за изгибом большака увидел трактор-лесовоз с длинными провисшими досками. Трактор, наверно, делал какой-то ремонт и поэтому едва тронулся.

Добежал до него, я запрыгнул и уселся между тесин в крошке древесной и снежной пыли, в чудесном духе лесной стружки сосновой и свежеразделанных на доски и брусья сосен. Я угрелся и едва не задремал...

У последней черты люди, вероятно, терпеливее, обыденнее, честнее. Они не изливают никому своего горя, и всё-таки меня коснулось что-то высокое, против чего не поспоришь. До изумления ясный появился взгляд вперёд и на всё окружающее. И этот открывшийся мне грустный людской конец во всей его подлинности теперь не ужасал, но делал трезвей и серьёзней. Я уже не замечал вёрст. Серьёзная и горькая, какая-то очень трезвая задумчивость овладела мной. И благодарность за то, что есть исход из безнадёжности этой жизни, и за высокий её трагизм для каждого и для меня в том числе, и, верно, смерть — это и есть рождение души, а не конец вовсе. И было странно, что утверждение смерти напоминало так о жизни.

Трактор дёрнул и встал.

— Эй, парень, — услышал я, — ты чего там?

Я с отчаянием обречённого встал во весь рост.

— Ну, залез-то ты чего? Что, хочешь, чтобы меня за Можай загнали? Так, что ли? Ведь придавит. Или, хуже того, разобьёт трелёвкой. Мокрого места не останется.

— Что же делать, брат, надо мне. К поезду. Опоздаю я.

— Ну, так давай ко мне в кабину, места хватит, — он дошагал до меня, взял вещмешок. Я стянул за собой ружьё зачехлённое, показавшееся вдруг страшно тяжёлым.

— Что, набил русаков? Что-то не видно. У меня шурин гоняет их каждый день. Уже и вышивки к зайцам нет, а он всё таскает.

Трактор дёргал и притормаживал. То вдруг тащил ещё резвее. Лес стал ближе и чётче. Уходило, ушло солнце, нависло жёлтым пятном. Большаком трактор шёл легко, свободно. Шли петь люди, мы обгоняли их, и ехали иномарки, проходили одна за другой, с наглым каким-то иноземным вызовом-гудком, как последнее предупреждение нам, грешным. Я попросил остановить у разъезда поездов. “Берестянки” — висела написанная красной краской табличка, прибитая к трём берёзам, растущим из одного ствола. До поезда оставалось полчаса. Сидя в тёплой гремучей кабине, я оглох, уходил от ответов шофёру, сторонился разговора. Я опасался разрушить эту внезапную и такую чудотворную благодать, овладевшую душой.

— А билет? — спросил мой спаситель-тракторист.

— Нет у меня билета. За деньги, в первый вагон, к почтовикам попробую.

Поезд скорый “Ташкент — Москва” появился вдруг стремительно, как пущенная стрела.

— Эй, да у тебя никак жар, парень? — внимательно глядя на меня, подметил тракторист.

Он помог мне забраться в тамбур к московским почтовикам. Поезд стоял минуту. Обмен состоялся косно, без открываний двустворчатых дверей с их тяжёлым, крест-накрест, крутящимся завалом, без счёта и обмена почтой с тележки: нечего и некому посылать отсюда и принимать сюда — уже некому.

И вот газанул соляркой трактор, и я уже не видел его, мог едва-едва представить его дальнейшее движение за синей дымкой сторевшей солярки. Обменщик, спрыгнув с фартука, взмахнул рукой. Старый пятистенок вокзала-избы Берестянок тронулся назад, и медленно пошла назад скошенная пристанционная хибарка с косым повыбранным боком у завалинки. Поезд подхватил и понёс нас, набирая скорость и мягко потряхивая.

Мне постелили в купе проводника, я с благодарностью отказался от чая и обрадовался лишнему комплекту белья. И всё смотрел на набегающие и выстилающие мой путь к Москве редкие колки берёз и эту снежную выбель полей с косыми, едва-едва не падающими чёрными древесными столбами, с электрическими провисшими проводами, на низкие опоры с ящиками ржавых трансформаторов убогих электролиний.

Всё поднимались и опускались эти провода под скрип забирающего вправо вагона. Беспорывно кружились в хороводе поля, и я всё думал: “Надо написать эту историю стариков, последних жителей деревни, последних из могикиан. Этих великих и неприметных стариков простой русской деревни. Напишу, обязательно напишу...”

ДИАНА КАН



И НИ О ЧЁМ,  
ЧТО БЫЛО – НЕ ЖАЛЕЙ!

МОЯ УТОПИЯ

Обманут распахнутым настезь простором,  
Устав от февральских ненастных забот,  
В весеннее плаванье мартовский город  
С утра отправляется, взяв нас на борт.

Попутного ветра, семь футов под килем...  
Чего же ещё нам ему пожелать  
Возвышенным лироэпическим стилем,  
Что вольному вешнему ветру под стать?

Ты слышишь, ты слышишь?.. Всё выше и выше —  
Вчера ещё спал кверху брюхом — и вот  
Горланит с утра серенады на крыше  
Внезапно влюбившийся мартовский кот.

Отважно трепещет бельё на верёвке,  
Как парус, что шторму грядущему рад.  
И серая наша старушка-хрущёвка  
Похожа — точь-в-точь! — на старинный фрегат.

---

*КАН Диана Елисеевна — русская поэтесса, автор книг “Високосная весна”, “Междуречье”, “Подданная русских захолуствий” и др. А также множества публикаций в российских и зарубежных литературных и общественно-политических изданиях. Член редколлегии ряда литературных журналов России. Член Союза писателей России. Живёт в Оренбурге.*



Рыдают сугробы и город наш топят  
Слезами-ручьями, которых не жаль...  
Слезяущий с крыши влюбившийся котик  
Утопией этой доволен едва ль!

Но мы, веря в мудрость утопий лукавых,  
Сквозь слёзы смеёмся приходу весны.  
Кто там усомнился, что люди неправы,  
Во благо толкуя зловещие сны?

Мы, перечитавшие Томаса Мора,  
С улыбкой глядим на окрестный бедлам,  
Наивно не веря: нас топят и морят,  
И море страданий распахнуто нам.

Ведь даже на всех парусах не умчатся  
За светлой мечтой флибустьерской вдогон  
От вирусов, что, не боясь вакцинаций,  
При этом весьма признают самогон.

Но всё же в счастливое плаванье это  
Мы верим, как верят штормам корабли.  
Мы всё, что нам надо для иммунитета,  
Вчера из “Горилки” едва донесли.

Виват, флибустьеры! Никак не иначе!  
Пиратские песни летят в окоём...  
За ветер добычи! За ветер удачи  
Мы выпьем сегодня и снова нальём.

\* \* \*

Целует питерский поребрик  
Вольнолюбивый ветерок,  
Весь неприкаян, словно Неприк\*,  
Из коего в столицы сбёг.

Тая к ветрам столичным зависть  
(Чтоб не смотрели свысока!)  
Он, в доску стать своим стараясь,  
Скрывает запах полынка.

Скрывает запах мяты дикой  
Для сохранения лица,  
Ромашки, кашки, повилики,  
Татарника и чабреца.

Дыша духами Незнакомки,  
Его столичные дружки  
Вовсю благоухают Блоком  
Простонародью вопреки.

А с ним здороваются сухо,  
И он взволнован — что не так? —  
Пропахший терпким русским духом  
Почти есенинский земляк...

---

\* Неприк — село в Борском районе Самарской области.

Ах, волжский непоседа-ветер,  
Ты так столичности искал,  
Что — сам того и не заметил —  
Себя в столицах растерял.

Ты льнёшь к столичным модным стервам,  
Ища в них брошенных невест.  
Ты шаурму зовёшь шавермой,  
Парадным ты зовёшь подъезд.

Ты кацавейку называешь  
Словечком питерским — бадлон,  
И понемногу обживаешь  
Свинцово-серый небосклон.

...Но иногда в часы заката  
Среди столичной суеты  
Тебя настигнет запах мяты,  
Как запах преданной мечты.

\* \* \*

Не стреляй наповал в молодого поэта!  
Ведь такого — пойми! — не прощает эпоха.  
Пишет он вдохновенно про то и про это,  
И про сё, и про всё, и порою неплохо.

Не считай-ка себя чем-то вроде мессии:  
Нищету, мол, окрестную не замечая,  
Он, поэт молодой, позабыл о России,  
О себе о самом, о любимом лабая.

Не кривись, что стишок от метафор аляпист,  
Что небрежно рифмован, местами бестактен...  
Что поэту твой ямб, и хорей, и анапест,  
И полёта надменно высокого дактиль?

Он такой! Он отчаянно юный, поддатый,  
Презирующий классики скучные игры...  
Вспомни-вспомни, и сам ты был молод когда-то,  
Перодактилям предпочитая верлибры.

В здешнем баре мы с ним повстречалась намерни.  
Он читал с упоением строки о вечном —  
Молодой и отчаянно сорокалетний  
Сын стихии родной поэтической речи.

\* \* \*

Нет, я вопроса не задам последнего,  
Припоминая юные грехи,  
Куда ты дел того 20-летнего  
Мальчишку, что любил мои стихи?

Мальчишку, вдохновением горящего,  
С кудрями цвета ангельского льна,  
О творчестве часами говорящего...  
Ведь я в него доселе влюблена!

О доблести, о славе, о бессмертии  
Я промолчу, чтоб не напоминать  
Тебе в канун пятидесятилетия,  
Каким ты был недавно, в двадцать пять.

Мне улыбнись, как прежде, на прощание  
Улыбкой виноватою своей...  
Читай мои стихи-воспоминания.  
И ни о чём, что было, — не жалеЙ!

\* \* \*

Ну, чем мы с тобою, ответь, виноваты?  
Что мы родились, никого не спросили,  
В России, где солнце не знает заката,  
В божественной, Богом забытой России?..

Ответят пусть майские вешние грозы,  
Осенние и златокудрые ветры.  
Ответят крещенские злые морозы  
И вьюга седая, чья песенка спета.

А, собственно, нам и ответа не надо,  
Чтоб жить на земле этой, политой кровью  
Отцов, что в бесчисленных войнах проклятых  
Её защищали сыновней любовью.

Пусть то, что нами до боли любимо,  
Порой проклинаям мы так вдохновенно,  
Но кровь победителей непобедимо  
Пульсирует в наших забывчивых венах.

СТЕПАН РАТНИКОВ

## ШКОЛОТА

РОМАН

### ГЛАВА 22. ПОД ЗАМКОМ

Летние тренировочные сборы проходили на базе “Айдашки” рядом с Ачинском. Там в ряд стояло несколько симпатичных домиков для отдыхающих, в одном из которых разместился Евгений Иванович. А нас поселили прямо возле забора — в стареньком белом кирпичном двухэтажном здании, которым давно никто не пользовался. Внутри не было не только замочных скважин в дверях, но и туалета. Справлять нужду нам приходилось в уличном деревянном сортире.

В целом местечко выглядело живописно. На территории базы отдыха футбольное поле и небольшой пруд, возле которого мы охотились на стрекоз. А неподалёку, в лесу, находилось озеро. Пацаны несколько раз бегали туда сами, освежаясь после изнурительных тренировок. Иногда и на хвост кому-либо из проезжавших автовладельцев падали. Однажды, когда в салоне “уазика” оказалось не протолкнуться, двое ачинцев без всякого страха залезли на крышу, потому что машины не развивали большую скорость на ухабистой дороге, ползя еле-еле, и можно было спокойно лежать, не боясь свалиться.

Но куда чаще нам приходилось бегать по территории лагеря. Ежедневные кроссы стали не менее привычным делом, чем посещение столовой или вечерние игры на лучшего вратаря и в банан на футбольной поляне. Несмотря на пекло, мучившее нас почти неделю, с улицы редко кто уходил. Недоставало игрового момента — многие скучали по льду. Даже мне хотелось надеть коньки и, преодолевая боль в плоских ступнях, а также нелюбовь ко всяким челнокам, змейкам, восьмёркам, всё-таки поупражняться с шайбой хотя бы полчаса.

Перед отбоем, когда Евгений Иванович запирали нас в здании на амбарный замок — ибо делать это было некому больше — и уходил в своё уютное логово, мы не торопились ложиться спать. Пересказывали известные анекдоты, поглощали остатки еды, принесённой с ужина, или попивали сгущёнку из банок, проделывая в них сверху по две дырки друг напротив друга.

Мы не имели права на ночной доступ к туалету. Разве что тренер стал более строго допытываться перед отбоем, точно ли все побывали в сортире и смогут дотерпеть до утра. Затем он заширал нас с другой стороны на замок, чтобы с утра вновь даровать свободу. И это в то время, как в стране всюду разлагольствовали о какой-то демократии и вольной волюшке, благодаря которым жизнь россиян уже вот-вот преобразится в кардинальной степени.

В оставшиеся дни летних сборов у накренившихся зловонных деревянных построек, расположенных по соседству с нашей кирпичной двухэтажкой, стали возникать нешуточные очереди. Таких мы не наблюдали даже во время ледовых тренировок, когда наступала очередь пробивать буллиты.

Но я и догадываться не мог, что спустя считанные недели люди по всей стране начнут с куда большим рвением и даже паникой штурмовать сберкассы, намереваясь обменять старые деньги на рубли образца девяносто третьего года. Вот уж где стояла самая настоящая грызня, как удачно подметил отец.

## ГЛАВА 23. СЧАСТЛИВАЯ НАЦИЯ

После очередной денежной реформы цены на всё как-то быстро и незаметно выросли. В магазинах периодически появлялись новые импортные товары, но покупать их было не на что. Нашей семье — как минимум.

Если ещё недавно отец мог иногда побаловать меня “Сникерсом”, который активно рекламировали по телевидению, преподнося шоколадный батончик как замену полноценному обеду, то после летних сборов в Ачинске я за целых три месяца получил из вкусенького лишь упаковку плоских коричневых леденцов на палочке. Внутри их было пять штук. Хотелось растянуть удовольствие на неделю. Но в первый же день я слопал два леденца, а на следующий — всё остальное. Рыжая распорядилась своей пачкой иначе, уминная по конфете за вечер, а потому ещё долго меня дразнила, напрашиваясь на неприятности.

Брат же, успевший в последнее время покрыться прыщами, на удивление спокойно обходился без сладкого. Изредка он умудрялся выпрашивать у родителей немного денег на что-нибудь другое, не посвящая никого в свои секреты. Но чаще вместе с друзьями бегал сдавать использованные бутылки и майонезные баночки в обмен на скромные суммы, которые сразу же спускал.

Куда больше брата интересовали бабушкины харчи и забота. За ними он ходил в гости еженедельно. За глотком свободы — тоже. У бабы Тони можно было и понежиться вдоволь, и во дворе погулять с новыми, ещё не надоевшими друзьями.

У нас самих к тому времени стало гораздо теснее дома, потому что из Грузии в Дивногорск перебрался младший брат отца вместе с женой и сыном-дошколёнком. По словам беженцев, там, в уже бывшей союзной республике, творилось нечто запредельное и для жизни небезопасное. И надо было где-то временно перекантоваться. А после обустройства начать всё с чистого листа.

Во многом поэтому в наших двухкомнатных апартаментах новой, как говорилось в документах, планировки стало не развернуться. И мой брат почти прописался у любимой бабушки. А уж мититеи, супчики и всевозможная стряпня в её исполнении — отдельная песня. Песня, при напевании которой приходилось жадно истекать слюной.

Зарубежная музыка была ещё одной любовью брата. Когда он пропадал дома, то почти не расставался с коричневым кассетным магнитофоном “Весна”, привлекавшим внимание ярко-красной кнопкой записи. В детской всё чаще звучали композиции Вoney М, U96, МС Hammer и других исполнителей.

Меня же необъяснимо влекли две песни, которые я несколько раз слышал в гостях у знакомых или из окон нашего и соседнего домов. Судя по голосу, пела одна и та же тётка. Мою правоту подтвердил крупнотелый, но мешковатый Саня Исмаилов из первого подъезда.

— Это новая группа. “Эйс оф Бейс” называется, — пояснил он, сидя на лавочке со мной, братом и Женькой Задавакиным, в то время как с балкона неподалёку доносились знакомые напевы.

Особо легче мне не стало. У нас не было песен этой группы на аудиокассетах. А приобрести отдельный альбом зарубежного исполнителя было почти невозможно — в ближайших к дому магазинах продавали в основном русскую эстраду.

— Помнишь песню, про которую Исмаилов говорил? — обратился я к брату, пока тот валялся на своём диване и мотал головой в такт бониевскому “Распутину”. — Если у кого-нибудь её услышишь, то сможешь себе переписать?

— Кому нужно такое фуфло? — удивился он, даже не посмотрев в мою сторону.

— Ничего не фуфло. Очень даже босяво. Мне нравится.

— Вот и ищи тогда сам.

Знал бы где — искал бы. Но, к счастью, зверь сам бросился на ловца.

Через пару недель я бесцельно прогуливался в районе фабрики-кухни. Мы с Димой Бизоновым не так давно заходили туда перекусить перед поездкой на очередные сборы. И он сильно меня удивил, набрав гору пирожных, но съев лишь половину, а остальное наплевательски оставив на столе. Димина семья жила богато по тем временам, и сам он нередко сорил деньгами, которые родители давали ему с завидным постоянством.

— Чего мелочиться из-за каких-то копеек? — сказал тогда транжира, как бы отвечая на мой ошарашенный взгляд. — Я, по-твоему, должен всё это по карманам распихать? Делать больше нечего. Пускай валяется. Бомжи схавают.

Мы вышли на улицу, и Дима показал на газетный киоск по соседству. Там, помимо свежей прессы, продавали ещё и лотерейные билеты. Бизонов купил несколько штук, но ничего не выиграл, заявив впоследствии, что все эти мгновенные лотереи — сплошное надувательство.

И вот, когда я вновь оказался возле того киоска, моё внимание привлёк кассетный ряд в самом углу. Хотелось поглазеть, какие альбомы и сборники там продают. Подойдя ближе, я вмиг остолбенел и весь покрылся мурашками. Ace of Base — Harry Nation. Взбудоражившая меня надпись значилась на узенькой полоске, вставленной в одну из аудиокассет. Никаких цветных обложек, картинок. Даже списка песен не было. Подобные кассеты, записанные ушлыми торговцами самостоятельно, встречались нередко и стоили дешевле оригинальных.

Я узнал, сколько стоит, попросил киоскёршу отложить товар в сторонку и, не дождавшись подтверждения, без оглядки побежал домой. Да так резво, что наверняка побил все свои былые легкоатлетические рекорды, которыми славился среди одноклассников и партнёров по хоккейной команде. Радость переполняла меня. Причём настолько, что, едва залетев в подъезд, я впервые в жизни поздоровался с дедком, жившим несколькими этажами выше. Он развезжал по городу на дребезжавшем трёхколёсном “Муравье” и был несловоохотлив. Вот и теперь ничего мне в ответ не сказал. А может, я попросту не услышал.

Отец был на работе, поэтому пришлось просить денег у матери. Она не понимала, о какой музыкальной группе идёт речь и в чём ценность упомянутой кассеты. Но нахлынувшие на мои глаза слёзы не оставили матери выбора.

— Только отцу не говори, — попросила она. — Нам сейчас других забот хватает. Без всяких твоих “бейсов”. Или как их там?

Вожделенная аудиокассета ждала меня на том же месте, где я увидел её несколько минут назад. Сказав киоскёрше “спасибо”, снова рванул домой, чтоб как можно скорее услышать песни, крутившиеся в моей голове уже которую неделю. Это был самый настоящий кайф. Может, не чистейший, учитывая пиратское происхождение записи, но точно уносящий в иные миры.

— Оу, мочигёрлз из Норвегии, та-тан-та-тан-та-тан! — по-своему напевал я строки из той самой песни, так долго разыскиваемой.

— Ты что несёшь, Якорь? — насмехался надо мной брат, глядя как на последнего идиота, хотя сам выглядел крайне нелепо из-за своего мерзкого прыщавого лба.

— Что значит “мочигёрлз”? — вторил ему отец. — Это какие-то девчонки уписавшиеся? Норвежские, судя по всему?

— Откуда мне знать? — дулся я в ответ. — Не по-русски же поют. Как слышу, так и говорю.

— А у нас в школе инглиш разве не проходят? — съязвил брат.

— Отвянь.

— Ты же с первого класса английский учишь, — добавил отец, не сводя с меня глаз и раздражая своей сардонической улыбкой. — Если напеваешь про каких-то “мочигёрлз”, то, видимо, знаешь, что имеется в виду. Поэтому и спрашиваю у тебя. Мне же интересно. Просвети батьку. А то я, кроме Пугачёвой, Леонтьева, Газманова, Добрынина и Глызина, ничего особо не понимаю больше.

— Мы такие слова ещё не проходили, — оправдывался я как мог. — С этой Клизмой вообще ничего не выучишь и не узнаешь. Она только учебники раздаёт и говорит, чтоб мы что-то переводили. Сидишь весь урок, в словарь этот дурацкий смотришь, по одному слову в тетрадку записываешь. От силы пару предложений до звонка переведёшь, и то какая-то фигня получается. На следующем уроке тетрадку открываешь, а тебе снова двойку ввели, потому что, видите ли, мало слов написано. Как тут, по-твоему, можно что-то выучить? Клизама только девкам пятёрки ставит. И Антону Билецкому. Так он даже не переводит: сидит и просто ерунду пишет, сочиняет прямо на ходу, ещё и ржёт. Клизама потом видит, что у него много написано, и пятёрку ему ставит, хотя сама ничего не читала. Чушь какая-то. Манал я такие уроки!

Отец посмеялся, напомнил вскользь, что хоккеей важнее английского языка, и оставил меня в покое. Потом снова заглянул в детскую и сказал, что скоро начнётся “Брейн-ринг” и что мы можем присоединиться, если решим за компанию посмотреть телеигру. Пообещал угостить чем-то вкусным. Но я был так сильно обижен, что не клюнул даже на столь заманчивое предложение. Хотя любил и сладости, и интеллектуальные игры.

Узнав причину моего плохого настроения, мать спросила, известно ли мне, о чём поёт в своих песнях группа Ace of Base. Я ответил, что всякая ерунда меня не интересует. Музыка и голоса нравятся — этого достаточно.

— Не злишь. Тебя же никто ни в чём не обвиняет. Просто слушать то, чего не понимаешь, как-то странно, — сказала мать. — Взять хотя бы название альбома. Знаешь, как переводится? “Счастливая нация”. Вот так вот! Живём и радуемся. Стреляем друг в друга, воюем, а у самих счастья полные штаны.

Сарказма я не уловил. Сам я, в отличие от нации, был на седьмом небе от счастья. Изю дня в день мотал свою первую аудиокассету туда-сюда и с неохотой подпускал брата к магнитофону.

В начале нового учебного года мне удалось продать несколько наклеек от жвачек пацану из панельной девятиэтажки, что напротив нашего дома. Добавив к вырученным деньгам новую сторублёвую монетку, уже около недели валявшуюся на подоконнике в детской, я приобрёл в том же киоске возле фабрики-кухни ещё одну кассету — с песнями группы “Кар-Мэн”. Клипы у этих ребят были весёлыми, ритмы тоже ничего. Тем они мне и приглянулись. К тому же очень хотелось пополнить личную аудиотеку.

Но главное — теперь я легко мог рассказать родителям, если бы они вдруг снова пристали, о чём именно здесь поётся. Хотя слышал только конкретные слова, а смысл текстов в целом не улавливал. Что-то про Сан-Франциско, Багдад, падишахов, синьорин и прочих заморских обитателей или сказочных персонажей, если и имевших отношение к счастливой нации, то наверняка к какой-то другой, не шибко знакомой моим землякам.

## ГЛАВА 24. ЛЕДОВЫЕ ЗАБАВЫ

Лазание по гаражам уже не привлекало моих одноклассников. Они нашли более опасную, исключительно зимнюю забаву, щекочущую нервы похлеще любой летней. Прыжки с высоты в снежные сугробы. Чем выше точка

прыжка и чем глубже сугроб, тем заманчивее. Сигали с козырьков над подъездами, с деревьев, даже с крыш малоэтажных зданий. Не останавливали пацанов ни промокшая насквозь одежда, ни простуда с многодневным прозябанием под одеялом, ни травмы, полученные другими безголовыми смельчаками.

Я искушать судьбу даже не пытался. И трусил, и вместе с тем внял отцовским наставлениям, осознав, что выброс адреналина — дело хорошее, но любому хоккеисту доступное и без угрозы для жизни.

“Действительно, какой смысл откуда-то прыгать и башку себе расшибать или ноги ломать, если послать шайбу в ворота куда приятнее и безопаснее”, — думал я, но временами всё же мучился от безделья, когда до очередной тренировки или после неё появлялись лишние, ничем не занятые два-три часа. Без задней мысли сказав об этом отцу, был поражён, увидев перед собой ключи от хоккейной коробки.

— Можно, что ли, самому туда пойти и покататься? — не верил я собственному счастью.

— Можно-можно, — потрепал меня по шевелюре отец, а его лицо осветилось благодатной улыбкой. — Только коробку замыкай, когда на лёд выходишь, а то мало ли кто прошмыгнёт — не заметишь. И перед возвращением домой убедись, что свет везде выключил и двери все на ключ закрыл.

Разовый самостоятельный поход на коробку в воскресный денёк вылился в дальнейшем уже в еженедельные посиделки. Поначалу я ходил туда один и просто катался, работая над броском, финтами, скоростью и разыгрывая целые матчи между незримыми командами. Заодно привыкал к новенькой клюшке “Динамо” — ярко-белой, с чёрным крюком, которую мне, как и всем ачинцам, выдал Евгений Иванович.

Затем я, не без отцовского разрешения, стал приглашать на коробку и других пацанов. Мы с ними играли не только в хоккей — на улице, но и в настольный теннис или сифу — в помещении. Жевали бутерброды, которые приносили с собой завернутыми в газеты, и пили чай из термосов. Слушали на стареньком лежащем магнитофоне музыку, чуть ли не до дыр стирая плёнку в трёх аудиокассетах, пылившихся на подоконнике в раздевалке. Изредка, заранее договорившись, даже ночевать там оставались, коротая часы до утра на прохудившихся матрасах, а затем топали в школу, излучая неподдельную радость, словно только что прилетели с курорта отдохнувшими и загорелыми. Отец, видя сына таким, был доволен как мной, так и собой.

Спустя пару месяцев я на полную мощность включил фантазию, которую постоянно тренировал дома, придумывая различные игры, чтоб было чем привлечь дворовую ребятню. Днём ранее в Дивногорске валил снег, и пацаны, узнав, что коробку никто не почистил, отказались туда идти.

— Да пойдёте! В догоняшки по лабиринтам побегаем. Вы в такое не играли никогда. Отвечая на пацана, вам понравится, — сманивал я народ.

Узнав, о каких лабиринтах идёт речь, привереды охотно согласились и сами помогали готовить поле для игры. Мы надели коньки, взяли скребки и стали нарезать петли по заснеженной площадке, как бы рисуя дугообразные ходы и дорожки, быстро заносимые порошей. Иногда резко останавливались, устраивая тупики. Когда вся коробка была изукрашена, определили водящего и разбежались кто куда. Безудержная и громогласная беготня растянулась на полчаса, после чего все, до безобразия вспотевшие, ушли в раздевалку, чтобы подсохнуть и набраться сил для продолжения веселья.

Не оценил мою задумку лишь отец. Он наорал на меня, заявив, что ему очень сложно будет чистить изуродованную площадку перед следующей тренировкой.

— Не получишь ключи больше, — услышал я, — если снова такое здесь устроите. Думал, ты на коробке делом занимаешься, о будущем своём думаешь, как профессионально вырасти, как старших в развитии догнать. А тебе бы только куролесить.

— Но если мне нравится что-нибудь придумывать, что я могу поделывать?

— Вот и придумывай тогда в игре: кому лучше пас отдать, как соперника необычно обвести, вратаря обхитрить.



— А может, я не хочу... Сломают мне позвоночник, как Косте Хомутову в Барнауле. И всё тогда: ни ходить, ни рисовать, ничего не смогу.

— Какой же ты трус! — сокрушался отец, закатывая глаза. — Так, всё. Можешь и дальше на коробку ходить. Но чтобы никаких больше лабиринтов на льду и прочей ерунды. Иначе — ты меня знаешь.

С новой игрой, так приглянувшейся пацанам и мне самому, пришлось распрощаться. Хотя было понятно, что отец во многом прав. Поэтому я напряг мозг и придумал другие разновидности ледовых догонялок.

В первом случае водящий носился за остальными с клюшкой и резиновым мячиком, стараясь попасть в одну из живых мишеней. В другом случае всё делалось по старинке — руками, но убежавшие имели право упасть на лёд и вытянуть ноги, оказываясь в воображаемом домике и обретая неприкосновенность.

— А если в глаз кому-нибудь попадёте? — не оценил моё свежее творение отец.

— Так мячик же резиновый, — недоумевал я.

— Думаешь, резиновым приятно в глаз получить? Давай тебе кину?

— Не надо.

— И ко льду задницей прилипать, считаешь, нормально?

— А что тут такого? — почти крикнул я от бессилья. — Всё равно потом отряхиваемся, сушим всё.

— Когда вырастешь и начнёшь со всякими простатитами мучиться, вот тогда поймёшь. Но уже поздно будет. Там тебе не с хоккеем дружбу водить придётся, а с туалетом. В общем, чтоб я не видел этого больше.

Фитюлька-блондин Стёпа Уланов, слышавший мой разговор с отцом от начала и до конца, не преминул поиздеваться:

— Добегался? Отобрали у сыночка конфетку?

— Бесишься, что мы тебя не брали с нами играть, да? — огрызнулся я, грея пятую точку возле широченной батареи.

— Надо оно мне больно, — важничал Стёпа, неспешно облачаясь в экипировку.

План мести созрел через пять минут. Я подсел к Вовке Токареву, который ходил на хоккей лишь вторую зиму и был младше меня почти на четыре года.

— Давай Уланова забьём?

— Как? — заинтересовался Вовка, слившийся горячим пацаном и любивший потолкаться возле бортов, а если нервы сдавали, то ещё и подраться.

— Двусторонка когда начнётся, ты его со всего разгону в борт толкнёшь, — предложил я.

— Ага, он же почти ровесник твой. Он меня забьёт.

— В том и дело, что я за вами следить буду. Сразу подлечу, и мы с тобой сами его забьём. Вдвоём.

Так и сделали.

Влетев головой в дырявый борт, низкорослый Уланов хотел уже наброситься с кулаками на малолетнего наглеца, но был завален мною сзади. Вовка, не снимая кряк, сразу нанёс упавшему пару ударов. Совсем некстати на улицу вышел отец и грозным рыком потребовал прекратить драку. Я не успел ещё придумать оправдание всему происходившему, как кто-то из пацанов завопил, показывая на Стёпу:

— Он сам на Вовку полез. Тот его просто бортанул, а этот в ответ — сразу драться. Кто рядом был, те и полезли разнимать.

— Уланов, домой быстро пошёл! — рассерженно крикнул отец, а мы с Токаревым, услышав это, переглянулись и победоносно оскалились.

Стёпа неделю не появлялся на коробке. Но после очной беседы наших отцов продолжил ходить на хоккей. Надо мной больше не шутил, а вот Вовку при случае пытался размазать на встречном ходу или просто обзывать.

Навсегда же покинуть секцию решил Юрка Каплин, нашу разборку с Улановым не заставший. На одной из тренировок мой одноклассник поймал шайбу носом, после чего, зарёванный, убежал домой и забыл о хоккее. Учítывая, что в начале того же сезона коньки на гвоздь повесил и Женька

Задавакин, внезапно для всех уставший от тренировок и соревнований, вратарей у нас почти не осталось.

Виновником оказался отцовский товарищ по кличке Кандыба, любивший погонять шайбу вместе с пацанами и по жизни почти никогда не смотревший людям в глаза. Выходя один на один, он что есть силы щёлкнул по воротам и попал юному голкиперу в маску, которая была слишком уж хлипкой и заметно прогнулась. Каплина даже назад отбросило. Испуганный Юрка оставил клюшку с блином на льду и покатил в раздевалку, умываясь слезами и прерывисто постанывая.

— У тебя совсем кукушка поехала? — спросил отец у зашедшего погреться горе-щелкуна, пытаясь выпрямить искорёженную им маску.

— Это хоккей! — ответил Кандыба как ни в чём не бывало. — Пускай с детства привыкают.

## ГЛАВА 25. ЧЁРТИК ИЗ ТАБАКЕРКИ

Дома я всё реже слышал похвалу в свой адрес. Частично её заменяли восторженные возгласы одноклассников, обожавших мои школьные выходы — творческие, оригинальные, непохожие друг на друга.

Перед уроком математики я придумал очередной коварный план и спрятался от учителя. Доска в кабинете была раздвижной. За двумя её половинками, чуть глубже, скрывалась ещё одна доска. Отодвинув все три, я залез в закуток, где хранились листы ватмана, чемоданы и прочие вещицы, покрытые обильным слоем пыли и никогда не используемые на уроках в нашем присутствии. Одноклассники закрыли меня и, взбудораженные предстоящим весельем, взялись наперебой обсуждать, чем же всё закончится.

Прозвенел звонок. Пожилая хриплоголосая математичка, не произносившая даже пары предложений без слова “так”, вошла в кабинет и со звучным шлепком положила что-то на свой стол.

— Так, всем здравствуйте. Садитесь. Так, сегодня у нас небольшая контрольная по уравнениям. Открываем тетрадки. Так, Каплин, отстань от Шариповой. Тетрадку открывай, говорю, смеёшься мне тут. Так, тихо, я сказала. Так, записываем...

Она начала шкрябать мелом по доске. В классе стало чуть тише. И я понял, что пора действовать.

— А-а-ай! — закричал я, сидя на пыльных чемоданах. — Мне же больно. Не давите так сильно мелом.

Математичка, судя по звуку от каблуков, отшатнулась назад и, хотелось в это верить, сильно испугалась. Класс в один голос взорвался — аж стены задрожали.

— Что вы на меня так смотрите? — громогласно продолжил я. — Да, это доска с вами говорит, вам не показалось. Мне больно, когда на меня так сильно давят, понятно?

Кое-как сдерживаясь от смеха и дрожа сильнее, чем напуганная мною математичка, я перебирал в голове варианты продолжения своей речи. Но услышав, что доску раздвигают, заметался на узеньком пятачке и не нашёл ничего лучше, кроме как слегка отодвинуть чемоданы от стены и спрятаться за ними, накрывшись сверху листом ватмана.

— Так, вылезай оттуда! — рявкнула математичка, преодолев почти все преграды на пути к зарвавшемуся ученику. — Вылезай, сказала. Ватман всё равно шевелится — не прячься. Так, ты глухой? Кому говорят? Так, быстро! Так, ты совсем по-русски не понимаешь? Да что это за такое?!

Она стукнула указкой по чемодану, и я выскочил, как взъерошенный чёртик из табакерки, подняв над собой столб пыли. Зацепившись ногой за ящик, стоявший в самом углу выступа, едва не рухнул лицом на пол. Математичка поддерживала меня, не дав упасть, но от собственной же прыти выпучила глаза. Потом легонько зарядила указкой уже мне по пятой точке и, несколько секунд простояв как истукан, заявила:

— Так, если я ещё раз такое увижу... Все меня поняли?

— А что нам понимать-то? Что тогда будет? — насмешливо шепнул Артём Иваницкий Денису Чеснокову.

— Так, и тишину мне быстро создали. Совсем, смотрю, заигрались.

Математичка закрыла доску, положила рядом указку и взглянула под ноги, где валялся раздавленный ею же кусок мела. Мотнув головой, она подошла к своему столу и с нескрываемым раздражением начала там что-то искать.

— Так, я не поняла... Где весь мел?

По классу поползли смешки.

— Так, я спрашиваю, кто мел взял? — повторила математичка.

— Может, просто закончился? — предположил Колька Сараев, секундами ранее предусмотрительно отряхнув брюки.

Димка Коневский и Женька Бахматов мгновенно зашлись от смеха как сумасшедшие, а за ними — и все остальные.

— Так, это уже не смешно. С меня хватит! — сдалась математичка. — Так, всё, я пошла жаловаться вашему классному руководителю.

Через пару минут она вернулась в кабинет. И действительно привела с собой Ларису Васильевну. Меня упомянула почему-то вскользь, куда больше внимания уделив пропавшему мелу и всеобщему безостановочному хохоту, которые грозили сорвать контрольную.

— Ребята, ну что это за поведение такое? — добродушно, без всякого назидания в голосе произнёс наш классный руководитель. — Понимаю, что вам хочется повеселиться. Но для этого же перемены есть. И вечерами на улице можно наиграться. Давайте, как Леопольд, дружно жить. Перед вами же взрослый человек. Мне бы стыдно на вашем месте было.

— Извините нас, — сказала за всех Машка Ромашкина, воспитанная в лучших традициях и никогда в мрачном настроении в школу не приходившая.

— Хорошо, — ответила Лариса Васильевна. — Надеюсь, это больше не будет повторяться. Не расстраивайте меня.

Зря надеялась. Не прошло и трёх дней, а я, теперь уже на пару с Сараевым, вновь спрятался за доской, сменив на этом посту Ладошкина. Мы ничего не выкрикивали, а легонько постукивали пальцами по стенкам, веселя одноклассников, но почему-то никак не провоцируя математичку. Лишь под конец урока она проворчала:

— Ой, да пусть там хоть вечность сидят. По голове бы себе лучше постучали.

— Она поняла, что мы тут, — шепнул мне Колька, чьи коленки уже долго упирались в мои.

— Так это и ежу понятно, Сараев, что вы там, — отозвалась математичка. — Поумнее что-нибудь придумали бы. Так, в общем, вылезайте давайте. Хватит уже цирк устраивать.

Мы решили стоять до последнего и не дёргаться, словно нас там и впрямь не было. Хотя я грозил Кольке кулаком, давая понять, что его наверняка услышали.

До звонка нас никто больше не тревожил. Дождавшись, когда учитель уйдёт, мы собрались обратно на свободу. Отодвинув ближнюю к нам доску, внезапно застопорились на двух дальних, которые почему-то не разъезжались. В это время одноклассники один за другим покидали кабинет, хихикая и злорадствуя. Без них здесь точно не обошлось.

Меня пробрал холодок. Началась лёгкая паника. Отталкивая Сараева, насколько это вообще было возможно на таком крошечном пространстве, я стал материться и лихорадочно стучать коленкой по доске. Преграда не поддавалась. А по ту сторону, судя по воцарившейся тишине, уже никого не было.

Не сжигай мосты, если не умеешь плавать. На глаза предательски накапали слёзы. Угольки моих почерневших мыслей раздувал ветерок возможных последствий. Ещё и Колька вмешался, угрюмо сказав, что можно сломать доску, но тогда родителям придётся платить. Осознав это, я от бессилия снова ударил по доске, теперь уже кулаком, отчего выбил себе пару костяшек.

— Опять какие-то недоумки в доску залезли, — услышали мы с Сараявым и замерли.

— Развяжем? — спросил ещё кто-то, бывший на три-четыре года старше нас, если судить по голосу. — Или пускай дальше сидят?

— Лучше развязать, думаю. А то сейчас как назло припрётся кто-нибудь и на нас подумает. Вдруг вообще там задохнутся...

Доски, связанные между собой тряпкой вокруг двух металлических ручек, заелолизи и раздвинулись. Я выпрыгнул, словно оголодавший зверь из клетки, подбежал к своей парте, сгрёб с неё всё барахло в портфель и, даже не подумав благодарить старшекласников-спасителей, надменно наблюдавших за мной и никуда не торопившимся Колькой, ломанулся в гардероб. Хотелось как можно скорее оказаться дома, напиться сладкого чая, запереться в комнате, спокойно выдохнуть и предать этот злосчастный день, вместе с двумя остававшимися уроками, абсолютному забвению. Почти о том же многие ачинские пацаны помышляли после череды разгромных поражений на недавнем хоккейном турнире в Барнауле. Но там мы хоть неведомой прежде атмосферой прониклись, когда питались в солдатской столовой, пускай и излишне часто налегая на противную перловку. А из истории со школьной доской мой мозг наотрез отказывался вычленять что-либо приятное и полезное.

Чтоб я ещё хоть раз после такого ввязался в сомнительную авантюру?.. Да легко!

## ГЛАВА 26. НАРЫВЫ БЕССЛАВИЯ

О существовании в стране города под названием Славгород мне, любителю карт и атласов, стало известно лишь за пару дней до приезда туда. Ачинцам предстоял очередной хоккейный турнир. С сильными соперниками. В отвратительных для нашей команды условиях. В тяжёлое для всей страны время. Евгений Иванович сразу дал понять: вопрос с проживанием был решён не без труда. Мы же, не вдаваясь в детали, побросали вещи в донельзя странной гостинице и отправились на обед. После долгой дороги аппетит у всех разыгрался дикий. А вечером того же дня намечалась игра.

Нашли первую попавшуюся столовую, гурьбой завалились в неё и заняли места за неудобными столиками. Аппетит у многих пропал уже после пары ложек супа — пересоленного, с разварившимся пшеном. До второго блюда добрались не все. Сморщенные котлеты со слипшейся вермишелью мало кого привлекли.

— Спасибо, — с замаскированным недовольством сказал Евгений Иванович администратору, покидая столовую. — В эту забегаловку мы точно не вернёмся.

— С такой питашкой и пары дней не протянешь, — поддержал его мой отец, исполнявший функции помощника тренера.

Донельзя странная гостиница оказалась общежитием одного из средних специальных учебных заведений. Его руководство освободило для нашей команды несколько комнат, принудив студентов уплотниться на недельку. Простора и роскоши не получили и мы. В каждой подготовленной для нас комнате на верхнем этаже стояло по пять-шесть узких коек при почти полном отсутствии мебели. От окошек слегка сквозило. А двери закрывались на дохлые замки. Отцу же с Евгением Ивановичем выделили на двоих более симпатичную, хоть и тесноватую комнатёнку на первом этаже рядом с выходом на улицу.

Хоккейный стадион оказался не лучше. До омерзения компактное помещение с аналогичными раздевалками переходило в крытый и очень холодный ангар, вмещавший в себя ледовую площадку с крошечными и неуютными трибунами.

Турнир начался для нас с разгромного поражения. Я почти не выходил на лёд и успел продрогнуть. Ноги у меня мёрзли ничуть не меньше, чем на родной дивногорской коробке, вот только греть их, как назло, было некогда и негде. Под визором — прозрачной, на всё лицо, маской фирмы “Итеч”,

наличием которой среди партнёров и соперников никто больше не мог похвастать, — нещадно потели очки, и протирать их было крайне неудобно.

После провального матча мы, плотно и теперь уже вкусно поужинав в другой столовой, вернулись в общагу и обнаружили там тараканов, прятавшихся днём. А в одной из наших комнат явно кто-то погостил, аккуратно обшмонав сумки.

Ачинцы, и без того частенько кусавшиеся друг с другом, совсем обозлились от столь чудесных условий проживания. Неразлучные враги Серёга Сергиенко и Ромка Романов на следующий день подрались дважды. А я чуть не огрёб от костлявого и большеротого Сани Кондрашкина, который никак не хотел забывать мою недавнюю обиду на него, когда он спёр у меня полпачки обалденно вкусных кукурузных палочек в гостиничном номере в Барнауле.

Короче, мы грызлись друг с другом, а на турнире остальные команды рвали нас на куски.

— Славный город Славгород, — с презрением вспоминал эту поездку отец, прикладывая к свежему чирью на своей ноге кусок лейкопластыря, сдобренный мазью Вишневекого. — Сколько городов и стран объездил — нигде такой клоаки не видал.

Тревожил отца и намечавшийся вояж в Швецию. Ачинцев пригласили на международный юношеский турнир, и Евгений Иванович не захотел упускать такую возможность.

За границей я никогда прежде не был, а потому очень хотел туда слетать, о самом хоккее, впрочем, не думая. Но многое упиралось в оформление заграничного паспорта. Сроки поджимали.

— Дорогое удовольствие, — констатировал факт отец, когда мы вместе с ним сидели на кухне и ели куриный суп с вермишелью, которая издевательски раскисала в считанные минуты. — Придётся в долги влезать, чтоб всё успеть. Да и кто мне их даст сейчас, эти деньги? Так что не радуйся раньше времени. Может, и не полетишь никуда.

Расстраивался я недолго. Спустя почти три месяца, в предпоследний день весны девяносто четвёртого, загранпаспорт на моё имя был готов. Счастье казалось запредельным.

В тот день мы с сестрой, сидя в зале на диване, примыкавшем к боковой стене с приколоченным к ней ковром, смотрели детский фильм. Новость, сообщённая мне отцом, подняла настроение до такой степени, что Рыжая, глядя на мою довольную морщку, тоже взялась улыбаться без всякой на то причины. Мы с ней юркнули под одеяло и, ничего не видя, задорно хохоча и повизгивая, щекотали друг друга до посинения, выкрикивая обрывки фраз из часто крутившегося по телевизору ролика: “Даже в темноте — точно в цель! Рекламное агентство “Премьер СВ”.

Впрочем, радовался я ещё меньше, чем дожидался заграничного документа. А всё потому, что никуда, отцовскими карканьями, не полетел. По слухам, наш тренер сумел таки выбить деньги на поездку, как сделал это чуть раньше, обеспечив всю пацанву серыми мятыми спортивными костюмами фирмы “Рибок”. Но руководство ачинского “Металлурга” решило пустить раздобытую сумму на нужды команды мастеров и, как следствие, оставило свой юный резерв у разбитого корыта.

— От этого дебильного хоккея одни проблемы! — высказал я отцу, устав от нескончаемых превратностей судьбы.

— Дебилные твои пусульки с картинками, — негодуяюще парировал он, листавший временами мои дневники и комиксы. — А хоккеем — это будущее. Это возможность жить по-человечески и ни в чём не нуждаться. Просто мужиком вырасти, а не тряпкой. Ты же хочешь внимания, известности, чтоб тобой восхищались? Я же знаю, что хочешь. Постоянно пытаешься выделиться, что-то придумать этакое. Вот и занимайся тогда хоккеем, а не клоуном себя выставляй перед сверстниками. Уэйн Гретцки, может, и не станешь, но Макаровым или Ларионовым — почему нет?

— Не стану я никем. Всё равно ничего не получится. Играю хуже всех.

— Кто такое сказал? Наверное, тренерам виднее, получается у тебя или нет, а?

— Тебе, что ли, виднее? Только зря обнадёживаешь каждый год, — скулит я. — Врёшь и не краснеешь. Если тебе это всё надо, то мне — нет! Понял? Не надо мне твоих хоккеев.

— А что тебе тогда надо? — слегка прищурился отец.

— Не знаю. Но уж точно не треньки дурацкие. Писать про хоккей у меня лучше получается. Это куда интереснее, чем...

— Чем что? Чем борьба у бортов? Чем поражения? Чем ОФП? Чего молчишь, писарчук?

Мне стало совсем гадостно на душе:

— Всё, не буду я, короче, больше играть.

— Будешь! — как отрезал отец. — Никуда ты, братишечка, не денешься. Да и не спрашивает тебя никто. Морду набить — и то никому не можешь, хлюпик.

После этого мои аргументы если не закончились, то смысла уже не имели.

Загранпаспортом я так и не воспользовался. В отличие от мятого костюма, в котором фотографировался для бесполезного документа и из которого почти не вылезал на протяжении двух последующих лет, таивших в себе новые беды, печали и испытания, в том числе и хоккейные.

## ГЛАВА 27. ТАНЧИКИ

Пока в Нагорном Карабахе разворачивались ожесточённые и кровопролитные бои, мы у себя дома устраивали локальные военные операции, играя в танчики на приставке “Денди”.

Отец купил дефицитный товар, наслушавшись хвалебных откликов от знакомых мужиков. Они живо описывали, как вместе со своими детьми по несколько часов напролёт просиживали перед телевизорами, взрывая бомбами привидений, заваливая песком врагов, уматывая в сопли каратистскими приёмчиками разношёрстных бойцов и даже подстреливая уток из игрушечного пистолета. Не соблазниться было сложнее, чем найти деньги на популярную штуковину с джойстиком управления.

Улица для нас с братом почти перестала существовать. В приставку мы играли либо поодиночке, соблюдая негласную очерёдность, либо друг с другом, либо с кем-то из нагрянувших гостей. Пацаны стали приходить к нам гораздо чаще, чем это было раньше, когда раза три в месяц собиралась толпа, чтобы перекинуться в карты на наказания или зарубиться в настольный “НЭП”.

Даже не играя в “Денди”, я всё равно не отходил от чёрно-белого экрана телевизора. На цветном отец запрещал играть. Говорил, что мы так очень быстро сожжём кинескоп.

Я лежал на потёртом, заваленном подушками диване, доживавшем свой век, и заворожённо наблюдал за тем, как брат — иногда на пару с отцом — крушит очередную танковую дивизию ушлых супостатов.

Игра “Батл Сити” не имела в нашем доме достойных конкурентов. Все остальные считались чем-то второстепенным. Мы включали другие дискеты только ради отвлечения или лёгкого разнообразия. В основном когда детская пустовала и на священную приставку никто не претендовал.

В столь драгоценные минутки, ибо о часах приходилось лишь мечтать, я включал “Супер Марио”, “Контру”, “Моряка Папая” или “Бомбермена”. А вот “Черепашки-ниндзя” мне не нравились. Проходить их было сложно. И сами компьютерные персонажи выглядели убого — жалкая пародия на мультяшных рептилий, по которым мы со сверстниками сходили с ума. Я даже коллекцию наклеек от одноимённой жвачки начал собирать, чтобы любимые герои, включая Рафаэля и Шреддера, всегда были под рукой.

Когда мы сядились за танчики, аккуратность и осторожность возводились нами в абсолют. Брат дорожил виртуальным штабом едва ли не сильнее, чем всеми своими школьными подружками. Хотя защиту неказистого, но драгоценного орла, спрятанного за тонким слоем кирпича внизу экрана, всякий

раз доверял мне, а сам уезжал наверх, разделяваясь с противниками и собирая все звёзды, пистолеты и корабли. Если я не удосуживался уберечь штаб, то брат, редко спешивший на помощь, спускал на меня всех собак и обвинял в нерасторопности.

Каждый раз наши игры в танчики заканчивались ссорами, которые становились всё более ожесточёнными. Пока не грянул гром.

— Что тут снова за такое?! — влетел в детскую разозлённый отец.

— Он в танчиках... Он вечно... Всё себе одному вечно, урод прыщавый, — почти захлёбываясь, мямлил я.

— Во-первых, — сказал отец, — ты скоро сам прыщавым станешь, я тебе гарантирую, вот увидишь. А во-вторых...

— Не стану! — категорически отрезал я. — Он играть не даёт. И бьёт ещё.

— Да всё нормально, — попытался выйти из положения брат. — Играли себе, играли. Якорь начал нюни пускать. Взял зачем-то штаб взорвал.

— Ты меня уже достал со своим “якорем”! — прокричал я громче прежнего и застучал пятками по полу.

— Так, с меня хватит! К херам эти ваши разборки и нытьё! — бешено прорычал отец, испугав нас обоих. — Не умеете играть спокойно, в одной команде, чтоб без драк? Не будет, значит, больше никаких приставок. Всё!

Он в два шага оказался возле “Денди”, выдернул из неё шнур, размахнулся и яростно швырнул агрегат раздора в стену. Осколки разлетелись по всей комнате.

Эту войну мы с братом проиграли уже без шансов.

Улица снова позвала нас к себе. Призывно и безальтернативно.

## ГЛАВА 28. СОБАЧНИК

Огородные дела касались меня всё реже. Отец лишь изредка ходил на дачу к своей матери. В основном тогда, когда баба Рая — низенькая, но очень выносливая женщина — начинала сетовать на усталость, страдальчески обхватив поясницу, и жалела об отсутствии у себя ещё хотя бы одной пары рук, намекая на своего старшего сына.

Нас с братом за компанию тоже брали туда, на самый верх Дивногорска, где под линиями электропередач простиралась черда неказистых, нагнявших беспросветную тоску садовых участков с домишками, грозившими завалиться по принципу домино. Там мало что росло в достаточном количестве и приглядном качестве. Но позволить себе дачу за городом — на шестьдесят шестом километре или на горе за Усть-Маной — баба Рая не могла, так как не имела ни машины, ни желания постоянно трястись в автобусах. Поэтому она ежедневно ходила в гору и обратно. И исправно снабжала нас овощами, ягодой и домашними заготовками.

— У вас семья, трое детей, — говорила она сердобольно, сверкая серебряными зубами, — вам нужнее. А без помощи я уж как-нибудь обойдусь, если у вас не получается. Мне всё равно двигаться надо. Без земли в моём возрасте совсем здоровье растеряешь.

Мы безмолвно принимали дары и заполняли ими старенькую “Бирюсу” под завязку, что аж банки дребезжали, когда холодильник ненадолго просыпался. Правда, угощаться мне доводилось очень редко. Мать всякий раз говорила, что если прямо сейчас разделаться со всеми джемами и вареньями, то на зиму ничего не останется. Оставалось истекать слюной, вспоминать чахнувшего над златом Коцея и ждать, когда очередная партия бабушкиных заготовок заплесневеет и окажется на помойке.

Всё это, как и нелюбовь к физическому труду, не говоря уже о назойливой мошкаре и комарах, напроць отбивало у меня охоту посещать бабушкину дачу. Отец пробовал заставлять, но почти всегда безуспешно. Не срабатывали даже предложения сходить туда просто поесть малины или гороха. Ничего творческого и интересного я в этом не видел.

Лишь самой бабе Рае удавалось пробудить во мне совесть и уговорить посетить огород, чтобы натаскать немного воды или полить грядки. Отказать

человеку с уставшим лицом и голосом я не мог и пару раз за лето всё же оказывался по ту сторону забора, через который по темноте кто только ни шнырял, чтоб поживиться легкодоступной снедью.

Пытаясь бороться с бесстрашными любителями ночного промысла, хозяйева садовых участков заводили сторожевых псов. В нашей семье собак никогда не было. Отец их на дух не переносил, привив эту нелюбовь и нам. Баба Рая же, боясь потерять хоть каких-то помощников в нашем лице, предпочитала обходиться без гавкающих созданий. Иногда даже сама ночевала на даче, если до уборки урожая оставалось всего ничего.

Мой последний поход на дачу из-под палки, когда отец приказал нам с братом помочь бабушке собрать иргу, совпал с впервые мною услышанной новостью о существовании в городе какого-то собачника. Его странное поведение, по всей видимости, забавляло многих пацанов в нашем дворе, порождая всевозможные легенды.

В тот день половину пути до дачи с нами прошёл Вадик Шепелёв, выгуливавший свою овчарку. Брат всё это время подхихикивал однокласснику, который настолько увлечённо травил школьные байки, что не заметил, как его собака жадно набросилась на прелую коровью лепёху, красовавшуюся на тротуаре неподалёку от гидротехникума.

— Фу, дура! — опешил Вадик, неистово дёргая поводок и пытаясь унять словно обезумевшее животное.

Когда мы шли вблизи деревянных двухэтажек, брат увидел на асфальтовой дорожке ещё несколько вонючих куч и задорно окликнул друга:

— Давай собачку покормим. Ты же добрый хозяин.

— Очень смешно, — огрызнулся Шепелёв. — Сам в карман себе складывай. На дачу заберешь — грядки бабушке удобришь.

Не сводя глаз с четвероногого питомца и недовольно шевеля губами, будто подбирая нужные слова, Вадик продолжил:

— Дома всего хватает. Вообще всего! На убой кормим. А тут на всякую дрянь кидается. Так вот не уследишь на улице — собачник отравит ещё.

— Что за собачник? — решил уточнить я, всё это время шагая в сторонке и побаиваясь овчарки.

— Ты собачника Диму не знаешь, что ли? — удивился Шепелёв. — Ходит по соседним дворам, дистрофик такой длинный, всех дворняг подкармливает.

— Не знаю. Не помню.

— Он сам, как голодранец, вечно грязный, в одной и той же футболке, — презрительно добавил Вадик. — Морда красная, прыщавая. Урод, короче. Голос у него вообще противный, аж уши хочется затыкать. Пацаны говорят, он собак жрёт. Подкармливает, а потом убивает и...

— И... что? — спросил я испуганно.

— На костре потом зажаривает. Ну, и сжирает. Или что-то типа того. По-разному, короче, говорят.

— Но мы же этого не видели сами, — подчеркнул брат.

— И что? Хочешь сказать, весь двор врать будет? Ты ж сам на этого Диму смотрел. Там скелет один. Он всяко дома не хавает. Что там хавать — спиртягу с родаками или стеклоочиститель? Вот и промышленяет, видать, на улицах, — ухмыльнулся Вадик и снова потянул к себе куда-то рвавшееся животное. — Да не дёргайся ты, дура, а то к собачнику тебя отведу — сожрёт.

Доселе неведомого мне, а потому почти мифического персонажа я увидел примерно через неделю. Причём дважды в течение одного дня — адски жаркого и душного, коими изобиловало начало августа девяносто четвёртого. В обеденное время собачник Дима шёл по тропинке возле школьного забора за парочкой бездомных цуциков, будто выгуливая их. А ближе к вечеру в околотке на Театральной улице уже целая свора, высунув языки, сама плелась за ним, неспешно минуя восьмиквартирные домишки и завешанные простынями, рубашками и халатами бельевые площадки. Доходяга часто останавливался, гладил псов, находившихся ближе всего к нему, и блаженно топал дальше.



— Собачник, ты снова тут трёшься? — оживились сидевшие на качелях возле панельной девятиэтажки пацаны, одетые гораздо лучше Димы, но в чумазости и прыщавости ему не уступавшие. — Мы же тебя предупреждали. В рожу хочешь?

Сутулый дистрофик не отвечал и никаких эмоций не выказывал. Мне со стороны показалось, что он даже улыбнулся. Как-то глуповато, но оттого и забавно. Такая реакция на травлю повергла меня, привыкшего к припадкам и истерикам всеми затурканного Ромы Чулкова, в лёгкий шок. Вряд ли собачник никого не боялся. Скорее, просто не понимал, что происходит и какими могут быть последствия.

— Пошла отсюда, чушка! — не слезая с качелей, пропихивал самый щуплый из пацанов, прозванный Электроником за то, что любил облизывать батарейки. — Чтoб мы тебя больше не видели, понятно?

Собаки дружно, как по команде, залаяли на агрессоров.

— И шавок своих блохастых забирай, — добавил крепыш по прозвищу Рэм.

Собачник, так ни слова и не проронив, спустился по пригорку к детскому саду и, прошмыгнув через дырку в заборе, оставил свору по другую его сторону. Четвероногие моментально разбежались в разные стороны.

После того дня я видел собачника каждую неделю. Он сам с завидным постоянством попадался мне на глаза. И чаще всего был в компании Воти — шелудивого чёрного пса, которого, бывало, угощал то хлебом, то какими-нибудь объедками, раздобытыми в урнах.

— Вотя... Вотя... На-на-на-на-на! — гнусавил собачник, который не мог спокойно пройти мимо паршивого любимца, чем смешил или, чуть реже, злил своих сверстников.

Если поначалу пацаны безостановочно донимали чудного высокорослого дистрофика с отторгающей внешностью, то затем переключились на Вотя — ещё более зачуханного и безобидного. Многие взяли за правило спугнуть собаку без всякого повода, бросить в неё камень или, если удавалось, пнуть.

Дальше всех зашёл Костя Шевченко, живший в одном подъезде с Вадиком Шепелёвым. Он нашпиговал кусок ливерной колбасы иголками и подозвал Вотя, но животное не отважилось сблизиться с подозрительным типом. Тогда Костя швырнул приманку в сторону пса. Тот в два счёта, не жуя, проглотил смертельно опасное угощение и убежал за дом.

Вечером, играя с пацанами в карты на лавочке у подъезда, Шевченко заметил собачника, который проходил по дороге вблизи подпорной стенки. Живодёр приказным тоном остановил его и рассказал, чем накормил Вотя.

— Иди теперь ищи его, — закатывался сумасшедшим смехом Костя, с дьявольским самодовольством таращась на расклеившегося доходягу. — Ребзя, зырьте, он ноет. Вот осёл! Нет бы пойти собачатины пожрать, пока есть шанс. Смотрите, какие у нытика шары бешеные. Он сам сейчас покушает нас.

Пацаны надрывали животы и шлёпали себя веерами карт по коленкам. Собачник, понуро опустив немытую голову, поплёлся дальше, едва не угодив под колёса мимо проезжавшего "Комби".

Первым, кого я увидел на следующий день, выйдя на улицу, был Вотя. Шелудивый черныш как ни в чём не бывало патрулировал территорию в поисках съестного.

## ГЛАВА 29. КАЖДОМУ ПО ПРОЗВИЩУ

Вслед за мной в школу, уже успевшую стать лицеем, ходить в мятом спортивном костюме начал и Антон Билецкий. Влияние моды сказывалось. Правда, в отличие от меня, нетолстый, но мордастый Антон выглядел более ярко. Моя олимпийка была серой с жёлтыми ромбиками на груди и парочкой косых оранжевых полос на рукавах. У Билецкого же в костюме преобладали более тусклые и при этом разные тона, слабо выделявшиеся на фоне остальных.

— Цветной, — прозвали Антона одноклассники, временно забывшие о прежних его кличках вроде Беляша.

Другие школьники тоже стали получать прозвища из-за своей одежды. Популярностью пользовалась фирма “Пума”. И одну из девочек в нашей параллели прозвали Ритой из-за схожей надписи на её штанах. А Саня Исмаилов, бывший на три года старше меня, любил гулять в шлёпанцах с изображением хищной представительницы семейства кошачьих, из-за чего стал для своих ровесников Пимой. Поначалу он ещё бурчал что-то нечленораздельное от обиды. Но вскоре свыкся.

Чтобы получить новую кличку, достаточно было иметь хоть сколько-нибудь необычный внешний вид. Меня самого называли то Типитипом — из-за шнобеля и очков, то Скипиричем — из-за тех же очков и не по-детски большого размера ноги, то Чупа-Чупсом, виной чему была моя огромная кудрявая башка при не шибко высоком росте. Но все эти прозвища казались мне безобидными. Якорь — совсем другая история, в школе никогда, к счастью, не всплывавшая.

Некоторые умудрялись побывать в переделках, с которыми потом неизменно ассоциировались. На соседней улице жил шуплый пацан с жутким шрамом на лице. Доходягу звали Шиферюгой. Но не потому, что его отец работал шофёром. А за то, что он сам любил кидать куски шифера в костёр и однажды получил после взрыва осколком в лицо, чуть ниже глаза.

Прозвища рождались даже на ровном месте. Новичок нашего класса Артём Ветров, быстро со всеми подружившийся, однажды в шутку назвал Женьку Бахматова по имени известного мультяшного героя — Балу. Из-за банального сходства двух первых букв. Бахматов, услышав никчёмные насмешки пацанов, просверлил поджарого выдумщика взглядом и заявил:

— Ты тогда будешь... хм... Чапик.

— Ерунду какую-то придумал, — картаво сказал Артём и натужно улыбнулся, а у самого в глазах мелькнуло лёгкое недовольство. — Какая тут связь со мной?

— А никакая. Просто будешь Чапиком теперь. Потому что мне так хочется.

Ветров и подумать не мог, что появившаяся буквально из воздуха кличка приклеится к нему навсегда. Одноклассники почти ежемесячно примеряли на себя новые прозвища, а Артём так и оставался Чапиком. Это даже породило несколько легенд. Одна из них гласила, будто бы Ветров обожает втихушку уплетать созвучный его кличке собачий корм, который в то время часто рекламировали по телевизору.

Ярлыки приклеивались к нам один за другим. Многие школьники взяли себе за негласное правило найти в окружающих что-либо нестандартное, из ряда вон, зачастую унижительное, и смеха ради разболтать об этом каждому. Стороной сия печальная участь обходила лишь тех, кто вообще ничем не выделялся и был серой мышкой, а то и вовсе невидимкой.

Макс Ладошкин, продолжавший многолетнюю вражду с Ванькой Пнёвым, поддался всеобщему безрассудству и стал прилюдно называть самого пухлого и щекастого одноклассника Секатым. Ванька, обычно непрошибаемый и внимания на подобные мелочи не обращавший, вскоре сдался под неуёмным натиском одинокого провокатора.

На перемене мы с пацанами стояли возле подоконника напротив кабинета физики и рассказывали друг другу анекдоты про русского, немца и китайца. Ладошкин тоже вспомнил историю про интернациональное трио, но подать её внятно не сумел, запинаясь на ровном месте, а концовку вообще забыв. Пока он мялся, Бахматов вдруг издевательски хихикнул.

— Угар! — поддразнил Женька Макса. — В натуре, козний анекдот.

После этого не сдержались и мы, взявшись хохотать над оплошавшим Ладошкиным и моментально испортив ему настроение. Кинуться на всю толпу он никогда бы не отважился. А вот на стоявшего с краешку Пнёва, вполне подходившего на роль козла отпущения, — легко.

— А ты-то чего ржёшь, Сек? — огрызнулся Макс и, как бы вызывая Ваньку на очную дуэль, легонько, без размаху, хлопнул его по щеке.

— Сам ты Сек! — в мгновение ока взбеленился Пнёв, испугав не только обидчика, но и всех нас, никак не ожидавших такой реакции.

Ванька, впервые на моей памяти пустивший слезу, донельзя скупую, с криком набросился на Макса и отчаянным ударом с правой сумел зацепить его челюсть. Ладошкин, схватив оппонента за безликий серый свитер, бил быстрее и попадал чаще. Пнёв стойко держался и даже завалил противника. Но неуклюжесть в итоге сказалась, и Макс, выбравшись из-под более тяжёлого Ваньки, озверело нанёс лежащему ещё несколько ударов. Лишь после этого зеваки, будто очнувшиеся под взором спешивших к месту разборки учителей, наконец-то разняли драчунов.

Узнав о происшествии и его первопричинах, Лариса Васильевна приказала навсегда забыть о кличках. И не только об уничижительных. Тон у классного руководителя был совсем не приказной, и последствий никто из нас не боялся. Если что и менялось, то исключительно из-за уважения к этому добрейшему человеку, который никогда не сдавал нас директору и родителям. Но кое-кто, напротив, пользовался обстоятельствами, наглея пуще прежнего и зная, что в случае чего достаточно будет состряпать виноватое личико и понимающе покивать головой.

### ГЛАВА 30. ЛИНЕЙКА РАЗДОРА

Артём Иваницкий, уже не первый год сидевший за одной партой с Денисом Чесноковым и постоянно с ним гулявший, взялся ревновать низкорослого друга ко всем, кто перетягивал его внимание на себя. Сам я почти ежедневно ловил косые взгляды. И как только рассказывал Денису очередную забавную историю или звал в гости, коренастый Артём начинал нашёптывать клопышшу всякую ерунду, чтобы настроить его против меня и рассорить.

Перед уроком геометрии я взял с парты, где сидел Чесноков, деревянную линейку и шлёпнул ею Юрку Каплина по плечу. Тот с азартом схватил длиннющий карандаш, и мы устроили подобие рыцарского поединка.

— Ты вот так просто позволяешь этому очкарику твои вещи брать? — с упрёком обратился Иваницкий к Чеснокову, который по антропометрическим показателям годился Артёму в младшие братья.

— Да ладно, — ответил Денис, увлечённо наблюдая за тем, как мы с Юркой бесимся, — что тут такого? Вообще ерунда.

Измерить степень силы мысли Артёма я не мог. Но после очередного моего удара линейка предательски дала трещину.

— Ну вот, я же говорил, — воспользовался моментом Иваницкий. — Будешь покупать Денису новую.

— Пускай мою забирает, — ответил я Артёму, всё ещё разглядывая не до конца сломанную деревянную линейку и показывая пальцем на свою парту, где лежала прозрачная пластмассовая.

— Ему нужна точно такая же, как и была, — продолжал говорить за Чеснокова Иваницкий, нахохлившись и не вынимая рук из карманов лёгкой джинсовой куртки. — Свою беспонтовую можешь выкинуть.

— Беспонтовую? Да моя дороже, чем его. И почти каноловая ещё. У Волосовой точно такая же. Докажи же, Наташка, что у нас дорогие линейки?

— Отвалите от меня, — не удосужилась вникнуть в ситуацию Волосова, чей зычный голос всегда отторгал, не говоря уже о её презрительном взгляде.

— Ты не понял? Ему такую же надо, какая была, — снова заявил Артём, не желая спускать дело на тормозах.

— Тёмыч, ладно тебе, — встрял Денис. — И такая сойдёт.

— Чего ты перед ним пресмыкаешься? Он так вечно будет тебя использовать, — гнул свою линию Иваницкий. — Пускай гонит линейку на базу.

— Кто тут ещё перед кем пресмыкается, — подметил я и хмуро посмотрел на Чеснокова. — Дися, ты сам уже реши, берёшь мою линейку или нет.

Он сидел между нами, словно зажатый между молотом и наковальней, и не мог решить, как ему поступить.

— Ты как тряпка, — науськивал Дениса Артём, а его уничижительная улыбка зияла щелями между зубами. — Скажи ему прямо.

— Короче, на, держи, — устал я дожидаться ответа и положил свою линейку перед Чесноковым.

— Ты, получается, за меня уже всё решил? — неуверенно произнёс он и, ожидая одобрения, посмотрел на Иваницкого.

— Ой, не хочешь — не надо, — вырвалось у меня с досады.

Артём неустанно подстрекал Дениса, и тот сдался, потребовав, чтобы я завтра же принёс в школу новую деревянную линейку. Мне стало так обидно, что захотелось послать их обоих в известное место. Отказывать себе в этом удовольствии я не стал. И — послал. Громко, чтоб все слышали. Иваницкий скривил физиономию, подтолкнул друга в бок и кивком головы показал, куда клопышу следует подойти и что сделать. Чесноков, покоровшись чужой воле, оказался возле меня и повторил требования в бестактной форме. Я оттолкнул его и назвал мелкой шестёркой.

— После урока идём на стрелу за школой, — привстав со своего стула, заявил Артём.

— Ты-то куда лезешь вечно? — ответил я ему, от злости сжимая кулаки. — Твоё какое дело собачье? Линейка вообще не твоя была.

— Пускай они сами махаются, — вставили слово одноклассники, пристально следившие за нашей ссорой со стороны. — Можно прямо в тубзике. А мы на шухере постоим.

— Я и не собираюсь ни с кем махаться, — уточнил Иваницкий, снова убрав руки в карманы и сев на место. — Дися сам ему тычку набьёт.

Чесноков молчаливо согласился. При таком количестве свидетелей идти на попятную было поздно.

После урока мы отправились за угол школы, где обычно курили старшаки. Там уже собралось полтора десятка человек, до которых дошла молва о намечавшейся драке. Окружив нас с Денисом, все начали хлопать, топтать, галдеть, призывая двух одноклассников сойтись в рукопашной. Никого не интересовало, что мы с Чесноковым поссорились впервые и даже сейчас, глядя друг другу в глаза, неприязни не испытывали, желая прекратить этот балаган и всё забыть.

— Покажи ему, — шагнул вперёд Артём и подтолкнул Дениса в мою сторону, — чего стоишь, как чмошник последний?

— Дися, давай! — крикнул кто-то из толпы.

У Чеснокова будто рассудок помутился в одночасье. Он пнул меня по голени и трусовато махнул кулаком в направлении лица, но не попал. Я, превосходя Дениса в росте и ширине плеч, оттолкнул его от себя что было силы. Зеваки не утихали, и Чесноков снова двинулся вперёд. Теперь он уже не промазал, когда наносил мне удар по переносице. Очки, которые я никогда не снимал, упали на асфальт. Одна линза выскочила из оправы, а ушко треснуло. Ещё и кровь из носа пошла.

Я вмиг озверел, понимая, что дома отец вставит мне за сломанные очки. Бросившись на Чеснокова, схватил его за капюшон, наклонил вниз и двинул с колена. Денис схватился за лицо, и это слегка охладило мой пыл. Я отошёл чуть назад и, зажав пальцами нос, из которого всё ещё сочилась кровь, смотрел на то, как корчится и стонет мой противник поневоле. Иваницкий собирался заступиться за Чеснокова и накинуться на меня, но ему навстречу выскочили двое, давая понять, что здесь всё будет по-честному.

На оставшиеся уроки мы не пошли. Показываться перед учителями в таком виде, с разбитыми носами, не хотелось. Объясняться — тем более.

Но без объяснений всё равно не обошлось. Ближе к вечеру мать Чеснокова позвонила моей. Жаловалась, что у её Дениски огромный фингал под глазом. И что я якобы сошёл с ума, дерясь с тем, кто меньше меня и даже мухи не обидит.

— А у моего нос разбит. И очки сломаны, — парировала моя мать.

— Так и у моего тоже... нос... Ох, — вздохнула от бессилия звонившая. — Что они не поделили-то? Всегда ведь дружили. А тут как с цепи сорвались. И Дениска мне ничего не объясняет. Молчит, как партизан.

— Время сейчас такое. Озверели люди. И дети наши туда же, — заключила моя мать.

## ГЛАВА 31. С ОТКРЫТЫМ РТОМ

Пока одни в нашем классе наслаждались беззаботностью детства, другие спешили повзрослеть и копировали повадки старших, концентрируясь на наиболее сомнительных, а то и вовсе откровенно пагубных.

Мои родители не курили и не выпивали. И мало кто мог похвастать этим же. Поэтому я не верил в рассказы старшаков о том, что мой брат якобы уже попробовал пиво на вкус. Какое может быть спиртное в девятом классе, если ты из семьи трезвенников, не имеешь никаких проблем с успеваемостью и демонстрируешь большие успехи в хоккее?

Ещё больше меня удивили сверстники, всё чаще поднимавшие тему курева. Некоторые открыто хвастались, что, например, спёрли у своего отца из кармана куртки беломорину и подымили с друзьями на крыше дома. Или — что раздобыли целую пачку “Ту-134”, которую теперь будут растягивать на месяц.

— По сигарете в полтора дня? — спрашивал кто-нибудь, сомневаясь в услышанном. — Это как вообще?

— А что такого? — парировал хвастун из параллельного класса. — Покурил кропаль, забычковал, потом ещё малёха затянулся. Так надолго хватит, отвечаю. Братан у меня раньше всегда так делал, пока не начал БФ нюхать, полдудрок. Говорил, что босявые ощущения, а теперь в Красноярске лечится.

Сам я не видел, чтоб кто-нибудь из одноклассников смолил. И подобные байки воспринимал как неумное желание школоты казаться старше и свободнее. Но на уроке труда, который впервые в новом учебном году проходил на улице, я опешил от того, что Колян Черноусов прилюдно выпускает изо рта дым — явно не от холода. Рядом толклось ещё несколько пацанов. Все они смеялись, а Артём Ветров показывал на Коляна пальцем.

“Учитель же увидит — всё тогда, кранты!” — подумал я, стоя с открытым ртом и оглядываясь так, словно сам в тот миг творил что-то противоземное.

Трудовик, которого мы, несмотря на его почтенный возраст и поседевшую голову, называли Павлушей, сметал в кучу сухую листву на пригорке за углом школы. Предварительно он и нам велел то же самое делать, только чуть ниже, рядом со склоном, вокруг спортивной площадки, где росло немало деревьев.

Юрка Каплин, стоявший слева от Черноусова, наклонился к наметённой куче и, покопавшись в ней, выбрал листок. Затем скрутил его в трубочку и сделал вид, что курит. Колян протянул ему коробок со спичками, но Юрка затряс рукой, показывая, что огонь не требуется.

Только тогда я понял, чем дымил Черноусов. Это ж надо было додуматься — раскуривать сухие листья! Насколько сильна жажда выглядеть взрослым, оставаясь при этом наивным глупцом. Я продолжил размахивать метлой. И размышлял, откуда в школьниках просыпается это желание не быть, а казаться.

— Вы что творите, паршивцы? — послышался недовольный голос трудовика. — Ну-ка быстро потушили.

“Попались! Докурились!” — пронеслось у меня в голове. Когда я оглянулся, то увидел, что одна из наметённых куч горела, а окружившие её одноклассники — чумазые, но довольные, как поросята, что разгуливают по деревенским улочкам, — блаженно грели руки.

— Холодно! — попытался оправдаться Женька Бахматов, видимо, сильнее остальных забоявшийся возможных последствий.

— Метлой активнее маши, — крикнул с пригорка трудовик, — вмиг согреешься. А то сами у меня сейчас получите метлами по одному месту.

Парни, подняв с земли орудия труда, взялись хлопать ими по догоравшей кучке листьев. Бахматов с Лаврентьевым и Дроздовым ещё и попрыгали по ней, чтобы ускорить процесс. Трудовик, не сводя глаз с юных хулиганов, дождался, когда пламя погаснет, и пригрозил, что в следующий раз всё расскажет директору.

После урока, переодеваясь в чистое, у кого оно вообще с собой было, ребята весело напевали песню Олега Газманова “Танцуй, пока молодой”. Только вместо мальчика упомянули Павлушу и рекомендовали ему не танцевать, а делать кое-что непристойное. Так они передразнивали трудовика, частенько ругавшего и пугавшего дерзких подростков, но никогда не переходившего от слов к действию.

Чуть позже, уже на биологии, хороший урок получил и я. Расправившись с заданием быстрее всех и от скуки начав зевать, тут же был приведён в чувство Альбиной Васильевной. Угловатая учительница в годах, никогда не лазившая за словом в карман, рывкнула так, что даже медведь из спячки вышел бы.

— Рот тебя не учили рукой прикрывать? — спросила она, не вставая со своего стула, но смотря так устрашающе и пристально, словно находилась в шаге от меня. — Разинул варежку на весь класс и доволен. Думаешь, кому-то интересно разглядывать, что у тебя там внутри? Ничего приятного в этом нет, уж поверь. Полное бескультурье.

“Докопалась на ровном месте. Из-за фигни какой-то”, — насупился я и перевёл взгляд на маравивших бумагу Столбову с Бражниковой, потому что все остальные таращились на меня и ехидно улыбались.

Через пару минут снова захотелось зевнуть. Рот уже открылся, плечи распрямились, а глаза... Глаза смотрели на биологичку. Её нахмуренные брови будто бы нажали какую-то кнопку в моём мозге, и рука машинально поднялась, чтобы прикрыть ту самую варежку, недавно упомянутую.

— Смотрю, ты очень быстро всё схватываешь, даже повторять не надо, — то ли хваля меня, то ли иронизируя, сказала Альбина Васильевна.

Вечером, когда мы почти всей семьёй, устроившись на большой кровати, смотрели вторую часть “Терминатора”, родители начали позёвывать. Пока шла реклама, навязывавшая зрителям импортные шоколадные батончики, зубную пасту, а также сомнительные инвестиционные вложения, я решил оглянуться и, памятуя о словах биологички, впился глазами в разинутый рот матери. Почти сразу вслед за ней протяжно и громко зевнул отец.

Люстра в зале не горела. Но света, исходившего от экрана телевизора, было вполне достаточно для того, чтобы в деталях разглядеть ротовую полость каждого из родителей. Я и подумать не смел, что все эти языки, нёба, зубы могут показаться настолько неприятными и даже отвратительными.

— Ты чего мне в рот заглядываешь, клоунок? — хихикнул отец, заметив мой нездоровый интерес.

— Если не нравится, то рукой его закрывай, чтоб никто не заглядывал, — недовольно буркнул я и отвернулся.

— Какие мы умные, спасу нет! Это кто ж тебя научил такому?

Упомянуть Альбину Васильевну мне почему-то не захотелось. Соврать, что додумался до всего сам, не решился.

— Дайте кино посмотреть нормально, — вовремя вмешался брат.

Лёжа на животе, он вытащил из-под подбородка подушку и начал её взбивать, чем переполошил Диму. Кот спрыгнул с кровати и рванул в детскую к Рыжей, которая уже дремала.

— Ладно, умник, можешь пока не объяснять, — всё так же язвительно сказал мне отец. — Но учти: I'll be back! Вот только рекламу дождёмся следующей.

— Мне нужна твоя одежда, — усмехнувшись, добавил брат и нагло стянул с меня одеяло.

— Да ну вас в баню! — обиделся я и отправился спать. Завалившись в свою постель, растянулся в полный рост. И почти сразу зевнул, прикрыв рот рукой.

## ГЛАВА 32. ДВА КОЛЬЦА И ДВА КОНЦА

Вот говорят, что можно встать не с той ноги. Как это — до сих пор не знаю. Но весьма неудачно сесть не на своё место, которое действительно не твоё, но и не чьё-либо конкретно, можно вполне.

Тем утром я зашёл в кабинет истории и с недовольством уставился на Черноусова и Ладошкина. Они заняли парту, за которую меня не так давно, после сорванного нами же урока, усадил учитель, и что-то живо обсуждали. Макс, глупо разинув рот, слушал Коляна, а тот вешал ему лапшу на уши.

Остановившись перед парочкой мордovorотов, словно и не замечавших ни моего недовольного взгляда, ни присутствия вообще, я почти минуту молча простоял рядом. Успел детально разглядеть разбитые носки своих чавкающих ботинок. И только потом трусовато, но с упрёком вымолвил:

— Сесть дадите или нет?

— Мест, что ли, не хватает? Вон на заднюю падай, — махнул рукой в том направлении Колян, не удосужившись даже поднять голову, и взялся травить очередную байку.

Я поплёлся на задний ряд и рухнул на свободный стул. Как по заказу, не иначе, в кабинет вошла Танька Афонькина. С небрежно затынутым на голове хвостом. Ещё более мрачная и кислая, чем моё отражение в зеркале утром.

Таньке ничего не мешало сесть рядом, на правый от меня стул. Но она целенаправленно подошла с той стороны, где уже расположился я. И сразу — руки в боки:

— Вали на своё место!

— Чего верещать-то сразу? На моём месте, сама посмотри, тоже сидят. Так что можешь куда угодно...

— Вали по-хорошему, я сказала! — ультимативно перебила Танька, роняя слюну. — Ogлох совсем?

— Ой, всё, отвянь. Заколебали вы меня уже все. Что дома, что тут. Не пойду я никуда.

Удар портфелем по очкам последовал сколь незамедлительно, столь и неожиданно. Моментально разгоревшийся сумбур в кабинете, не говоря уже о мерзких смешках, среди которых невозможно было не слышать издевательские голоса Черноусова и Ладошкина, вывели меня из себя. Не сразу даже заметил, что левое ушко на очках с поцарапанными линзами треснуло. Правое за минувшие месяцы уже познало парочку передрыг и покоилось под несколькими слоями скотча.

Два исполосованных кольца, два поломанных конца, посередине худой мостик. Оттолкнувшись руками от сиденья, я подскочил, как с раскалённой сковородки, и схватил Афонькину за волосы. Да столь неистово, будто эти нечёсаные прутья могли хоть немного остудить мои горящие пальцы. Стена была совсем рядом. Даже ближе, чем на расстоянии вытянутой руки. Познакомив Танькину голову с куда более твёрдой, чем портфель, поверхностью, я испугался себя гораздо сильнее, чем кто-либо другой в тот момент. Прорвал что-то нечленораздельное и хотел уже собирать вещички, чтоб скрыться от всех этих незаконных правообладателей казённой мебели. Но Афонькина, всего-то пару раз всплакнувшая и куда активнее скрипевшая зубами, сама убежала из кабинета. Одноклассники проводили её взглядами и, словно ничегошеньки не было, вернулись к своим делам.

После уроков состоялось экстренное собрание всего класса. В непривычной для этого обстановке — на улице. Афонькина успела пожаловаться Ларисе Васильевне, и та без криков и гнева, но с нотками осуждения озвучила мне и всем остальным прописную истину: девочек бить нельзя. Некоторые из пацанов, включая Бахматова, заступились за меня, чем удивили в разы сильнее, нежели выбор места для подобных разборок. Услышав, что Танька сама спровоцировала конфликт, классный руководитель снова напомнила о девчоночьей неприкосновенности при любых обстоятельствах. И только потом, уже разрешив нам расходиться, спросила у Афонькиной, терпеливо дождавшейся окончания уроков, зачем она так агрессивно поступила.

Танькиных оправданий я не расслышал, как ни пытался греть уши, неспешно топая в сторону дома. Но в дальнейшем Афонькина, что странно, не начала мне мстить или даже просто злобными взглядами одаривать. Мне же через несколько дней открылась совершенно иная суть бытия. Не имеет значения, с какой ноги ты встаёшь по утрам. Просто стоять на этих самых ногах, безболезненно и уверенно двигать ими — вот что гораздо важнее.

На очередной школьной перемене мы с Димкой Коневским, оставив портфели в кабинете английского языка, отправились на улицу — побегать немного, энергию выплеснуть. Дойдя до ближайшей двери на третьем этаже, встретились с малолеткой, которая вприпрыжку пронеслась мимо, трясая косматой головой и размахивая белым пакетом, украшенным поблёкшими цветочками. Шаркнув им меня по левой ноге, девчонка не только не извинилась, но и не оглянулась, продолжая свой залихватский, безудержный прыжок. Я же, наоборот, остановился и недовольно посмотрел ей вслед.

Димка дёрнул меня за руку:

— Чего запал? Пошли. А то так перемена кончится.

— Да иду, иду.

Моя левая нога внезапно отказалась двигаться в нужном направлении. Коленка подкосилась. Но это почему-то не удивило меня, а рассмешило. Я не осознавал, что происходит.

— Стой, — перепуганным голосом сказал Димка. — Стой, говорю, блин, не дёргайся.

— Да куда ты свои клешни тянешь, — смеялся я, отмахиваясь от маячившего передо мной одноклассника, который жутко разнервничался. — Ну, у тебя и харя!

— Тебе в больницу надо, — разыгрывал, как мне мерещилось, причудливую драму Коневский. — Блин!.. Что делать? Блин, блин, блин!

— Ты прикалываешься, что ли? Какая больни...

Мой голос обмяк, как только я опустил голову. Подо мной растекалась большая лужа крови, перепачкавшая относительно новые брюки. Димка буквально приказал не вставать, а сам побежал за медиком.

Откуда кровь? Из-за чего? Что случилось? Я ровным счётом ничего не понимал. И даже болезненных ощущений не испытывал.

Более нелепо и пугающе осенью того же года падал разве что курс рубля по отношению к американскому доллару, хотя там медицина уж точно была не всесильна. В школьных закутках учителя обсуждали какой-то чёрный вторник. Но для меня теперь существовала лишь кровавая пятница. К тому же одежда была напрочь ухайдакана, чему отец, считавший каждую копейку, вряд ли обрадовался бы.

Через пару минут Коневский вернулся. Не один. Меня дотащили под руки до медицинского кабинета, где сделали перевязку и угостили аскорбинками. Пока я лежал на порезанной в нескольких местах кушетке и, рассасывая кислые драже, пытался мысленно разобраться в тонкостях хитросплетений человеческих судеб, переполошённый одноклассник успел разыскать моего брата и второпях рассказал ему о несчастном случае.

— Мы нашли эту дурьнду мелкую, — добавил Димка чуть позже, заглядывая в медкабинет и с тревогой глядя на меня. — У неё ножницы в пакете были.

— Ой-ой-ой! Я как раз себе что-то подобное и представляла. Ему надо срочно ногу зашивать, — отрапортовала медичка, вытирая руки о вафельное полотенце.

“Брата-то зачем привели? — думал я в тот момент. — Ему бы поиздеваться только. И повод как раз весьма подходящий”.

— В “скорую” как позвонить? — спросил брат у медички, стоя в пороге. — У вас тут есть телефон?

— Надо из учительской. Посидите тогда здесь пока что, а я сбегаю. Хорошо?

— Не надо. Долго это всё, — ответил брат, хмуря брови и бросая взгляды на мою перебинтованную ногу.



Ничего больше не уточняя и не взвешивая возможные варианты, он взвалил меня к себе на спину и трусцой понёсся в городскую больницу. До неё налегке было минут восемь быстрой ходьбы. По далеко не равнинной поверхности с кучей препятствий.

С тяжёлой ношей путь у брата занял около получаса. С несколькими остановками на то, чтобы перевести дух. В основном — перед многочисленными спусками и подъёмами.

— Спасибо тебе, — сдавленно сказал я брату уже в больнице, не переставая удивляться его поступку.

— Иди ты на фиг, Якорь, — ответил он. — Давай, чтоб всё нормально прошло.

Лёжа на операционном столе, под ярким светом ламп, я уже примерно понимал последствия того, что случилось в школьном коридоре, но всё ещё сохранял самообладание. Вероятно, давало о себе знать многократное лечение зубов, давно переставшее меня пугать, а также былой опыт зашивания губы.

Когда в руках у одного из врачей появился шприц, я приготовился к немножечко неприятным, но вполне терпимым ощущениям. Однако укола не последовало. Мне просто влили какую-то жидкость прямо в голень. И тогда я понял окончательно: там не порез, а самая настоящая дыра. Пробойна, как иногда говорил отец о заброшенных в чужие ворота шайбах.

Ножницы, как позже выяснилось, вошли очень глубоко, по самую середину голени, впритирку с костью. Пара-другая миллиметров вбок, и с хоккеем можно было бы распрощаться навсегда.

Я отвёл взгляд и попытался подумать о чём-нибудь приятном. Вспомнил, как пару лет назад ездил в Красноярск с отцом по его футбольным делам. Раньше он много времени со мной проводил. И почти не орал. Из-за ерунды — уж точно. Я не мог нарадоваться, что у меня такой классный папка. Вспомнил и то, как мы с ним решили прокатиться в трамвае — удивительном для меня транспорте, ежеминутно тренькавшем. Как наведались в гости к дяде Вите — среднему из трёх братьев, черноволосому, с густыми усами, подтрунивавшему над всеми. Как бесились с его маленькими дочками Анжелой и Леной, не забывая и про эрдельтерьера, тоже рвавшегося поиграть с детворой. Как стояли у них на балконе, мёртвой хваткой вцепившись в поручень ограждения и глядя на дымный Красноярск с высоты пятнадцатого этажа, что было дико для меня, жившего в Дивногорске, где встречались максимум девятиэтажные дома. Вновь, как и тогда, почувствовал, будто дыхание спёрло, а голова начинает кружиться...

— Всё хорошо, ты молодец, — успокаивала меня ассистентка врача, хотя на моём каменном лице вряд ли красовались какие-либо эмоции.

Ногу зашили быстро. После чего я вновь услышал в свой адрес похвалу за мужество и стойкость. Врачиха уверяла, что дети обычно кричат, ревут, дрожат, а мне, герою невообразимому, хоть бы хны.

— Умничка! — добавила она с широкой улыбкой, которую не могла скрыть даже лицевая маска. — Теперь вот ещё дома пару неделек полежишь, отдохнёшь. И снова всё будет хорошо. Обязательно.

Никто и не собирался спорить. Обидно было понимать лишь то, что новый хоккейный сезон, несмотря на надвигавшиеся на Дивногорск морозы, лично для меня начнётся позже обычного. И надо было стать хромоножкой, чтобы понять, люблю ли я этот вид спорта на самом деле.

### ГЛАВА 33. АНГАРСКИЙ ПОЧИН

Швы на ноге срослись очень быстро. Ничего существенного за это время я не пропустил, познавая новые темы по школьным предметам в домашней обстановке. Вплотную, нехотя, где-то откровенно филоном, но всё же познавая. И даже этого оказалось достаточно, чтобы разбираться в пройденном материале лучше, чем большинство одноклассников. Вероятно, сказалось то, что отвлекать меня было некому. Как и мне — кого-либо.

Когда лёд залили, я уже был в строю. Коньки вдруг стали мне малы. Но после недельных тренировочных сборов Евгений Иванович порадовал многих из нас хоккейной обновкой. Как и где ачинский тренер умудрялся доставать форму, ещё и при повсеместных финансовых неурядицах, для многих оставалось загадкой.

Я увидел перед собой “Ботасы” последней модели. Красивые настолько, что блеск их лезвий, чудилось, мог ослепить меня. Новые коньки оказались почти впритык. Только жаловаться на неудобства было бессмысленно — ничего взамен наверняка не дали бы.

— Как коньки? — спросил отец. — Доволен?

— Нормально, — пожал я плечами.

— Скажешь тоже. Это тебе, бляха-муха, не “Сальво” или “Динамо”. Это крутяк! Фирма! — отец всегда произносил это слово с ударением на последний слог. — А ему, понимаешь ли, нормально.

Пальцы слегка упирались в носок. И после первых же тренировок в Дивногорске я вспомнил о длительных, не слишком успешных отогревах ступней ног в раздевалке и об отчаянном стоне сквозь стиснутые зубы. Но отец правильно говорил: не до жиру. С коньками на нашей хоккейной коробке в принципе накладно было.

А нога росла. Стремительными темпами. И новенькие “Ботасы” уже к концу зимы стали не в радость. Намереваясь усилить согревающий эффект, я перед выходом на лёд надевал дополнительную пару носков. Только не понимал, почему мои стопы, плоские от рождения, мёрзли пуще прежнего. И суставы ломало совсем уж нестерпимо.

В феврале девяносто пятого ачинцев ждала поездка в Ангарск на первенство Сибири и Дальнего Востока по моему возрасту. Не Швеция, конечно, но город для меня новый. В тех краях никогда раньше не бывал, обычно мы только в сторону Урала и Северо-Запада катались. Поэтому ждал с нетерпением. И играть было бы ощутимо легче — не против старших, как часто случалось. Заодно вспомнил бы, что такое деньжата на карманные расходы, ведь отец уже давненько мне их не отстёгивал. А как не дать сыну, героически пережившему травму голеностопа, несколько купюр в поездку?..

Второе место — наше! С автоматическим выходом в финальную стадию первенства России. Никогда прежде мы не добивались такого успеха. Может, и полноценной радости от игры в хоккей не испытывали поэтому же. А целая коробка импортного мороженого в большущих вафельных рожках, чего я до той поры не видывал и не пробовал, сделала ещё более приятным празднование в кафе гостиницы, оккупированном на час. Тут уж Евгений Иванович точно не поскупился. Даже красноярские пацаны, готовясь к возвращению на родину, забыли о недавно вспыхнувшей никчёмной вражде. Они дружелюбно улыбались и наперебой поздравляли нас с блестящим выступлением.

После турнира, уже по пути из Ангарска в Красноярск, мне, валявшемуся на верхней полке в шумном плацкартном вагоне и пивившемуся в окно, раз за разом вспоминались недавние слова тренера. Стать спортивным журналистом захотелось ещё сильнее, чем год назад — в шестом классе. Сильнее даже, чем стать актёром или автором комиксов, ведь в Дивногорске всё равно никто не занимался чем-либо подобным.

Я утвердился в мысли, что с годами, когда вырасту и заброшу хоккей, в котором всё равно не отличался большим талантом, непременно устроюсь на телевидение комментатором или буду писать в газеты подробные репортажи о матчах НХЛ. Такое творчество меня по-настоящему вдохновляло.

Через считанные дни после завершения того юношеского первенства страну облетела шокирующая новость об убийстве Влада Листьева в подезде его же дома. Мне очень нравились останкинские телепередачи “Час пик” и “Тема”, которые он вёл. Когда я узнал вероятные причины расправы над популярным ведущим, то излишне накрутил себя в уме, невнятно представил всяких недоброжелателей, жаждущих расправиться со мной за плохую статью или грубую оговорку в прямом эфире, и временно охладел к своим журналистским мечтам.

Спустя ещё месяц вместо канала Останкино, который терял доверие зрителей, начало вещать ОРТ.

А двумя днями ранее ачинская команда провалила впервые проведённый в Красноярске хоккейный турнир на призы Уткина, где участвовали ровесники моего брата. Но меня, почти не выходившего на лёд и уже похоронившего себя как спортсмена, это ничуть не расстроило. Особенно накануне внезапно замаячившего на горизонте переезда нашей семьи из тесной, пускай и любимой двухкомнатной квартиры в четырёхкомнатную.

Слегка горевал я лишь о том, что единственный турнирный снимок со мной, сделанный на “Полароид”, получился чересчур смазанным. Тогда как брат на моментальной фотографии выглядел удалым красавцем и богатырём.

## ГЛАВА 34. ПЕРЕКОЧЁВКИ

Денёк стоял жаркий. Голову напекало прилично. И топтать через полгорода — от 30 лет Победы до Заводской через Дуговую, по выщербленной змеевидной полосе бетонных тротуарных плит, держа в руке временно заимствованную у теперь уже бывших соседей переноску, из которой на незнакомые городские пейзажи тревожно таранился изредка мяукавший Дима, было тяжело.

Горячий солнечный блин будто бы взметнулся над раскалённой поверхностью земляной сковороды и грозил вот-вот рухнуть обратно, накрыв собой тысячи людей, наверняка казавшихся с высоты птичьего полёта не более, чем невзрачными капельками топившегося жира. Но мне, раз за разом вытиравшему пот со лба, всё это наверняка лишь чудилось на нервной почве, учитывая неизведанность предстоящего.

Налегке шла — нет, почти скакала — лишь сестра. Чему, спрашивается, радовалась? Мать тоже никакой ношей, если не считать бутылку с водой, обременена не была. Ей хватало функций контроля: за одной только Рыжей требовался глаз да глаз. Брат отвечал за висевшую на его плече сумку с лёгкими, но важными вещичками. Всё остальное — старенькая мебель, нехитрая техника, ковры, шмотки, посуда — ехало в небольшом грузовике. Отец — там же, рядом с водителем.

Нужная нам девятиэтажка стояла напротив леса. От дома его отделяла полянка, на которой красовались разноцветные турники, пустующий киоск и кольцо аттракциона “Весёлые горки”. По другую сторону кирпичного здания, за протянувшимся на десятки метров металлическим забором, местами завалившимся, находилась территория интерната. Там жили и учились сироты и отказники.

Наш новый дом был гораздо свежее и солиднее того, в котором мы жили на протяжении последних лет. И сама квартира на третьем этаже казалась, в сравнении с предыдущей, немисливо огромной. Особенно удивил широченный зал. А просторная продолговатая лоджия и вовсе не шла ни в какое сравнение с бывлым крошечным балкончиком. Повевало приятным ветерком надежды.

Баба Тоня потом рассказывала, что это дед постарался. Он уже несколько лет возглавлял городские “Теплосети”. И благодаря знакомствам в администрации, в здании которой находился его директорский кабинет, сумел добиться того, чтоб не чужая ему многодетная семья заметно продвинулась в очереди на расширение жилплощади. А вот почему прежние хозяева четырёхкомнатной квартиры на Заводской перебрались в нашу тесноватую двухкомнатную, для меня осталось загадкой.

Сразу после перекочёвки маленькие радости посыпались одна за другой. Рыжая теперь обитала в другой комнате и не так сильно мне докучала. Примерно в те же дни отец открыл на коробке платную автостоянку, предвительно заменив за свой счёт дырявые бортики на собственноручно сколоченные новые. Машины въезжали на территорию объекта через широкие ворота. Теперь они легко открывались, чего нельзя было сказать о старых, заметно перекосившихся. Водители парковали свой транспорт

в два ряда в центре хоккейной площадки, а также возле бортов, на которых со временем появились надписи с номерами автомобилей, чьи владельцы платили за месяц вперёд.

Как отцу удалось всё это провернуть, мало кто знал. Даже учредительные документы он оформил, как позже выяснилось, на другого человека. В Дивногорске до той поры была одна-единственная платная стоянка. Держал её хорошо известный в местных кругах спортсмен. Так что конкуренция в новом деле не грозила.

Инициативу отца поддерживали десятки его приятелей — тех самых мафиози, как он их величал. Мужики твердили, что дело не только финансово выгодное, но и общественно полезное, давно назревшее. При этом многие ставили свои машины бесплатно и далеко не всегда благодарили хозяина. Меня угнетала такая несправедливость, но отец успокаивал:

— Мне выгоднее, чтоб их тачки здесь бесплатно стояли. Тебе этого пока не понять.

Денег в нашей семье заметно больше не стало. Я ничего такого, во всяком случае, не замечал. Зато отец всё реже бывал дома. Найти заинтересованных и порядочных сторожей ему долго не удавалось. Поэтому он сам периодически ночевал на коробке, где отныне уже никто не мог поиграть в футбол на жутко раздолбанном асфальте. Желающие гонять мяч перебрались на ровнёхонький, но столь же травмоопасный теннисный корт.

— А где теперь кататься будем зимой? — спросил я у отца, махнув рукой в направлении автомобильных рядов.

— На коробке и будем. А машины ближе к зиме на корт переедут. Я уже почти договорился с кем надо. И вообще, много будешь знать — скоро со-старешься.

Вскоре один из отцовских знакомых притащил на автостоянку разноцветную кошку. Сказал, что она почти неделю тёрлась возле его магазина, непонятно на что надеясь и зря получая пинки от прохожих. А на коробке, мол, мышей хотя бы гонять будет. Назвали новосёлку Дашкой. Чуть позже отец решил ненадолго пристроить её так, чтобы уже точно со всеми удобствами. Да столь удачно это сделал, что в нашей новой квартире появилась коробка с пятью котятками, три из которых были почти копиями Димы. И все — забавные, премилые.

Они никак нас не стесняли. В квартире вот-вот должно было стать заметно просторней. Пятнадцатилетний брат готовился, пускай и не по своей воле, но с большим желанием, к переезду через полстраны. Из Дивногорска в Воскресенск. В город, славившийся хоккейными традициями на весь мир.

Отец в очередной раз продемонстрировал умение договариваться с нужными людьми. Его старшему сыну, который уже играл лучше любого из дивногорских мужиков и обещал вырасти в высококлассного хоккеиста-профессионала, никак нельзя было оставаться в крошечном городке, не сулившем спортивных перспектив. Так и возник вариант с Подмосковьем.

Надоумил отца воскресенский товарищ, почти ежегодно бывавший в Дивногорске и заодно привозивший для нужд секции кое-какую экипировку. По его словам, на чужбине мой брат вполне мог максимально развить хоккейный талант и попасть в команду мастеров. Правда, предстояло потерпеть и пройти через многие неурядицы, связанные с проживанием и учёбой. Отец решил, что лучше так, чем в Дивногорске и тогда, соответственно, никак. Сын согласился.

Будущие доходы с автостоянки должны были ощутимо помочь нашей семье. Брат уехал в Воскресенск вместе с матерью, которой предстояло поддерживать его там на первых порах. И отцу приходилось постоянно отправлять им деньги.

Ещё и на нас с сестрой одежда, как на огне, горела. Причём Рыжая, насмотревшись на старшеклассниц, а также под воздействием молодёжного сериала “Элен и ребята”, кланчила у отца что-нибудь помоднее и повычурнее. И тот редко огорчал любимую и единственную дочь, окончившую ещё только пятый класс, но уже считавшую себя взрослой.

Хоккейную секцию отец тоже не хотел запускать, всё ещё надеясь, что вслед за старшим сыном удачно пристроит и меня, как бы я ни кочевряжился. Он намеревался и клюшки с формой периодически покупать, чтоб дивногорским пацанам приятнее было выходить на лёд, и крышу над площадкой заодно сделать, о чём давно мечтал. Однако роскошной жизнью пока не пахло.

Знакомые ребята часто расспрашивали меня, действительно ли автостоянка в центре города наша, и завидовали. Они были уверены, что я купаюсь в деньгах, как Скрудж Макдак. Особенно — в новеньких, только появившихся стотысячных купюрах.

На деле же отец иногда занимал у мафиози кое-какие суммы, чтоб отправить их старшему сыну. Тренерская работа, увы, почти никак не выручала: большую часть зарплаты выдавали то консервами, то сыром, то ещё какой мелочёвкой. Поэтому предстояло надолго затянуть пояса и смириться.

## ГЛАВА 35. ОБЛИВАЙ КОГО ПОПАЛО

Посреди того лета отец и Евгений Иванович устроили тренировочные сборы прямо на коробке. Ачинцы жили в одной из раздевалок, спали на разложенных на полу матрасах. Питаться ходили на фабрику-кухню. А по вечерам получали возможность подзаработать, намывая приезжавшие на автостоянку машины.

Каждое утро меня и всех остальных ждала опостылевшая разминка. Днём мы налегали на изнурительные физические упражнения. Иногда гоняли на корте футбольный мяч или резвились в подобие хоккея.

В свободные минуты ачинцы кучковались вокруг слегка неровного и будто бы погрызенного по краям теннисного стола, соблюдая занятую очередь в игре на победителя. Они яростно болели то за одного, то за другого, иногда втихомолку матерились. Сам я за минувший год успел подустать от настольного тенниса и ни на что в этой сутолоке не претендовал. Но отец раззадорил ребят и, издевательски показав на меня мизинцем с сильно отросшим ногтем, заявил:

— Кто вот этого мешка порвёт, тому “Твикс”. Или “Марс”. На ваш выбор.

Я принял вызов. И не отдал ни партии из десятка сыгранных. Поэтому отцу, который был уверен именно в таком раскладе, даже раскошелиться не пришлось. А вот неодобрительных взглядов мне хватило на месяц вперёд: будто бы жизнь ачинцам сломал — никак не меньше.

Оторваться по-настоящему они смогли в начале июля, когда Иван Купала и устоявшееся пекло вскружили голову почти всем юным спортсменам. Неистово галдящая толпа высыпала за пределы коробки — кто с ведром в руке, кто с завязанными полиэтиленовыми пакетами, кто с невесть откуда взявшимся водяным пистолетом, вероятно, специально привезённым из Ачинска. Не щадили никого. Будь то хоть женщина в лёгком платьице, хоть мужик в наглаженных брюках и белоснежной рубашке, хоть пьянчуга в обросшей грязью ветхой одежонке. Кто-то из облитых смеялся в ответ и даже не торопился покинуть место происшествия, словно об этом и мечтал в столь жаркий денёк. Кто-то ругался и обещал отыскать родителей — вот же наивные люди. А трое прохожих среднего возраста неожиданно вытащили из-за пазухи заряженные водой автоматы и, впад в детство, устроили весёлую ответную погоню за юными стрелками. Силы явно не были равными, условные потери тоже. Но всё выглядело более чем мирно, почти по-дружески. И каждый в итоге получил своё. Как и Россия с Украиной месяцем ранее, когда Ельцин и Кучма поделили Черноморский флот, а братьям-славянам отошла примерно пятая часть кораблей.

Ромка Романов, Димка Жуль и ещё несколько моих ровесников жаждали продолжения банкета. По соседству с хоккейной коробкой была автобусная остановка. Пацаны прятались за углом рядом стоящего здания, поджидали “лиазики”-дуноходы, которые неустанно наматывали по петляющим

городским дорогам километры на кардан, затем с первобытным воем влетали в распахивавшиеся двери-гармошки и, стоя на ступеньках, спешно окатывали пассажиров из ведра. Вдогонку за водолеями никто не бросался: и деньги за проезд уплачены, и с молодёжью в скорости тягаться бесполезно.

Лично мои празднования на этом не закончились. Вернувшись к вечеру домой, где из пяти котят у нас остались только Нулик и Томас, а остальные были отданы в надёжные руки родных и знакомых, я вооружился несколькими тазами. Наполняя их водой, выносил на лоджию и с высоты третьего этажа постепенно обрушивал содержимое ёмкостей на тех, кто необдуманно проходил мимо с опущенной головой. В отличие от дневных приключений, теперь уже никто почему-то не радовался водным процедурам. Многие оставались и подолгу пытались определить смельчака и наглеца в одном лице. Пару раз я почти выдал себя, но обошлось без последствий. В квартиру к нам никто не поднимался и скандалов не закатывал.

Но расслабляться было плохой идеей. Пока я высматривал очередную мишень, на меня самого вылили сверху ушат воды. Очки чудом удержались на лице, не упав на асфальт.

Ещё через три дня ачинцы уехали к себе. Однако отец, которому впрору было устать от всей этой суеты на хоккейной коробке, счастливым не выглядел. Наоборот, через неделю сказал, что у него на душе спокойнее, когда на автостоянке светло и многолюдно. Уловив моё озадаченное выражение лица, добавил:

— Всякое отребье бензин сливает. Как? А вот так. Берёт и сливает. По ночам в основном. И не только в Дивногорске — вообще по всей стране. Хотя это мало что меняет. Машину без присмотра оставишь, не углядишь — всё! Скоро и угонять начнут чаще, чем раньше было. Даже не сомневаюсь в этом. Люди вконец одичали. Нищета. Думаешь, я просто так стоянку открыл? Думаешь, мне эти нервотрёпки в радость? Просто на обычную работу давно уже надежды нет. Совсем никакой надежды. Вот завтра надо за головкой сусанинского сыра зайти. Это у меня снова часть зарплаты такая. Нормально, да? Будешь целый месяц сыр жевать и босиком ходить? Ясное дело, не будешь. Босиком — это не босяво, как вы с пацанами говорите. Бабушки тоже не могут вечно нам огурцы, капусту, морковку, всякие соленья да варенья таскать. Поэтому стоянка — чтоб деньги живые были хоть иногда. Чтоб старшему можно было помогать, пока он там, в Подмосковье, на ноги не встанет. Чтоб и ты тоже мог чего-то достичь. Чтоб у всех вас было...

— Только мы что-то не особо разбогатели с этой стоянкой, — буркнул я, перебив отца и тем самым пытаюсь соскочить с хоккейной темы.

— Подожди немного, торопыга. Москва не сразу строилась.

Отец ободряюще похлопал меня по плечу. Потом включил телевизор и остановил свой выбор на ОРТ, где начался новостной выпуск. В кадре появился усатый дядька в очках и с забавной фамилией Выхухолев. Первым же делом он напомнил о непрекращающихся боях в Чечне.

## ГЛАВА 36. СТАДНЫЙ РЕФЛЕКС

Стоянка постепенно начала приносить небольшой доход. Меня же беспокоило то, что в школу отныне предстояло топтать через полгорода. Всё было хорошо, пока в один из прохладных осенних утренних часов мне на безлюдной улице не повстречалась гавкающая стая. Я плёлся через гаражные ряды, привычно шаркая ногами, а из-за поворота выскочила собака, за ней ещё несколько, потом ещё. Всего около десяти. Миленькими и дружелюбными они отнюдь не выглядели. Все крупные как на подбор. Бежали прямо на меня, будто паровоз, набравший ход. Казалось, несут и не заметят. Раздалось рычание. Я струхнул и неуклюже отскочил в сторону, едва не поскользнувшись на оледенелом участке асфальта. В этот момент на меня бросились две собаки, почти до смерти перепугав. Одна из них крепко вцепилась в щиколотку, из-за чего я рухнул-таки на землю. Другая громко лаяла почти

в ухо. Потом и остальные налетели. Я судорожно тряс ногами, орал благим матом и уже не видел, какая из псин кусала меня за другую ногу.

— А ну пошли прочь! — раздался бешеный вопль неподалёку. — Прочь, я сказал, твари!

Рядом просвистело несколько камней. Собаки резко перестали лаять и рванули наутёк, разметав лапами сметённые в небольшие кучки пожелтевшие листья. Я всё ещё корчился на грязном и холодном асфальте, но сумел разглядеть своего спасителя. Им был незнакомый мне бородатый мужик в драной куртке и с мотыгой в руке. Вероятно, пришёл в гараж по своим делам. А может, просто случайный прохожий, посланный мне свыше. Хотя мы с Юркой, когда вместе ходили здесь по утрам, редко кого встречали.

— Всё нормально? Живой? — поспешил уточнить хриплый незнакомец, подойдя ближе.

— Да, — простонал я в ответ.

— Может, в больницу?

Я отрицательно покачал головой, вытер слёзы рукавом ветровки и, стиснув зубы, встал. Сразу же отправился обратно домой, прихрамывая и покусывая губы. Перед последним из гаражей сбавил скорость и огляделся, опасаясь продолжения собачьего пиршества. Хвостатых агрессоров и след простыл. До меня вдруг дошло, что я не поблагодарил знакомого. Резко развернулся и тут же скривил лицо, почувствовав боль в ноге. Мужик как испарился.

Мать, месяцем ранее уже вернувшаяся в Дивногорск из Воскресенска, как следует промыв раны от укусов, позвонила отцу на работу, кое-что у него уточнила и поставила мне парочку компрессов. Лёжа на диване, я тоскливо пялился на экран телевизора. Увешанный цепями Вадим Казаченко, в голубых шароварах, надрывно напевал со сцены: “Больно мне, больно! Не унять эту злую боль”. Мне нравился музыкальный клип группы “Фристайл”, впервые увиденный ещё года три назад. Особенно восхищался барабанщиком, который ловко крутил в руках палочки. Но теперь я совершенно иначе воспринимал как саму песню, так и будто бы рвущиеся видеок cadры.

Тем же вечером родители, сидя на кухне, долго обсуждали тему собачьих свадеб. Отец гневался и твердил, что в городской администрации никто ни черта не предпринимает для решения столь насущной проблемы, от которой он и сам якобы неоднократно страдал. Заодно упомянул хапуг из числа знакомых, уже положивших глаз на его автостоянку, обраставшую клиентурой.

Я настраивался на очередные незапланированные каникулы постельного режима, ежегодно меня преследовавшие. Но на следующий день моим ногам стало ощутимо легче. Без толку валяться на кровати и в пятнадцатый раз перечитывать “Тамбу-ламбу” или рассказы Николая Носова показалось скучной затеей. Небольшие раны на ногах быстро и почти безболезненно зажили. Чего не скажешь о ранах душевных. С того самого дня, идя в школу или обратно, я постоянно с тревогой оглядывался. А ещё стал носить в карманах камни, чтоб можно было, в случае чего, мгновенно вооружиться, ничего не выискивая и никуда не наклоняясь.

## ГЛАВА 37. КОМОК НЕРВОВ

Лёгкие заморозки сменились настоящими морозами. До нового хоккейного сезона оставалось полмесяца, не больше. Так, во всяком случае, было раньше. Но теперь полторы недели пришлось ждать, когда все машины перекочуют с коробки на корт, огороженный с трёх сторон забором из сетки-рабицы. И лишь после этого отец, сокрушавшийся, что зимой доходы сильно упадут, взялся за заливку площадки.

Мужики изредка помогали ему. Приходили в ночное время на коробку, таскали шланг, включали и выключали воду. А в перерывах, знамо дело, налегали на пиво или на что покрепче.

Многие из негласного городского клана мафиози жаждали поскорее выйти на лёд. За минувшую пару лет они успели пристраститься к этому виду

спорта, обзавелись экипировкой и раза три в неделю играли по вечерам в хоккей. Но не в такой, как мне прежде доводилось наблюдать. Отныне на площадке почти не было оборванцев — отцовские приятели могли позволить себе дорогие свитеры, шлемы, коньки, клюшки, привозя их даже из-за рубежа. А вот за стоянку по-прежнему не платили и детской секции помогать не думали.

Красивых и продуманных комбинаций, наоборот, стало меньше. Всё сводилось к неуклюжим сольным проходам через частокол соперников и к большому количеству бросков, порой не глядя и по своим же. Не брезговали мужики и силовыми приёмами, нередко зубодробительными, хотя все игры носили исключительно товарищеский характер.

Денег в нашей семье поубавилось. Отец объяснял это тем, что на территории корта вмещается на треть меньше машин, чем стояло на хоккейной коробке. К тому же некоторые постоянные клиенты на зиму загнали автомобили в гаражи.

Наиболее хитрые персонажи повадились ставить свой транспорт возле корта — за высокой зеленоватой стенкой, которую теннисисты использовали летом для отработки ударов. И платить не надо было, и кирпичная сторожка, специально построенная отцом для комфортных ночных дежурств, находилась рядом, в двух шагах, даже одно из окошек на ту сторону смотрело. Этот ничем не огороженный пятачок казался небольшим, но легковушек шесть туда влезало. Ответственность за них никто не нёс.

Когда у одного из таких пронырливых автовладельцев ночью слили бензин, который за последние полтора года успел подорожать в России почти в пять раз, сторожу пришлось выслушать необоснованные упрёки и обвинения. Отец узнал о случившемся после телефонного звонка и сразу прибежал на стоянку. Он не мог не заступиться за своего работника. А в ответ — матерный поток и даже угрозы.

Едва вернувшись домой, отец начал громкую ругань прямо с порога.

— Как эти мрази уже занозили! Ты представляешь, — обратился он к матери, которая смотрела какую-то развлекательную передачу и не сразу отозвалась, — говорит мне на полном серьёзе: “У вас сторожа сами бензин сливают. И продают”. Это ж надо такое ляпнуть! Вот гнида! Ещё и проверку какую-то обещал наслать: то ли в администрации работает, то ли связи там имеет. А за стоянку заплатить, раз такой важный и влиятельный, видимо, запахло.

— Да он просто цену себе набивал, — крикнула мать из зала, — а само, как у нас дети выражаются.

— Это понятно. Но с таким, главное, напором шёл. В грудь себя колодил. Он бы, мразота, ещё убийством мне пригрозил, — отец уже скинул с себя часть одежды и, наверняка голодный, шёл из спальни на кухню. — Нет, ну, а что, по новостям же передают: в стране нефтяников одного за другим валят, прочих шинек — тоже. А какого-то там владельца какой-то стоянки не смогут, что ли? Зверьё позорное! От них ни помощи, ни понимания, ни хрена! Вот как можно с такими...

Свирепый голос отца внезапно утих. Но уже через пару секунд послышался звук разбитой посуды, а за ним и гневный вопль:

— Твою мать, я же просил никогда в раковине ничего грязного не оставлять! Каждый день одно и то же.

— В смысле? — удивилась мать, встала с дивана и тоже засемила на кухню, по пути подвизывая ситцевый халат. — Ах, да, точно, я ж забыла.

— Забыла она... Хоть кружку-то можно было помыть?

— Какую ещё кружку? — недопоняла мать.

Услышав это, сестра, полчаса назад пившая чай, а теперь подслушивавшая всё, как и я сам, через приоткрытую в комнате дверь, сразу исчезла с глаз долой.

— И ведро!.. — рывкнул отец. — Когда ты его, наконец, помоешь? От него на весь дом воняет. Я устал по ночам тараканьё давить. Эти твари и днём уже лезят. Как в свинарнике живём! А она всё сериальчики да концертики... Когда работала, а не дома у ящика торчала, в квартире и то чище было.



Расслабилась совсем! И эти тоже не помогают ни черта. Для кого я пыжусь тогда? Для кого все эти стоянки, хоккеи?

Его гневную речь прервал затрезвонивший телефон.

— Чего встала? Трубку возьми.

— Так мне посуду мыть или на звонки отвечать? Ты как-нибудь определись, — провокационно заявила мать.

Отец кое-как сдержался, чтобы вконец не разорваться. В этот момент я уже подносил к уху телефонную трубку, ненадолго опередив взлохмаченную сестру, застывшую рядом в ожидании. Она любила подолгу и ни о чём болтать с подружками, чем очень сильно раздражала нас с отцом.

— Алло. Кого? Подождите, я у родителей уточню... Папа!

— Что? Кто там?

— Не знаю. Кажется, тебя. Ну, или не тебя. Сам не понял.

— Слушаю, — выхватив из моей руки трубку, выпалил отец, а через считанные секунды стиснул челюсти, выпучил глаза и вновь сбился на крик. — Вы уже достали со своим Донченко! Не живут они здесь. Не живут. Это уже давно не их номер. Сколько можно сюда названивать? Каждый день одно и то же: “Это квартира Донченко? Это квартира Донченко?” Нет, ядрёна вошь, это не квартира Донченко! Теперь запомнили?

Он едва не разmozжил аппарат и тотчас убрался в спальню, проклиная всех на чём свет стоял. Мать вымыла посуду и вернулась в зал, сделав звук телевизора чуть тише. Я, не желая попасть отцу под горячую руку, заперся в своей комнате, достал кусок картона и взялся рисовать новую настольную игру, чтоб было чем удивить пацанов, когда они снова наведуются в гости.

Потом отец ещё долго сражался с тараканами и орал на них, как бешеный. А я лежал, закинув ногу на скомканное одеяло, и не мог понять, кто из нас в большей степени виноват в отцовских припадках. Да и мы ли вообще? Слишком уж много всего ему приходилось решать и терпеть в последнее время.

*(Окончание следует)*

ЭВЕЛИНА АЗАЕВА



## КАК АПОСТОЛЫ

РАССКАЗ

Полиция пришла утром. Причём не просто полиция, а Королевская конная полиция — что-то вроде канадской ФБР. Не на конях, правда, прискакали, а на машине приехали. Евдокия, которая только проснулась и ещё ходила по дому в накинутом на ночнушку халате, непричёсанная и ненакрашенная, была смущена. Настолько, что даже не испугалась. “И не прибрано”, — с отчаяньем подумала, по русскому обычаю пригласив вот этих, которые сунули свои удостоверения ей в глаза, в дом.

Это были мужчина и женщина. Они вошли, беспокойно озираясь, как будто в штаб-квартиру Кремля, где из-за угла на них могли наброситься псковские десантники или медведи в ушанках со звездой.

— Кто ещё в доме? — спросила женщина.

— Трое детей, собака и кошка. Их позвать? — простодушно спросила Евдокия, думая в этот момент о другом: на столе у неё лежала куча фотографий с форума эмигрантов в Москве. Кто знает, как пришельцы это воспримут? Она там с Лавровым на одном фото. Притулилась к нему и улыбка до ушей.

---

*АЗАЕВА Эвелина Шамильевна родилась в 1970 году в Алма-Ате, окончила журфак Казахстанского государственного университета. С 1991 года жила в Новосибирске. Работала собкором “Комсомольской правды” в Сибири. С 1998 года живёт в Канаде. 14 лет издавала газету “Комсомольская правда в Канаде”. Является корреспондентом “Комсомольской правды” в этой стране. С 2018 года издаёт газету на английском языке. Автор двух сборников рассказов, вышедших в Канаде, — “А хочешь в Канаду?” и “Полное накрытие”. Печаталась в журналах “Нева”, “Аврора”, “Огни Кузбасса”, “Крым”, “Байкал”. Дипломант 1 степени литературного конкурса “Мгинские мосты” (Санкт-Петербург 2021). Член Новосибирского отделения Союза писателей России.*

Мысли метались. Ведь если по-человечески рассуждать: ну и что, что с Лавровым? Посещать форумы эмигрантов канадским гражданам не запрещается. Свобода передвижения и всё такое прочее... Если туда пришла знаменитость, отчего с ней не сфотографироваться?

Но это по нашей логике, а кто знает какая логика у Канадской Конной?

Гости попросили запереть собаку в туалете, уселись на диван и задали первый вопрос:

— Расскажите нам, пожалуйста, про форум в Москве. Какие у него были цели, кто приехал туда, что вы там делали?

Евдокия читала, что в некоторых тюрьмах мира демократические их устроители допрашивают арестантов голыми. Такая форма воздействия. Голый человек не настроен к сопротивлению. Он всё время испытывает стыд и думает только о том, как ему прикрыть срамные места. К тому же как-то глупо быть голым партизаном или голым героем. Смешно как-то. Вот и Евдокия, в ночнушке, с растрепавшимися за ночь волосами, с помятым лицом сорокалетней женщины, чувствовала себя, как голый арестант. Запах дорогих духов от полицейской женщины только усугублял комплексы. Потому Дуся сконфуженно ответила:

— Да ничего особо не делали. Катались на катере по Москве-реке, пили шампанское, ели блины с икрой. В России, знаете ли, такое гостеприимство...

— Цели форума?

— Россия готовится к выборам. Собрали руководителей эмигрантских общественных организаций, чтобы те оповестили народ о выборах и подтолкнули граждан России, проживающих за рубежом, к участию в выборах.

Евдокия не могла понять интереса к этому событию. Россия с недавних пор стала пытаться объединить соотечественников за рубежом. Тратила на это большие деньги. Но получалось не ахти... Потому что приглашали кого попало. Эмигрантов, от которых ничего не зависело. Нет бы приглашать руководителей хорошо настроенных к России СМИ — те бы потом могли хоть к чему-то призвать эмигрантов или пиарить русскую культуру в своих газетах и программах. Или бы московские чиновники выяснили, кто действительно является активистом в русских общинах, кто проводит парады Бессмертного полка, ведёт за собой массы. Нет, приглашают чьих-то родственников, знакомых, которые пьют, едят задарма, живут в шикарных гостиницах на российские деньги, а потом возвращаются за границу, и никакого выхлопа от них нет. Так это ещё хорошо, если нет выхлопа. А то Дуся как-то слышала за спиной от двух делегатов-эмигрантов, как они переговаривались между собой: “И когда они уже Путина скинут?” Имелось в виду, россияне. Потом эти два товарища сняли телепередачу по итогам форума. Показали её на своём израильском ТВ. Один из них, пожилой и морщинистый, как шарпей, сидел в расстёгнутой чуть ли не до пупа рубашке, из которой торчали седыми пучками длинные кудрявые волосы, и, важно роняя слова, критиковал российских журналистов за плохой русский язык. Дескать, очень его поразило в России, какие непрофессиональные там журналисты. При этом он постоянно употреблял лагерные слова: “нагнули”, “прогнулся”, “подставился”.

Но не говорить же Канадской Конной, что все эти мероприятия при том, что цели у них белые и пушистые, превращаются в пиры для эмигрантов за счёт российских налогоплательщиков? Евдокия не из тех, кто критикует Родину перед иностранцами.

— Какие суммы ваша организация переводит в Россию и для чего?

Дуся поразилась. Никаких денег возглавляемая ею организация “Союз русских эмигрантов Канады” в Россию не переводила. И не получала отсюда ничего. Всевозможные российские фонды только обещали деньги, но ничего не давали. Так что у них в “Союзе” все работали на голом энтузиазме.

А что делали? Проводили митинги против АТО и против того, чтобы Канада давала Украине деньги. Писали письма на английском языке канадским депутатам в разгар боевых действий на Донбассе, рассказывая, как на самом деле там обстоят дела, и призывая повлиять на власть, чтобы она не поддерживала режим Порошенко. Писали комментарии к статьям в канадских

англоязычных газетах, просвещая канадцев на ту же тему. Собирали деньги и вещи для детдомов и больниц Донбасса. Для ополченцев не собирали, так как хоть они и не признаны официально Канадой террористами, но всё же в “органах” могут счесть, что русские эмигранты спонсируют “незаконные вооружённые формирования”. Потому деньги посылали исключительно в больницы Донецка и Луганска. А что там купит на них главврач — инсулин или берцы — эмигранты за то не в ответе.

Хотя украинская община в это время в открытую собирала деньги на АТО. Но украинская — любимая канадским правительством за свою избирательскую многочисленность. Она имеет влияние на выборы в стране, так как украинцев тех больше миллиона, а русских, наверное, полмиллиона, и на них пока канадские политики на выборах не оглядываются. Однако главная причина любви верхов к украинским низам в другом. Украинцы в Канаде больше ста лет живут и проникли уже во все структуры. И в правительство, и в армию. Вот и смотрят чиновники сквозь пальцы на делишки своей общины, и поддерживают её. Ставят памятники писанкам и вареникам.

Полицейские сидели и вопросительно смотрели на Дусю. И её взяла злость. В Канаде вообще-то не принято приходить без уведомления. К ним самим, когда они не умывались ещё, никто не вваливается. В стране действует Украинский конгресс, Еврейский конгресс и ещё целая куча этнических организаций, и что, ко всем сегодня пришли узнать кто, куда и зачем ездил?

— А знаете что? Давайте поступим иначе, — предложила Дуся. — Вы пришлёте мне официальное приглашение на допрос, предоставите социального адвоката, а также переводчика, а я приду к вам на допрос со своим адвокатом.

— Но почему? Почему вы не хотите отвечать у вас дома? — заговорили враз оба посетителя. — И зачем вам переводчик? Вы прекрасно говорите по-английски.

— Мой дом не предназначен для допросов, — пояснила Евдокия. — А переводчик мне нужен для того, чтобы у нас с вами не вышло недопонимания. У нас настолько разная ментальность, что я говорю одно, а вы можете понять совершенно иначе...

Она подошла к двери и приоткрыла её, сделав приглашающий выйти жест.

— Хорошо, — ответили ей. — Мы пришлём официальное приглашение.

Дуся проследила через жалюзи, что они уехали, и вдруг её стало трясти. Испуг пришёл только сейчас. У неё трое детей, она с таким трудом получила в начале девяностых вид на жительство, они столько пережили всей семьёй в период адаптации, и вот нате! Она — враг канадского народа. Или как ещё понимать этот визит? И ведь написала какая-то паскуда донос...

Доносы в общине начали писать после 2014 года. Дуся знала, кто, это было очевидно. Потому что до того, как писать, они звонили. Звонили в банковский офис, в котором она работала. Говорили, что финансовый консультант Евдокия Апухтина привечает у себя террористов. Прямо в офисе банка. Поит их чаем и куёт вместе с ними планы по убийству лидеров Северной Америки и устройству терактов на территории континента.

Менеджер банка был в совершеннейшем обалдении от новости. Он, конечно, не поверил и посмеялся вместе с Дусей над этим звонком. Но ей было не смешно. В офис звонила журналистка, которую она лично знала. Ну, как журналистка? Не настоящая, конечно, а как многие в эмиграции — вдруг поверившая в свой литературный дар тётя-мотя. До эмиграции она отплясывала канкан в варьете Москвы, а теперь мучила радиослушателей грубым голосом и ещё более грубой манерой поведения. Ярая замайданница и русофобка.

Конечно, дружеских отношений у Дуси, любящей Россию каждым своим нервным корешком, с такими людьми быть не могло. Но они здоровались при встрече и ни в каких баталиях не сталкивались. Однажды дамочка брала у Евдокии интервью по поводу организованного “Союзом русских эмигрантов Канады” русского вечера. И вполне хорошо поговорили...

Дуся была поражена тогда, как много пошло доносов на русских активистов. В интернете размещались воззвания на русском и английском языке:

“Обращаем внимание канадских правоохранительных органов на русские организации, которые стремятся подорвать благополучие нашего демократического государства. Агенты влияния... рука Кремля... несопоставимо с нашими канадскими ценностями... требуем немедленной депортации... А руководит всем этим...” Подписей под доносами, разумеется, никаких. Ставили что-то типа “Лига противодействия тоталитаризму в России”. Тут же, в этих доносах, руководители русских организаций и наиболее видные их активисты обвинялись в национализме, шовинизме, антисемитизме и прочих “измах”.

Но и евреям-“ватникам” тоже доставалось. Про Исаака Лернера, прошедшего несколько демонстраций против киевского режима, писали: “И он, будучи евреем, в Пурим плясал “Кадриль” под лестницей российского посольства!”

Дуся смеялась, прочитав это. Под лестницей в российском посольстве — туалеты. Было бы странно, если бы Лернер, проживающий в Торонто, приехал в канадскую столицу в Пурим, чтобы сплясать перед туалетами в российском посольстве. Но писаки-руссофобы не гнушались ничем, потому что их целью не была правда. Целью было подорвать репутацию активистов русской общины любым путём, отомстить “вате” со всех сторон. Если ты русский, пусть тебя все сторонятся, как шовиниста, если еврей, пусть от тебя бегут собраты, как от отступника. Если ты финансовый консультант, пусть тебя вышвырнут из банка, а коли ты владелец магазина — оповестим о твоих выдуманных грехах как можно больше покупателей.

Дуся сходила наверх, на второй этаж, и с чувством удовлетворения убедилась, что дети спят. Каникулы. Сын и две дочери учились в старших классах. Евдокия посмотрела на них, спящих, и подумала, что своей общественной деятельностью, возможно, вредит им. Кто знает, может быть, то, что их мать так любит Россию, фотографируется с Лавровым и размещает в Фейсбуке положительные посты о Путине, не даст детям занять государственные должности в Канаде или негласно лишит их права быть избранными? Никто из детей в канадские депутаты не стремился, но если вдруг начнёт стремиться, вероятно, “органы” вспомнят их мамашу — пионерку-партизанку.

Однажды Дуся сходила на собрание “Любителей истории СССР”. Как ни странно, есть в Канаде и такое общество. Сходила из любопытства, прихватив с собой мужа. Толик в то время работал компьютерщиком в крупном канадском издательстве и был на хорошем счету. Ему намекали на повышение. А вскоре после Дусино с супругом похода к любителям истории СССР, среди которых были какие-то нищие чернокожие старушки и полоумные белые троцкисты в чёрных фуражках а-ля Лейба Бронштейн, Анатолия уволили. Как принято в Канаде — без объявления войны. Подошли, попросили собрать манатки, проследили, чтобы собрал, и вывели чуть ли не под руки.

Конечно, может быть, эти события и не связаны меж собой... Но вспомнилось вдруг Дусе, что руководитель “Любителей истории”, правнук революционерки-садистки, седой старикан, провожая её, тихо сказал по-английски: “Евдокия, не будь хорошей, будь осторожной”. По-русски он не говорил, а только по-английски и почему-то по-румынски.

Дуся всегда нравилась старикам потому, что и они ей нравились. Апухтина выросла на Кавказе и впитала с молоком матери уважение к старости. Где бы она ни была, первым делом заботилась о стариках. На русских вечерах рассаживала их, а не политиков и спонсоров, на лучшие места. В первую очередь еда подавалась им. И она видела, как лучились глаза пенсионеров, на неё обращённые. Вот и этот, правнук большевички, увидел в ней искреннее к нему внимание и уважение (в конце концов, правнуки за прабабок не отвечают) и съёл нужным предупредить.

Евдокия налила себе чай с жасмином — полюбила его, ещё когда работала официанткой в китайском ресторане, сразу после приезда в Канаду, и закручинилась.

Полиция приходила уже ко всем активистам её организации. А, спрашивается, почему? Нет, конечно, имеют право. Наверное, вот этим тотальным контролем и достигается безопасность государства, но ведь русские не делают ничего противоправного. Митинги проводили только с разрешения мэрии.

Ходили мирно, никого не трогая. Слова на транспарантах были выверены по букве закона. Никаких призывов к экстремизму, исключительно просьбы и пацифистские лозунги: “Русская Канада против фашизма на Украине!”, “Нет войне! Донбасс, мы с тобой”, “Одесса, скорее гони Бандеру в шею!”, “Канадские налогоплательщики против траты денег на войну на Украине!”

Однажды какой-то проходящий мимо канадский студент спросил: “Вы русские? Вы ненавидите украинцев?” — и как же все к нему бросились уверять, что нет, мы, дескать, любим украинцев, при этом многие били себя в грудь и кричали: “Я сам из Киева”, “А я из Харькова”, — мы просто против фашизма и войны, а также против поддержки переворотов в других государствах. Доказывали, что Канада портит свой имидж миролюбивого государства, что в ней самой проблем масса, так не лучше ли ими заняться, чем бегать по планете с демократизатором?

— Мы любим Украину и украинцев, — божились русские эмигранты, и Дуся знала, что они не лгут. Потому что русские всегда любили украинцев. И можно обижаться на брата, можно поражаться его ослеплённой подлости, его неожиданной жестокости, но разлюбить — по-настоящему, до конца — довольно-таки трудно, если не сказать — невозможно. Он заносит меч над тобой, а ты видишь родные глаза, родные руки, и всё ваше общее чумазое, но счастливое детство проносится перед глазами. Ты отталкиваешь его, ты перехватываешь меч, ты вяжешь его, то ли пьяного, то ли одержимого, ты вызываешь бригаду психиатров, но боже, как болит душа!.. Как болит душа и как горячи слёзы обиды, как хочется, чтобы всё прошло, словно дурной сон...

Но сон не проходит, и ты кричишь: “Будь ты проклят!.. Ты всех нас предал!.. Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?”, — а он, как Кай из сказки про Снежную королеву, не слышит тебя и не видит. Попавший в его глаз осколок кривого зеркала исказил твой образ. Ты говоришь: “Люблю”, — он слышит: “Ненавижу”, — ты пытаешься обнять, а ему чудится, что ты достаёшь из кармана заточку.

И в Дусиной организации ребята часто кричат: “Не простим!”, “Украины и украинцев для нас больше не существует”. Но Дуся знает, что это ложь. Это сгоряча, от обиды. Даже чеченцев, которые русским по крови не братья, и по культуре не братья, и по вере не братья, простили и примирились. А уж украинцев не просто простят, а снова сольются две славянские реки в одну и будут крепче, чем прежде.

Но, конечно, войну на Донбассе никто не забудет. Эту подлую, эту искусственно развязанную сразу после майдана войну. И памятники героям — вовсе не тем, которым укронацисты орут “слава”, — будут стоять по всей территории южного предела России...

Раздался звонок.

— К тебе приходили? — спросила Наталья, руководитель танцевально-го ансамбля “Павушки”. — У меня только что были. Меня всю трясёт...

— Не дрейфь, мы ничего такого не делаем, — стала её утешать Евдокия. — Нам нечего бояться. Ты на вопросы отвечала?

И час они обсуждали кто и что сказал, да как. Наталью спрашивали про то же самое — зачем ездила в Россию, с кем встречалась, видела ли лично Путина (этот вопрос её поразил в самое сердце, заодно насмешив) и шлёт ли туда деньги. Она тут же нажаловалась, что денег у неё и для себя нет, не то, что для России, что в её ансамбле все “павушки” сами шьют себе русские наряды, скинулись на покупку аппаратуры, за концерты им никто не платит, и пляшут они просто для души, а работают кто кем — кассиром в магазине, секретаршей в офисе врача, уборщицей офисов и так далее. Наталья даже потребовала от полицейских поспособствовать в получении гранта. “А то всякие русофобы берут у Канады деньги на развитие русской культуры, а сами на эти гранты выпускают полные лжи газеты и отдыхают в Доминикане!”

— Короче, ты вставила стражам порядка пистон, — нервно хохотала Дуся.

— А чё? — храбрилась Наталья. — Пусть знают, как мы тут живём. Ишь ты, деньги мы в Россию посылаем! Какие такие деньги, когда в Канаде

второй раз кризис? И, между прочим, из стран G-7 только у нас тут кризис второй раз! А безработица какая? Растёт! Я им всё сказала, цифры привела. Упрекнула безработицей в Альберте...

Дуся хохотала, но внутренне восхищалась. Бабоньки ей в организацию достались неопишуемой внутренней силы и красоты. Уехавшие в девяностые за границу славянки — кто замуж, кто просто подзаработать, да оставшиеся там, родили детей от местных жителей, и дверка в Россию захлопнулась. Не будучи артистками, из любви к Родине и желания ей подсобить, в эмиграции вдруг запели народные песни да заплясали, да пооткрывали театры и школы обучения русскому языку, и всё это делали на голом энтузиазме, по вечерам и выходным, днём работая во вполне земных организациях и утавая, так как не девочки уже...

В переломные для русской общины 2014–2015 годы они по ночам рисовали антивоенные плакаты, чтобы утром выйти с ними на демонстрацию, они шли стометровые Георгиевские ленты, пекли сотни блинов на Масленицу (пропаганда русской культуры — идём к сердцам через желудки), наклеивали на доски с палочками портреты фронтовиков и шли колоннами, демонстрируя всем, что была такая славная Победа, и к ней причастны именно русские...

Эти бабоньки вдвухали в уши своим иностранным мужьям, как велика их, русских женщин, далёкая снежная Родина, как справедлива, как непобедима и как чиста... В ней, — кричали в уши этих самых мужей бабоньки, — женятся мужчины и женщины, в ней в церквях не проводят собачьих свадеб, в ней в школах дети учат не про анальный секс, а про князя Михаила Черниговского, который был замучен в Орде за то, что не поклонился идолам поганым...

В эти годы Евдокия отчётливо увидела, кто писал в тридцатые годы доносы и кто был партизаном в Великую Отечественную. Доносы писали те же самые, что и сейчас пишут. Просто изменились формулировки. Тогда доносчики выставляли себя коммунистами, а оппонентов — контрой. Сейчас эта же самая публика, сменившая самоназвание с большевиков на либералов, точно так же клеймит всех, кто ей сопротивляется, выставляя их уже русскими националистами и террористами.

Это новое название для контры. В семьях доносчиков писали деды, отцы, и теперь пишет третье-четвёртое поколение. Традиция. Причём они же одновременно, второй рукой, пишут статьи в газеты, обличая Сталина и уличая народ России в том, что вот именно он весь и является доносчиком, и сам себя высек. Потому что завистник, раб и пьяница. А сами они-де с боку припёка, интеллигенция высочайшей души и необыкновенного интеллекта.

А партизанами во Вторую мировую были вот такие Дуся и Натальи. Плюс Тамары Васильевы. Это ещё одна активистка русской общины.

Евдокия позвонила ей, и та сказала, что к ней пока не приходили...

— Да пусть приходят! Делов-то! Я им скажу, что мы никакие не террористы и не агенты Кремля, а просто люди, которые любят своё Отечество. И когда мы иммигрировали в Канаду, нам не предлагали от России отречься, и все, кто здесь живёт, — украинцы, итальянцы, китайцы, арабы, евреи — любят свою родину и помогают ей, а почему нам нельзя?

Тамаре за шестьдесят, и она — настоящая русская красавица. Правильные черты лица, умные и всё понимающие синие глаза, ржаные длинные волосы забраны в низкую “шишку”, на плечах обычно оренбургский платок. Выражение лица — спокойно-сердечное. На Тамару хочется смотреть и смотреть, хоть и немолода. Евдокия, глядя на Васильеву, всегда думает, что вот если женщина была красива в молодости, то и в пожилом возрасте это видно. А то некоторые бьют себя в грудь, будто в юности они были красавицами, а следа не найдёшь.

Васильева прожила в Канаде двадцать лет. Русская эмигрантка с Украины. Уехала оттуда, когда в незалежной начались антирусские закидоны. Преподавала в университете химию, писала научную работу, и вдруг сказали, что работу нужно писать по-английски, а преподавать — на украинском. Тамара знала оба этих языка, но ей не обосновали, отчего нужно позабить

русский язык. И она отказалась участвовать в балагане, как она назвала новшества.

— Всё, что случилось в 2014-м на Украине, родилось не в одночасье, — рассказывала она Дусе. — Помню, был у нас в университете приятный парень лет тридцати. Я с ним почти дружила. И каким же обухом по голове было для меня, когда он сказал: “Я бы всех москалей кипящей смолой залил!” А ещё старушка у нас одна преподавала, я её очень уважала, в гости к ней ходила, и тоже из неё в годы “обретения независимости” полезло. Сказала мне, что русские хороши, когда лежат на три метра в земле... Российского гражданства у меня не было, у нас многие тогда подавали документы на эмиграцию в Канаду и довольно быстро получали желаемое. Я тоже подала. Не всерьёз даже, а так... вдруг дадут, и поеду, заработаю...

Васильева слывёт неустрашимой. Всегда идёт впереди всех демонстраций и ни очки не надевает, ни плакатом не загораживается. Весь вид её — Родина-мать. Её любят все русские “ватники”. Причём и на работе, в канадской компании, где она дослужилась до менеджера, её тоже любили. Честный человек всякому приятен — он даёт надежду, что мир спасётся. Сейчас вышла на пенсию и недавно съездила в паломническую поездку на Валаам. Рассказывала на собрании “Союза русских эмигрантов Канады” о своём воляе и плакала от счастья:

— Там вовсю идёт строительство, мостят тротуары, новые храмы открывают... Буквально на каждом шагу храмы... Везли нас на туристическом автобусе, остановились в какой-то глуши в туалет сходить, так туалет — таковой в Европе не найдёшь. Плитка блестит, краны какие-то диковинные — с цветной подсветкой... По городу идёшь — красота несказанная: и дома красивые, и цветы кругом развешаны в изящных корзинах... Поднимается Россия, не сломили её окаянные. Всё, всё в ней мило и прекрасно!

Эмигранты слушали, кивали. Все ездят и видят, как меняется страна. Кому-то в России не видно, а издалека всё замечаешь, самую даже малость: водители стали пешеходов пропускать, на улицах и в общественном транспорте никакого хамства, в ресторанах расторопно и вежливо обслуживают, детишки идут хорошо одетые, подтянутые, в парках установлены тренажёры для того, чтобы народ спортом занимался, и вокруг них молодёжь вьётся...

Радовались души эмигрантские и плакали от счастья видеть Родину восставшей из пепла. А русофобы шипели со страниц Фейсбука и эмигрантских газет: “Вы крысы, сбежавшие с корабля”, — и кричали: “Чемодан-вокзал-Россия”. Но если поначалу это оскорбляло патриотическую “волну” — эмиграцию девяностых годов, то потом на шипение перестали обращать внимание. Слали гуманитарку в Россию, орали за неё на всех углах и клали с прицепом на то, кто что по этому поводу думает.

Евдокия всё же, узрев однажды на одном из русских пикников священника, отвела его в сторонку и спросила наблевшее:

— Грех это — что мы Россию покинули, или нет? Что вы скажете? Мы же тогда, когда уезжали, ничем ей помочь не могли. Нам зарплаты не платили, жить не на что было, а криминал какой был — моему мужу угрожали сына похитить, если не поделится с рэкетом. Мы спасались, но ни разу свою страну не охаяли за границей и всем рты затыкали, кто из предыдущих волн эмиграции пытался её охаять... Мы ни разу не предали, а природы эти прут на нас, щиплют, попрекая. Правы они?

Батюшка ответил не сразу, а подумал, сахар в чай положил, размешал, и тихо, но уверенно сказал:

— Господь дал людям дом. А самым сильным дал посох. И сказал: “Свидетельствуйте!”. И пошли апостолы по миру свидетельствовать... Если бы они не разбрелись по Земле, как бы люди узнали Слово Божие? Вот и вы... Как апостолы... Вы же свидетельствуете?

— Ещё как! — всыхнула Евдокия. — Беспрестанно.

— Вот и свидетельствуйте. И ни о чём не беспокойтесь. Не бойтесь ничего. Бог боязливых не любит.

Сейчас, после визита Королевской Конной, Евдокия вспомнила эти слова. “Бог боязливых не любит”, — повторила про себя, и вдруг стало на душе светло и радостно.



И что её бояться, этой полиции? Сейчас вот прошлись по русским активистам, убедились, что это просто люди — с семьями, с работой, с ипотечными выплатами, а никакие не террористы, и посрамлены будут доносчики. И никто им больше не поверит. А вызовут в полицию, так отчего не сходить, не прочитать там курс всемирной истории? В Канаде в школах историю учат всё больше свою, а всемирную почти не изучают. И результат налицо. Однажды Дуся ходила в кинотеатр смотреть фильм “Мария-Антуанетта”. Картина заканчивалась сценой ареста короля и королевы. После этого пошли титры и зажгётся свет. Дуся услышала сзади разочарованное восклицание на английском:

— Ну, и что это за конец? А что с ними дальше-то?

Так вот, отчего не пойти в полицию, не продемонстрировать свой новый костюм, страшно дорогой и купленный в ГУМе (всё же стыдно было за свой неприбранный вид), и не рассказать хотя бы историю появления Крыма в составе Российской империи?

Но никакого письма с приглашением на допрос она так и не получила.

ПАВЕЛ ШИРОГЛАЗОВ



## ПАСЫНОК РУССКОЙ НИРВАНЫ

НА АНДОГЕ

Деревень на реке, точно пальцев на каждой руке,  
И покинутый мост коченеет на русских изломах.  
Я давно бы исчез, растворился в сыром сквозняке,  
Но хранит меня Бог на цветущих ладонях черёмух.  
В каждой заспанке туч ощущаю невидимый взор.  
С каждой каплей дождя становлюсь невесомей и чище.  
Звёзды ладят покой и уходят в далёкий дозор,  
Приглашая меня на ночное своё толковище.  
Помогу, чем смогу. Даже, чем не смогу, — помогу  
Всем, кто вспомнит меня и протянет мне скорую руку.  
Преподобный Филипп ждёт меня на крутом берегу,  
Чтоб отвесить “леща”, преподав непростую науку.

---

*ШИРОГЛАЗОВ Павел — поэт, член Союза писателей России, член Российского фольклорного союза. Родился в 1985 году в Иркутске, живёт и работает в Череповце. В настоящее время является сотрудником литературного музея Н. Рубцова, также занимается фольклорным театром: с 2017 года является руководителем бродячего театра кукол “Етишкина Жизнь”. Поэт много странствует по стране: проводит литературные вечера, спектакли, музыкально-поэтические концерты (сказывает стихи под аккомпанемент гуслей, колёсной лиры и других русских музыкальных инструментов). Автор двух поэтических книг. Стихи публиковались во многих печатных изданиях: “День поэзии” (Москва), “Вологодский лад” (Вологда), “Невский альманах” (СПб), “День литературы” (Москва), “Российский писатель” (Москва) и др. Участник нескольких музыкальных проектов. На стихи Павла многими композиторами из разных уголков России написано большое количество песен.*

Деревень на реке, точно пальцев на каждой руке,  
И покинутый мост коченеет на русских изломах.  
Я давно бы исчез, растворившись в сыром сквозняке.  
Да хранит меня Бог на цветущих ладонях черёмух.

\* \* \*

Я тем и рад, что катятся стихи,  
Как бусины, из розовой гортани,  
И всякого, кто собирать их станет,  
Я не покину в зарослях ольхи.  
И отведу в такую глухомань,  
Где тишина расчёсывает кроны,  
Где нет бездарной смерти от “короны”.  
Стихи текут, и плавится гортань.  
Я тем и рад, что родиной объят  
И не ищу другое место силы:  
Когда вода уйдёт и затупятся вилы,  
Мои стихи меня проговорят.  
И явятся однажды пастухи,  
Стирая все невидимые грани.  
Я тем и рад, что катятся стихи,  
Как бусины, из розовой гортани...

## КОЛОКОЛ

*В. Трифанову*

Не рядышком и не около, не близко, не далеко:  
Душа моя — это колокол с развязанным языком.  
Не выбраться, не опомниться, не умереть сперва:  
Душа моя — это звонница, в которой живут слова.  
Пусть всё через пень-колодину, и мир — как большой блиндаж:  
Душа моя — это родина, которую не предашь.  
Мне ветер под ноги падает, не смея пройти насквозь,  
И солнце горит лампадою, подвешенное на гвоздь.  
Не рядышком и не около, не близко, не далеко:  
Душа моя — это колокол с развязанным языком...

\* \* \*

Я кутался наспех в болотную тину  
И бился глазами о днище колодца.  
За вечную жизнь я платил десятину:  
Не так уж и много для первопроходца.  
Меня привечали небесные своды,  
И ветры мой дом обдирали до нитки,  
А после я падал в крещенские воды  
И снова топтался у райской калитки.  
Ходил по воде и оттаивал в марте,  
Плюсуя к любви незажившие раны.  
Я был, как решительный выстрел на старте, —  
Неистовый пасынок русской нирваны.  
Я кутался наспех в болотную тину  
И бился глазами о днище колодца.  
За вечную жизнь я платил десятину:  
Не так уж и мало для первопроходца...

\* \* \*

Не лезьте в душу: в душе — учёт.  
Подайте грош и ступайте с миром.  
Я — неприкаянный дурачок:  
Со мной тягаться вам не по силам.  
Поверьте на слово — я не вру,  
За правду мучаюсь и страдаю,  
И вот поэтому не умру,  
Пока Россию не оправдаю.  
Не рвите лацканы на груди:  
Они не вами туда пришиты.  
Мне рай мерещится впереди,  
Где после терний растут самшиты.  
Не лезьте в душу: в душе — учёт,  
И не злорадствуйте вдоль дороги.  
Я — неприкаянный дурачок,  
А на Руси подают убогим...

ИЛЬЯ КОРОЛЬ



ИТАЛЬЯНСКИЙ КАБАН

РАССКАЗ

*Охота — это когда жуть как охота.  
Народная охотничья мудрость*

Командиру карабинерии итальянского городка Риомаджоре Донато Гвидиче не так давно стукнуло сорок лет. Несмотря на появившуюся седину на висках, он по-прежнему был хорош собой, держал себя в отличной физической форме, сохранял свой весёлый нрав и обладал живым чувством юмора. Майор Гвидиче вступил в тот самый возраст, о котором принято говорить: “Мужчина в самом расцвете сил!”

Донато родился в семье потомственных полицейских: его отец всю жизнь прослужил в полиции, дед, вернувшись с Восточного фронта и из русского плена, сразу пошёл в карабинеры и отдал весь остаток отпущенных ему непростой судьбой лет охране правопорядка. Разница лишь в том, что дед был карабинером, отец же служил в полиции и дослужился до начальника квестуры стотысячной Специи — главного города одноимённой провинции, а Донато, как и дед, возглавлял участок карабинерии небольшого городка Риомаджоре, в котором проживало немногим более полутора тысяч жителей.

---

*КОРОЛЬ Илья Евгеньевич родился в 1965 году в Бресте (СССР), после окончания школы с золотой медалью поступил в Ленинградский электротехнический институт (ЛЭТИ) на факультет прикладной математики. По окончании вернулся в Брест и более десяти лет работал инженером-электронщиком и инженером-математиком. Затем в Великобритании работал программистом в финансовой сфере, а по возвращении в Брест — финансовым директором крупной транспортной компании, стал главой представительства немецкого концерна в Беларуси и переехал в Минск. После смены руководства концерна организовал своё предприятие в сфере продажи, ремонта и обслуживания грузового автотранспорта. Живёт в Минске.*

Правда, в летний сезон население удваивалось, а то и утраивалось. Вот тогда и подваливала разная, не слишком утомительная работёнка. Располагаясь на востоке национального парка “Чинкве Терре” (“Пять Земель”), его участок порой выступал и в роли природоохранной полиции — “Лесного корпуса государства”, с которым ему частенько приходилось общаться. Он много помогался по городам и весям Италии и, как только освободилась должность командира карабинерии в родном Риомаджоре, не без помощи отцовских связей получил это тихое место, где и собирался спокойно доработать до пенсии. К этому времени он точно знал, почём фунт лиха в сложной полицейско-карабинерской системе Италии, и совсем не горел желанием продолжать карьерный рост. Вступив в пятый десяток своей жизни, он уже был напрочь лишён должностного честолюбия и вялотекущую свою работу любил.

Такого необычного случая, как с русским Иваном Зайцевым, он не мог припомнить за все свои двадцать лет карьеры. А прошёл он и реальную войну с мафией, и застой, и вынужденное безделье в политически сложных временах, когда правительство и министры менялись, как кадры киноплёнки. Зацепили его краешком и мусорные дела. Да Бог знает, что ещё он прошёл в запутанной полицейской системе Италии...

Вот уже второй день он пребывал в раздумьях по поводу дела этого бестолкового русского и понимал, что запятую в классическом: “Казнить нельзя помиловать!” — ставить ему. До их личной встречи запятая логично вырисовывалась сразу за первым словом, но после допроса (переводила жена Зайцева) он засомневался и никак не мог принять окончательного решения. Такого одновременно комичного и жестокого случая он не мог припомнить не только у себя в Риомаджоре, но и ни у кого из множества знакомых коллег, разбросанных по соседним городам и весям.

Иван Зайцев — русский сибиряк, промышленник — вот уже третий год подряд снимал на всё лето древнюю виллу прямо на границе с заповедником “Чинкве Терре” на живописном лесистом холме, за которым с одной стороны начинался красивейший заповедный лесной массив, а с другой — великолепный, захватывающий дух вид на Средиземное море. Это был его осознанный выбор: он долго искал и нашёл-таки чудесное место отдыха отнюдь не на первой линии у моря в каком-нибудь пятизвёздочном отеле. Хотелось, помимо отдыха у моря, получить удовольствие от заповедных европейских лесов. В пляжных городках и посёлках никогда не найдёшь таких красивейших рощ, раскинувшихся на холмах и скалах, волшебной, практически, безлюдной тишины. Именно в таких местах ощущаешь себя уже не гостем, но хозяином.

Отслужив срочную в Афгане, немало испытав в лихие девяностые, Иван как раз в годы лихолетья и отважился открыть своё дело. Начал он с простой рубки леса и продажи кругляка, а в итоге уже владел двумя лесозаготовительными компаниями и деревоперерабатывающим комбинатом, официально арендовал тысячи гектаров таёжного леса. Не только весь посёлок, на краю которого жила его семья, трудился в его компании, но и сотни людей со всех концов Сибири. Иван стал полноправным хозяином тайги, а его хутор со временем превратился в поместье, настоящую сибирскую крепость, которая в случае войны, скорее всего, смогла бы достаточно долго просуществовать автономно.

Жена Ивана Наталья закончила Московский институт иностранных языков. С их первой случайной встречи она отчаянно влюбилась в этого решительного, крутого парня и к сорока годам родила ему, ни много ни мало, четверых детей. Помимо семьи Ивана, на этой роскошной вилле в райском летнем итальянском уголке на берегу моря отдыхали и отец-пенсионер, проработавший всю жизнь простым егерем, и родители жены.

Иван жил на вилле наездами — нельзя было надолго бросать работу, а вот семья оставалась здесь на всё лето. Иногда и он задерживался на неделю-другую в Италии, но уже дней через пять начинал дико скучать по мамушке России. Вот в один из таких днейков он и набрёл не на что-нибудь пустяковое, а на синеватые гроздья, в которых любой охотник отличит помёт дикого кабана. Иван почувал добычу! Начался расширенный поиск: здесь

на тропе поломанные кусты, тут — ободранная кора, а там, под дубами, — выкопанные в поисках желудей ямы...

Иван загорелся, как мальчишка. Купить охотничье ружье русскому в Италии весьма сложно. Шестидесятилетний хозяин виллы Антонио — не охотник и, судя по его словам: “У меня нет и никогда не было никаких друзей-охотников”, — ружьё через него не достать. Что же делать?

Прогуливаясь в оружейном магазине в Специи, Зайцев набрёл на стенд с арбалетами, и тут пазлы сложились: Италия, древняя вилла, арбалет, дичь... Денег не пожалел — купил настоящего красавца из титанового сплава. Дороже в этом магазине не было. Тут же приобрёл дополнительный комплект стрел — по-сибирски, с запасом. Ко всему этому добавил и приглянувшийся охотничий нож, скорее, клинок, если судить по длине лезвия. Для полного комплекта на вилле его ждал родной старый добрый цейсовский супербинокль.

Для начала — пару дней тренировок с арбалетом. Когда стал надёжно попадать в цель диаметром до полуметра метров с тридцати — пора! Три ночи в засаде. Безрезультатно. А ведь послезавтра день рождения вдового отца. А как хочется сделать егерю настоящий охотничий подарок! Тоска немимовременная. Недосып. Но упрямству настоящего сибирского охотника нет границ. На четвёртую ночь, вдыхая ночные ароматы заповедного леса, почувствовал, как к нему вдруг пришло то самое шестое чувство: “Вот шерстью на спине чую: ночь моя!” Врождённая охотничья интуиция не подвела: в волшебной предрассветной дымке к дубу, на мощной ветке которого он устроился и под которым уже неделю оставлял подкормку, вышла семейка кабанов. Шагах в двадцати остановились. Прислушиваются к каждому шороху. Беззвучно взвёл стрелу. Выбрал самого мощного, прицелился и — произвёл выстрел. Попал первой же стрелой! Кабан дико заверещал и повалился на бок. Гребёт ногами и пытается встать. Тут главное — не упустить добычу. Второй выстрел снова крепко ранил визжащее животное, которое всё ещё пыталось подняться. Третья — промах. Кабан сумел-таки вскочить на ноги. С рыком и хрипом он двинулся прочь. Иван спрыгнул с дерева и рванул в погоню. Визжащий кабан направился как раз в сторону виллы, а значит, всё идёт как надо! Возбуждение, напряжение, азарт преследования поглотили охотника, Иван физически ощущал пульсацию крови в висках. Наконец нагнал. Кабан пошатывается, но прёт напролом совсем рядом — метрах в пятнадцати. Иван присел на колено, прицелился и... снова промах. Тут же натянул пятую, выстрел, свист стрелы — и в точку! Кабан рухнул, но всё ещё дёргал ногами, повизгивал. Иван быстро подскочил к зверю и новеньким охотничьим ножом перерезал глотку. Кабан стих. Тело его всё ещё продолжало дёргаться, и на всякий случай Иван ткнул пару раз, вкрутил клинок что есть мочи в сердце. Всё, прикончил! Дальше привычно вырезал гениталии. Так положено, чтобы мясо не пропахло — тогда дичь останется свежей, нежной, парной, без душка.

Побежал к машине — небольшому японскому внедорожнику, который арендовал с прицепом для перевозки морского катерка. До него дело пока так и не дошло. Да какая тут моторка, когда такая охота! Поехал назад к дому и бесшумно прокрался в него, разбудил и прихватил в помощь отца. Долго объяснять не пришлось, старый опытный егерь сразу понял, откуда дует ветер. По дороге к кабаньей туше Сергей Павлович рассказал старый егерский анекдот:

— Охотник убил большого оленя. На выстрел поспешил лесник и потребовал лицензию. Охотник ответил, что лицензии у него нет. Лесник решил доставить его вместе с убитым оленем в город. А когда совместными усилиями туша была вытащена на дорогу, охотник вдруг воскликнул: “Фу-ты, чёрт, ведь я совсем забыл, у меня же есть такая лицензия, вот она!”

— Нет у меня лицензии, батя. На кураже всё сделал. Сам понимаешь — охота, — извиняясь, произнёс Иван.

— Я-то понимаю, а власть местная поймёт?

— Думаю, что вся власть одинаковая — она ночью ничего не понимает, потому что сладко спит, — с напускной уверенностью успокоил отца Иван.

Они чуть не надорвались, загружая мощную тушу кабана на прицеп, который Иван приспособил, кинув в качестве основы прямо поверх шасси лист фанеры. Двести килограммов, не меньше! Накрыв тушу чёрной плёнкой и крепко закрепив всё тяжкими ремнями, сели на травке передохнуть на дорожку. Трава мягкая, душистая. Тёплая итальянская ночь сменилась рассветом, который разбудил яркое южное солнце. Приятный лёгкий ветерок с моря. Красота! Опять же — и трофей готов к перевозке домой. Напряжение спало, настроение не просто улучшилось — душа охотника пела оперные арии после успешного завершения совсем непростого дела. Три ночи в засаде, и без ружья и патронов добыт заслуженный мощный трофей!

— Я — опытный егерь, но впервые в жизни вижу кабана, забитого стрелами, — усмехался отец. — Ну, сынок, ты удивил!

— Не поверишь, но я и сам здорово удивился. Арбалет освоил на раз!

Иван стал усаживаться за руль. Седовласый егерь захлопнул дверь машины со своей стороны и подвёл итог:

— Дело сделано. Теперь будем пожинать плоды.

Пока Иван отсыпался за все утомительные дни, проведённые в засаде, клан Зайцевых занялся разделкой туши. В семье охотника царило привычное возбуждение. Руководили процессом отец-егерь и мать Наталья.

Иван проснулся к полудню, вышел на улицу и подивился необычайной красоте вокруг. Вдали под ласкающим солнышком раскинулось необъятное, манящее искристой голубизной море. К запаху вековых пиний и сосен, окружавших древнее строение, органично вписанное талантливыми итальянскими зодчими в окружающую природу, неуловимо примешивался дух морских просторов. Какое счастье — вот так, в одних плавках, босиком топтать по ковру опавших иголок к семейному бассейну! Не раздумывая, нырнул в прозрачный холодок воды. На отдыхе такой моцион успешно заменял ему традиционный процесс утреннего умывания. Довольные появлением отца, дети тут же с криком и гамом присоединились. Власть набаловавшись со своей малышкой, Иван решил наведаться на кухню. Вся основная работа по разделке была практически завершена. Лучшие куски мяса разложены по пакетикам и заняли свои полки в холодильнике и морозильнике. Осталось закончить с колбасами, но для кровянки не доставало гречки. Придётся ему ехать в городской супермаркет. Ещё под вопросом, водится ли гречка в маленьком итальянском городке. Иван кликнул детей:

— Ну-ка все из бассейна. Вытираемся и — в машину. Прогуляемся по лесу, найдём пару стрел и едем купаться на пляж. Потом в супермаркет за мороженым!

Счастливая Наталья тщательно сполоснула и насухо вытерла руки. Подошла попрощаться с мужем. Для неё и для него — не просто ритуал, это что-то вроде берега, охранной грамоты родному человеку перед дорогой. Кто жил в тайге, тот поймёт. Да что тайга? В городских каменных джунглях иначе? В каждой крепкой семье есть свой ритуал расставания. Нежно обняла, коротко поцеловала мужа-добытчика и тепло напутствовала:

— Посматривай за малышкой, охотник!

В тот момент, когда Иван уже начал трогаться, вдруг к водительскому окну машины подскочила мать Натальи, протягивая пакет с большим куском мяса:

— Подожди, Ванечка. На вот, подари Антонио.

Иван не любил, когда что-то менялось в последний момент, а тем более, если кто-то лез к нему после объятий жены. Он расстроился, но виду не подал. Нехотя взял трофей и подумал: “Эх, теща, ни к чему этот подарок! Да ещё этому расфуфыренному...”

Хозяин виллы Антонио стал вдовцом много лет назад. Покойная жена была родом из древней аристократической фамилии. Сам он когда-то слыл дорогим адвокатом, правда, не слишком успешным. После смерти супруги он окончательно сформировался как бездетный бездельник. От семьи жены ему досталась недвижимость, которую он и сдавал, и которая год за годом ветшала. Ветшал и сам Антонио. Как и все бездельники, он завидовал успешным и позитивным людям. Тем более этому процветающему русскому. Сильному,



настырному. У Антонио тихо и пусто в доме, а у Ивана — большая дружная шумная семья. Настоящая итальянская *grande famiglia*.

В маленьком Риомаджоре Антонио все знали, но никто с ним не сблизился. Он никому никогда добра не делал, потому никто и ему никогда не симпатизировал. Одним словом, тот ещё типчик. Приятели, если их можно так назвать, крутились вокруг Антонио такие же, как и он сам, — эгоисты и, по большому счёту, неудачники. Вы скажете: “А деньжата-то у них водятся!” Но что такое деньги, если нет счастья?

Антонио оказался в своей шикарной квартире, занимавшей верхний этаж фешенебельного дома на центральной набережной Риомаджоре. Расслабленно утопая в шикарном кресле и попивая вино, смотрел по телевизору футбол.

— Что-то случилось? — При виде гостя Антонио напустил на лицо дежурную благожелательную маску.

— Презент! — Иван выпалил одно из немногих известных ему иностранных слов и протянул большой, килограммов на пять-семь пакет.

— Гуд италиан вайлд порк\*, — русский охотник с трудом выдавил из себя заготовленную фразу. Он неплохо понимал английский, но говорить на чужом языке для него было сущей пыткой.

— Спа-си-ба, спасибо, — в свою очередь уже на ломаном русском и с дежурной улыбочкой на лице итальянец принял мясо.

Иван не нашёл, чего ещё такого сказать, пожал руку Антонио и быстро пошёл по лестнице вниз к машине, в которой его дожидались дети.

Недолго думая, вегетарианец Антонио пошёл в полицию. Вернее, поехал. Вернее, не в полицию, а к карабинерам. Семья жены была близко знакома с семьёй Гвидиче. Один из сыновей старого Гвидиче как раз командовал в карабинерии Риомаджоре. Он его знал лично и не сомневался, что заявление будет рассмотрено. Забой дикого животного в пределах национального парка — дело серьёзное!

Вечером большая семья Зайцевых праздновала день рождения главы — Сергея Павловича. На праздничном столе у егера, как и положено, — дичь. Всё свершилось, как и задумывал сын Иван.

Тост расчувствовавшегося от тёплых поздравлений отца заканчивал чудесный вечер в тихой тёплой итальянской ночи:

— Спасибо всем вам за прекрасный праздник. Спасибо моему единственному сыну Ивану! Мне в жизни не слишком-то везло. Отец, настоящий волевой азартный крепкий сибирский мужик, которого помнил весь наш таёжный посёлок за его решительный и непокорный нрав, ушёл на войну, когда мне только исполнилось пять лет. Я совсем не помню его. Только крепкие руки, они высоко подбрасывали меня в воздух, и колючую щетину... Жутко кололась, когда он целовал меня в щёку. Он был настоящим охотником, а за несколько месяцев войны показал себя одним из лучших снайперов в 284-й сибирской дивизии. Погиб отец на Мамаевом кургане в Сталинградской битве. За его боевые заслуги нам на хутор прислали не только похоронку, но и две благодарности Верховного Главнокомандующего с посмертным орденом Славы. Трудно я рос. Рос без отца в нелёгкие послевоенные годы. Только-только всё наладилось, срубил себе с молодой женой новый дом, как моя нежная, милая, добрая, тихая Алёнушка, мать Ивана, умерла при его родах. Единственным утешением стал Иван, который унаследовал беспокорный нрав моего отца, его деда, именем которого я его и назвал. Мой малыш рос, и я расцветал вместе с ним, он вырос, а я состарился. Одно могу сказать точно: мне, наконец, повезло! С сыном, с его женой Наташей, с четырьмя внуками. И теперь я точно знаю, что такое счастье!..

Привезли русского Ивана на первый допрос в карабинерию Риомаджоре утром на следующий день. Скоро в городке ожидался свой пышный праздник. Каждый год двадцать четвёртого июня здесь отмечается день памяти Иоанна Крестителя — покровителя коммуны Риомаджоре. Будет задействована вся

\* Хорошая итальянская дикая свинина (англ.).

полиция и карабинеры. Необходимо готовиться, а тут этот русский! Получилось интересное совпадение: Иоанн — Иван. Только Иоанн окупил Иисуса Христа в священные воды Иордана, а Иван убил заповедного кабана. Иоанн Креститель был обезглавлен, а Иван сам обезглавил кабана и пока ещё ожидал решения своей участи в участке.

Майор Гвидичи также был заядлым охотником. Ему хватило кратких объяснений русского на ломаном английском, чтобы понять суть дела. Но для официального составления протокола, перевода вопросов и ответов привезли также и его жену Наталью. За толстыми средневековыми стенами отдела карабинерии Риомаджоре началась долгая и муторная, а для Ивана, без сомнения, мучительная процедура. Любишь кататься — люби и саночки возить!

Донатто Гвидиче одолевали противоречивые мысли. Русский производил хорошее впечатление. Открытое лицо. Глаз не прячет. Добротная ухоженная борода. Гордая осанка. В нём угадывался основательный хозяин, настоящий семьянин. К тому же, охотник охотнику симпатичен. Но закон нарушен. Охота без лицензии. Незаконное умерщвление дикого животного. На столе перед майором лежал новенький профессиональный арбалет. Дело набирало оборот.

Поначалу наивный русский парень начал было хитрить, но потом, внимательно взглянув командиру карабинерии прямо в глаза, всё выложил, как было. По ходу услышанного в переводе милой русской женщины Донатто несколько раз чуть не расхохотался, но сумел себя сдержать. Однако в какой-то момент не смог не улыбнуться. Внимательная жена Ивана, конечно же, заметила это и сконфуженно улыбнулась в ответ. Она-то как раз понимала комичность ситуации в глазах законопослушного европейца.

Выслушав финал истории про дикого кабана и безумного охотника, Донатто отправил русского с женой к своему заместителю для оформления всех деталей и окончательного заполнения протокола. Пусть работают. Он вызвал хозяина виллы и устало, с неприязнью подумал об этом Ринальди. Тот ещё персонаж... Неудавшийся адвокатишко. Дался ему этот кабан. Сам под себя роет подкоп — ведь русский никогда больше не придет к нему, да и вовсе в Италию. А ведь исправно каждый год платил немалые денежки этому прижимистому Антонио. Опять же, в казну текли налоги. Правда, скорее всего, текли они далеко не в полной мере. Вот пусть теперь и заполнит все официальные бумаги.

Донатто позвал из соседнего кабинета Марио:

— Как там дела с русским?

— Уже практически закончили. Распишется в протоколе и принесу на подпись его подписку о невыезде. Паспорт его на всякий случай положил в сейф, чтобы не сбежал. — Марио оклабился.

— Этот не сбежит, не волнуйся. Не забудь предложить ему связаться с консулом. Хотя, когда дойдёт дело до суда, то без этого никак не обойдётся.

— Это точно. Начнётся канитель. Помнишь, как в прошлом году с англичанином, который по пьянке врезался в кафе? — Марио широко улыбнулся.

— Ладно-ладно, давай на сегодня с русским заканчивай. Сейчас придет заявитель Антонио Ринальди. Ко мне не пускай. Официально опроси и сделай детальный протокол, включая суммы арендной оплаты в месяц и всё прочее, — отдав приказ, командир выразительно посмотрел на заместителя, придав важности заданию.

— Так точно, — отрапортовал Марио и пошёл к двери. Взявшись за ручку, он внезапно обернулся и сказал:

— В голову пришёл старый охотничий анекдот. Адвокат — соседу: “Нынче я защищаю в суде браконьера”. — “То-то я всё думаю, почему это с вашей кухни такие вкусные запахи доносятся!”

Многозначительно улыбнувшись, он, не без доли присущего ему артистизма, вышел и закрыл за собой дверь.

Так незаметно пролетел этот суетный день у карабинеров тихого Риомаджоре. Под вечер майор Донатто спешил домой на празднование дня рождения

своего отца Витторио. Он бегло прочитал и подписал несколько документов, лежавших на столе нетронутыми с самого утра, и принял решение, что как только русскую чету увезут, то немедленно, ещё до приезда этого надоедливо-го Антонио, поедет домой. От греха подальше.

Клан Гвидиче в полном составе собрался во дворе большого дома главы семьи. Донато был так рассеян, что не сразу сообразил, что сказать, когда пришла его очередь произносить тост. Конечно же, с удовольствием поздравил именинника, с удовольствием произнёс хорошие слова в адрес отца и матери. В разгар вечера он со смехом рассказал о русском охотнике из Сибири, дерзнувшем завалить итальянского кабана. И потом многие разговоры вращались вокруг России. Сестра Доротеа рассказала, какая прелестная русская балерина Захарова теперь танцует у них в Скала.

— Какая хорошая школа всё-таки у этих русских! А ведь когда-то именно итальянцы верховодили в балете! И где наши традиции? Куда всё делось?

— Да, в русских что-то есть, — продолжил тему Донато. — Сила какая-то, удаля. Даже не знаю, как сказать.

— Согласна, в них есть не только сила, но злость, упрямство, здоровый авантюризм, наконец, который наши танцоры растеряли. Сойдя со сцены, уже хореографом, я насмотрелась на разных учеников. Не хотят они быть первыми, как мы когда-то. Их и так всё устраивает.

Тут в разговор вмешался один из дальних родственников:

— Ушам не верю! Как вы можете расхваливать этих русских, когда они истязают несчастную Украину, оккупировали Крым, ввели войска на территорию Донбасса и с неё обстреливают мирных жителей. Этого пойманного русского Ивана следует наказать с наибольшей строгостью. Какое нахальство! Приехать к нам в Италию и убить нашего итальянского кабана! Я бы вообще его повесил. Жаль, законы у нас слишком мягкие.

В этот момент отец строго зыркнул своими колючими глазами на Донато и встал, требуя внимания. В ожидании, пока все стихнут, он окинул взглядом красивейший вид, открывавшийся из сада на родной город, бескрайнее море, милую сердцу Лигурию. В полной тишине, нарушаемой лишь шелестом уже тёплого летнего морского бриза да усилившимся к вечеру стрёкотом цикад, он заговорил:

— Спасибо вам, моя любимая супруга, без которой ничего бы этого не было, мои любимые детишки Доменико, Донато и Доротеа — мои три “Д” высшего качества. Видите, ваш отец поспекает в ногу с прогрессом, — улыбнулся Витторио, и все сидящие за столом подхватили его улыбку, а он продолжил, — Мои три главных жизненных измерения, а с вашей мамой Деборой получается и вовсе четыре “Д”! Поднимаю этот бокал нашего прекрасного лигурийского вина “Шаккетра”, которое просто невозможно вырастить нигде, кроме как на холмах наших пяти земель “Чинкве Терре”, за ваши достижения, за ваше счастье и счастье ваших семей!

Все разом загомонили, стали выпивать, но тут семидесятилетний глава клана Гвидиче уверенным знаком руки утихомирил своё семейство и добавил:

— И ещё одно. Если меня не станет... — Тут снова загомонили все, сидящие за столом, и ему пришлось прикрикнуть: — Тише-тише, я вовсе не собираюсь умирать. Наперекор сложному и грязному сегодняшнему миру, постарайтесь жить по вечным понятиям семьи Гвидиче: на полученную в сложную минуту от кого-либо помощь или поддержку отвечайте не просто благодарностью, но по возможности реальной ответной помощью.

На следующее субботнее утро в дверь квартиры семьи Донато раздался ранний звонок. Хозяин уже не спал. Не спеша он просматривал местную газету, но дети и жена ещё не жились в постелях. С досадой Донато подумал: “Ну, кому не спится в такую рань? Ещё один охотник объявился?” Нехотя пошёл открывать дверь. На пороге стоял отец. Один, без мамы. В руке он держал свой старый, выдавший виды служебный портфель. Уловив строгий взгляд отца, Донато разволновался, стало тревожно на душе: не дай Бог, что-то случилось! Пригласил отца на кухню. За чашечкой эспрессо прозвучал прямой вопрос от Витторио:

— Что планируешь делать с русским?

Донатто ответил, не задумываясь:

— Всё будет по закону.

— А что ему сегодня светит по нашему закону?

— Судимость, громадный штраф и депортация из страны без права в дальнейшем посещать Италию.

Отец решительно направился мимо сына в столовую и сел на диван. Похлопывая ладошкой по свободному месту рядом, произнёс:

— Садись рядом, сынок, посмотрим кое-что!

Витторио достал из портфеля большой старый семейный альбом. Донатто слегка опешил:

— Ты уверен, что это самое важное занятие для раннего утра выходного дня?

Последовал жёсткий ответ:

— Так точно, сын мой.

И Витторио стал показывать фотографии с дедом Донатто. При этом, конечно же, поминал Муссолини и Вторую мировую войну. О том, что перед самой смертью своего отца он лично обещал ему никогда не стать фашистом.

Отец и сын вот уже больше получаса рассматривали фотоальбом. Донатто никак не мог взять в толк, почему это было так важно отцу на следующий день после семидесятилетнего юбилея. Разгадка наступила неожиданно.

— Вот это фотография твоего деда с фронтовыми однополчанами сделана в Сальсомаджоре. Все они выжили после русского плена и сумели вернуться на Родину. Все ещё оставшиеся на тот момент в живых участники Второй мировой торжественно открывают каменный барельеф, посвящённый великому полководцу!

Отец аккуратно передал альбом сыну со словами:

— Взгляни внимательно, что за барельеф.

Фото было чёрно-белым, но Донатто сумел разглядеть лихого кавалериста, несущегося впереди своей конницы. Он вопросительно взглянул на отца. Витторио, видя замешательство сына, спросил:

— Как думаешь, кто это так лихо скачет?

— Может, Марко Бруско? — не думая, ляпнул Донатто. Конечно же, он понимал, что морской адмирал родом из Специи не мог лихо скакать на лошади на барельефе в Сальсомаджоре, но в голову ничего не пришло, кроме знаменитого земляка.

Отец снисходительно улыбнулся и, громко выговаривая каждое слово, отчеканил:

— Маршалу Тимошенко от всех итальянцев с благодарностью за спасённые жизни пленённых итальянских солдат! Русский маршал Тимошенко пожалел наших пленных и приказал всех отпустить домой. Это было в ноябре 1942 года.

— Надо же.

— А главное, сынок, что среди тех пленных, отпущенных маршалом Тимошенко, был и твой дед. Он ушёл на Восточный фронт на следующий день после того, как семья отпраздновала рождение его сына Витторио... То бишь меня. И вскоре попал в плен под Сталинградом. Благодаря великому милосердию русского маршала выжил твой дед. Я очень рад, что ты остался в Риомаджоре. Я и сам вернулся в большой старый отцовский дом из Специи, как только вышел на пенсию. И ты, Донатто, рано или поздно унаследуешь его. А с русским придумай что-нибудь. Будь он хоть Петров или какие там у русских есть фамилии... Пушкин, Чайковский, Толстой... Мы должны показать, что итальянцы умеют помнить добро.

В понедельник Донатто первым делом тщательно проверил все бумаги по делу русского. Он долго вникал в каждый пункт и с радостью обнаружил нужную зацепку. Можно доказать, что кабан был убит за пределами национального парка "Чинкве Терре". Всего в каких-то нескольких метрах, но за пределами. Это означает, что формально этот случай не подходил под строгие ограничения, специальные наказания и штрафы из законодательства в части национальных парков.

Через час Ивана привезли, переполошив весь городок. Постарался Марио, который зачем-то включил мигалки и полицейскую сирену. С такой вот помпой и с каменными лицами, словно этапируют особо опасного преступника, два вооружённых карабинера привели русского туриста-охотника в кабинет шефа. Донато, выговорив за излишнее рвение, тут же отослал их. После нескольких дежурных фраз майор попросил Ивана точно указать на детальной полицейской региональной карте место преступления. Общаться было нелегко, но любой нашкодивший школьник чует, когда учитель начинает говорить не так строго, когда в голосе, пусть и на непонятном чужом языке, появляются нотки снисхождения, смягчается интонация. Почувствовав изменение ситуации в лучшую сторону, Иван, недолго думая, покрасневшись, как рак, попытался заговорить на своём ломаном английском о взятке, но командир карабинерии не дал договорить. Остановив его решительным жестом руки, он встал с кресла, взял со стола протокол допроса. В полной тишине демонстративно разорвал его на мелкие кусочки.

— Вы должны знать, что итальянцы умеют быть великодушными. До свидания. Постарайтесь как можно скорее покинуть Италию и в этом году больше не приезжать.

Произнеся окончательный приговор, он протянул ошарашенному Ивану его паспорт.

Донато отдал приказ Марио, не привлекая дополнительного внимания, отвезти русского назад на виллу. Затем майор Гвидиче в прекрасном настроении вышел на свой красивый балкон по центру фасада древней крепости, в которой располагался участок карабинеров Риомаджоре. Напряжение последних дней спало. Уже расслабленно он окинул взором божественные виды своей родной, страстно любимой Италии. Проводил взглядом удаляющуюся полицейскую машину и с чувством выполненного долга подумал: “Езжай себе с Богом домой, Иван Зайцев. В свою холодную, снежную Сибирь!”

ДМИТРИЙ ЛИХАНОВ



## ОБРУБОК

РАССКАЗ

Прижилась она здесь, на обочине парящего горячим асфальтовым духом шоссе, вместе с другими деревцами ещё в те самые благословенные времена, когда, казалось, и солнце было ярче, и жирнее земля, и влага у корней — слаще. Прикопал её тут по весне конопатый мальчик с пионерским галстуком на шее. Привязал юный саженец шпагатом к кольшку, чтоб не согнул, не сгубил его, покуда ещё не укоренившегося, шальной ветерок. Попил тёплой водичкой из жестяной лейки. Да и пошёл невесть куда по пионерским своим делам. Может, иные деревца сажать. А может, в защиту леса собирать макулатуру.

В те первые годы своей жизни юная липа лишь привыкала к земле, в которую уходила корнями с каждым днём всё глубже. К пёстрым фазанам, что с осторожностью бродили под её кронами в предрассветный час в поисках семян и юрких насекомых. К жаворонкам, что присаживались передохнуть на гибких её ветвях ранней весной, и к снегирям с брусничными грудками, украсившим эти ветви студёной зимой. К асфальтовому шоссе, что простиралось поблизости на долгие вёрсты на запад и на восток. То и дело в обе стороны по шоссе мчались автомобили. Они обдавали липу горьким дыханием сгоревшего топлива, клубами копоти. Из иных в её сторону летели пустые

---

*ЛИХАНОВ Дмитрий Альбертович родился в г. Кирове в 1959 году. Окончил факультет журналистики МГУ, стажировался на факультете филологии Гаванского университета (Куба) с одновременной работой в кубинской молодежной газете. Работал в газетах "Советская Россия", "Совершенно секретно", журнале "Огонёк". Автор повести "Прощай, Сирокко!", сборника новелл "Idee Fixe", книги рассказов "Любовь до востребования", повести "Маленькое сердце", романов "Вианса. Жизнь белой суки", "Звезда и крест", сборника журналистских расследований "Жакры жизни". Живёт в Москве.*

бутылки. Скомканные упаковки. Белый пластик стаканчиков. Порой автомобили останавливались поблизости. Не заглушая моторов, их пассажиры бежали к липе и мочились прямо на ствол. Человеческая моча стекала в землю, насыщая её солями, ацетоном и карбамидами, но и оставляя вместе с тем в памяти дерева какую-то глубокую, словно первые морщинки на её стволе, обиду.

По весне обычно приходили сюда грузные тётки в оранжевых жилетках и собирали в пластиковые мешки остатки человеческой удачи. Они лениво переругивались между собой, дивясь безбрежному людскому засранству, и неспешно брели вдоль шоссе, похожие на стадо усталых оранжевых коров. И вновь благодать наступала. Ненадолго. Не навсегда.

На пятый, кажется, год её жизни здесь устроила своё зимнее лежбище молодая ежиха. Рыла землю аккуратно между корней, пригребала лапами сухой мох и палые липовые листья. Обустроила себе уютную тёплую норку к концу октября. Да и сомкнула глянцевого бусинки глаз. Всю-то зиму, даже в суровую стужу чувствовала юная липа корнями своими слабое тепло спящей ежихи. Кроткое её дыхание, сходное с трепетом последнего лепестка в листопадную пору. Она очнулась в апреле, когда на липе завязались уже первые сладкие почки. Вздрогнула сперва. Затем забавно чихнула. И отверзла бусинки глаз. Долго из норы выбиралась. Но лишь только освободилась, взглянула удивлённо на липу, на этот великий мир, что не поменялся ничуть после полугода их разлуки. А вскорости разродилась тут же, у подножья, четырьмя розовыми детёнышами с мягкими иглами. Уже и солнышко припекало ласково, и воздух наполнился запахом цветущих в садах черешен с абрикосами, и новотравье повсюду стелилось покрывалом изумрудным. И розовые ежата сосали жирное молоко матери под кронами липы. Вновь и вновь, в бесчисленный уже раз торжествовала природа, являя миру царство света, буйство цвета и самой жизни, что воспевала каждая былинка, каждый лепесток, всякая тварь, и даже краткое бытие мотыльков-однодневок было исполнено великого смысла и нескончаемой радости. Всякое дыхание славилло Господа.

В такой вот именно яркий весенний день через много лет, когда уже и подростки ежата разбрелись по окрестным рощам, а подлеповатую мать раздавил мчавшийся по дороге грузовик, почувствовала липа в нектарных желёзках какой-то особенно сладкий сок, какие-то новые ощущения в ветвях и листьях, что уже и раскрылись, но продолжали прорастать тонкими, словно крылья стрекозы, лепестками, а от них уже и цветочками, хоть и крохотными, да духовитыми. Так что вошла она в пору зрелости подобно человеку к двадцати годам земной своей жизни. Вошла сильным ветвистым деревом, полным жизни и беспричинной радости, что дарует всякому существу на этой земле краткая его молодость.

А вскоре и война началась.

К беспечным разноцветным машинкам на шоссе добавились теперь гружённые всевозможным армейским скарбом тяжёлые грузовики, да с каждым днём всё больше бронированных машин пехоты на гусеничном ходу, да танков на тягачах. Они проносились мимо липы со скрежетом траков, гулом колёс, выбрасывая на обочину опрочь снежную жижу, дроблёный асфальт, жирные облака горелой солянки. Следом тянулись люди. В кузовах грузовиков под тентами цвета спелых оливок. В автобусах с затемнёнными окнами. А кто и пешком. Обочинами той самой дороги, возле которой ещё не пробудилась от зимнего сна голая липа. Все они шли на запад. Туда, где возле самого горизонта уже чадил чёрной копотью большой город. В обратную сторону, на восток, теперь уже без прежней беспечности двигались те самые разноцветные автомобили, под самую крышу забитые всевозможным домашним скарбом: коробками, тюками, пакетами, и, конечно, самими людьми, их потомками и питомцами. На каждом почти — белые тряпицы. У иных пулевые паутины по стеклам. Дыры. И надписи, где фломастерами по ватману, где изолянткой прямо по стеклу: “дети” и “люди”.

Очнулась она от истощающего сатанинского воя, что грохотал в нескольких сотнях метров с соседнего поля. Неведанное чудовище извергало в мутное

небо один за другим всполохи огня, пороховой гари, раскалённого воздуха. Затихало всего-то на несколько минут и принималось выть заново. Жар горячими волнами доплывал и до липы. Плавил последний мартовский снежок на её ветвях. Обжигал кору. Будоражил всё её существо, что с рождения привыкло к иной весне: тихой и живоносной. Той, что всякий раз рождает новую жизнь и новую надежду на жизнь вечную.

Город польхал теперь повсюду. То в одной его стороне, то в другой дыбились оранжевые всполохи огня, вспарывал небо гром, и копотный, смоляной дым утекал в бездну небес нескончаемым потоком. Даже сюда, за несколько километров от города, доносился его смрадный дух. Кисло пахло горелым порохом, расплавленным пластиком, сожжённой плотью. Казалось, преисподняя отверзлась. И поглотила твердь.

Вскорости, когда уже и почки на ветвях её набухли, под кроны пришли солдаты. Они неспешно принялись рыть землю неподалёку, прорывая в ней извивы окопов глубиной в человеческий рост. Иные полнили песком из карьера неподалёку синтетические мешки из-под удобрений. Громоздили один на другой, обустривая бруствер, а когда мешков не хватало, то полнили землёй пустые ящики из-под снарядов, каких к тому времени повсюду валялось во множестве.

Громадный мужичина с рыжей бородой и бензопилою в руках подошёл к ней под вечер, похлопал ладонью по стволу, задрал голову к кроне, где прорезались уже первые клейкие листочки. Задымил злым табаком. Да дёргать стартёр не стал. Так и стоял, глядя, как весеннее солнышко пробивается сквозь ветви, сквозь нарождающуюся духовитую листву. Вдруг ей даже почудилось, что это тот самый конопатый мальчик, что прикопал её здесь, на обочине шоссе, два десятилетия тому назад. Что он вернулся к ней случайно и вдруг вспомнил и себя самого в отрочестве, и слабый саженец липы, которому дал некогда жизнь и возможность стать сильным и взрослым созданием. Как и сам он отныне. Сплюнув с каким-то отчаянием окурков под ноги, вместе со своею цепной пилой побрёл в сторону рощицы, откуда через несколько минут раздался и визг цепей, и хруст гибнущих деревьев. Из их сочащихся соком стволов сложили блиндаж в три наката. Прикрыли стальным листом. Да сверху прикопали землицей.

Утро взорвалось миномётным обстрелом. Били из нескольких орудий. Густо, да дружно. Наполняя воздух то тут, то там высасывающим душу свистом хвостовиков, дыбящегося к небу чернозёма, плавящейся тротиловой плазмы и шторма осколков, что косил всё живое окрест. Один из них, небольшой, всего-то с человеческий мизинец, врезался в липу. Прошил кору зазубренной, раскалённой сталью, вошёл в плоть, разрывая и дуб, и камбий, чтобы остановиться в плотной заболони. И здесь ещё долго жёг изнутри, источая в соки её и терпкий, и солёный привкус оксидов. От этого ранения её словно бы передёрнуло. Вздогнула на мгновение могучим телом. Скрипнула от боли. Прошелестела ветвями, листочки на которых едва проклонулись. Да и замерла всем своим существом, ожидая нового ранения. Ведь ни уйти, ни скрыться от осколков, ни залечь, подобно солдатам, в блиндаж она, конечно же, не могла. Только рухнуть замертво.

А солдаты тем временем хоронились по окопам да блиндажам, ожидая, когда же, наконец, этот плотный миномётный обстрел пойдёт на убыль, кончатся у противника боеприпасы, да пошлют за новым, и у солдат, что с этой, что с той стороны, выйдет передышка, в которую можно перекреститься, перекурить, закрыть глаза мёртвым да раненых перевязать.

Окопы по весне ещё сочились высокой грунтовой водой. Так что на дне их от влаги, толчеи, снега да солдатской мочи стояла черная аммиачная жижа. Посечённых осколками бойцов старались в месиве этом не оставлять. Тащили за ляжки бронезилетов да разгрузок в блиндажи, где и посуше, и потеплей. Кололи им в ляжки кеторол, что действует не сразу и недолго. Рвали окровавленную одежду, бинты. Двое мёртвых: русский мальчонка с голубыми глазами, один из которых пробило осколком насквозь в череп, да могучий сержант вовсе без головы — лежали теперь в чёрной жиже на дне окопа. Их куском брезента прикрыли пока.



И вот стихло. Только жужжат в небе над головами чудные изобретения нынешних сражений, что глядят на тебя с небес стеклянными глазами, сообщая противнику и координаты твои, и поражения, и количество оставшихся бойцов, если надо. Птаху эту, собранную на китайских заводах, с земли и не разглядеть, а уж тем более не подбить. Вот и сидит солдат перед нею как на ладони, будто голенький и совсем беззащитный.

Глядит на чудо-машину о четырёх пластмассовых пропеллерах, а поделаться с ней ничего не может. Глядит и матерится.

Противник тем временем прицелы оптические корректирует, ждёт боеприпасы, в деревянные ящики упакованные. Жжёт табак. Анекдоты травит. Пьет чай из термоса. Кто и кофе. Не знает он только, что и его координаты уже донесли по закрытой связи в ближнюю артиллерийскую батарею. Что дальнобойные гаубицы уже и снарядами снаряжены. Грохотнули они далёким громом, извергая огонь и погирель.

Прямым попаданием из двух гаубиц сто двадцать второго калибра положили они за рожицу да всего-то за пару минут двадцать четыре осколочно-фугасных снаряда, уничтожив четыре огневых расчёта. Только двое солдатиков и спаслось. Контуженные до кровавых подтеков из ушей, из ноздрей, мечутся по полю ошалело, мамку кличут. Только слышат мамки своих мальчонков разве что сердцем, которое вдруг кольнёт ни с того ни с сего стальным шилом и снова отпустит. Притихнут женщины заморожено, предчувствуя нечто грозное, непонятное, гибельное, вспомнят Господа Иисуса Христа горячей материнской молитвой, которая, как известно, из морской бездны поднимет, а не то что из-под артобстрела.

Да то ли мало веры христианской в народе, то ли вразумляет, трезвит народное сознание новой бойней, только не каждая молитва доходит до Спасителя мира сего. Лежат меж зарывшихся в чернозём стальных блинов, меж покореженных трубок стволов, свежих досок битых снарядных ящиков растерзанные тела мальчигов. Тела совсем ещё юные, ладные, сильные мышцами и кровью, что сочится из них сейчас, парит весенним утром в жирный украинский чернозём. Кто уткнулся в него жадно лицом. Кто лежит на спине, смотрит стеклянным, немигающим взглядом на низкое это небо со стремительно проносящимися, спешащими невесть куда облаками, с тонкими прожилками небесного света, что растекается во всю ширь до самого горизонта проталинами и ручейками. И отражается в мёртвых глазах. Робкий ветерок, в котором перемешались и прелый дух земли, и хлад остатних сугробов, и свежесть нарождающихся трав с листвою, ласково трепал мёртвые волосы, касался любовно, совсем по-девичьи, холодеющих лиц, что заострились, делались всё строже и бледней. По одному из них, с едва заметной азиатской замесью, что проявила себя в острых скулах и чуть раскосых глазах, удивлённо вззирающих в бездну неба, вокруг зияющего отверстия глотки, что чернела в последнем крике его на этой земле, трепещет пёстрыми тигровыми крыльшками бабочка-крапивница. И в этом весеннем танце нимфалиды на мёртвом лице есть нечто кощунственное, скверное. Сама жизнь в столь близком соседстве со смертью казалась неуместной, даже чужой в этом соприкосновении основ бытия всякой живой твари от бабочки до человека, понятной, должно быть, одному лишь их Создателю.

Другое своё ранение липа получила к исходу того же утра, когда раскалённым и заточенным до бритвенного звона осколком шириною с человеческую ладонь ей отсекло одну из нижних ветвей. Отсекло столь безупречно, словно тут даже не артиллерия поработала, а заботливый и рачительный лесник. Она и боли не почувствовала. Только брызнул сок из раны. Встрепенулась мелкой дрожью юная листва на соседних ветвях. Срубленная ж повалилась к корням. Ещё жила короткое время. Питала почки и листву внутренней своей влагой, но вскоре истощилась, увяла, умерла.

Всего-то несколько часов понадобилось доблестным командирам, чтобы взамен разбитых миномётных расчётов подвезти новые, покуда ещё необстрелянные, да усилить их пехотой и боевыми машинами пехоты для будущего прорыва вражеской обороны.

И вновь вздрогнула рощица. Вздрыбился чернозём. Били теперь со всех сторон. От пороховой копоти, вывороченной земли, пыли, сажи, всполохов огня, плазмы раскалённой чудилось, словно сам ад сошёл на грешную эту землю, грозясь уничтожить на ней не только то, что создано Господом, но и даже то, что Им только задумано. Вознамерившись горделиво выжечь сатанинским своим огнём даже Имя Господне. Веру в то, что Он помилует и спасёт. В то, что ведь не должно случаться такое по воле Его. Когда брат идёт на брата, а люди на людей с одной лишь целью — уничтожить свой род до последнего человека. Ведь не может же Он, чьё имя — человеколюбие и любовь, допустить такого!

Ветви её рубило и корёжило теперь под плотным огнём миномётов, артиллерии, пулемётов крупного калибра без всякого перерыва. Палило огнём. Сотрясало взрывными волнами. А она всё стояла гордо, выпрямив сильный ствол под шквалом раскалённого металла. Дерево в дальнем соседстве с ней уже выворотило взрывом, повалило набок, оголяя и чёрные раскоряки корней с яркими, словно человечеся кость, разломами, с корой дымящейся, вспыхивающей пламенем, горьким дымом. Гибель дерева, чья жизнь гораздо дольше людской (иные липы и до восьмисот лет доживают), тем более противоестественна, нелепа. Ведь не враждует ни с кем, никому зла не творит. И зла этого даже не мыслит, но вот гибнет от рук человеческих почём зря, и ладно бы для дела вроде досок для бани, кузовков или кадушек для огуречного засола, так нет же, словно мусор, словно тлен. Словно и не было её никогда на грешной этой земле.

Сладкий липовый сок теперь сочился из неё повсюду. Из множественных пулевых отверстий по стволу, что рубили плоть её и глубоко, в самую сердцевину, и по касательной, срезая лишь кору с камбием. Стекал с обрубков отсечённых ветвей, что валялись теперь во множестве у подножья ствола. На запах сока слетались трупные мухи. И лакали его жадно, как лакают они солёную человечесю кровь. А её-то в ближнем окопчике с блиндажом тоже теперь в достатке. С отсечёнными ветвями дерево теперь и само было словно чёрный обрубок, нелепо торчащий из чернозёма. И не было в нём уже первородной красоты, раскидистой пахучей листвы, того естества и совершенства, которые заложил в неё Сам Господь, создавая липу для своего сада земного, превращённого ныне в адово пекло. Не было в нём ничего. Кроме мерзости вырождения. Апофеоза вселенских страданий.

Когда, наконец, выдохлась канонада, из-под осыпавшейся земли окопа медленно, словно волшебная медведка или какое ещё чудище, выбрался рыжий солдат. Чёрный от копоти и праха, в кровоподтёках и гематомах, что покрывали всё его лицо бурыми пятнами, в слюне и слизи, густо стекающей на пластины посечённого осколками бронежилета, в бурых же пятнах на пиксельном камуфляже в паху и на правом колене, разодранном в кровавые лохмотья с сахарной острой косточкой, торчащей наружу. Он волочил ногу вслед за собой, опираясь на пластиковый приклад советского автомата, как на костыль. И переломанная нога человека была словно сломанная ветвь — безжизненна, недвижна. И сам солдат — словно обрубок. Он волочился прямоком к дереву. Медленно. Скорбно. Понимая, должно быть, что это и есть те самые последние шаги по земле. А вместе с тем последние силы и любовь последняя к жизни, что оказалась так несправедливо коротка. И вот кончается.

На скорбном этом пути он несколько раз падал лицом в чёрную грязь. Тихо выд, пуская из сухого рта пузыри липкой слюны. Лежал. И поднимался вновь, опираясь на автомат. Ковыряя остриём сахарной кости вспаханный взрывами чернозём.

Тяжесть тела его и скорую его гибель дерево почувствовало сразу же, лишь только он прислонился спиной к его стволу. Бремя смерти нёс солдат на своих плечах. Оседдала она его. Околдовала. И лишь терпеливо ждала, пока он простится. С этим ситцевым застиранным небом. Со слепящими проблемками солнца, что пробиваются сквозь сальную гарь. С обрубком липы, истекающим соком. С трупными мухами, что поют над головой. Садятся пировать на колени. На руки. Лицо. Проститься и с этой рощей в зелёном тумане. Со скворцами в траурных оперениях, которые ходят теперь по

распаханным боями полям в поисках пропитания. С чающим городом на горизонте. Проститься со всем, что было не только дорого и любимо, но даже ненавистно и отвратно, обыденно, неприметно. Что, собственно, и составляло всю эту жизнь. Последние её мгновения, последние запахи и звуки — столь драгоценные, что вдыхаешь и ощущаешь их словно Божественный дар. Последнюю Его милость.

Солдатская кровь вытекала теперь из глубокой раны на его шее всё медленнее, всё гуще. Смешивалась со сладким липовым соком. Сочилась за шиворот камуфляжа. И дерево чувствовало теперь солёный вкус его крови. Казалось ему: наполнилось кровью солдата.

Вскоре он умер. Завалил голову набок. Закатил нелепо глаза. Выдохнул в полвздоха. Словно хотел удержать этот последний свой в жизни вздох. В студёный воздух выскользнула его душа едва приметным облачком пара. И растворилась в то же мгновение, подхваченная весёлым весенним ветерком, что уносил с поля боя десятки и сотни таких же солдатских душ.

Утром следующего дня фронт откатился на два километра ближе к дымящемуся городу. И вновь работала фронтовая артиллерия. И били “Грады”. Но их громовые голоса слышались всё глуше, всё реже. Похоронные команды сложили всё, что нашли, и всё, что осталось от взводов и расчётов, в чёрные пластиковые пакеты и отправили по домам. К матерям, отцам, женам и детям. Забрали и рыжего. И радовались, что его не пришлось собирать по кускам. Сидел под липой. И словно дремал. Повезло парню.

А ещё через месяц, когда война ушла далеко на запад, рыжего предали земле, и имени его никто уже, кроме родни, не помнил, на единственной ветви обрубка вдруг появился липовый цвет. Да такой душистый и сладкий, что полетели на него тучные шмели и проворные пчёлы со всей округи. И пили редкий, драгоценный нектар обрубка, что каждым трепетным листочком, каждым скромным цветком воспевал этот страшный и удивительный мир.

РУСЛАН СЕМЯШКИН

## ПОДВИГ ЯРОСЛАВА ГАЛАНА

В то время, когда на Украине продолжается специальная военная операция по её демилитаризации и денацификации, а также освобождению и защите многострадального населения Донбасса от зверств укронацистов, вспомнить об этом мужественном и талантливом человеке, досконально знавшем омерзительное нутро “западенского” украинского национализма, не только уместно, но и целесообразно, так как Ярослав Галан, чей 120-летний юбилей со дня рождения пришёлся на 27 июля 2022 года, — за свои убеждения стал жертвой этих нелюдей, чьи потомки и идейные наследники совершают свои кровавые преступления и сегодня. Да и останавливаться, увы, не намерены.

Судьба распорядится так, что, открывая в то злополучное утро, 73 года назад, 24 октября 1949 года, входную дверь в квартире по улице Гвардейской, 10 и приглашая пришедших двух молодых людей в комнату, домработница Евстафия Довгун, по сути, приоткроеет для хозяина квартиры путь в бессмертие. Страшная расправа, когда оуновский палач нанесёт топором один за другим удары по голове писателя, который не раз смотрел смерти в глаза. Смотрел и не испытывал страха, даже после того, когда узнал подробности убийства осенью 1948 года протопресвитера Гавриила Костельника, инициатора прошедшего во Львове в марте 1946 года собора греко-католической церкви, принявшего решение о ликвидации Брестской унии и разрыве с Ватиканом, предчувствуя, что и его ждёт такая же участь. “... Следующая очередь моя!..” — внешне спокойно сказал он однажды своему собеседнику, прекрасно понимая, что националистическая свора приговорила и его к физическому уничтожению. Кажется, что Ярослав Галан осознанно и мужественно шёл навстречу своей кончине...

В тот последний день, после ухода жены — Марии Александровны Кротковой-Галан в филиал Музея имени В. И. Ленина, где она работала художницей, Ярослав Александрович работал в соседней с кабинетом комнате над статьёй “Величие освобождённого человека”, которую писал на русском языке. Она была посвящена старшему товарищу по писательскому труду — председателю Львовского облисполкома, будущему депутату Верховного Совета СССР Кузьме Николаевичу Пелехатому. Рассказывая о нём, писатель набрасывал заключительные строки статьи — его лебединой песни: “Исход битвы в западноукраинских областях решён, но битва продолжается. На этот раз — битва за урожай, за досрочное выполнение производственных планов, за дальнейший подъём культуры и науки. Трудности есть, иногда большие: много всякой швали путается ещё под ногами. Однако жизнь, чудесная советская жизнь победоносно шагает вперёд и рождает новые песни, новые легенды, в которых и львы, и боевая слава будут символизировать отныне только

одно — величие освобождённого человека”. Оставалось только перепечатать всё написанное на машинке...

К Ярославу Галану как известному писателю, общественному деятелю, депутату Львовского городского совета, человеку по натуре доброму и отзывчивому, всегда стремившемуся помогать людям, о чем они прекрасно знали и чем, безусловно, пользовались, попасть на квартиру было не трудно. Этим обстоятельством и воспользовались убийцы из националистического подполья. Кем они были и как действовали — доподлинно известно. Известно и то, что на Галана готовились покушения и ранее, последнее из них — 8 октября того же года, планировавшееся также на квартире писателя, не состоялось потому, что убийцы не рискнули осуществить свой замысел в присутствии немалого количества людей, бывших тогда там вместе с Ярославом Александровичем.

В этой же трагической истории присутствует ещё одна немаловажная особенность, раскрывающая истинное лицо преступников, их иезуитские методы. Один из убийц — Илларию Лукашевич, по кличке “Славко”, сын греко-католического священника, бывший воспитанник Львовской духовной семинарии, связанный с националистами с 1944 года, — в момент убийства отвлекая писателя разговором, сумел незадолго до того часа втереться к нему в доверие. Сделал он это под видом студента Сельскохозяйственного института, пришедшего к депутату за помощью в переводе его в Лесотехнический институт. Легенда тогда сработала, Ярослав Александрович по данному обращению ходил просить за молодого человека во Львовский обком партии. В результате под видом благочестивого студента бандит стал известен домочадцам Галана.

Непосредственным убийцей был Михаил Стахур по кличке “Стефко”, член ОУН, студент Лесотехнического института, также связанный с греко-католическими священниками.

Подробности убийства писателя стали известны не сразу. Чекистам пришлось изрядно потрудиться, разматывая клубок этого преступления, потрясшего тогда не только жителей старинного Львова, но и всей Советской страны. Немаловажно отметить в этой связи и то обстоятельство, что убийцы и их заказчики были напрямую связаны с католической церковью, как известно, благословлявшей и поддерживавшей бандеровцев. Для греко-католического духовенства Галан был не просто нежелательным писателем-памфлетистом и советским общественным деятелем, — для них он был явным врагом. Не могли они ему простить целый ряд памфлетов, разоблачавших негативную роль профашистски настроенной униатской Церкви в борьбе за сознание простых граждан. “Отец тьмы и присные”, “Апостол предательства”, “Исшедшие из мрака”, “Сумерки чужих богов”, “С крестом или ножом?”, “Что такое уния”, “Довольно!” — красноречивые названия этих памфлетов, а ещё больше их содержание приводили клириков в бешенство. Да и как могли они не впадать в такое, по логике вещей, не свойственное священнослужителям состояние, если Галан разоблачал не только львовского митрополита Андрея Шептицкого, открыто поддержавшего, благословившего и молившегося в своей резиденции — соборе святого Юра — за Адольфа Гитлера, его армию и его украинских приспешников, но и весь католический мир во главе с Ватиканом. Как могли они примириться с такими словами писателя: “У Пия XII (Пий XII — Папа Римский с марта 1939-го по октябрь 1958 года. — Р. С.) 260 предшественников, история их жизни и деятельности — это история крови и позора. Даже в тумане раннего Средневековья мы не обнаружили такого государства, такой власти, которая бы настолько прославилась двоедушием, лицемерием, алчностью, продажностью, тайными и явными убийствами, грабежами и тёмными махинациями, как папская держава “божьих наместников”, — и простить их ему, вкупе с сатирическим произведением “Плюю на Папу!”?”

Дело Илларию Лукашевича и двух его родных братьев, а также бандита Тома Чмиля, не смогшего осуществить убийство писателя 8 октября 1949 года, слушал 3 и 4 января 1951 года военный трибунал Прикарпатского военного округа. На том суде слово дали и отцу братьев Лукашевичей, священнику греко-католической церкви, который цинично заявил, что националистические взгляды и враждебное отношение к Советской власти являются результатом его отцовского влияния. 15 марта 1951 года по приговору военного трибунала Прикарпатского военного округа братья Лукашевичи и Том Чмиль, после отклонения их просьб о помиловании, были расстреляны.

Недолго на свободе гулял и Стахур-”Стефко”. Свыше восьмисот трудящихся Львова и его окрестностей собрались 16 октября того же 1951 года в Доме культуры железнодорожников на открытый процесс военного трибунала Прикарпатского военного округа над этим палачом. Требование государственного обвинителя о смертной казни для убийцы собравшиеся в зале встретили аплодисментами. Через некоторое время террорист был повешен.

Со временем был пойман и посажен на скамью подсудимых и главный организатор убийства Ярослава Галана — проводник ОУН по кличке “Буй-Тур” Роман Щепанский. Под тяжестью предъявленных ему неопровержимых улик этот матёрый преступник и убийца на суде в своём последнем слове пытался каяться: “Суду известно, что я происхожу из семьи священника. С детства я воспитывался под влиянием пропаганды мракобесия Ватикана. ОУН же — это организация, не содержащая в себе ничего творческого. Под влиянием этого фанатизма я совершил множество злодеяний против украинского народа, против Советской власти, против своей родины. Я понимал, что значит убийство талантливого украинского писателя Ярослава Галана. Но это убийство я организовал, выполняя приказ своих главарей”. Запоздалые признания не могли разжалобить суд — расстрел стал заслуженным и справедливым возмездием. И всё же, самые влиятельные лица, те, кто были вдохновителями, а проще говоря, заказчиками убийства писателя, наказаны не были — не смогли советские правоохранительные органы достать бандеровских недобитков в Мюнхене и Лондоне, Нью-Йорке и Детройте, откуда они продолжали клеветать и оговаривать давно ушедшего в вечность Галана.

Подробно же называю имена и бандитские клички укронацистской нечисти, лишившей жизни видного сына украинского народа, патриота, коммуниста, борца с фашизмом, шовинизмом и национализмом, даровитого писателя, потому, что националистические, откровенно профашистские силы, о которых, начиная с 60-х годов прошлого века, в УССР стали забывать, в сегодняшней “незалежной” Украине вновь набрали вес и снова чинят кровавые расправы, причём не точечно, как это произошло в апреле 2015 года с талантливым писателем Олесем Бузиной, убитым возле своего дома в Киеве, а массово — что и показали последние события на Донбассе и особенно в Мариуполе. При всех президентах Украины националистические структуры чувствовали себя на территории страны вольготно и, что самое главное, безбоязненно, постепенно распространяя своё влияние даже в таких городах, как Киев и Одесса, всегда считавшихся межнациональными территориальными громадами, дружески настроенными к России и русским, до определённого времени составлявшим львиную долю их населения. Мягко скажем, не чинил им никаких препятствий и “пророссийский” президент Янукович, при котором они также находились в комфортных условиях и заседали в стенах парламента.

...Ярославу Александровичу Галану пришлось прожить до обидного мало — всего 47 лет, 3 месяца и 1 день. И жизнь его, что интересно, могла сложиться совсем по-другому. Будучи прирождённым интеллигентом, человеком образованным, он мог прожить сытой и спокойной жизнью галичанского обывателя.

Но такой спокойной жизни у него не было. Возможно, повлиял на его личностное формирование и мятежный дух отца Александра Михайловича, оказавшегося за своё неискоренимое русофильство в концлагере Талергоф. Сыграли свою роль и события Первой мировой войны — переезд оставшейся без кормильца семьи в Львов, а позже и в Ростов-на-Дону. Затем состоится знакомство с творчеством М. Горького, постижение революционных событий в России, свидетелем которых он стал, и приобщение к коммунистической идеологии, верность которой Галан пронесёт через всю свою короткую, но яркую жизнь.

По возвращении семьи в родные места и получения аттестата зрелости Ярослав поступает в Венский университет на отделение славянской филологии философского факультета, несколько позже, в 1926 году переводится в Краковский университет, где работает в прогрессивных студенческих организациях и начинает писать первые пьесы, а в 1924 году, находясь на каникулах в Перемышле, он вступает в ряды подпольной Коммунистической партии Западной Украины.

После окончания Краковского университета Галан начинает преподавательскую деятельность в украинской гимназии Луцка. А по прошествии лет он припомнит и то, что: “...уволители меня с должности профессора за коммунистическую деятельность, как опасного коммуниста и агитатора”.

Переехав во Львов, Ярослав Александрович всецело отдаётся литературной деятельности. Присоединившись к организации западноукраинских пролетарских писателей “Горно”, он работает также в редакции прогрессивного журнала “Окна”, в котором покажет себя не только талантливым новеллистом и драматургом, но и начнёт в его стенах славный путь революционного сатирика и памфлетиста. Печатаются и ставятся пьесы Галана “Груз”, “Вероника”, “99%”, “Ячейка”. Публикуется едкий памфлет “Последние дни Патагонии”, где в завуалированной форме он преподносит правду об авторитарном режиме в соседней Польше.

Став свидетелем разгрома польскими властями на Западной Украине всех прогрессивных изданий, писатель некоторое время живёт у родителей жены Анны Генык в Нижнем Берёзове. Но вскоре, по призыву ЦК КПЗУ, приезжает во Львов, где вместе с украинскими и польскими собратьями по перу в составе оргкомитета принимает участие в подготовке Антифашистского конгресса работников культуры, состоявшегося в мае 1936 года.

Пытаясь избежать репрессий за участие в данном конгрессе, Галан переезжает в Варшаву, где работает в газете “Dziennik popularny”. После же закрытия полицией и этого издания он оказывается вначале в варшавской, а затем и в львовской тюрьме.

В 1938 году, по возвращении из тюрьмы безработный Галан перебивается за счёт переводов и игры на скрипке “на забавах”. А на печатание его произведений, чего и следовало ожидать, налагают запрет.

Осенью 1939 года Ярослав Галан переживает долгожданные и счастливые дни – западноукраинские земли наконец-таки воссоединяются с Советской Украиной. Начинается новый этап в его жизни. Работает он тогда в только что созданной газете “Свободная Украина”. С того памятного сентября и по май 1941 года писатель опубликовал более ста публицистических произведений, среди которых такие известные, как “Люди освобождённой земли”, “Под счастливой звездой”, “Директор фабрики за работой”, “Ударники транспорта”, “Найденное счастье” и др. В 1940 году талантливый публицист вступает в Союз писателей СССР. В послевоенные же годы Галан будет избираться как в Правление Союза писателей УССР, так и в состав президиума Львовского отделения писательского союза. Литературную деятельность писателю удаётся успешно совмещать с работой во Львовском драматическом театре, где он заведовал литературной частью.

Сообщение о начале войны застало Галана в Коктебеле в Доме творчества писателей и вынудило эвакуироваться в Казань, а позже в Уфу. А 29 октября 1941 года в дневнике он напишет: “Я подал заявление в армию. Правда, здоровья уже такого я не имею... Но что же ожидает мою жизнь после победы, если я буду пользоваться плодами крови и мучений других...” В действующую же армию писатель так и не попадёт, его боевое слово необходимо было на другом фронте – фронте пропагандистско-политической борьбы, где вместе с известной польской советской писательницей Вандой Василевской Галан сначала работает в московском журнале “Новые горизонты”, а в декабре 1941 года с редакцией газеты “Коммунист” переезжает в Саратов. В этом прифронтовом городе он начинает работать комментатором на украинской радиостанции имени Т. Г. Шевченко.

Свободно владея, помимо родного украинского, русским, польским, немецким, английским, итальянским языками, писатель нашёл своё место на фронте в эфире. Именно так – “Фронт в эфире” – назовёт он книгу радиорепортажей, вышедшую в 1943 году в Москве. В то же время он работал в газете “Советская Украина” и в группе журналистов при ЦК КП(б)У, базируясь в Москве, а позднее в небольшом городке Купянске, расположенном недалеко от Харькова, и в самом Харькове. В Купянске он выполнял также и обязанности комментатора прифронтовой радиостанции “Днепр”. В письме Марии Кротковой, ставшей позже его женой, Ярослав Александрович писал: “Работа моя славная, хорошая, и я делаю её как можно лучше, со всем задором моего беспокойного сердца. Я люблю эту бурю за то, что она наполнила меня той страстью, которая позволила мне жить ею и творить дела, которые, возможно, не сойдут со мной в могилу”.

С освобождением Львова в августе 1944 года писатель возвращается в этот ставший для него родным город. Ну, а после долгожданной Победы по направлению партийных органов Галан находился в зарубежной поездке по

частям Советской Армии – в Польше, Чехословакии, Германии, Австрии, Венгрии. Под впечатлением от увиденного там он напишет большой очерк “Они сражались за Львов” и статью “В Вене”.

В 1946 году с удостоверением специального корреспондента газеты “Советская Украина” писатель направляется в Нюрнберг на судебный процесс над гитлеровскими преступниками. Вместе с К. Фединым, Л. Леоновым, И. Эренбургом, В. Саяновым, Б. Полевым Ярослав Александрович принимает участие в освещении этого исторического судебного процесса. Нюрнбергские материалы спецкора Галана войдут в золотой фонд европейской антифашистской публицистики. Под впечатлением от увиденного и услышанного он начнёт работу над одной из лучших своих пьес – “Под золотым орлом”, рассказывающей о судьбе советских перемещенных лиц в западных зонах оккупации Германии.

Вместе с тем на Западной Украине бандеровцы продолжали свои кровавые вылазки. Понимая, что он рискует жизнью, Галан тем не менее продолжает непримиримую борьбу с этим откровенным злом, прятавшимся за разглагольствованиями о “великой и свободной Украине”. Не жалея красок для показа сути бандеровщины как жуткого явления, угрожающего мирной жизни советских граждан, один из самых яростных своих памфлетов – “Чему нет названия” – писатель начинает так:

“Четырнадцатилетняя девочка не может спокойно смотреть на мясо. <...> Несколько месяцев назад в воробьиную ночь к крестьянской хате недалеко от города Сарны пришли вооружённые люди и закололи ножами хозяев. Девочка расширенными от ужаса глазами смотрела на агонию своих родителей.

Один из бандитов приложил острие ножа к горлу ребёнка, но в последнюю минуту в его мозгу родилась новая идея.

“Живи во славу Степана Бандеры! А чтобы, чего доброго, не умерла с голоду, мы оставим тебе продукты. А ну, хлопцы, нарубите ей свинины!”

“Хлопцам” это предложение понравилось. Они постаскивали с полок тарелки и миски, и через несколько минут перед оцепеневшей от отчаяния девочкой выросла гора мяса из истекающих кровью тел её отца и матери!..”

Непримирим был писатель-трибун и к порокам в жизни советского общества. Он не терпел лжи, подлости, презирал рвачей, карьеристов, бюрократов, волокитчиков, паразитировавших “...на здоровом организме нашего социалистического государства”. Его голос и перо не проходили мимо таких явлений. В целом же он был переполнен планами и задумками, хотя трудностей, в том числе материальных и бытовых, у него также хватало. Жил энергично, каждодневно творя и созидая. Незадолго до смерти Галан официально связал свою жизнь и с Всесоюзной коммунистической партией (большевиков)..

В советские годы имя журналиста, писателя-антифашиста, драматурга, публициста, борца за счастье украинского народа в единой братской семье народов Советского Союза было достойным образом увековечено. В 1952 году за памфлеты из книги “Избранное” писатель посмертно был удостоен Сталинской премии второй степени. Львовский городской совет объявил его своим почётным гражданином. В самом же Львове именем писателя была названа площадь, областной музыкально-драматический театр, а также установлен памятник, и в квартире на улице Гвардейской открыт музей-квартира. Памятник Галану был установлен и в Дрогобыче...

Разумеется, ещё в начале 90-х годов прошлого столетия националистические власти Львовской области памятники снесли, площадь и театр переименовали, музей закрыли – имя писателя-трибуна для них всегда было и продолжает оставаться ненавистным, вызывающим жёлчь и злобу. До пресловутой декоммунизации, объявленной режимом Порошенко, наконец-таки в начале июня 2022 года сбегавшего в Лондон, улицы, носившие имя писателя, были в Киеве, Харькове, Одессе (в приморском городе её переименовали в улицу Романа Шухевича, операция по ликвидации которого как раз-таки и ускорила убийство Ярослава Александровича), Чернигове, Черкассах, Кривом Роге. В Саратове улице, носившей имя Галана, вернули историческое название. Нет стопроцентной уверенности, но вроде бы улицы, носящие имя писателя, продолжают существовать в Ростове-на-Дону, Донецке и Луганске.

Долгие годы на линии Москва – Уфа курсировал пассажирский пароход “Ярослав Галан”. Со временем, после выхода из строя он был списан.

Дважды, в 1954-м и 1974 годах жизненный путь Галана был экранизиро-



ван. В первом по времени выхода в свет фильме режиссёра, будущего народного артиста РСФСР Л. Лукова “Об этом забыть нельзя” в роли писателя (в фильме у него имя и фамилия изменены) снимался выдающийся мастер, народный артист СССР, лауреат Сталинской премии и будущий лауреат Ленинской премии, Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, Герой Социалистического Труда Сергей Бондарчук. А актёр Владислав Дворжецкий, сыгравший Галана в фильме “До последней минуты” В. Исакова, за эту работу был удостоен Государственной премии УССР имени Т. Г. Шевченко.

В 1964 году Союз журналистов УССР учредил премию имени Я. А. Галана за лучшие публицистические произведения. Трижды в советские годы выходили и именные почтовые конверты, посвящённые писателю-антифашисту. Книги писателя переиздавались, широко отмечались юбилейные даты, связанные с его жизнью, пьесы его шли в театрах Советской Украины, а также в Туле и Рязани, Мурманске и Кирове, Барнауле, Куйбышеве и Казани, Владивостоке и Южно-Сахалинске, в Белорусской, Молдавской, Латвийской, Эстонской, Грузинской, Казахской, Киргизской, Узбекской ССР, в дружественных тогда Болгарии и Румынии... Все эти добрые дела, к сожалению, остались в прошлом. В капиталистической, да к тому же бандеровской Украине имя писателя пребывает, по меньшей мере, не в почёте. Да и в России его почти не вспоминают.

Но вопреки многолетнему замалчиванию его имени со стороны властей Украины и подведомственных ей институтов, наперекор продолжающимся случаям осквернения его памяти воинствующими националистами, Ярослав Галан в сознании большинства здравомыслящих людей продолжает присутствовать. Его не забыли, а настоящие патриоты пытаются о нём и напомнить. Компартия Украины, ныне режимом Зеленского окончательно в стране запрещённая, ещё в 1995 году учредила премию имени Я. А. Галана. И первым её лауреатом стал известный украинский партийный, политический и общественный деятель, публицист, депутат ВС УССР, народный депутат СССР, народный депутат Украины III-IV созывов, многолетний член ЦК КПУ, возрождённой после её антиконституционного запрета в августе 1991 года, недавно покинувший этот мир Георгий Корнеевич Крючков. Лауреатами премии ЦК КПУ имени Я. А. Галана также стали известные в прогрессивной среде Украины аналитики, историки, писатели и публицисты: С. Лазунько, В. Наконечный (посмертно), В. Масловский (посмертно), Ф. Горелик, Б. Адамович, М. Бердник, П. Махнюк, В. Мазаров (посмертно), О. Росов, В. Сирияченко.

Хочется верить, что и на российских просторах, которые, думается, в ближайшее время пополнятся землями Донецкой и Луганской народных республик, Херсонщиной, Запорожской и другими областями, население которых желает быть вместе с Россией, — имя бесстрашного писателя-антифашиста, до последнего боровшегося с коричневой нечистью, не будет забыто.

*23 октября 2022 года исполнилось 90 лет со дня рождения великого русского писателя Василия Ивановича Белова. Предлагаем читателям журнала отрывки из книги Сергея Багрова “Загадки Родины, или Россия. Вологда. Белов”.*

*Редакция*

**СЕРГЕЙ БАГРОВ**

## ЗАГАДКИ РОДИНЫ

*В честь Василия Ивановича Белова и тех, кто похож на него*

### **В ЛЕСНОЙ ТИШИНЕ**

Помнится, лето 1963 года. Тотьма. Пристань. Сюда, к пароходу, я приходил почти каждый вечер. Любил приходиться сюда и дружок мой Вася Елесин, с кем мы вместе работали в тотемской районной газете. На той же пристани встретили мы и Василия Ивановича Белова, автора только что вышедшей книги “Знойное лето”. Белов прихрамывал, и лицо его было угрюмым. Он ехал в командировку в Великий Устюг. И вот решил задержаться. Нам он сказал:

– Позднее уеду. Теперь мне надо прийти в себя.

Мы поняли: что-то случилось на пароходе. Белов открылся:

– Ссора была. С пижонами. Из-за песни. Они пели какую-то красивую чепуху. А я потребовал нашу, русскую. И даже запел. И вот они на меня. Всей стаей... Не буду об этом и говорить. Противно. Сейчас бы мне, эх, настоящей лесной тишины. Может, подскажите: где она тут?

Мы рассмеялись:

– Где же, как не в лесу!

Белов улыбнулся:

– Что мне и надо!

Сказано – сделано. Переплыв на пароме через реку, мы оказались на том берегу, где была просёлочная дорога, которая нас и вывела в Красный бор, одно из красивейших мест в окрестностях Тотьмы.

День был чудесный. Мы с Елесиным приставали к Белову, чтобы он открыл нам, как это так у него в рассказах выходит соединение того, что случается в жизни сейчас, с тем, что было в ней и что будет.

Белов поморщился:

– У вас и вопросы... Как у литературных светил. Вы это... выбросьте лучше из головы. Когда захочешь писать – запишется само. И о том, что вчера, и о том, что потом. И без всяких соединений.

Мы даже немного смешались.

– А как же тут быть?

– Никак. Просто жить! – ответил Белов и, выбросив руку вперёд, спросил, как потребовал:

- Что вы там видите?
- Сухону.
- А там? – рука Белова вскинулась вверх.
- Облака.
- Опишите их состояние. По-настоящему опишите. Это и будет литература.

Право, около нас и над нами, было всё так обычно, в то же время и необычно. Большая река. А над ней? Уплывали одни облака. Приплывали другие, точь-в-точь строители, образуя на карте небес белопёрое государство. Так, наверное, и душа, сливаясь с душой, образуют счастливую территорию, где, подобно всполоху над рекой, торжествует развёрнутое сиянье.

Уехал в Великий Устюг Белов через сутки. А мы, как и раньше с Васей Елесиним, вновь и вновь выходили к вечернему пароходу. Ждали счастливо-го продолжения. В Белове видели мы творца огромной величины, умевшего поднимать человеческий дух могуществом слова и слога. Одним словом, учились. И у него, и у классиков русской литературы, и у тех, кого мы искали, отправляясь в поездки по сплаваучасткам, лесным посёлкам и хуторкам, где всегда находили хранителей русского языка, чья богатая речь была, как книга, которую ты читаешь, читаешь, читаешь, зная о том, что она не закончится никогда.

## **ГОРОЙ ЗА НАРОД**

Так уж выпало по судьбе Василию Ивановичу Белову, что главными героями большинства его произведений стали крестьяне. Те самые труженики полей и ферм, о которых мы начинаем незаслуженно забывать. Собственно, крестьяне и были главным стержнем СССР. Среди них Белов и родился. И жил среди них. Благодаря чему в основе всех его публикаций и был обозначен конкретный путь, каким шла страна в своё завтра и послезавтра. Путь колхозно-совхозный, который наткнулся на стену. А что за стеной? Куда идти дальше? Уверен: был бы сейчас Василий Иванович около нас, он непременно бы вернулся к этому страшно больному для всех вопросу. Ведь все доподлинно понимают: Россия – и без деревни – это уже другая страна. Не наша.

В 1963 году Белов задержался на пару дней в Тотье, где встречался с тотемской молодёжью. У него только что вышла книга “Знойное лето”, первый его прозаический опыт. И вот, общаясь с читателями, оказался творец и умом, и душой среди ненаписанных откровений не только людей талантливых и успешных, однако и тех, кого бьют, позорят и унижают, отбирая у них и здоровье, и родину, и мечту. Поразила его судьба председателя колхоза “Объединение” Василия Ефремовича Каминского. Кулак-выселенец – и вдруг стал хозяином толшменских спецпосёлков, любимцем взрослых и детворы, кто повернул подневольное бытие к созиданию и успеху. Вернул обездоленным, в чьей жизни так много было потерь, веру в себя, сделав так, чтоб земля, на которой ты обитаешь, непременно бы стала тебе и родной, и радостной, и любимой.

Поверили люди в Каминского, как в чудоддея. Главное, чего хотел председатель “Объединения”, так это сделать жизнь в спецпосёлках и сытой, и светлой. Чем брал? Опытom и сноровкой строителя, талантом бывалого агронома. И щедрой душой. И защитой тех, кто себя защищать не умел. И конечно, мудростью и умом. О, сколько было в жизни его отчаянно-смелых решений, риска, азарта и даже погони за чем-то почти фантастическим, после чего жизнь хозяйства преобразалась. В конце концов, все три посёлка стали не только в районе, но и в области на слуху. Радовали в полях не только рожь и овёс, но и пшеница, и кукуруза, и даже гречка. Всё, что росло на Кубани и на Украине, стало расти и в Никольском. Арбузов, к примеру, у нас не было и в помине. И вот они – на просторной колхозной бахче. Кушайте, бабушки, на здоровье! Кушайте, дедушки! Кушайте, ребяташки! Не исключаю, что кушал эти арбузы и Коля Рубцов, находившийся в это время в Никольском детдоме, где нет-нет и встречался с ребятами спецпосёлков.

О таких, как Каминский, Василий Белов писал с особым старанием. Писал о многих из них. Однако не обо всех. Кого-то и пропускал. Казалось, делал это он специально, оставляя пропущенную работу для следующего творца. В надежде, что тот расскажет о выселенцах не хуже, чем он.

И вообще, мне думается, Белов никогда не считал, что пишет кого-то лучше. “Самый талантливый из писателей кто? — сказал он однажды. — Тот, кто себя писателем не считает. А пишет затем, что не может уже не писать. Переполнило! Выплёскивается на волю! И надо, надо освободиться. Отдать тому, кто поймёт тебя, как себя...”

Вот и с Каминским подобное получилось. Не Белов о нём написал. Хотя собирался. Но не успел. А написала о нем заведующая музеем имени Николая Рубцова Галина Алексеевна Мартюкова. Рассказала о нём и о тех, у кого отобрали родину и свободу! Очерк опубликован в сборнике “Толшма” с подзаголовком “Посёлки спецпереселенцев в Никольском сельсовете”. Добавлю к сказанному, что почти всё население спецпосёлков ещё в 50-е годы прошлого века вернулось на историческую родину. Многие из них не забыли места, где пролетели лучшие годы. У иных эти годы пали на дальнейшее детство. Вот и у сына Каминского Михаила и двух его дочерей Надежды и Веры отроческие лета пролетели на дивных холмах Никольской земли. Слишком много доброго они здесь заполучили. Потому спустя 55 лет сюда и приехали на побывку. Сердце не выдержало. Хотелось ещё раз окинуть глазами всё то, что осталось в душе навсегда.

*“Обо всех патриотах, кто горой за народ, рассказать невозможно. Но стремиться к этому надо... Особенно, если тебя беспокоит память. Память о тех, кто жил меньше, чем собирался...”* Говорил об этом Василий Иванович в конце декабря 2005 года при милой супруге Ольге Сергеевне, когда мы обменялись книгами. Я подарил ему “Россия. Родина. Рубцов”. Он мне — “Невозвратные годы”. А тремя годами раньше он вручил мне трилогию “Час шестый”, книгу объёмом без малого в тысячу страниц, написав на ней:

*“Серёжа, мы давно с тобой близки и понимаем друг дружку великолепно. Будь здоров и живи долго.  
Белов. 27.12.2002”*

## ПО БЕЛУ СВЕТУ

Уплывая в очередной раз из Тотьмы в Вологду, Белов крепко пожал мою руку. И сказал как бы от имени всех, о ком беспокоился, как о братьях:

— Рубцов, Романов, Коротаев, Багров... Каждый из вас имеет собственный стиль. Каждый по-своему видит всё, что около и вдали, проявляет себя через собственную работу. Кто о ней судит? Пришедшее время. А в нём — тот самый, кто хотел бы прочесть нас не только глазами, но и душой.

Слово писателя, знай, гуляет по белу свету, помогая всем страждущим в постижении крена жизни, особенно в наши дни, когда рядом воинствуют ложь, обман, блуд и зависть. Но ведь и ты присутствуешь в этом мире... Чего ждать от тебя?

— Первым делом того, что ты должен быть, как опора, на которой и держится наша жизнь, — заметил Белов. И тут же добавил:

— О, как нам не хватает этой опоры... А где найти её? Только в своём народе. Именно в тех, кто всегда рядом с нами...

## ЧУДИЛО

Очень уважил Белов Ивана Дмитриевича Полуянова, прокатив однажды его на “Ниве” от Вологды до Мартыновской. Василий Иванович оставаться с ночлегом не стал, хотя Полуянов и уговаривал. Сказал:

— Еду — к привычному делу. Записалось опять. Все слова в голове. Боюсь потерять. Однако...

Однако Василий Иванович задержался. Проехались по деревне. Мимо шикарного пятистенка Юрия Леднева, хозяин которого был в отъезде. Но огород его с садом так и кипел от множества птиц, где были не только сороки с воронами, но и ястреб, который даже не шелохнулся, когда машина остановилась буквально в трёх-четырёх шагах от него.

— Как ручной! — улыбнулся Белов.

— Это его Юрочка прикормил, — объяснил Полуянов.

— Небывалое дело...

- Скорее, бывалое, – сказал Полуянов.
- Как так? – удивился Белов.
- Не зря его тут у нас “Чудилом” прозвали.
- Да кто? И за что? – Белов даже машину остановил.
- Местные мужики.

Иван Дмитриевич не собирался о Ледневе говорить, да выложился, однако. Поведал о том, что мартыновцы были к лирику благосклонны. В то же время знали предел, за какой заходить даже поэту не позволяли. Юрий Макарович свои чувства, какие охватывали его в минуты подъёма души и духа, не прятал, считая, что лучше их проявлять не словами, а делом. Недалеко от Мартыновской, там, где плескался листвою березняк, он однажды и сделал супруге своей подарок. Обнаружил поляну. И на эту поляну стал носить тяжёлые камни, складывая из них два дорогих ему слова. Камни были недалеко и не везде. Поэтому он носил их за несколько сотен метров. Трудился ни много ни мало четыре дня. В конце концов, состоялась укладка из метровой величины каменных букв: “Надина поляна”.

Такая подпись кое-кого из местных жителей возмутила. Поэт захватил поляну. Да как он так мог? Ещё и кличку ей дал. Поляна должна оставаться поляной! Ничья была, так ничьей и будь! Камни были разбросаны.

Юрий Макарович хоть и расстроился, но не сдался. Снова вывел каменные слова: “Надина поляна”.

Раза четыре перекладывал Юрий Макарович камни. Мужики, наконец, смекнули, что Леднев из тех, кто не бросит свою затею. Махнули рукой и больше не стали тревожить надпись. Так и остались эти два слова среди поляны. И сейчас они там. Два слова, в которых верность мужчины к женщине выложена камнями...

С каким удовольствием слушал Белов Полуянова. А выслушав, рассмеялся:

– Ну, ребята! Вас бы ко мне в Тимонику! Для веселья! – и уехал, смеясь, как пьяненький, несмотря на то, что не пил никакого вина.

## НЕОТКРЫТАЯ ТАЙНА

Встретился в Соколе с гармонистом Рачковым. Тот удивился, когда узнал, что я поеду на Кубену искать на её берегу те деревни, где можно бы было купить себе дом. Была осень 1985 года.

– Сергей! – воскликнул Рачков. – А я ведь знаю его!

Я не понял:

– Кого?

– Твой будущий дом! Небольшой, красивенький, новый! Да ещё с запахами от стружек!

– Это как?

– Василий Белов его продаёт. Построил, а жить почему-то в нём передумал. А меня попросил, чтоб я нашёл на дом покупателя! Поехали! Завтра же утром и газанём!

– Это куда?

– Считай, на границу Сокольского с Харовским, двух соседних районов. Прямо к берегу Кубены! Где дом-теремок!..

От Сокола до беловского домика было недалеко. Мы поутру на редакционной машине туда и метнулись. Часа через два уже были там.

Заехали в бор. О, какие рыжие великанши качнулись в сторону нашего вездехода, когда мы въехали на поляну! В просвете меж сосен блеснула лёгкая синева. В ней, как в пруду, плескалось весёлое солнце. Я такой красоты никогда не видел! К тому же на берегу реки стояло редкостное строение. Я принял его за сказочный теремок, предназначенный для гостей неземного происхождения. Домик очень оригинальный. Снаружи его окружали, словно живые, подземные корни. Вверху над двухскатной крышей – труба, увенчанная сиденьем, уютная и удобная, как место для утомлённых.

К этому домику мы – бегом. Заходя, о чём-то беседовали друг с другом. И сразу же онемели. Всё помещение перекрывала металлическая труба. Было у неё несколько поворотов. Чтоб пройти по всему помещению, надо было согнуться почти до пола, чтоб не задеть головой трубы.

— Это чего такое? — спросил я у Александра.

— Баня, — ответил он.

Я взглянул на трубу, висевшую перед нами:

— А это...

— Это для дыма, — молвил Рачков. — Чтоб быстрее согревалось.

Я был растерян, в то же время и восхищён. Что-то незнаемое было рядом со мной. А там, за баней, — вообще было необъяснимо, словно я оказался не на земле, а в особом пространстве, куда пускают не каждый день, не всегда и не всех.

Машина с Рачковым уехала, оставив меня, чтобы я привыкал к новому положению. Вечер пока что не наступил, и я вышел на берег.

Кубена шелестела там и сям, натываясь на гладкие валуны, от которых взвивались естественные фонтаны. С берега, как в малиновых майках, спускались живые шиповниковые кусты, украшая берег пламенными дарами.

На 59-м градусе северной широты орлов, разумеется, не бывает. Однако я одного из них разглядел. Летел он над Кубеной низко-низко, должно быть, высматривая добычу. Летел с северо-запада к юго-востоку. Интуитивно я даже подался к нему, но вздрогнул и долго смотрел, как он исчезал в дымке вечера, направляясь туда, где таилось гнездо.

“Одиночество! — вошло в мою голову не очень уютное слово. — Кому-то оно крайне необходимо. А кому-то — и нет”. Я возвратился назад. Улёгся, не раздеваясь, на жёсткий полоч. И потерял себя до утра. Однако поднялся рано, ещё до зари. Вышел из баньки. И сразу же обратил внимание, что стоит она не на фундаменте. На полозьях. Почему-то подумалось: на них её с помощью трактора отсюда и увезут.

Собственно, так, в конце концов, и случилось. Тот, кто баньку купил, о таком домике и мечтал. Чтобы жить в нём и жить, однако не в дебрях леса, а там, где бы были какие-нибудь соседи, с кем бы можно было и пообщаться. Без людей жить в любом, даже в самом красивом месте, очень уж неприятно. Наверное, и Белов это понял. Потому и не стал менять Тимонику на кубенские красоты.

Я тоже не мог бы жить в одиночестве. Ты и красавец-бор. Нет! Этого мало, чтоб ощущать себя человеком! Об этом на следующий день, пришагав в Сокол, я Рачкову и приоткрылся. Рачков меня понял.

— И я бы не мог, — сказал он мне. — А что же Белов? Почему решил жить в лесу и вдруг от этого отказался?

— Не знаю, — ответил я Александру. — Здесь какая-то, видимо, тайна. Не нам эту тайну и открывать.

— Не нам, — согласен был Александр.

## ВСЕНОЩНЫЙ ОГОНЁК

Представляю Белова как путника, который вышел в свой путь. Сначала маленьким куда-нибудь в поле, где его бабушка, папа и мама пашут и сеют, косят траву, убирают хлеба. Всё это прошло через руки и ноги его, через мозг, сохранивший в себе самое светлое и святое и оставивший о прошлом тысячи памятных троп и дорог.

Скрип то пыли, то снега под сапогами. Запоздалый путник. Ещё до того, как родиться Белову, вышел он на дорогу. И всё идёт и идёт.

Ночь. Зимняя дорога. Белая река. Ступает путник. С берега на берег. И вот он за рекой. Стучится в дверь. Его пускают. А может быть, и нет. За 90 лет деревня, как и вся Россия, изменилась. Пускают — стало быть, здесь обитает светлая душа, та самая, которая когда-то подарила автору отечественной прозы очарование в его строках, с каким он и ушёл туда, где царствовала ночь. Однако ночи он не замечает. Идёт, как днём, проникновенно всматриваясь в нас. При этом ищет самого достойного, чтоб передать ему свой свет, который озарит не только путника в ночи, но и поникшую Россию. Нельзя, чтобы её печалили надменные враги. Свои враги и те, что за бугром.

Держись, страна! Будь, как и все великие, непобедимой, светлой и святой. Другой страны для русского народа не было и нет. Кто, как не наш Белов, об этом знал и знает. Поэтому он и идёт. 12 лет, как с нами нет его. А он по-прежнему в пути. Как свой. И каждый его шаг — к своим.

## НЕОБИДЧИВЫЙ ДРУГ

Что такое Василий Белов?

Это Русь, где поля и леса.

Снова еду на поезде в лес. Обязательно в тот, где я не был давно. И чего бы мне там? Ягоды и грибы? Да, конечно. Но это попутно. Главное – встреча с чем-то таким, что я пропустил. Без чего моя жизнь – как не жизнь, но не поздно ещё её изменить.

Русский лес – это совесть моя и твоя. В нём невинное наше зверьё. Русский лес – это твой необидчивый друг, кто тебя не предаст. Русский лес – это мудрый Белов. Русский лес – это я. И та самая статья, без которой не будет тебя и меня.

## ДО УТРА ДАЛЕКО

Спит утомлённая Вологда, покрытая тёмными облаками. Ночь. До утра далеко. В облаках, словно кто их вспорол, обнажилась луна.

Не прошло и минуты, луна завладела кварталами города. Мёртвый свет её заиграл на битуме крыш, заскользил и по окнам, влетая в квартиры, чтоб по лицам заснувших людей угадать: кому не дано омрачить эту ночь? Кто заблудится в ней? И кого ожидает небесная слава?

– Василий Иванович! – слышится голос. – Ты где сегодня? Около нас?

– Нет, я дальше... – в ответ.

## МОСКВА–ВОЛОГДА–ТОТЬМА

Лето 1965 года. Из Москвы поезд пришёл под вечер. Здравствуй, Вологда! Вылезли на перрон – я и Рубцов. Мне – в Тотьму. Рубцову – не знать и куда. Отправились бы, пожалуй, в Тотьму, ко мне. Но пароход уходил туда только утром.

Прошлись по Менжинской, а там – и Советской. Хотели зайти в крохотный магазинчик. И вдруг нам навстречу – Василий Белов, ещё не такой знаменитый, однако доступный, житейский, свой. Обнялись. Пошагали троицей. Вёл нас Белов. Наверно, к себе. Однако Рубцов при виде огней “Золотого якоря”, где была гостиница с рестораном, воскликнул так, как если бы нас там кто-то встречал:

– Сюда-а!

И мы повернули к огням, где и устроились до утра. Втроём. В общем номере, где были свободными две кровати.

Мы с Рубцовым решили, что эти кровати для нас. С Беловым тут же и попрощались.

– До свидания, Вася...

Белов рассердился:

– Никуда я от вас не уйду! Буду с Вами! А ночевать, коли нету кровати, могу вон и там! – показал на голландскую печь, под которой алел мягкий коврик.

Мы с Рубцовым чуть-чуть смутились. Даже заспорили:

– Нет, я на коврик!

– Нет, я!..

Горничная гостиницы на коврике спать нам, однако, не разрешила:

– Нельзя! Не положено! Уходите который-нибудь!

Никто не ушёл. Чтоб успокоить дежурную, кто-то из нас улыбнулся, даже погладил её по белой косынке на голове:

– Мы и втроём бы могли на одной кровати, но раз ты такая суровая, заночуем вдвоём...

Дежурная убежала. Мы же снова продолжили спор, который закончился тем, что Белов посмотрел на меня повелительно:

– А ну, на кровать! Спишь один! А мы с Николаем – вдвоём! Так надо! Без возражений!..

Утром все трое направились к пароходу. Рубцов с Беловым махали мне с пристани, мол, доброй дороги до Тотьмы да горячий привет ей от нас...

Я стоял на палубе и смотрел с тихой грустью на удалявшиеся фигурки, как они, покуривая, шли по людному тротуару, разговорчивые, живые, словно и впрямь их ждали большие дела, и закончат они их, конечно же, вместе.

Гудит пароход, а я слышу сквозь бас его то, что когда-то слушал от Николая: “Кого я в Вологде больше всего обожаю, так это Васю Белова. С ним бы я — хоть куда...”

Вот и идут они оба вместе. По тротуару. В будущее своё...

## БОРЬБА

Редакция “Вологодский комсомолец” в своё время готова была принять всех. И легально, и нелегально. Кто здесь только и не бывал! Все писатели Вологды, художники, музыканты, мастера спорта и даже кто-то из генералов. Частенько заглядывал и Белов. Немногословный, с острыми, всё подмечающими глазами, высоколобый, спокойный. Сядет за стол, поиграет с кем-нибудь в шахматы, вставит слово-другое, да так, что от этих двух слов всем нам становится как-то увереннее и твёрже, и кого-то из нас потянет с ним даже поговорить.

Помню лето 73-го года. Как-то я, задержавшись, пришёл на работу поздно. В комнате — двое: Белов и кто-то ещё на диване с низко опущенной головой, в кожаном пиджаке, с моргающей папироской. Белов кивнул на него:

— Не узнаешь?

— Василий Шукшин, — улыбнулся сидевший. — Сплю тут у вас. Целую ночь работали. Снимали на вашей Шексне кадры-кадрики. Жду, когда меня заберут. Поеду к себе на Алтай. Хотел и Белова с собой. Да он наотрез. Хочешь ко мне? — Шукшин обращался ко мне. Наверно, шутил.

— Не дорос я до этого, — сказал я ему. Белов стоял у окна. Подхватил:

— Всему своё время.

Шукшин поднялся с дивана. Подошёл к Белову, вглядываясь в окно. Там, под ним и за ним, — клумбы с цветами, забор, асфальтовая дорога. А за дорогой — берёзы, матёрые, с растопырившейся листвой, обнимавшей весь парк. Сказал:

— Даже здесь, в пыльном городе, она нас не отпускает.

— Потому что она наша родина, — добавил Белов, — вся в борьбе. Без неё, без борьбы России и не было никогда.

От нахлынувших чувств положил Белов, как вижу сейчас, на плечо Шукшина обе ладони и подбородок. Всмотрелся во что-то открывшееся ему и неожиданно начал читать:

Она меня не приласкала,  
А обняла с железной хваткой,  
Жалеть и нянчиться не стала,  
В борьбу втянула без остатка.  
Борьба! Какое, скажут, слово-то, —  
Давно оскомину набило.  
Но в мире, надвое расколотом,  
Меня оно всегда будило.  
Будило утром, днём и вечером  
От сна, от голубого детства.  
Борьба! И больше делать нечего,  
И никуда уже не деться.  
А мир велик, суров и радостен,  
Моей Отчизной огорошен,  
Всё меньше в мире дряхлой гадости,  
Всё больше свежести хорошей!..

Белов посмотрел на нас, как бы спрашивая: насколько удачно его творение? Но тут подъехал автомобиль.

Гости ушли, как уходят, чтоб снова встретиться. Но, увы! С Шукшиным я встречался в первый раз и последний. С Беловым же — постоянно. До того печального дня, когда он будет лежать нарядно одетым среди цветов



в роскошном гробу, было ещё далеко. Да и не верилось в то, что он уйдёт от нас в ночь, в которой, если чего и не было, так борьбы. Идейной борьбы, без которой Белова не представляешь. Гости ушли, как уходят, чтоб снова встретиться. Но, увы!

## ПУХ

Иногда на праздник, особенно под Новый год или в чей-нибудь день рождения писатели собираются вместе. В тот день далекого тысяча девятьсот восемьдесят какого-то года мы отмечали выход в свет романа Белова “Всё впереди”. Василию Ивановичу важно было увидеть в романе не столько достоинства, сколько его недостатки. Учесть всю нашу критику и ещё посидеть над романом, улучшая его.

И вот читаем мы друг по за дружкой. Почти месяц на это ушло. Роман для нас непривычный. Не в стиле Белова, не о деревенском житье-бытье — о городе, его жителях, где и личная жизнь, и дружба с любовью, и предательство, и зона с вышками, и всё то, что мешает нам жить.

Сколько было взволнованных слов! Белова хвалили за дерзость, с какой раскрывал он всю нашу жизнь, поднимая вопросы национального безобразия, где главенствует пьянство, из-за которого страдает вся наша страна, и люди в ней превращаются в алкашей.

Писатель ждал от нас не похвал, а суда. Безжалостной критики всех слабых сторон романа. Видимо, он и сам чувствовал некоторые его недостатки и с нашей помощью хотел их убавить. Однако пошла в ход или вымученная абстракция, или обходительная любезность. Особенно усерден был в такой оценке критик Оботуров. Впоследствии он даже написал статью “Единство многомерности”, где выставил Белова недалёким сумбурным писателем. И сделал это не сам, а мнением таких широко известных писателей, как Ульянов, Иванова, Лакшин. Наверное, Василий Иванович обиделся. Мало того, задело его то, что критик, разоблачая пьянство, сам пьянствовал, как сапожник. На одном из писательских собраний он даже задал вопрос Оботурову:

— Ты кто такой? Газетный корреспондент, а возомнил себя русским писателем. Если так, то с этим я не согласен.

Куда объективней было мнение о романе молодого писателя Дмитрия Ермакова, посчитавшего “Всё впереди” произведением своевременным и полезным. Да вскоре и публикации романа пошли сразу в нескольких изданиях — в журнале “Наш современник”, “Роман-газете” и отдельной книгой, составивших общий тираж около трёх миллионов экземпляров.

Помнится, на том вечере выступил поэт Юрий Леднев.

— Василий Иванович, ваш роман я читал с нескрываемым удовольствием. И ещё его буду читать. Очень уж он глубоко взрыл мои некрепкие нервы. Может даже, благодаря ему, я окунулся одновременно и в будущее, и в прошлое. В связи с этим хочу прочитать стихотворение о тех, кому можно верить.

Белов считал Леднева поэтом так себе, кого можно слушать, а можно и не слушать, и ничего от того не изменится. Поэтому вздрогнул от первых же строк, какими пошёл рубить воздух Леднев:

Россия!

Ты прощала тех,  
кто в трудный час с тобой расстался,  
кто возвращался,  
кто метался,  
и тех, кто за морем остался,  
не отыскав возвратных вех.

Россия!

Человек любой  
перед тобой снять должен шляпу.  
Навеки прощены тобой  
Алёхин, Бунин и Шаляпин.  
Но можно ли простить тому,  
кто, спекулируя талантом,

всю жизнь провёл в родном дому,  
а был душою эмигрантом?

Когда Леднев закончил, Белов поднял глаза на его лохматую бороду и голосом радостным, как сам праздник:

— Спасибо, Юрий Макарович, за то, что крепко держишься за Россию! Так, дорогой, и дальше держись!

Леднев даже чуть зарумянился. И Белов в таком же румянце. Радовался тому, что изменил мнение о человеке. Считал его сухарём, а он оказался пухом. Пухом, в котором воистину твёрдый характер. И душа, как у всякого русского, кто отличает своих от чужих.

### **В ПЕРВОЗДАННОЙ ТИШИНЕ**

Огороды. Избы. Большой, на шесть углов, чуть подновлённый дом, тот, что по-прежнему живёт Василием Беловым. Глядишь на строгий пятистенник, в котором создавалась летопись России, и веришь, что Белов не умер. Он просто вышел из него куда-то в поле, чтобы послушать, как поют колосья зрелых ржей, и посмотреть на стайку диких голубей, как они весело порхают, задевая крыльями хлеба.

Деревня как деревня. Таких в России сотни тысяч. О, как здесь тихо, даже первозданно, особенно по вечерам. Стучат после дождя сорвавшиеся с веток капли. Качаются, как струны, провода. Сто луж на улице, и в каждую глядится чистый месяц. Синее озеро, где кто-то в тихой лодке ловит на дорожку полосатых щук и окуней. Трава глядится с берега, вот-вот нырнет и поплывет. На кособоре храм с крестом, углы которого вот-вот поднимутся и полетят.

Где-то и прошлое тебе навстречу. Нет на дороге никого, а ты увидел мальчика, узнав в нём юного Белова, который только что оставил позади дорогу в сорок с чем-то вёрст.

А вон скворец. Сидит на крыше старой бани. Готовится в дорогу, чтоб, одолев её, зазимовать в чужих краях. А как по-новому тепло — опять сюда. В родимые края. Так и Белов. Тимониha, какой дышала его грудь, звала его всегда. Да и писалось здесь Белову, как нигде. Именно здесь он сотворил “Привычное дело”, сразу поселившее его в стан летописцев мировой величины.

Тимониha — это особый воздух, которым наш Белов дышал, даже когда отсюда был за тридевять земель. В Москве, во Франции, на юге и на севере — везде, где новый мир, он всматривался в него не как турист, а как великий жизнелюб. Искал в нём то, что дорого душе. Искал и, находя, обратно отдавал своей стране, которую так глубоко любил.

Здесь в эти дни так смиренно и уютно, белеют крыши и дороги, свистит метельный ветерок и, розовея, вьётся меж черёмух ватажка вологодских снегирей. Всё бы спокойно, смиренно и добро, да не хватает нашего Белова. Так непривычно без него.

ИННА РОСТОВЦЕВА

## МАРИНА ЦВЕТАЕВА: ЧАС ДУШИ

### Жизнь после смерти

*— Поймите... — искусство — это совсем не празднество, совсем не труд. Это — борьба за население другого мира, чтобы и тот мир был плотно населён, чтобы было в нём разнообразие, чтобы была и там полнота жизни. Литературу можно сравнить с загробным существованием. Литература по-настоящему и есть загробное существование.*

Вагинов К. Труды и дни Свистонова

Марина Цветаева очень рано начала эту борьбу. Борьбу за посмертную жизнь в искусстве. Уже в её ранних полудетских стихах внезапно останавливает решительный, сильный, резкий оклик, обращённый прямо к тебе — сегодняшнему: “Я тоже была, прохожий! Прохожий, остановись!” (1913). В другом стихотворении “Посвящаю эти строки...” ещё более категорично и определённо: “Слушайте! — Я не приемлю! Это — западня! / Не меня опустят в землю, / Не меня. / Знаю! Все сгорит дотла! / И не приютит могила / Ничего, что я любила, чем жила”.

Цветаева стала рано задумываться о смерти, о том, как сказано в сонете Сэмюэла Батлера “Life after Death” (“Жизнь после смерти): “И всё же встречи ожидают нас: в устах / живых мы встретимся не раз” (перевод Ю. Левина).

Ей очень нравились строки Тихона Чурилина (1885–1946), ценимого ею современного поэта, автора книги “Весна после смерти”, мало печатавшегося в советские годы: “Он замучил своего гения, выщипал ему перья из крыл” (так напишет она о нём в очерке “Наталья Гончарова”). Эти строки звучат так:

Быть может — умру,  
Наверно — воскресну!

Цветаева рано поняла, что воскреснуть можно только в искусстве, силой духа. Одержав победу “над временем, над расстоянием”, преобразив для этого жизнь волшебным фонарём искусства. Много позже в письме к своему чешскому другу А. Тесковой от 30 декабря 1925 года она скажет: “Я не люблю жизни как таковой, для меня она начинает значить, т. е. обретать смысл

и вес — только преображённая, т. е. в искусстве. Если бы меня взяли за океан — в рай — и запретили писать, я бы отказалась от океана и рая. Мне вещь сама по себе не нужна”.

Пройти путём комет, создать свой поэтический — “поэтов календарь”... Это был замысел дерзкий, дьявольски дерзкий, не женский в своей основе; замысел творца, игрока, артиста — не случайно у Пастернака однажды вырвется: “Какой ты большой, дьявольски большой артист, Марина!..” (в письме к Цветаевой от 25 марта 1926 г.), — где ставка — единственная земная человеческая жизнь. Которую надо было изжить — чтобы победить. И она начала эту неравную битву, где её противниками стали Современность, Эмиграция, Лит-среда, Быт. Трагические обстоятельства жизни, которые не всегда шли ей навстречу, вернее, — большей частью не шли, а оказывали мощное трагическое сопротивление...

Она начала отчаянно торопиться, спешить, записывать всё, чтобы потом воскресить людей, события, чувства, рано поняв, что мгновенье соперничает только с вечностью, но — больше всех часов и времён.

Возможно, это была вообще отличительная стилистическая примета нового XX века, пришедшего на смену традиционному, замедленному классическому девятнадцатому. Ведь заметил же Ю. Н. Тынянов по поводу небольшого — всего в семь строк — лирического стихотворения В. Ходасевича из “Тяжелой лиры”:

Перешагни, перескочи,  
Перелети, перелети! — что хочешь —  
Но вырвись: камнем из пращи,  
Звездой, сорвавшейся в ночи...  
Сам затерял — теперь ищи...

Бог знает, что себе бормочешь,  
Ища пенсне или ключи, —

следующее: “Почти розановская записка, с бормочущими домашними рифмами, неожиданно короткая — как бы внезапное вторжение записной книжки в классную комнату высокой лирики”<sup>1</sup>. Цветаева — вся — такое вторжение<sup>2</sup>.

Сознательно и упорно стремится Цветаева к тому, чтобы быть Цветаевой, т. е. “языком, открывающимся у всего того, к чему всю жизнь обращается поэт без надежды услышать ответ” (Б. Пастернак) — к Горе, Лестнице, Концу, Воздуху, Загробному миру, Вечности, — кажется, пределов для неё не существует: “Землеотлучение: Пятый воздух — звук”, “В полную неведомость часа и страны. В полную невидимость даже не тени”, как сказано в “Поэме Воздуха”. Цветаева бесстрашно, — но вовсе не бесстрастно! — утверждает себя на “том свете”, “В Раю и в Аду”, заселяя его дорогими лицами — мать, отец, Рильке, Кирилловны, поэты — Мандельштам, Волошин, Белый, Бальмонт, Пастернак и, конечно же, “мой Пушкин”. “...Я хочу воскресить весь тот мир — чтобы все они не даром жили — и чтобы я не даром жила!” — это не просто эпиграф, который предпосылают обычно её автобиографической прозе; это её основной художественный принцип, воля, побуждение к творчеству...

Примечательно, как, находясь в эмиграции, Цветаева убеждает того же Ходасевича, разуверившегося в своих стихах, найти в себе силы не бросать Поэзии, и какие замечательные — цветаевские — аргументы она приводит для доказательства своей мысли: “Нет, надо писать стихи. Нельзя дать ни жизни, ни эмиграции, ни Вишнякам, ни “бриджам”, ни всем и так далеко — этого торжества: заставить поэта обойтись без стихов, сделать из поэта — прозаика, а из прозаика — покойника.

Вам (нам!) дано в руки что-то, чего мы не вправе ни выронить, ни переложить в другие руки (которых — нет)...

Конечно, есть пресыщение.  
Но есть и истощение — от отвычки.  
Не отрешайтесь, не отрекайтесь, вспомните Ахматову:

А если я умру, то кто же  
Мои стихи напишет Вам? —

не Вам и даже не всем, а просто: кто — мои стихи...” (из письма В. Ходасевичу от мая 1934 года).

Действительно, за Цветаеву (так же, как, впрочем, за Ходасевича, Белого, Блока, Ахматову, Пастернака) никто не написал бы её стихов: Вечность нужно было выстрадать в современности, а не получить готовой — из чьих-то рук.

И Цветаева включилась в борьбу. Это была именно борьба, не всегда понятная её современникам, вызывавшая резкое неприятие — одних (“Сказать Цветаевой нечего. Её искусство похоже на зияющую, пустую каменоломню...” — И. Тхоржевский), глухое раздражение других (“Как у Цветаевой всё сбивчиво, какой декадентски-женский эгоцентризм, и как он исказил её живую, отзывчивую, трепетно-поэтическую натуру” — Г. Адамович), недооценку — третьих. Даже Борис Пастернак, в середине 20-х годов состоявший с Цветаевой в переписке и оставивший столько тонких и пронизательных суждений о характере её дарования, о произведениях: “Поэме Горы” и “Поэме Конца”, “Крысолове” — вынужден был самокритично признаться в своём автобиографическом очерке “Люди и положения” в 1956-1957 годах, когда его адресата уже не было в живых: “Я долго недооценивал Цветаеву, как по-разному недооценил многих — Багрицкого, Хлебникова, Мандельштама, Гумилёва. В неё надо вчитаться. Когда я это сделал, я ахнул от открывшейся мне бездны чистоты и силы...”

Цветаева была женщиной с деятельной мужскою душой, решительной, воинствующей, неукротимой. В жизни и творчестве она стремительно, жадно и почти хищно рвалась к окончательности и определённости, в преследовании которых ушла далеко и опередила всех...

Я думаю, самый большой пересмотр и самое большое признание ожидают Цветаеву”.

Да, совет вчитаться в Цветаеву и на сегодняшний день, когда так блестяще сбылось пастернаковское предвидение, — остаётся самым насущным, мудрым, живым.

Этому есть несколько причин.

Во-первых, мода, которая со свойственной ей мещанской хваткостью вцепилась в — долгое время бывшие труднодоступными — цветаевские книги и зачислила их по разряду особо престижных ценностей; она, эта мода, успела-таки — за 80 лет посмертной жизни поэта — породить читателя, который из “всей Цветаевой” знает и любит только: “Мой милый, — что тебе я сделала!” (“Вчера ещё в глаза глядел...”).

Между тем сама Цветаева в статье “Поэт в критике” (1926) строго предупредила: “Человек, не читавший меня всю от “Вечернего альбома” (детство) до “Крысолова” (текущий день), не имеет права суда”. Не только суда, но и поклонения, которое должно покоиться на знании.

Во-вторых, сонм многочисленных эпигонов и подражателей Цветаевой, как правило, молодых поэтов, которые бескомпромиссность, безмерность, “некомфортабельность” Цветаевой-поэта низводят до житейской расхристанности, быта, “увлечений”.

В-третьих, и это самое главное, в XXI веке открыт архив Цветаевой, а это значит, стали достоянием не только исследователей, но и широкого круга читателей глубоко интимные письма поэта, дневники, заметы, касающиеся многих ее современников и близких людей.

Для того чтобы достойно встретиться с этим “девятым валом” автобиографического, — не забудем, что и в своей частной жизни Цветаева жила с “безмерностью в мире мер” (её слова), — надо обладать определённой культурой восприятия этого поэта, понимания его роли и места в истории отечественной словесности XX века.

\* \* \*

Марина Цветаева многое сказала о себе сама. Кажется, почти всё.

Господи! Душа сбылась —  
Умысел Твой самый тайный.

“И — главное — я ведь знаю, как меня будут любить (читать — что) через сто лет!” (в письме к О. Е. Колбасиной-Черновой от 17 октября 1924 г.).

Эта формула, выброшенная “наперёд” всей писательской (и человеческой) судьбы, словно подтверждает известный парадокс Поля Валери, — в конце концов, каждый поэт будет оцениваться по тому, какой в нём сидел собственный критик.

В Цветаевой он “сидел” — умный, пронизательный, точный. Не случайно, соприкоснувшись с ним, уже в конце жизни, поздно, как и многие из этого поколения, надолго оставшегося без Цветаевой, — так восхитился Твардовский: путь к Цветаевой-поэту проложила здесь Цветаева-критик.

Когда наконец будут собраны воедино разбросанные по разным изданиям её многочисленные статьи, рецензии, записи, когда наконец они будут освобождены, как “Искусство при свете совести” (1932), от купюр, а “Поэт о критике” (1926) дан со своим “Цветником” (большой подборкой цитат из критических статей Г. Адамовича, печатавшихся в 1925 году в парижском еженедельнике “Звено”, где он жёстко разбирал стиль цветавевской прозы) — то есть опытом исторического комментария (благо, Г. Адамович сегодня вернулся в отечественную культуру), когда всё в целом будет сведено в собрании сочинений в один — как у классиков — том критики, то может случиться так, что на долю исследователя цветавевской поэзии ничего не останется. Не придётся ли ему только рабски следовать тем принципам, которые она, повенчав геометрию с вдохновением, определила для себя сама, исходя из её законов и мер, для себя установленных, — и каких?

“Я никогда не была в русле культуры. Ищите меня дальше и раньше”.

“Глубоко верю, что каждое настоящее писание — из опыта, *vie vesue*<sup>3</sup>, *Gelegenheitsgicht*<sup>4</sup>”.

“У меня есть стихи тишайшие, каких нет ни у кого (...) Меня вести можно только на контрастах, т. е. на всеприсутствии всего. Либо — брать часть. Но не говорить, что эта часть — всё. Я — много поэтов, а как это во мне спелось — это уже моя тайна”.

Нет, искать подтверждения мыслей Цветаевой-критика в творчестве Цветаевой-поэта или заворожённо слушать, “как струится поток доказательств несравненной... правоты” (Ахматова), или сопоставлять, что было в жизни (биография) и как — в поэзии (в творчестве), — это путь не всегда плодотворный, подчас заводящий в тупик, так не согласуемый к тому же с тем, кем в представлении Цветаевой должен быть критик. С одной стороны: “Сивиллой над колыбелью”. Что это значит? Это значит, когда мы говорим о поэте, должны помнить не только о веке, — нам непрестанно придётся помнить на век “вперёд”.

Сегодня это расшифровывается и так: прозреть то, что не могла знать о себе при жизни Цветаева, ограниченная своим историческим временем — концом XIX — первой половиной XX века, своим земным жизненным сроком (1892–1941) — в 49 лет — и часом своей души, где, однако, “час — итог всех предшествующих и исток всех будущих”. С другой стороны: “чем рассказывать мне, что в данной вещи хотела дать, — лучше покажи мне, что сумел от неё взять — ты”.

\* \* \*

Что мы берём сегодня от Цветаевой?

Огромную лирическую энергию, рождённую “в глубокий час души и ночи”. Что признало в ней время? Огромного лирического поэта. Вот несколько характерных отзывов о ней — по ту и другую сторону — века: “Марину Цветавеву, не греша пристрастием, можно назвать первым русским поэтом нашей эпохи” (Г. Федотов).

“Она всегда оригинальна, и голос её нельзя спутать ни с чьим. По ритмическому размаху у неё мало равных” (Д. Святополк-Мирский).

“Со стороны собственно стиха, слова, звука, интонации — это вообще редкое и удивительное явление русской поэзии. Затруднённая, местами как бы пунктирная, где заменой слов являются необыкновенно выразительные тире, стихотворная речь Цветаевой обладает чертами глубокой эмоциональной силы — она, как дыхание, прерывистое, неровное, но и живое, а не искусственное” (А. Твардовский).

“Первозданная свежесть мироощущения, соединившись с почти больной совестью русской мысли, неповторимо растворившись в капризах женского

ума, — её поэзия, кажется, не имеет того, что в прозе иных людей зовётся предрассудками, — её поэзия не имеет хвостов, балласта, случайных мелочей, — кажется иногда даже, что, если бы Цветаеву окунуть в котёл с живой водой, — из него выскочил бы смуглый чумазый Пушкин — Сверчок, имевший роскошную по нашим временам способность царя Мидаса. Цветаева не всё обращала в золото, т. к. не была свободна в пушкинском смысле: навстречу ей история и действительность упрямо не хотели идти. . .

Может быть, её “суть”, её “ткань” — мужество следовать своим чувствам до конца” (суждение читателя С. Спорыхина в письме к автору статьи от 2-3/10.90 г. ).

Сама Цветаева держалась твёрдого убеждения: “. . . раз основа лиры — семь, основа мира — лирика” (“Поэма Воздуха”). Не раз она останавливалась, потрясённая, перед тем, как в этом мире гонят взашей — с парадного подъезда жизни — чувства, эмоции, страсти: “Что же мне делать, слепцу и папынку, / в мире, где каждый и отч и зряч? / Где по анафемам, как по насыпям / — Страсти! Где насморком назван — плач!” (“Поэты”, 3), но не могла отказаться от себя, от своей собственной основы, от своего таланта.

Розанов считал: талант — это страсть. Именно таков был талант Цветаевой: она — поэт в высшей степени страстный и пристрастный — никогда не изменяла себе, “лирической дерзости” дарования. Свой колоссальный художественный мир, — ведь кроме лирики, среди созданного ею семнадцать поэм, восемь стихотворных драм, автобиографическая, мемуарная, историко-литературная и философско-критическая проза, — она возводила на сугубо лирической основе: отсюда шла во многом её повышенная ранимость, беззащитность, боль, поражавшая многих, соприкасавшихся с ней в жизни (“Я ободранный человек, а вы все в броне”), о которой она так безжалостно-точно говорит сама в письме к А. Бахраху от 10 сентября 1923 г. : “Все спадает, как кожа, а под кожей — живое мясо или огонь: я, Психея. Я ни в одну форму не уместаюсь — даже в наипростейшую своих стихов! Не могу жить. Всё не как у людей. Могу жить только во сне, в простом сне, который снится. . .”

Цветаева начинала как чистый лирик, как столпник (спящий), по её собственной, как всегда, образной классификации, предпринятой в статье “Поэты с историей и поэты без истории” (1933), а закончила свой путь — пешеходом.

Можно сказать, что она прошла, прошагала, вышагала поле своего века — и какого! — и только ли своего?

Ещё точнее, ещё ближе к её поэтическому миру — вымеряла верстами: вот оно — “даль — ногами добудь!” (“Ода пешему ходу”).

Пешеход, добывший “даль — ногами” и “ходячим чудом” создавший себя, по Цветаевой, существенно отличается от столпника, творящего как бы с закрытыми глазами, зрячестью воли, осознанным выбором темы и пути, стремлением к цели, живым опытом, наконец. Всё это — воля, выбор, знание — и создаёт в конечном итоге поэта с историей, поэта с развитием.

Последнее чрезвычайно важно для Цветаевой. Ведь даже совершенство, столь ценимое ею в Ахматовой, упирается в тупик, в предел, а значит, препятствует дальнейшему росту.

Быть может, поэтому она начала свой путь с несовершенства: с “Вечернего альбома” (1910) и “Волшебного фонаря” (1912) — так символичны названия её первых книг — старательная запись чистых снов и ощущений (детство, отрочество и юность в московском особняке в Трёхпрудном переулке, что близ Патриарших прудов), сделанная при свете воображения и мечты.

Сегодня, зная весь трагический путь Цветаевой в поэзии XX века, перелистываешь страницы этих первых сборников с чувством шемящей грусти, сожаления, удивления, словно из XX века попал в XIX — столько ещё здесь уюта, мира, покоя. Только воистину “Детство. Любовь. Только тени” — как стоит в подзаголовке “Вечернего альбома”. Трудно поверить, что акварельные строки вроде: “Ангел взоры опустил святые, / люди рады тени промелькнувшей, / и спокойны глазки золотые / нежной девочки, к окну прильнувшей” (“Акварель”) писал тот же автор, что и эти — страстно-безмерные — один сплошной жест: “Никто ничего не отнял! Мне сладостно, что мы врозь. / Целую Вас — через сотни разъединяющих вёрст”, — а они отстоят друг от друга всего лишь на 5-6 лет. Трудно поверить, что ещё через 9 лет та же героиня,

“существования котловиною сдавленная”, “погребённая заживо под лавиною дней”, напишет строки, столь контрастирующие с её, казалось бы, сложившимся образом Музы-Психеи:

Что, Муза моя? Жива ли ещё?  
Так узник стучит к товарищу  
В слух, в ямку, перстом продолбленную:  
— Что, Муза моя? Надолго ли ей?

Так нарастает трагизм истории и трагизм Судьбы.

Ещё можно разглядеть в старинных овалных медальонах “Вечернего альбома” для домашнего чтения – дорогие лица отца и матери (Ивана Владимировича Цветаева, профессора Московского университета, директора Румянцевского музея и основателя Музея изящных искусств, и Марии Александровны, урожденной Мейн (1868–1906), а затем – лица смяты, размыты, расплывчаты, словно вырваны вихрем и засыпаны пеплом и ветром: муж Сергей Яковлевич Эфрон – арестован в 1939 году и расстрелян; дочь Ариадна Эфрон – 8 лет лагерей; сын Георгий Эфрон, “Мур”, погиб в 1944 году на войне. (В книге Марии Белкиной “Скрещение судеб”, М., Книга, 1988, с документальной точностью поведано о попытке Цветаевой и попытке детей её прожить свою жизнь, а также о попытке времени, сделавшего трагические концы – неизбежными: “Из Истории не выскочишь”.)

Было бы несправедливо сказать, что ранние опыты Цветаевой, нашевшие отражение в её первых сборниках, в особенности в третьем – “Юношеских стихах” (1913–1915), не изданном при жизни автора, – столь откровенно наивны и незрелы, что по ним трудно представить себе будущего поэта. Нет, здесь уже есть её характер – решительный, прямой: “Вы, идущие мимо меня / к не моим и сомнительным чарам, / – если б знали вы, сколько огня, / сколько жизни, растраченной даром, / И какой героический пыл / на случайную тень и на шорох. . .”, – и вслушивание в звучание слова, приносящее психологическое открытие: “Слово странное – старуха! / Смысл неясен, звук угрюм, / Как для розового уха / тёмной раковины шум”, – и отношение к эстетам и эстетству, и отповедь литературным прокурорам (в их числе В. Брюсов, отрицательно отозвавшийся о “Вечернем альбоме”, а сколько их ещё будет впереди!), и предчувствие своей странной Судьбы, с бесшумностью античного рока врывающееся в последнее, помеченное 31 декабря 1915 года, “юношеское” стихотворение:

Даны мне были и голос любимый,  
И восхитительный выгиб лба.  
Судьба меня целовала в губы,  
Учила первенствовать Судьба.

Устами платила я щедрой данью,  
Я розы сыпала на гроба...  
Но на бегу меня тяжкой дланью  
Схватила за волосы Судьба!

Речь идёт о другом – о том, что все эти потенции таланта могли остаться в зачатке, не получить развития. Ранняя Цветаева всё же резче отличается от себя поздней, чем Ахматова “Вечера” и “Чётки” от Ахматовой “Поэмы без героя”. У последней общая линия развития описывает более плавную гармоничную дугу, чем кривая, резко взметнувшаяся вверх – вся на контрастах, провалах и взлётах – линия развития Цветаевой, у которой одновременно с “Юношескими стихами” возвышаются такие взрослые, зрелые постройки, как поэмы-сказки “Царь-Девница” и “Молодец”, лирическая сатира “Крысолов”, трагедии “Ариадна” и “Федра”, пьесы “Метель”, “Приключение”, “Феникс (конец Казановы)”.

Сегодня нам отчётливее видна та точка – ведь поэт, по слову Цветаевой, “всплывает на поверхности века, места и быта”, где лирическая температура её поэзии резко ползёт вверх.

Это – “Вёрсты”.



Именно с этой книги (написана в 1916 году, вышла лишь в 1922-м) начинается Цветаева-”пешеход”, Цветаева — художник с историей. Именно с этой книги, как отмечают исследователи, происходит скачок, поворот цветаевской музыки, быстро мужающей “среди бурь гражданских и тревоги” (Ф. Тютчев), — к зрелости — осознанию России, себя, своего голоса.

Одним из немногих, кто замечательно точно сумел уловить эту перемену в Цветаевой-лирике, из “гадкого утёнка” превратившейся в прекрасного лебедя (вот оно — сердце образа: “Из облачной выси выпало / мне прямо на грудь — перо. / Я сегодня во сне рассыпала / мелкое серебро”), был Пастернак. В автобиографическом очерке “Люди и положения” он вспоминал это время так: “Весной 1922 года, когда она (Цветаева. — **И. Р.**) была уже за границей, я в Москве купил маленькую книжечку её “Вёрсты”. Меня сразу покорило лирическое могущество цветаевской формы, кровно пережитой, не слабогрудой, круто сжатой и сгущённой, не запикивающей на отдельных строчках, охватывающей без обрыва ритма целые последовательности строф развитием своих периодов.

Какая-то близость скрывалась за этими особенностями, быть может, общность испытанных влияний или одинаковость побудителей в формировании характера, сходная роль семьи и музыки, однородность отправных точек, целей и предпочтений”.

Она, эта близость, действительно существует, Пастернак прав, но это другое, как мне кажется, это верность классике.

“Вёрсты” демонстрируют эту верность, присягают — на верность — именем классического ряда и классической традиции.

Она звучит уже в самом названии. “Только вёрсты полосаты попадаются одне”. Пушкин, не названный нигде по имени, но — “Димитрий! Марина...” — и за тенью “Бориса Годунова” встаёт, оживает цветаевско-московский-российский — в противовес петроградскому — мир, где Соборная площадь, где “семь холмов — как семь колоколов”, где “в день Благовещенья / руки раскрещены”, где “странница о Разине досказывает сказ / и о его прекрасной “персиянке”. Державин, — неожиданно окликнутый поэтом в, казалось бы, сугубо-интимном, любовном стихотворении “Никто ничего не отнял”, обращенном к Мандельштаму: “Что Вам, молодой Державин, мой невоспитанный стих!”; Рогожин Достоевского, возникший в стихотворении “Не сегодня-завтра растает снег”, связанном с Т. В. Чурилиным; Блок — цикл “Блоку”, которого она, по свидетельству её дочери Ариадны Эфрон, считала таким же великим поэтом, как Пушкин; Ахматова — “Стихи к Ахматовой”... Как поразительно сошлись в этой книге “часы, года, века”! Как удивительно соединились век девятнадцатый, в котором родилась Цветаева (26 сентября 1892 г.: “Красною кистью / рябина зажглась. / Падали листья. / Я родилась”), с веком двадцатым, в котором ей предстояло жить — в самой стилистике, поэтике: они “полосаты”; как точно угадана преемственность классического ряда: от Державина и Пушкина до Блока и Ахматовой, — а это ведь не исследование, а живая жизнь и встречи с живыми людьми — современниками: притяжение и разминоение...

Эта действительно необычная для своего времени и недооценённая книга, ибо вкус читателя, по точному свидетельству того же Пастернака, “был испорчен выкрутасами и ломкою всего привычного, царившими кругом, а косноязычие возводилось в добродетель”, — казалось, и могла появиться только перед самым концом эпохи, которую спешно дочитывало время:

Идёт по луговинам лития.  
Таинственная книга бытия  
Российского, — где судьбы мира скрыты, —  
Дочитана и наглухо закрыта.  
И рыщет ветер, рыщет по степи:  
— Россия! — Мученица! — С миром — спи!

Словарь Даля хранит одно из редких значений слова “верста”: старинная година, мера, например: “В твою версту, то есть в твои лета”.

По Цветаевой, время не мыслилось иначе как расстояние. А “расстояние” — сразу вёрсты, столбы. Стало быть, вёрсты — это пространственные годы, равно как год — это во времени — верста. Так или иначе, но перемещать годы и вёрсты — нужно (из записей, 1917–1919 годов “Земные приметы”).

Так это и происходит в одном из лучших лирических стихотворений книги “Вёрсты”, где время движется (назад–вперёд) в пространстве старой калужской дороги – с безымянными слепцами–странниками и образом думающего зрячего Автора:

Под синевую подмосковных рош  
Накрапывает колокольный дождь.  
Бредут слепцы калужскую дорогой,

Калужской — песенной — прекрасной, и она  
Смывает и смывает имена  
Смиранных странников, во тьме поющих Бога.

И думаю: когда-нибудь и я,  
Устав от вас, враги, от вас, друзья,  
И от уступчивости речи русской, —

Одену крест серебряный на грудь,  
Перекрещусь и тихо тронусь в путь  
По старой по дороге по калужской.

*Троицын день, 1916*

\* \* \*

Есть своя закономерность в том, что история так расставила всё по-своему, так переместила годы и вёрсты, личное и общее в биографии Цветаевой – рождение второй дочери Ирины Эфрон, революция, гражданская война, – что книга “Вёрсты” опоздала с выходом на 6 лет и что в процессе работы образовались вторые “Вёрсты” со стихами 1917–1920 годов; первое издание “вторых” “Вёрст” (издательство “Костры”) вышло в 1921 году, первые “Вёрсты” – в 1922 году. Чтобы восстановить хронологическую последовательность этих книг, Цветаева, по свидетельству В. Швейцер, пометила на титульном листе: “Вёрсты. Стихи. Выпуск I”.

Но существует ещё причина, по которой лирические стихи так трудно складываются в книги, сопротивляются хронологии, чёткости и порядку.

Позже Цветаева о ней скажет так: “Лирические стихи (то, что называют) – отдельные мгновения одного движения: движение в прерывности. Помните, в детстве вертящийся калейдоскопы? Или у вас такого не было? Тот же жест, но чуть продвинутый: скажем – рука. Вправо, чуть правой, ещё чуть и т. д. Когда вертишь – движется. Лирика – это линия пунктиром, издали – целая, чёрная, а взглядишь: сплошь прерывности между... точками – безвоздушное пространство: смерть. И вы от стиха до стиха умираете...”

(в письме к Пастернаку от 11 февраля 1923 г.).

В 1917–1920 годы, когда поэт оказался в водовороте событий, в самой гуще жизни и смуты, “на перекрестье двух дорог, / где ветер, время и песок” (Ходасевич), – это не было иносказанием или красивой метафорой. “Сплошь прерывности” – это многочисленные переезды с детьми из Москвы в Крым и обратно, взбаламученная Россия, трудный, неустроенный быт, голод, который стучался в дом, смерть в приюте маленькой дочери. Расколота надвое душа: одна половина – в Москве, с повседневными заботами, с новыми людьми и интересами, другая – “шла” за мужем – С. Я. Эфроном, примкнувшим к белому движению и оказавшимся на юге, на Дону, в Добровольческой армии...

Приняла ли Цветаева революцию? Осталась ли верна Белому движению? По какую сторону баррикад была она – ведь у неё есть вещи прямо противоположные, идущие с разными знаками, – скажем, поэма-сказка “Царь-Девушка”, которая закачивается крушением царства, а образ царя дан как образ самодура, пропивающего свою державу, весело и с азартом уничтожаемого восставшим народом. И её лирический цикл стихов “Лебединый стан”, не вошедший при жизни ни в один из сборников (должен был войти

в книгу “Лебединый стан”, посвящённый мужу, Сергею Эфрону, сражавшемуся на Дону в войсках Корнилова); цикл, воспевающий белую борьбу как патриотический долг, принятие мук за царя и отечество.

Вряд ли стоит “уличать” Цветаеву в “нечистоты” помыслов, в нетвёрдости политических убеждений и позиций, как это было даже в лучших советских изданиях её поэзии, где авторы вступительных статей тщились всячески доказать, что “с нею произошло поистине роковое происшествие. Казалось бы, именно она со всей бунтарской закваской своего человеческого и поэтического характера могла обрести в революции источник творческого воодушевления. Пусть она не сумела бы правильно понять революцию, её движущие силы, её исторические задачи, но она должна была по меньшей мере ощутить её – как могучую и безграничную стихию... После Октября она стала до известной степени политическим, притом – контрреволюционным поэтом” (Владимир Орлов).

Как безнадежно устарела эта речь известного ленинградского критика, “литературного прокурора”, стремящегося “пригвоздить” поэта к “позорному столбу” – мы знаем сегодня, кем стала Цветаева.

Картина мира и поэзии начала века предстала нам сегодня неизмеримо сложнее, разнообразнее, объёмнее, – ибо углубился наш взгляд на события недавней истории, обогатился новыми источниками и документами; воссоединились две ветви культуры – “эмигрантской”, Русского Зарубежья – и советской...

В случае с Цветаевой – гораздо важнее нам понять: она, бывшая вне партий и направлений, вне групп, вне политики, всегда и прежде всего оставалась Личностью и Художником. Что трещина мира прошла через самое сердце лирического поэта, согласно предвидению любимого Гейне. В её лирику вошли земные приметы живой жизни, быта, разговоров, простой русской речи. Достаточно прочесть очерк “Вольный проезд” (впервые опубликован в советской печати в газете “Московский строитель”, 22–29/1990 г. без сокращений и искажений), созданный по “горячим следам” конкретной поездки в голодном 1918 году в Тамбовскую губернию для обмена ситца, льна и спичек на пшено, сало, муку, чтобы понять: Цветаева видела трагическую картину послереволюционной России как реалист – зорко и правдиво – в противоборстве разных тенденций: с хищными опричниками, с одной стороны, и простодушными Разиными – с другой. Она училась различать и слушать разные голоса Времени: “Оно, барынька, понятно: парень молодой, время малиновое, когда и тешиться, коли не сейчас? Не возьмёт он этого в толк, что в лоск обирать – себя разорять!

– А позвольте узнать, ваши золотые вещи с вами? Может быть, уступите что-нибудь? О, вы не волнуйтесь, Я Иосе не передам, это будет маленькое женское дело между нами! Наш маленький секрет! (Блудливо хихикает).

Из вагонных разговоров:

– И будет это так идти, пока не останется: из тысячи – Муж, из тьмы – Жена!”

Цветаева могла с полным правом отнести к себе свои же слова: “Ни одного крупного русского поэта современности, у которого после Революции не дрогнул и не вырос голос, – нет”.

\* \* \*

Это относится и к тому периоду её творчества, когда “вольный проезд” – курс, которым всегда следовала её душа – сквозь кордоны условностей, пристрастий политических и поэтических, кровных и сословных, личных и групповых, через границы и траншеи мировых и гражданских войн, – привёл в эмиграцию...

Цветаева – “после России”: горькая горечь чужбины. Так обычно подаётся в советских исследованиях этот большой период жизни и творчества поэта, продолжавшийся в общей сложности 17 лет (15 мая 1922 года Цветаева приехала в Берлин – 12 июня 1939 года вернулась в СССР).

Следует уточнить: её не выслали за рубеж – “на последнем пароходе” – за идеи и убеждения; своё решение уехать к мужу, оказавшемуся после разгрома Белой армии за границей, в Чехословакии, она приняла сама, и советское

правительство разрешило ей выезд. Она шла навстречу личной и творческой – Судьбе.

В 1922 году, более или менее одновременно с собственным появлением за рубежом, вышло четыре книги стихов: одна – в Москве (“Вёрсты, I”), три – в Берлине (“Стихи к Блоку”, “Разлука” и “Психея”) – и поэма “Царь-Девница” (одновременно в Москве и Берлине). Так что Цветаева появилась в Зарубежье “с очень определённой поэтической физиономией” (Г. Струве) – её нельзя было отнести к молодым, начинающим.

И всё же чужбина “припасла” для Цветаевой действительно много горького: полунищенское существование; жизнь на стипендию-пособие, которое выплачивало некоторым русским эмигрантам чешское правительство; заботы о родившемся сыне, о хлебе насущном; неустроенный быт; постоянные переезды семьи в поисках дешёвого жилья – из Чехии во Францию, где суждено было прожить тринадцать с половиной лет – в Париже и его пригороде – Вандее и Бельвю, Медоне, Кламаре и Ванве... К этому следует прибавить: она пришлась не ко двору русской эмиграции, – а её “цвет” определяли такие имена, как И. Бунин, Д. Мережковский и З. Гиппиус, Г. Адамович, Г. Иванов и И. Одоевцева, В. Ходасевич и Н. Берберова, А. Ремизов...

Многие считали её поэзию заушной, непонятной; даже в литературных кругах, особенно в русском Париже, её часто плохо знали; многих ошеломляло просто количество богатства её поэзии. Писавшие о Цветаевой обычно подчёркивали её духовное одиночество, чуждость главным течениям эмигрантской поэзии тех лет и сближали с Пастернаком и Маяковским. Отталкивание от неё было более сильное, чем от Ходасевича.

Так, по свидетельству И. Одоевцевой (в мемуарной книге “На берегах Сены”), один из самых острых критиков Цветаевой периода эмиграции Г. Адамович, “несмотря на одно из его лучших стихотворений, посвящённый её тени, “Поговорим хотя б теперь, Марина”, до конца, по существу, остался ей враждебен” и в своём последнем письме из Ниццы сообщал: “Вчера я писал разные мелочи для себя и для вечности впрок и написал, что трёх писателей мне иногда читать неловко (за себя и за них) в нисходящем порядке: Достоевского, Розанова, Цветаеву”.

По иронии судьбы, случилось по-иному: Адамович хотел принизить Цветаеву, но невольно возвысил её, поставив в ряд мыслителей, каким она и была на самом деле.

И многое из того, что вызывало “раздражение” у тогдашних критиков – современников поэта: её московский стиль, “фонологическая каменоломня” (Ф. Степун), мифотворчество, воскрешение больших форм и высокого одического строя – традиции русских архаистов Державина и Тредьяковского, – сегодня предстаёт как душевная щедрость большого художника, прорывавшегося, с одной стороны, к самому себе; к новым образам, формам и пластам культуры – с другой.

Трудно предположить, как сложилась бы творческая и жизненная судьба Цветаевой, не оказавшись она на долгих 17 лет в эмиграции, останься на родине. Ведь оброненное в одном из писем Пастернака 1926 года к ней: “О, в какой тягостной, но и почётной трагедии мы тут, расплачиваясь духом, играем!” – слишком симптоматично. Ясно одно: Цветаева не смогла бы приспособиться к конъюнктуре, к соцреализму, к воспеванию пятилеток и славословию “отца народов”.

Получив внутреннюю свободу и независимость духа – от диктата, от нормативных установок и “тягостной, но и почётной трагедии”, она использовала её так, как это делает подлинный художник, – для творческого роста: идти путём своей личности – независимо от направлений, школ, мнений. Практически лишённая на чужбине читателей, – что она переживает особенно остро, хотя печаталась в пражском журнале “Воля России”, во Франции – в журнале “Современные записки”, в газете “Последние новости”, она вступает в переписку – нет, в творческий диалог – с многочисленными корреспондентами, знакомыми и незнакомыми: среди них Р. М. Рильке, Б. Пастернак, А. Тескова, А. Барах, Ю. Иваск, В. Муромцева-Бунина, Ш. Вильдрак, О. Колбасина-Чернова и многие другие. Это черта творческого поведения именно лирика, ибо, по определению М. Бахтина, “всякая лирика жива только доверием к возможной хоровой поддержке”; “только в тёплой атмосфере, в атмосфере... принципиального звукового неодионочества”. Цветаева делится со своими

друзьями сокровенными творческими мыслями, чувствами, наблюдениями, замыслами; самый интересный из них – написать поэму о самоубийстве Есенина, к сожалению, так и оставшийся невоплощённым. Но это – редкое исключение. По словам одного из друзей, она вся с головы до ног горячий, воплощённый замысел...

Да, Цветаева высоко ценит в эти годы в искусстве не просто мастерство, ремесло – завершённо. “Единственная цель произведения искусства во время его совершения, – по её глубокому убеждению, – это завершение его, и даже не его в целом, а каждой отдельной частицы, каждой молекулы. Даже оно само как целое отступает перед осуществлением этой молекулы, вернее: каждая молекула является этим целым, цель его всюду на протяжении всего его – всеместно, всеприсутственно, и оно как целое – самоцель.

По свершению же может оказаться, что художник сделал большее, чем задумал (смог больше, чем думал!), иное, чем задумал” (“Искусство при свете совести”).

Именно так – большее, чем задумалось: голос перерос стихи – получилось у неё при окончательном завершении (и исполнении замысла) начатой ещё в Москве русской поэмы-сказки “Молодец” (по мотивам народной сказки “Упырь” из собрания Афанасьева), лирической сатиры “Крысолов” (1929), законченных почти одновременно “Поэмы Горы” и “Поэмы Конца” (1926), примыкающих к ним “Поэмы Воздуха” (1930), “Поэмы Лестницы” (1938–1939) – все поэмы образуют как бы свод поэм, “свой лирически замкнутый, до последней степени утверждённый мир” (Пастернак), и трагедии “Ариадна” (1927).

Нет возможности в статье показать характер сцепления, связующий эти вещи в единое целое, когда создание трагедии, например, прерывается работой над “Поэмой Конца” и “Поэмой Горы”, когда исконная лирическая цветаяевская тема разминовения – человека с человеком, любви с любовью, судьбы с судьбою – от вещи к вещи – обрастает сложным философским смыслом, становясь чем-то большим, чем их автор, – откровением объективности...

Ещё П. Флоренским пронизательно подмечено: мы перестали охватывать целые культуры как свою собственную жизнь; личность, за исключением немногих, не может подняться к высотам культуры, не терпя при этом величайшего ущерба.

Хочется подчеркнуть: Цветаевой удалось то, что удаётся немногим, – охватить целые культуры как автобиографию.

В её “культурах” – с детства – как на ладони – прослеживаются, постоянно пересекаясь, линии: Русская – владимирская няня, фольклор, заговоры, причитания, заплачки, “Слово о полку Игореве”, Георгий Победоносец, Иверская – часовня Иверской Божьей Матери, неподалёку от Кремля. День Благовещенья, Александровская свобода под Москвой, странники, слепцы, юродивые, Персияночка Разина; Пушкин; и – европейская – французская (первые детские и юношеские увлечения: Наполеон, Ростан, Кавалер де Грие, Манон, Казанова, Калиостро – лирический плащ цвета романтического времени, распахнутый над рядом её творений – от лирических стихотворений до пьесы “Конец Казановы”); и немецкая – немецкие сказки, которые в детстве слышала в чтении матери, пансион, “сумрачный германский гений” – Гёте, Гейне, Гёльдерлин, Рильке. И ещё одна – великолепная культурная ветвь, которая – по ассоциации – вызывает в памяти ахматовскую тёмную свежую ветвь бузины – так она молода и жизнестойка у Цветаевой – античность, миф, с богатством которого она не расставалась до конца своих дней: “Меж нами – струится лестница Леты”.

Такие образы, как Орфей и Эвридика, Психея, Тезей, Ариадна, Федра, получают постоянную “прописку” в подвижном мире Цветаевой: она всегда возвращается к ним как к живым, дорогим и необходимым ей людям, поднимая со дна мифа, – как затонувший остров:

Такплыли: голова и лира,  
Вниз в отступающую даль.  
И лира уверяла: — Мира!  
А губы повторяли: — Жаль!  
(“Орфей”)

Она пытается “подсказать” Орфею, “спасти” его — и эта подсказка (“Я бы Орфей сумела внушить: не оглядывайся! Оборот Орфея — дело рук Эвридики... Оборот Орфея — либо слепость её любви, не владение ею... либо... приказ обернуться — и потерять”) многого стоит в искусстве, ибо ей отдан весь живой сокровенный личный опыт современного художника.

Не будет преувеличением сказать, что именно поэт, его вечная загадка: душа, любовь, жизнь и смерть — составляет содержание лирического цветаевского мира. Проблема поэта становится тем оселком, на котором оттачиваются мысль, “что” и “как” её творчества (и прежде всего — “что”, ибо Цветаева как мыслитель всё ещё в полной мере не оценена по достоинству).

Она, эта проблема, исследуется автором на разнородном и разнообразном материале: от лирического стихотворения до письма, — это самая короткая дистанция, ведь лирика — то же письмо, только зашифрованное; записка, спрятанная в бутылку и брошенная в море; и от лирического цикла до лирической сатиры “Крысолов” — это большая дистанция.

Конечно, создавая эту вещь, первоначально посвящённую “моей Германии”, в основу которой положена древняя легенда о Крысолове, использованная в истории литературы Гёте, Гейне и другими, Цветаева не знала гипотезы В. Н. Топорова о том, что древнегреческие слова “мышь” и “муза” генетически между собой связаны, но, может быть, ей была знакома статья М. Волошина “Аполлон и мышь” (“Северные цветы”. Альманах пятый, кн. изд-ва “Скорпион”, М., 1911), где само сопоставление в заглавии делало очевидной связь бога солнца и поэзии с мышами<sup>5</sup>. Мыши — животные из окружения Аполлона, то есть почти что Музы, и Крысолов, освобождающий город Гаммельн от “крыс”, не лишает ли его жителей, по их просьбе, творческого начала?

Жизнь, оставшаяся без Муз и Детей, — не есть ли это самое страшное наказание тем, кто обманывает Поэта, будь это Быт или Мещане? Даже в такой, казалось бы, своей, русской, то есть стихийной, фольклорной вещи, как “Молодец” (к тому же редко печатаемой сегодня), неожиданно возникает высокая тема Орфея и Эвридики: “В Эвридике и Орфее перекличка Маруси с Молодцем... сейчас времени нет додумать, но раз сразу пришло — верно. Ах, может быть просто продлённое “не бойся” — мой ответ на Эвридику и Орфея. Ах, ясно: Орфей за ней пришёл — жить, тот за моей — не жить. Оттого она (я) так рванулась. Будь я Эвридикой, мне было бы... стыдно — назад!” (В письме Цветаевой к Пастернаку от 1926 г.).

Цветаева не скрывала, что в её героине Марусе много от неё самой — автора, его личного опыта. Хотя в сказке это далеко не столь уж очевидно. Можно предположить, что в “Молодце” она защищала — и защитила — своё внутреннее право поэта на сохранение тайны — тайны любви и тайны творчества:

Умыслы сгрудились в круг.  
Судьбы сдвинулись: не выдать!  
(Час, когда не вижу рук)  
Души начинаю видеть.  
“Час, когда вверху цари...”

\* \* \*

Замечено: каждое собственное слово, каждую собственную мысль Цветаева-Поэт (это относится и к её прозе) тут же подвергает уточнению, разности или поправке, то есть комментирует себя. Вернее будет сказать: слух комментирует содержание. Мы находим у неё прямые указания на то, как нужно читать те или иные её вещи: “Крысолова” — вслух, полувслух, движением губ... Особенно “Увод” (4-я глава поэмы. — И. Р.). Нет, все, все. Он, как “Молодец”, писан с голосу”.

Известно также, как высоко ценила Цветаева словотворчество (“Смерть могла бы называться, а может быть, где-нибудь, когда-нибудь и называлась — Мра”). Для неё — поэта крайностей, не заботящегося о том, чтобы обеспечить читателю комфорт высших достижений гармонической школы с их убаюкивающим метрическим рисунком (отсюда — перенасыщенность ударениями, избыточное пользование цезурой и усечением стоп, изобретательность в рифмовке и т. д.) — словотворчество всегда было только “хождением

по следу слуха народного и природного”, а богатые технические достижения продиктованы не формальными изысками, а естественным движением речи, для которой важнее всего её предмет.

Хождение по слуху — примеров этому несть числа в цветаевской лирике, и каждый читатель свободно их назовёт — без подсказки.

Гораздо важнее обратить внимание на то, как видит поэт — до чего слово открывает вещь! — как связано его зрение с живописью, с определённым изобразительным рядом, с красками. . . “Я — голос и взгляд”, — справедливо считала Цветаева. И это действительно так: самые поэтические её образы являются нам в нерасторжимом единстве звука и вида:

Поля в вечерней жалобе...

Деревья с пугливым наклоном...

Семь холмов — как семь колоколов...

Солнце — одно, а шагает по всем городам...

— Только живите! — Я уронила руки,  
Я уронила на руки жаркий лоб.  
Так молодая Буря слушает Бога —  
Где-нибудь в поле, в какой-нибудь тёмный час.

Большими тихими дорогами,  
Большими тихими шагами...  
Душа, как камень, в воду брошенный, —  
Всё расширяющимся кругами...

Самые сокровенные замыслы открываются — слову, которое должно уметь видеть вещь: “До страсти хотела бы написать Эвридику, — признаётся она в письме к Пастернаку, — ждущую, идущую, удаляющуюся. Через глаза или дыхание? Не знаю. Если бы знал, как я вижу Аид. Я, очевидно, на ещё очень низкой ступени бессмертия”.

Нет, Цветаева была здесь неправа: она ещё увидит цвет (“Заря малиновые полосы разбрасывает на снегу”), объём, скульптурность, архитектонику предмета (“Солнце — одно, а шагает по всем городам”; “На стене чердачной солнце / от окна легло крестом”), напишет природу — Ручьи, Облака, Деревья, Куст, Сад, Бузина (так называются лирические циклы, созданные незадолго до конца), где цвет поправ светом, где “ручьи ниспадающих речь сплеталась предивно с плащом, ниспадающим с плеч волной неизбывной”, где “летающие листья, слетающие на булыжный торец, сметаемые...” — складываются в картину, которую кистью кончает художник.

Неожиданную и дерзкую (новаторскую) связь с открытиями живописного искусства XX века приоткрывает нам поэзия Цветаевой.

Вспоминается, что она была современницей талантливейших художников своего времени — Врубеля, Петрова-Водкина, М. Волошина, свидетельницей сложных поисков мирискусников Борисова-Мусатова и Сомова, автором, наконец, замечательного очерка о своей любимой художнице Наталье Гончаровой, в мастерской которой она бывала в Париже и работами которой она восхищалась.

Пришла пора представить Цветаеву не только искусством поэзии, но — и искусством живописи, поместив её в определённый изобразительный ряд. Это преследует две цели. Первая — показать, что образная система её тяготеет к произведениям определённого круга художников, чьи картины так или иначе соотносятся с произведениями, замыслами и симпатиями поэта. Так, “Благовещенье” Боттичелли, возможно, напомнит о важности темы праздника Благовещенье в ряде лирических стихотворений ранней Цветаевой; петрово-водкинская “Ахматова”, созданная в 1916 году, наведёт на мысль, что именно в этот же год писала свою Ахматову — и совсем по-другому: дерзко, широко, по-московски (“Кабы нас с тобой — да судьба свела / — Ох, весёлые пошли бы по земле дела!”); что, когда глядишь на “Сивиллу” Микеланджело, всплывает цветаевская строфа из цикла “Сивилла” (1922):

Каменной глыбой серой,  
С веком порвав родство.  
Тело твоё — пещера  
Голоса твоего.

Или розановское наблюдение: “Микеланджело в красках очень родствен Данту в слове... Да, это пророчество в живописи, и кисть была в руках пророка” (в статье “Выцветающая живопись”).

Вторая цель — дать читателю возможность обежать глазами в общем-то сегодня ему хорошо известный короткий жизненный путь Марины Цветаевой.

Постоять у статуи Давида Микеланджело при входе в Музей изящных искусств имени Пушкина, где 31 мая 1912 года двадцатилетняя Марина присутствовала на торжественном открытии Музея — “детища” её отца Ивана Владимировича Цветаева. Спустя 21 год после этого события в автобиографическом очерке “Открытие музея” (1933) она сформулирует живой урок истории и философии, вынесенный для себя из тех дней: “вот что время делает с человеком, вот что (взгляд на статуи) — с человеком делает искусство. И последний урок: вот что время делает с человеком, вот что человек делает с временем”.

Встретиться с “живыми картинами” Борисова-Мусатова, жившего в старинном городке Тарусе на Оке в Калужской области, где протекали золотые деньки детства и юности сестёр Цветаевых, где произошло первое соприкосновение души с душой простого народа, русской природы, России. Перевести взгляд на прозрачные акварели поэта и художника Максимилиана Волошина — и вспомнить, какую роль он сыграл в судьбе юной Цветаевой: его доброжелательный отклик на первую книгу “Вечерний альбом”, его гостеприимный дом в Коктебеле, где в самые трудные годы она находила себе пристанище; герой её очерка “Живое о живом” (1932).

У “Георгия Победоносца” ещё раз задуматься о том, что “наша революция — противоречие уже с самого своего возникновения: разрыв течения времени под видом неподвижной и жуткой достопримечательности. Таковы и наши судьбы, неподвижные, недолговечные, зависимые от тёмной и величественной исторической исключительности, трагичные даже в самых мелких и стихотворных проявлениях” (Пастернак).

Восхититься “Композицией с деревьями” Натальи Гончаровой — несколько взбегающих деревьев вечером, на всхолмье — любимая живописная группа Цветаевой в предместьях Праги и Парижа, посмотреть бегло эскизы к русским вещам — “Золотому петушку”, сказкам, — и — в Лувр: там любимые “Джоконда” Леонардо да Винчи с загадочной улыбкой, вопрошающая о жизни и смерти человека, и обезглавленная, безрукая, но крылатая Ника Самофракийская — “Я давно её знаю и люблю” (о посещении Цветаевой Лувра вместе с армянским поэтом А. Исаакяном рассказала Ариадна Эфрон в очерке “Самофракийская победа”).

И, наконец, застыть в молчании у последней черты — трагического конца Цветаевой, имеющего название: Елабуга, 31 августа 1941 года, безымянная могила. Это — опять Микеланджело, только теперь “Пьета”. Опять Борисов-Мусатов — только теперь “Реквием”.

И, прорываясь сквозь смерть, звучит с новой силой вещей голос Сивиллы — Музы Цветаевой:

Знаю, умру на заре! На которой из двух,  
Вместе с которой из двух — не решить по заказу!  
Ах, если б можно, чтоб дважды мой факел потух!  
Чтоб на вечерней заре и на утренней сразу!

Пляшущим шагом прошла по земле! — Неба дочь!  
С полным передником роз! — Ни ростка не наруша!  
Знаю, умру на заре! — Ястребиную ночь  
Бог не пошлёт на мою лебединую душу!

Нежной рукой отведя нецелованный крест,  
В щедрое небо рванусь за последним приветом.  
Прорезь зари — и ответной улыбки прорезь...  
Я и в предсмертной икоте останусь поэтом!



Нет, далеко не так романтично, как в этом стихотворении 1920 года, а – страшно выглядит конец Цветаевой: не случайно последующее поколение русских поэтов восприняло это самоубийство как убийство – “И виденье казённой Марины кажет высунутый праязык” (Г. Оболдуев).

Но в одном она оказалась права.

...Всмотрись, читатель, в Нику Самофракийскую – и ты услышишь шелест её несуществующих рук-крыл (вот она – “Неба дочь!”), торжествующих вечную Победу Духа: осталась Поэтом.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. Тынянов Ю. И. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1927. С. 173.
2. Сам же Ходасевич узнал эту, свою же особенность – тысячекратно усиленной – в поэтике Цветаевой. Так, разбирая её последнюю прижизненную книгу “После России” (1928), он писал: “Поэтика прошлого века не допускала одержимости словом; напротив, требовала власти над ним. Поэтика современная, доходящая порой до признания крайнего словесного автономизма и во всяком случае значительно ослабившая узлы, одерживавшие “словесную стихию”, даёт Цветаевой возможности, не существовавшие для Ростопчиной. Прочитание, бормотание, лепетание, полузаумная, полубредовая запись лирического мгновения, закреплённая на бумаге, приобретает сомнительные, но явочным порядком осуществляемые, права” (“Возрождение”, 1928, 19 июня).
3. Живая жизнь (фр.).
4. Стихотворение на случай (нем.).
5. Наблюдение Н. Богомолова в предисловии “Жизнь и поэзия Владислава Ходасевича” к книге: “Владислав Ходасевич. Стихотворения”. Большая серия Библиотеки поэта, издание третье. Л.: Советский писатель, Ленинградское отд., 1989. С. 17.

ГЕННАДИЙ КРАСНИКОВ

## ТАНЦЫ СМЕРТИ НА ГОРЯЩИХ МОСТАХ

*Письмо к человеку*

**Марина Цветаева**  
**1892-1941**

*Россия моя, Россия,  
Зачем так ярко горюшь?*

М. Цветаева

Уравновешенное пушкинское “Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон” категорически не вписывается в темперамент Марины Цветаевой. Это она беспрестанно теребила Аполлона, чтобы тот недреманно призывал к звучанию её “святую лиру”. Попробовал бы он отлынивать от своих законных обязанностей! Его бы тут же отучили от языческой богемности и праздности. Может быть, именно потому Цветаеву от пушкинского Поэта отличает то, что она никогда “в заботах суетного света” ни “малодушно”, ни “простодушно” не была “погружена”. О чём поэтесса в разное время и в разных вариантах высказывалась с предельной ясностью:

“Я не люблю жизни как таковой, для меня она начинает значить, т. е. обретать смысл и вес — только преображённая, т. е. — в искусстве”. И только сквозь жёсткую оптику этих признаний следует рассматривать жизнь, творчество, судьбу Марины Цветаевой.

При этом особо необходимо иметь в виду, что через её судьбу, пожалуй, впервые в нашей культуре так нараспашку открыто и мощно явлена сокровенная суть русской души.

Явление самой Цветаевой есть прямое утверждение и доказательство, что мы по природе своей нация литературная, нация слова. У нас высказывание, слово — вовсе не следствие или ответная реакция на событие, а причина. Причина причин. “В начале было Слово” — как-то это уж очень по-русски, понятно для нашего разумения, сладостно для нашего сердца! Мы постоянно творим миф (лингвисты бы сказали: вербальный), который не обязательно станет реальным миром, воплотится в реальное дело. У Цветаевой это гипертрофировано до такой степени, что слово, а вернее — словопроизношение фактически стало для неё своеобразной функцией (как сама она, кстати, определяла столь специфическим термином музыкальное сочинительство Сергея Прокофьева).

Цветаева писала бы и на необитаемом острове, и на Марсе, и в тюрьме, и в монастырской келье. Когда она говорит: “Если бы меня взяли за океан – в рай – и запретили писать, я бы отказалась и от океана, и от рая”, – то в её признании нет ни малейшей игры. Знаменитое утверждение “Слово есть дело” – в цветаевской и русской судьбе развёрнуто в непостижимую для западных и прочих рациональных цивилизаций сторону, где “дело есть слово”. Отсюда вся наша (общая с Цветаевой!) самобытность и загадочность, отсюда и все наши проблемы и печали.

Писать стихи Цветаева, разумеется, начала очень рано. В шесть лет. Иначе и быть не могло. В своё время Андрей Белый глубже других почувствовал близкую ему самому певчую природу поэтессы: “А вы, вы – птица! Вы поёте!” И совершенно удивительным образом объяснится этот ранний дар, когда уже семнадцатилетняя Марина выпустит свою первую книгу стихов “Вечерний альбом”. “Издала я её, – напишет она позднее, – по причинам литературы посторонним, поэзии же родственным, – взамен письма к человеку, с которым была лишена возможности сноситься иначе”. В этих словах на всю жизнь выразилась сверхзадача её творчества, которое до последних дней было не чем иным, как “письмом к человеку”. Но, к сожалению, для женской судьбы Цветаевой – письмом со сбывшимся продолжением фразы о человеке, “с которым была лишена возможности сноситься иначе”. Так что, уже начиная с “Вечернего альбома”, куда вошли стихи “15-ти, 16-ти и 17-ти лет”, она интуитивно прорывается пока ещё из романтического, воображаемого одиночества, которое с годами станет, вне сомнений, самой горькой темой её жизни и творчества. Так возникает лирическое предчувствие письма к “идушим мимо”:

Вы, идущие мимо меня  
К не моим и сомнительным чарам, —  
Если б знали вы, сколько огня,  
Сколько жизни растрачено даром,

И какой героический пыл  
На случайную тень и на шорох...  
И как сердце мне испепелил  
Этот даром истраченный порох...

*(“Вы, идущие мимо меня...”)*

Интересно, что уже в рецензии на первую книгу М. Цветаевой обожаемый ею Валерий Брюсов, признанный мастер и мэтр, писал “о полном овладении формой”, а после выхода второй книги (1912) – и о “чрезмерной, губительной лёгкости” её поэзии. М. Волошин, обращаясь к “Вечернему альбому”, замечал, что “автор владеет не только стихом, но и чёткой внешностью внутреннего наблюдения, импрессионистической способностью закреплять текущий миг”. В этом как раз и проявилась одна из характернейших и оригинальных черт поэзии Цветаевой. В её стихах абсолютно отсутствует эволюция. Она сразу начала писать, как мастер, без разбега. У неё практически не было грубых провалов в ранних стихах и уж тем более в поздних. К ней в полной мере подходит её собственная характеристика, данная по другому случаю: “Борис Пастернак – поэт без развития. Он сразу начал с самого себя и никогда этому не изменял”. Тут она по-своему намечает два типа поэтов вообще. Так, Пушкин, по её мнению, всю жизнь был в “становлении”, а “Лермонтов сразу – был”. Следуя такой логике, мы могли бы отнести и Цветаеву к лермонтовскому типу. Правда, с некоторыми оговорками.

Во-первых, Лермонтов “сразу – был”, потому что “становление” за него во многом взял на себя Пушкин, проложив пути в языке, в эстетических поисках, в разработке литературных тем. Но и Лермонтов развивался гигантскими темпами. Достаточно вспомнить написанные им незадолго до гибели шедевры, о которых В. Розанов сказал, что, “отняв только написанное за шесть месяцев рокового 1841 года, мы уже не имели бы Лермонтова в том объёме и значительности, как имеем его теперь”.

Во-вторых (и это главное!), в отличие от Лермонтова, как, впрочем, и от других русских поэтов, Цветаева поэт скорее фантомного типа. Она весьма

и весьма относительно связана со своим временем. Связи с эпохой и современностью у неё присутствуют лишь в той мере, в какой необходимо, скажем, каждому иметь отметку в паспорте о годе и месте рождения. Не более. С тем же успехом её могло занести и в XIX, в XXI век, и в просвещённые времена Екатерины. И везде она была бы на месте, везде оставалась бы тою же Цветаевой — рядом ли с президентом Российской академии княгиней Екатериной Дашковой, или в одном кругу с кавалерист-девицей Надеждой Дуровой, или в воровском заточении вместе с боярыней Морозовой. Из любого времени, из любого российского уголка прозвучало бы всё то же сугубо цветаевское, надвременное:

Идѣшь, на меня похожий,  
Глаза устремляя вниз.  
Я их опустила — тоже!  
Прохожий, остановись!

Прочти — слепоты куриной  
И маков набрав букет,  
Что звали меня Мариной,  
И сколько мне было лет...

*(“Идѣшь, на меня похожий...”)*

Вот пример “письма к человеку” — всех, любых времён. Это вам не “восемнадцать жасминовых лет” Ирины Одоевцевой — прелестной, живущей сейчас, исключительно в данное мгновение, как яркая весенняя бабочка. Цветаева берёт не какой-то конкретный век, год, день, а сразу всё время, ей принадлежат чувства и переживания всех эпох:

Уж сколько их упало в эту бездну,  
Разверстую вдали!  
Настанет день, когда и я исчезну  
С поверхности Земли.

Застынет всё, что пело и боролось,  
Сияло и рвалось:  
И зелень глаз моих, и нежный голос,  
И золото волос.

И будет жизнь с её насущным хлебом,  
С забывчивостью дня.  
И будет всё — как будто бы под небом  
И не было меня!

*(“Уж сколько их упало в эту бездну...”)*

Это не значит, что XX век её не коснулся, не задел, не оставил на ней своих шрамов. Так же, как не значит, что и она не оставила отпечатков собственных следов на поверхности доставшейся ей эпохи (хоть и верила: “Время! Я тебя миную...”). Ну, тут уж, как говорится, взаимность была вынужденная. Рада бы курица на свадьбу не идти, да повар за крыло тащит! Скажут: а разве не Цветаева написала белогвардейский цикл “Лебединый стан” с крамольным подзаголовком “белые стихи”?.. Да, ответим мы, написала, ибо верила, не сомневалась, что возлюбленный её муж — белогвардеец. Любила бы красногвардейца — появились бы очень даже “красные” стихи (написала же о Маяковском!). Вообще, любовь — ключ почти к каждой её строке (“Мне, чтобы о человеке сказать, нужно его любить пуще всего”). А потому весь вопрос в том, как и что написано. Ведь те же стихи сложила бы она о любой гражданской войне:

...Все рядком лежат —  
Не развесть межой.

Поглядеть: солдат.  
Где свой, где чужой?

Белый был — красным стал:  
Кровь обагрила.  
Красным был — белым стал:  
Смерть побелила.

(“Ох, грибок ты мой, грибочек, белый груздь!..”)

Да, она написала беспощадно-иронические злые стихи “Хвала богатым” (вынеся ещё из детства бесспорную истину о том, что “сознание неправды денег в русской душе невытравимо”). Но так же точно она и на костре инквизиции “упорствовала” бы в своей “любви”–ненависти к сытой черни:

...За их корень, гнилой и шаткий,  
С колыбели растящий рану,  
За растерянную повадку  
Из кармана и вновь к карману.

За тишайшую просьбу уст их,  
Исполняемую, как окрик.  
И за то, что их в рай не впустят,  
И за то, что в глаза не смотрят...

(“Хвала богатым”)

Да, она нарисовала замечательный современный сатирический портрет в стихотворении “Читатели газет”. Но разве и более чем через полвека не узнаем мы мерзость сегодняшнего дня и себя самих в этой картинке с “парижской” натуры 1935 года?

...Кто — чтец? Старик? Атлет?  
Солдат? — Ни черт, ни лиц,  
Ни лет. Скелет — раз нет  
Лица: газетный лист!  
Которым — весь Париж  
С лба до пупа одет.  
Брось, девушка!  
Родишь —  
Читателя газет...

...Кто наших сыновей  
Гноит во цвете лет?  
Смесители кровей,  
Писатели газет!

(“Читатели газет”)

Как писал о современной либеральной прессе, называя её “печатный водкой”, задолго до Цветаевой Василий Розанов (глубоко почитаемый ею): “Пришли двенадцать гадов и нагадили у меня в мозг”. Вот этих “двенадцать гадов” она бы ненавидела всегда, укоренились ли они в “Московском комсомольце” или на НТВ, или каменным молотком вдалбливают в первобытные мозги пещерную чернуху и порнуху.

Цветаева русским пронзительным плачем выголосила “Стихи о Чехии”, отозвавшись на боль и унижение этой славянской земли, поправленной фашистской Германией:

...О слёзы на глазах!  
Плач гнева и любви!  
О Чехия в слезах!  
Испания в крови!..

...Отказываюсь — быть.  
В Бедламе нелюдей.  
Отказываюсь — жить.  
С волками площадей

Отказываюсь — выть...

(“Стихи о Чехии”)

Не сомневаюсь, что сегодня Цветаева бросила бы в сытое, тупо-самодовольное лицо Америки и всё той же Германии со всей их натовской сворой, говоря словами Лермонтова, “облитый горечью и злостью стих” — за трагедию уничтожения ими Сербии, так же как уже пророчески предрекла в чешском цикле: “Выкуси, герр!”

Вечное для Цветаевой, как видим, — любовь (“Это-то и есть Россия: безмерность и бесстрашие любви”). Современное — это боль, несправедливость, мерзость вершителей наших судеб (“Современность поэта есть его обречённость на время... Из истории не выскочишь”). И Цветаева даёт замечательное с точки зрения эстетики и психологически глубокое с точки зрения русской истории определение, что значит “быть современником”: это значит “творить своё время, а не отражать его. Да, отражать, но не как зеркало, а как щит”. Ибо “поэт сам событие своего времени”. И это не гордыня, а принципиальное понимание предназначения художника.

В таком цветаевском контексте, конечно же, вдребезги разлетаются все школьные банальности типа “Лев Толстой как зеркало русской революции”. Понятно, что Толстой ничего не “отражал”, а сам, увы, в последние годы жизни работал как гигантский завод по производству революционного Левиафана, пожравшего Россию. То, что один творил как “своё время”, Цветаевой пришлось затем отражать “как щит”.

Чувствуя себя, своё “я”, свою личную духовную историю неким суверенным пространством, государством, Цветаева защищалась, “как щитом”, от чужеродного, а значит — временного. Часто её стихи — по законам государства — звучат как ноты протеста, ноты ожидания, ноты предупреждения.

Пригвождена к позорному столбу  
Славянской совести старинной,  
С змеёю в сердце и с клеймом на лбу,  
Я утверждаю, что — невинна.

Я утверждаю, что во мне покой  
Причастницы перед причастьем,  
Что не моя вина, что я с рукой  
По площадям стою — за счастьем.

(“Пригвождена...”)

Или:

...Я тебя отвоюю у всех времён, у всех ночей,  
У всех золотых знамён, у всех мечей,  
Я ключи закину и псов прогоню с крыльца —  
Оттого что в земной ночи я вернее пса...

(“Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес...”)

Но в чём всё-таки была её “личная история”, что составляло её личное, так горячо обороняемое пространство? Здесь, в первую очередь, её московское детство (родилась 26 сентября 1892 года) с той полнотой духовной свободы, в которой абсолютное признание Личности человека независимо от его возраста. Личностями в доме были все: две дочери — Марина и Анастасия. Отец — Иван Владимирович Цветаев. Обычно подчёркивается (что справедливо!) его высокий общественный и культурный статус — профессор Московского университета, филолог, искусствовед, историк, основатель Музея изящных искусств имени императора Александра III (ныне Музей изобразительных

искусств имени А. С. Пушкина). Но для Цветаевой с её “безмерностью в мире мер” это слишком ограниченный и маломерный объём. Её корни и корона в ином космосе: “Город Александров, Владимирской губернии, Ильи Муромца губернии. Оттуда — из села Талицы, близ города Шуи, наш цветаевский род. Священнический... Оттуда мои поэмы по две тысячи строк и черновики к ним — в двадцать тысяч...” Её глубина и высота — “от деда о. Владимира до пращура Ильи...”

“От матери я унаследовала, — будет вспоминать Цветаева, — Музыку, Романтизм и Германию. Просто — Музыку. Всю себя” (в творчестве её это означает: “Есть нечто в стихах, что важнее их смысла: — их звучание”). Мария Александровна Мейн — мать поэтессы — происходила из обрусевшей польско-немецкой семьи. Она была талантливым пианисткой, ученицей Рубинштейна. Но в Цветаевой корни не переплетаются, а обнимаются, и она соединяет в себе не кровь, а культуры, характеры, Небо.

Но и это ещё не всё пространство. Небо Цветаевой, под которым она из XX века писала “Письмо к человеку” во все времена и в каждый дом, связано не с географическим местом на земле, а с единственным духовным материком, без которого не было бы ни русских святых, ни русских грешников, ни русской поэзии. Об этом читаем у Цветаевой: “Есть такая страна — Бог, Россия граничит с ней” — так сказал Рильке, сам тосковавший везде вне России, по России, всю жизнь. С этой страной Бог — Россия по сей день граничит... Россия никогда не было страной земной карты... На эту Россию ставка поэтов. На Россию — всю, на Россию — всегда”.

Марина Цветаева определённо была русским фантомом. В любом времени, в любом веке, но только не вне России её родина. Вне этого Неба — что ей Германия, что ей её вечные спутники Гёте, Гейне, Гейдерлин, тот же Рильке... В шестнадцать лет самостоятельно (вот она, благословенная и плодотворная свобода!) отправилась в Сорбонну, где прослушала курс истории старофранцузской литературы. В 1922 году она станет эмигранткой, уехав с дочерью Ариадной к мужу, Сергею Эфрону, белому офицеру (оказавшемуся на самом деле агентом ГПУ). В её изгнанической судьбе будут Прага, Берлин (но где он, где — зов крови?), Париж... Но везде она чужая, всюду сиротство, всюду протест против обламывания, подстраивания под чужое и чуждое, “не своё”. “Пишу не для здесь (здесь не поймут — из-за голоса), а именно для там — языком равных”. Оттуда — сюда её взгляд, её крик, её плач:

...Даль, прирождённая, как боль,  
Настолько родина и столь  
Рок, что повсюду, через всю  
Даль — всю её с собой несусь!

(“Родина”)

В 1939 году Цветаева возвращается после 17 лет унижений, нищеты, отсутствия воздуха, неба, родного языка. Но вышло так, что она приехала на Родину умирать. К этому времени в её творчестве произошёл надлом. Она, которая утверждала: “С каждой новой тетрадью — я заново. Будет тетрадь — будут стихи”, — замолчала. Она, не терпящая пустоты (в тетрадях ли, в жизни, в сердце!), — становилась одиноким островом в пустом пространстве. “Ты не знаешь моего одиночества”, — написала Цветаева однажды в одном из писем “к человеку”. И это она, пронесшая в себе пожизненную готовность:

...Согреть чужому ужин —  
Жильё своё спалю!

Она, которая требовала:

...Что другим не нужно — несите мне!  
Всё должно сгореть на моём огне!

Она, которая знала: “Если не для любви — для чего же встречаться?” — при этом сознающая несоразмерность свою с размеренностью мира:

...Ненасытностью своею  
Перекармливаю всех.

Ей необходимо было всегда, каждую минуту с кем-то и чем-то родниться. Она всю жизнь строила своё генеалогическое древо, включая в него всё: и дом, и звёзды, и дружбу, и Кремль, и Рильке, и книги, и письменный стол. Она не умела упрощать, уяснять ситуацию. Простое, порой элементарное она усугубляла, доводя до катастрофических масштабов. В простом, элементарном мире ей было бы просто тошно жить, в её системе координат — “единственный выигрыш всякого нашего чувства — собственный максимум его”.

По “максимуму” она и из поэзии вырывала самые раскалённые, самые опалюющие угли (“Птица-Феникс я, только в огне пою!”). По энергии в русском стихосложении ей близки лишь Державин да Языков. У них одно с ней дыхание — одическая торжественность, ораторский восторг первого и ритмический пламень, полёт второго. Здесь же безмерная широта некрасовской сострадательной русской печали и рыдание народных плачей, голошений. Но всё её дыхание — внутри строки, в синтаксисе, а у них в темпераменте. У неё — лингвистический темперамент. Ведь о чём её знаменитые строки “Поэт издалека заводит речь, Поэта далеко заводит речь”? О жизни — в слове. Потому так принципиально несовпадение цветаевского “Стихи растут, как звёзды и как розы” с хрестоматийным ахматовским “Когда б вы знали, из какого сора / Растут стихи...” Первородство слова перед жизнью у Цветаевой очевидно. Что не сделало её жизнь счастливой. Что неизбежно должно было завести “далеко”, дальше жизни, дальше возможности объясниться с жизнью простым языком жизни.

У Боратынского есть стихи, как будто о Цветаевой написанные: “Я друга в поколение не нашёл”. Даже те немногие, к кому она так искренне тянулась, рано или поздно (чаще — рано!) оставляли безответными её обожание, обожение, словно опасаясь её инстинкта присвоения, захвата новых территорий (“Мой Пушкин” — вот пример её захватнического обожествления!). Так было с Эфроном, с Мандельштамом, так было с Ахматовой, Маяковским, а уже в самом конце с Арсением Тарковским. Увы, равных в любви, в ответном восторге не оказалось. До безумия осложнила она отношения и с детьми, особенно с сыном. Когда 31 августа 1941 года она покончила жизнь самоубийством, у неё уже ничего (и никого) не оставалось. Не за что было ухватиться. Не с кем породниться (последняя попытка — порыв навстречу Тарковскому). Тогда она породнилась со смертью. Она обнялась (впервые обоюдно ответно!) со смертью, как равная с равной.

Глубоко символично, что могила М. Цветаевой так и осталась ненайденной, затерявшись где-то среди безвестных холмиков на елабужском погосте. Разве кто-нибудь из нас видел соловьиный некрополь? Птицы не умирают. Они исчезают в августовском небе, чтобы вернуться весной (“я себя схоронила в небе!”). Поэтому в ней не чувствуется есенинской, блоковской договорённости, завершённости. Она могла бы писать ещё многие десятилетия, тысячу лет. Она могла бы вместить в себя столько счастья, любви, творчества (“Я — много поэтов, а как это во мне спелось — это уже моя тайна”). В ней нет тютчевского или (ближе!) ахматовского страдания, умудрения (умудрённости) возрастом. В ней всегда только четыре времени года, сменяющиеся, как в природе.

Она не объяснила наш трагический XX век (“Искусство не цель, — говорила Цветаева, — а мост”). Наш век необъясним без Блока, Есенина, Ахматовой. Но XX век объяснил её, а значит, объяснил и Россию. Россия послала её к нам своим собственным письмом. Она пришла во имя слова. Она жила в языке, то есть во всех временах России. Так пусть ей пухом будет русская речь. Цветаева это заслужила, ибо, как никто, была права, говоря: “Если есть Страшный суд слова — на нём я чиста”.



ГАЛИНА ДАНИЛЬЕВА

## СОБАЧЬЯ ПЛОЩАДКА В ЛУЧАХ АРБАТСКО-ПОВАРСКИХ ПЕРЕУЛКОВ

Собачка – да, именно так ласково величали улицу Собачья площадка в времена оны. И теперь, когда и улицы-то этой нет – погребена под асфальтовой кожей Нового Арбата (бывшего Калининского проспекта), – так называют порой место в центре несравненной Арбатской части Москвы, вблизи кинотеатра “Октябрь”. Если сказать точнее, то Собачья площадка располагалась непосредственно к северу от нынешнего дома № 17 по Новому Арбату (на месте пешеходной зоны), между Большим Серебряным, Малым Николопесковским, Большим Николопесковским, Дурновским, Кречетниковским и Борисоглебским переулками. Восточная часть Собачки – между Малым Николопесковским и Дурновским переулками – фактически также являлась узким переулком, уничтоженным в 1962 году. На карте Москвы 1917 года легко читаются не только шесть лучей исходящих от Собачьей площадки переулков, но и весь ореол окружавших её больших и малых улиц.

Сегодня Арбат – самый маленький по площади район Москвы, но он, может быть, первый в столице по плотности достопримечательностей.

Переулочки Арбата, живущие в объёмах Пречистенки и Поварской, – бывший дворянский район столицы, а ещё раньше – слободской. Исчезнувшие навсегда, неузнаваемо изменившиеся, они всё окликают то говорящей топонимикой, то поэтической строкой, хранящей память о старомосковской

---

*ДАНИЛЬЕВА Галина Алексеевна — старший научный сотрудник Дома-музея Марины Цветаевой (Москва), член Союза писателей Москвы. Печатается с 1989 года. Пять книг стихов, более 100 публикаций в журналах и сборниках (“Грани”, “Юность”, “Литературная учёба”, “Ренессанс”, “Тарусские страницы” и др.). Стихи переведены на семь языков, включены в ряд отечественных и зарубежных антологий. Почётный работник культуры г. Москвы (2018). Лауреат XX Литературной премии имени М. И. Цветаевой (победитель в номинации “Популяризация творчества М. Цветаевой”, 2020 г.); двукратный победитель конкурса “Лучший музейный работник-экскурсовод города Москвы” (2002, 2006 гг.); дипломант литературного конкурса “Живое о живом”, посвящённого 110-летию со дня рождения Марины Цветаевой (2002); лауреат первой степени в номинации “Поэзия” Международного музыкально-поэтического форума “Фермата” — Международного конкурса поэзии и художественного слова имени Ю. П. Кузнецова (2017); дипломант Пятого городского конкурса песен о Москве “Дорогая моя столица” (2005).*

жизни. А то и напрямую – воспоминаниями о поэтах, чьи следы не остудили зимы перемен, градостроительных новшеств и – “находок”.

Вот и уникальная Собачья площадка – более чем литературная страница в летописи московской, скорее – многотомье. Исток имени – в названии слободского поселения. Есть мнение, что тут находилась царская псарня. Логично, так как рядом – царёв кречетный двор (от него – исчезнувший Кречетниковский переулок), на котором содержались соколы для царской охоты. Охочи были государи до охоты! Вспомнить хотя бы Алексея Михайловича, благодаря которому Москве были подарены возлюбленные Сокольники. Без этого парка, без этого зелёного района и Москва – не Москва.

Собачья площадка – улица – площадь – в её габаритах возникла, по-видимому, в середине XVIII века. Тогда и была застроена небольшими деревянными домами. К середине следующего века ими владели в основном мелкие чиновники и весьма небогатые дворяне.

Если перелистать роман “Дым” И. С. Тургенева, то можно заглянуть в дом – вблизи Собачьей площадки – многочисленного семейства князей Осининых: деревянный, одноэтажный, с полосатым парадным крылечком на улице... Полосатое парадное имел и дом профессора Ивана Владимировича Цветаева (изначально – старый дом Иловайских) в Трёхпрудном переулке. В угоду моде тогдашнего века? Мода, видимо, была всегда.

Собачка, Борисоглебский, Молчановка, Поварская... От Собачьей площадки до площади Никитских ворот – улицы, хранящие пушкинские адреса.

Сорок сороков московских – что ни имя церковки златоглавой, то потеря. Из тех, что возвышались вблизи Собачьей площадки, первой хочется назвать церковь святого Николая Чудотворца, что на Курьих ножках, или церковь Николая, что в Трубниках, “на курьей ношке”, то есть на меже (по-старинному – ношке). Начнём с этого храма с *названием смешным*... Нет, не из-за названия, а из-за Пушкина, конечно, и не только...

Есть версия знатоков топонимики, которая объясняет это выражение тем, что здесь находился (возможно!) большой кухонный двор и в отбросах около него было множество ножек от кур, готовящихся для царского дома. Логично, если вспомнить соседнюю Поварскую слободу и её переулки: Ножовый, Скатертный, Хлебный.

А вот как объясняет это выражение географ Э. М. Мурзаев. Он приводит в составленном им словаре слово “курья”, означающее узкий проток или небольшую речку, но не имеющую названия. Не такая ли здесь вилась-бежала, как во многих местах московских, например, в сторону речушки Сивки, чтобы дальше – вместе к реке Москве?

Ножкой, возможно, называлась и земельная мера (помните – Борисова ножка, Марьина ножка?), и межа, служившая границей между слободами.

Существует и такое объяснение: царь Михаил Фёдорович близлежащую к царёвым слободам местность подарил своей челяди, по словам в грамоте, “на курьи ножки”, разумев их как еду. Выражение “дать на курьи ножки” следует понимать в качестве современного “дать на чай” (Крот А. Н. Путеводитель по Москве. М., Ефимов, 1905).

В 1635 году церковь была деревянной, а в 1729-м – в году обновления церквей – числилась уже каменной. Предполагают, что её первоначально каменное здание построено в 1681-м. Именно тогда от Курьей ножки перенесли деревянную постройку церкви св. Николая Чудотворца в Нововоскресенское село у Пресненских прудов, где возник загородный государев дворец. К первой деревянной отсылает и ещё одна версия происхождения её имени: церковь стояла на высоких пнях срубленных здесь деревьев, которые в народе назывались “курьими ножками”. Отсюда, вероятно, и сказочная избушка на курьих ножках.

Для полноты картины припомним и такое толкование названия: будто причет, подавая челобитную о привеске земли, писал, что место у них зело мало – “курице негде ступить”.

В начале XIX века здание храма было существенно увеличено – в 1805 году к нему пристроили новую трапезную и возвели колокольню.

7 сентября 1810 года Сергей Львович Пушкин, отец поэта, снял дом, принадлежащий священнику церкви Василию Иванову. И не один дом, а с хозяйственными постройками. Фасадом он выходил в Борисоглебский переулок

(Борисоглебский переулоч, 4). Основная часть церковного владения тянулась вдоль Большой Молчановки до Ржевского переулоча (Большая Молчановка, 26-28, угол Большого Ржевского переулоча, 1).

По Борисоглебскому переулочу церковное владение соседствовало с тем, что имеет сегодня адрес: Борисоглебский переулоч, дом 6. Через сто лет (в первой декаде сентября 1914 года) по этому адресу в строении один, в квартире номер три на втором этаже поселится семья Эфрон из трёх человек: Марина Ивановна Цветаева – венчанная жена – со своим мужем Сергеем Яковлевичем и двухлетней дочкой Ариадной, Алечкой. И тогда, в 1914 году, при них будет штат прислуги...

Марина Цветаева семь с половиной лет, правда, в другом веке, проживёт по соседству с одним из домов детства Александра Пушкина на родной московской земле, соседство же в царстве бессмертия будет даровано на века...

В книге для записи “условий”, контрактов, договоров за 1810 год значилось: “...подполковник Сергей Львов сын Пушкин дал сие условие... в том, что нанял я у него, священника, собственный его дом без мебели, состоящей Арбатской части 1-го квартала под № 62-м и к оному две людские избы, кухню, два каретных сарая, две конюшни и два погреба сроком на один год ценою за тысячу четыреста рублей”.

Вскоре после обретения этого дома в жизнь семьи ворвалась беда: 12 сентября умерла Софья, маленькая сестра Александра – ей было всего год и восемь месяцев, а 27 декабря того же года скончался пятимесячный Павел.

Дом на Большой Молчановке или, скорее, в Борисоглебском переулочке – последний московский дом, где жил ребёнком Александр Пушкин, ведь именно отсюда в июле 1811-го выехала тяжёлая дорожная карета, увозившая его в Петербург для поступления в Императорский Царскосельский лицей, который откроется 19 октября, в жизнь, совсем не похожую на домашнюю.

Последний дом детства, жизнь семьи с навсегда памятными радостями и незабываемыми бедами, думается, имели в сердце поэта свой особо хранимый уголок. Быть может, название церкви святого Николая на Курьих ножках вспомнилось Пушкину, когда он в Михайловском писал вступление к “Руслану и Людмиле”...

Деревянный дом священника, из которого уехал 12-летний Александр Пушкин в Царское Село, исчез в пламени пожара 1812 года в числе многих и многих “домиков старой Москвы”.

Ровно через 15 лет, 19 декабря 1826-го, после ссылки в Михайловское, Пушкин вернётся в этот район родного города. Он поселится на некоторое время у своего друга, Сергея Соболевского, в “непрезентабельном здании” под номером 12 на углу Собачки и Борисоглебского переулоча. Уже на другой день здесь Александр Пушкин читал “Бориса Годунова” навестившему его историку и издателю Михаилу Погодину. Тогдашний хозяин дома спустя много лет напишет М. П. Погодину: “Мы ехали с Лонгиновым через Собачью площадь. Сравнявшись с углом её, я показал товарищу дом Ринкевича, в котором жил я, а у меня Пушкин... Вышли из возка и пошли туда. Дом совершенно не изменился в расположении: вот моя спальня, мой кабинет, та общая гостиная, в которой мы сходились из своих половинок и где заседал Александр Сергеевич в самоедском ергаке. Вот где он выронил (к счастью, что не в кабинете императора) своё стихотворение на 14 декабря, что с час времени так его беспокоило, пока оно не нашлось... Вот где собириались Невеитинов, Киреевский, Шевырёв, Рожалин, Мицкевич, Баратынский, вы, я... и другие мужи; вот где болталось, смеялось, вралось и говорилось умно!!!”.

В царской России А. Пушкин пишет стихи, за которые можно заплатить (и платили!) если не жизнью, то ссылкой, вечным поселением, каторгой. Через сто лет здесь же, в другой империи, М. Цветаева говорит правду о времени “вселенской катастрофы”, о безысходности гражданской войны в цикле стихов “Лебединый стан”, который в СССР не мог быть опубликован даже после смерти поэта...

В связи с именем Цветаевой, её судьбой надо ещё раз вернуться собственно к храму Николы на Курьих ножках. Он был приходским для семейства прадеда Марины Цветаевой – Луки Бернацкого, владение которого с 1864 года находилось как раз напротив будущего дома поэта в Борисоглебском переулочке.

В церковной книге храма восемь записей о значимых событиях для семьи Луки Александровича Бернацкого: трёх венчаниях – дочерей Софии, Марии

и сына Александра, трёх рожденьях и крещеньях внуков — Марии, Евгения, Владимира и двух смертях — дочери Марии и его самого. Среди записей — сведения о рождении матери Марины и Анастасии Цветаевых, Марии Александровны Цветаевой, в девичестве Мейн. Запись о рождении соседствует с записью о кончине — о смерти её матери, то есть бабушки девочек — Марии Лукиничны Бернацкой. Бабушка-полька прожила только год в счастливом браке с Александром Даниловичем Мейном и скончалась вскоре после родов от послеродовой горячки. Венчание — 9 ноября 1867, дата ухода — 21 ноября 1868 года, 23 ноября захоронена на Ваганьковском кладбище. В том году это была единственная смерть в приходе.

Вторая запись о кончине относится к 1879 году — году ухода главы семейства — Луки Александровича Бернацкого. Уже через год, в 1880-м наследники продают немалые владения по Борисоглебскому переулку. Через 33 года после смерти Луки Александровича в церковной книге храма Николы явится запись о крещении его праправнука Андрея, сына Анастасии Ивановны Цветаевой и Бориса Сергеевича Трухачёва. А через 35 лет (не позднее 10 сентября 1914-го) напротив владения прадеда поселится его гениальная правнучка — поэт Марина Цветаева.

О неслучайности выбора своего дома в Борисоглебском она узнает только в конце августа 1933 года от родственников по польской линии — от двоюродных сестёр матери, дочерей Михаила Лукича Бернацкого и его вдовы. Встреча произойдёт в Доме престарелых под Парижем, в Сент-Женевьев-де-Буа. Цветаева обещает написать (останется помета в черновой тетради 1933-1934 годов) про узнанное, угаданное, приснившееся, но не успеет.

Церковь Николы, что на Курьих ножках, была самой маленькой приходской церковью в Москве, но помнящей величайших прихожан. Этот храм знал Пушкина, Лермонтова... Здесь прощался с Россией Иван Бунин.

Наталья Крандиевская-Толстая, жена Алексея Толстого, в стихотворении, обращённом к Марине Цветаевой, не может не упомянуть эту московскую церковь — ведь она с Толстым (как Даша и Телегин из трилогии романов “Хождение по мукам”) венчалась именно здесь.

...Теперь бы пойти на Арбат  
Дорогою нашей всегдашней!  
Над городом галки кричат,  
Кружât над кремлёвскою башней.

Ты помнишь наш путь снеговой,  
Счастливый и грустный немножко,  
Вдоль старенькой церкви смешной, —  
Николы на Куриих Ножках?

Любовь и раздумье. Снежок.  
И вдруг, неожиданно, шалость,  
И шуба твоя, как мешок...  
Запомнилась каждая малость:

Медовый дымок табака, —  
(Я к кэпстену знаю привычку), —  
И то, как застыла рука, —  
Лень было надеть рукавичку...

Затоптан другими наш след,  
Счастливая наша дорожка,  
Но имени сладостней нет —  
Николы на Куриих Ножках!

Храм сломан в 1934 году Метростроем для добычи стройматериалов. На его месте было выстроено здание средней школы.

Гнёзда литературные выбирали и выбирают арбатскую часть Москвы как во времена “золотого”, “серебряного” веков, так и поныне. Несмотря на то,

что время и люди не сохранили не только здания, где проходила яркая литературная жизнь, но и сами адреса исчезли с карты Москвы, вычеркнуть их из благодарной памяти невозможно.

Как забыть литературно-философский салон Герцык-Жуковских, или, как часто его называли, салон сестёр Герцык?

Кречетниковский переулок, дом 13, квартира 1.

Название переулка происходит от царской слободы кречетников, возникшей здесь в XVII веке. Переулок и окружающая застройка уничтожены в результате прокладки в 1962–1967 годах проспекта Калинина, ныне – Нового Арбата. Дом 13 находился на месте кинотеатра “Октябрь”.

В арендованной с 1914-го по 1917 год квартире проживали с детьми и их няней сёстры Герцык – Евгения Казимировна и Аделаида Казимировна, в замужестве Жуковская. Главным квартиросъёмщиком был её муж – издатель и думский деятель Дмитрий Евгеньевич Жуковский. Перечень гостей впечатляет: Ю. К. Балтрушайтис, А. Белый, Н. А. Бердяев, С. М. Булгаков, М. А. Волошин, М. О. Гершензон, Вяч. И. Иванов, И. А. Ильин, А. Н. Толстой, сёстры Крандиевские, М. Кювилье (в будущем – Роллан) и другие. Цветаева часто посещает сестёр Герцык – с 1914 года она не только дружит, но и соседствует с ними.

Марины Цветаеву с Аделаидой Герцык познакомил “творец судеб и встреч” Максимилиан Волошин. В эссе “Живое о живом”, посвящённом Волошину, Цветаева оставляет такое признание: “Я сказала, что стихи Макса я переплела со стихами А. Герцык. Сказать о ней – мой отдельный живой долг, ибо она в моей жизни такое же событие, как Макс, а я в её жизни событие, может быть, большее, чем в жизни Макса”.

5 (18 марта) 1915 года Е. О. Кириенко-Волошина пишет сыну из Москвы в Париж: “...вчера весь обормотник был у Жуковских для развлечения Бердяева (лежавшего в их доме в Кречетниковском пер. с переломом ноги) – С. Эфрон, И. Быстренина, Б. Грифцов, М. Урениус; В. Эфрон уехала с санитарным поездом; В. Жуковская и С. Эфрон уезжают на днях”. Сохранилась фотография, видимо, иллюстрирующая написанное. Среди названных – Марина Цветаева, стоящая в дверном проёме.

Аделаида Герцык всегда любила стихи Марины Цветаевой; о сборнике, изданном перед отъездом в эмиграцию, сказала: “Передайте Марине, что её книга “Вёрсты”, которую она нам оставила, уезжая, – лучшее, что осталось от России”.

Аделаида Казимировна Герцык – поэт, прозаик, переводчик, критик. Символистская критика называла её Сивиллой и пророчицей. Может статься, что “древние заплачки” Герцык послужили в какой-то мере обращению Цветаевой к русской народной поэзии, к народной речи.

Кроме сказанного и недосказанного, этот адрес важен как место встречи, как перекрёсток в судьбах двух поэтов – Марины Цветаевой и Софии Парнок.

Могу ли не вспомнить я  
Тот запах White-Rose и чая,  
И севрские фигурки  
Над пышшим камельком...

Мы были: я — в пышном платье  
Из чуть золотого фая,  
Вы — в вязаной чёрной куртке  
С крылатым воротником.

Я помню, с каким вошли Вы  
Лицом — без малейшей краски,  
Как встали, кусая пальчик,  
Чуть голову наклоня.

И лоб Ваш властолюбивый,  
Под тяжестью рыжей каски,  
Не женщина и не мальчик, —  
Но что-то сильнее меня!

Движением беспричинным  
Я встала, нас окружили.  
И кто-то в шутовском тоне:  
“Знакомьтесь же, господа”.

Они познакомились в октябре 1914 года, когда салон после начала Первой мировой войны вновь собрал гостей. Это подтверждает рассказ А. К. Герцык в воспоминаниях о жизни первой военной зимой именно по этому адресу. Цикл “Подруга” Марины Цветаевой, обращённый к Софии Парнок, открывает стихотворение, написанное 16 октября 1914-го.

Минует зима, и весной – в апреле 1915 года – Евгения Казимировна оставит такую запись: “Небывалое количество романов (а наш круг вообще такой безроманный!) в эту зиму военную (пир во время чумы!) – Шеры, Толстой с Тусей, Марина с Парнок, Майя <...> И про всех мы *первые* узнаём и смешливо тещеславимся этим и, возбуждая любопытство, показывая их, намекаем на них”.

До осени 1917 года остаётся только две весны.

Дом, где жили люди, которые могли помочь и помогли в беде рухнувшего мира Марине Цветаевой и не только, был совсем недалеко от Борисоглебского переулка.

На пересечении Кречетниковского и Трубниковского переулков находился дом, где с лета 1917-го по 1918 год проживала семья Цетлиных – Марии Самойловны (в девичестве Тумаркиной) и Михаила Осиповича. В Москве, как позже и в Париже, квартира этих талантливых и красивых людей превращалась в литературно-художественный салон. Цетлины жили здесь до осени 1918-го, когда уехали в Одессу, а оттуда весной 1919 года – в Париж.

При прокладке Нового Арбата Кречетниковский переулок был уничтожен. От него уцелел только один дом – как раз тот, где была квартира Цетлиных. Але Эфрон этот красивый и добрый дом казался таким: “...а мой столик-шкафчик с книгами похож на дом Цетлинов”. Адрес того времени: Кречетниковский переулок, дом 8, квартира 1; сегодня – Трубниковский переулок, дом 11.

Илья Эренбург вспоминал: “В зиму 1917/1918 года в Москве Цетлины собирали у себя поэтов, кормили, поили; время было трудное, и приходили все – от Вячеслава Иванова до Маяковского”.

В записных книжках Цветаевой нечеловечески тяжёлого 1919 года читаем: “Помогают мне ещё – изредка вспоминая о моём существовании – и не вино – ибо, кажется – сами нищие: актриса Звягинцева, пришедшая ко мне после Асиного “Дыма” и полюбившая меня вместо Аси – и её муж, – п. ч. любит жену. Принесли картофеля, муж несколько раз выламывал на чердаке балки и пилил.

Ещё Р. С. Тумаркин, брат г-жи Цетлиной, у которой я бывала на литературных вечерах. Даёт деньги, спички. Добр, участлив.

– И это всё. – <...>”

Каждый из членов семьи Цетлиных особенностью судьбы, красоты и таланта заслуживает полноты рассказа...

В начале года отъезда, 14 января (старого стиля) 1918-го на квартире у Цетлиных состоялся вечер-событие, который в летописи литературной жизни Москвы остался “как встреча двух поколений поэтов”.

Марина Цветаева участвует в нём вместе с Павлом Антокольским, Константином Бальмонтом, Юргесом Балтрушайтисом, Андреем Белым, братьями Давидом и Николаем Бурлюками, Вячеславом Ивановым, Верой Инбер, Василием Каменским, Владимиром Маяковским, Борисом Пастернаком, Маргаритой Сабашниковой, Алексеем Толстым, Владиславом Ходасевичем, Ильёй Эренбургом и другими.

Вечер был необычным потому, что сошлись два враждебных поэтических направления: старшее поколение – символистов – представляли К. Бальмонт, Вяч. Иванов, А. Белый, поколение молодых – футуристов – В. Маяковский, братья Бурлюки, Б. Пастернак. Вне группировок – М. Цветаева и В. Ходасевич.

После вступительных слов от одних и от других звучали стихи, но главным событием стало чтение Маяковским его поэмы “Человек”. Андрей Белый

слушал как замороженный, побледнев, и, как вспоминал Пастернак, “совершенно потеряв себя”. Алексей Толстой бросился обнимать поэта...

Здесь, в доме Цетлиных, судьба посадит рядом Марину Цветаеву и Бориса Пастернака, но их настоящее открытие друг друга будет ещё впереди – 1922 год, начало “эпистолярного романа века”.

Свою встречу с Цветаевой в Кречетниковском переулке Пастернак описал в автобиографической повести “Охранная грамота”: “... я не мог, разумеется, знать, в какого несравненного поэта разовьётся она в будущем. Но не зная и тогдашних замечательных её “Вёрст”, я инстинктивно выделил её из присутствовавших за её бросающуюся в глаза простоту. В ней угадывалась родная мне готовность в любую минуту расстаться со всеми привычками и привилегиями, если бы что-нибудь высокое зажгло её и привело в восхищение. Мы обратили тогда друг к другу несколько открытых товарищеских слов. На вечер она была мне живым палладиумом против толпившихся в комнате людей двух движений, символистов и футуристов”.

Марина Ивановна пригласит Бориса Леонидовича заходить к ней в Борисоглебский. Зайдёт однажды и то лишь промельком – с поручением от Ильи Григорьевича Эренбурга. Этот визит также останется в литературе – в романе в стихах Пастернака “Спекторский”.

Хозяйка салона – Мария Самойловна (одна из немногих женщин России, получившая в Швейцарии диплом доктора философии) и Михаил Осипович (прозаик, критик, поэт, известный под псевдонимом Амари) – перед своим отъездом издали альманах “Весенний салон поэтов”, где были напечатаны стихотворения Марины Цветаевой из цикла “Москва”. План издания книги Цветаевой Цетлиными если и был, не осуществился...

Неподалёку сохранилось здание, известное как Дом научных сотрудников (в прошлом – доходный дом братьев Баевых) – Трубниковский, 26. По этому адресу, перед тем как поселиться в Мерзляковском, остановится вернувшаяся в конце мая 1921 года в Москву из Крыма сестра Марины Цветаевой – Анастасия.

6 июня (нового стиля) 1921 года читаем в письме Бориса Бессарабова сестре Ольге (именно он помог с возвращением в Москву Анастасии Цветаевой): “У Марины сейчас содом: приехала сестра Ася с сыном Андрюшей. Марине очень трудно, она превратилась в загнанного зайца, и у неё всё время болит голова, так что она не может даже работать и делает, что попадётся под руки. Марину я понимаю до мелочей и очень к ней внимателен, больше не через неё, а через реальности по отношению к Асе с устроениями на пайки и прочее...”.

Анастасию Ивановну примут родители её гимназической подруги Гали (Елены) Дьяконовой, несравненной Гала, жены и музы Поля Элюара, а затем и навеки – Сальвадора Дали.

Позже в этом же доме по Трубниковскому переулку, 26 в квартире 38 поселится семья пианиста Генриха Нейгауза. Марина Ивановна, приехавшая в СССР в 1939 году вслед за дочерью и мужем, познакомится с Генрихом Густавовичем 18 августа 1940 года у Северцевых. Известно, что в 1940-м она с сыном здесь бывала.

А Трубниковский переулок был назван по Трубничьей слободе, что соседствовала с государевыми “кречетным” и “псаренным” дворами. Есть и другой вариант происхождения имени переулка: от слободы трубников – печников и трубочистов.

Продолжая рассказ о литературных салонах, вернёмся на Собачью площадку во времена Пушкина.

На другой стороне улицы-площадки (Собачья площадка, 7) стоял скромный дом, который принадлежал Алексею Хомякову, выдающемуся поэту, философу, богослову, историку, публицисту, одному из самых ярких и ярых славянофилов. Здесь же встречались русские мыслители в то время, когда литература заменяла собою политику.

В доме Хомякова для словесных поединков была отведена даже особая комната – “говорильня”.

Ученик Хомякова Юрий Самарин, впервые издавший на русском языке богословские труды учителя и объяснивший существо его “жизни в церкви”, завершает свои рассуждения вполне парадоксально-поэтически:

“Как! Хомяков, живший в Москве, на Собачьей площадке, наш общий знакомый, ходивший в зипуне и мурмолке; этот забавный и остроумный собеседник, над которым мы так шутили и с которым так много спорили; этот вольнодумец, заподозренный полицией в неверии в Бога и в недостатке патриотизма; этот неисправимый славянофил, осмеянный журналистами за национальную исключительность и религиозный фанатизм; этот скромный мирянин, которого семь лет тому назад, в серый, осенний день на Даниловом монастыре похоронили пять или шесть родных и друзей, да два товарища его молодости; за гробом которого не видно было ни духовенства, ни учёного сословия; о котором через три дня после его похорон Московские Ведомости под бывшею их редакцией отказались перепечатать несколько строк, писанных в Петербурге одним из его друзей; которого ещё недавно та же газета под нынешнею редакцией огласила ересиархом; этот отставной штаб-ротмистр, Алексей Степанович Хомяков – учитель Церкви?

Он самый”.

Учитель Церкви... Выдающийся русский поэт – и лирик, и пророк. Навскидку открыв полновесный и полнозвучный фолиант “Стихотворений” (Москва, Прогресс-Плеяда, 2005), читаем в стихотворении “Мечта”, написанном в 1835 году:

Но горе! век прошёл, и мертвенным покровом  
Задернут Запад весь. Там будет мрак глубок...  
Услышь же глас судьбы, воспрянь в сиянье новом,  
Проснися, дремлющий Восток!

Через несколько страниц – стихотворение “Киев”:

...Слава, Киев многовечный,  
Русской славы колыбель!  
Слава, Днепр наш быстротечный,  
Руси чистая купель!

А дальше:

...Меч и лесть, обман и пламя  
Их похитили у нас;  
Их ведёт чужое знамя,  
Ими правит чуждый глас.

Пробудися, Киев, снова!  
Падших чад своих зови!  
Сладок глас отца родного,  
Зов моленья и любви...

Эти строки цитировать сегодня, в XXI веке – сердце рвать. Да и цитировать не получается – надо читать всё целиком. Ноябрь 1839-го, Алексей Хомяков.

После революции, в 1920 году благодаря тому что обстановка бывшего дома Хомякова полностью сохранилась, в нём открыли музей, пользовавшийся огромной популярностью, – Бытовой музей сороковых годов, или Музей дворянского быта 1840-х годов (филиал Исторического музея). Здесь некоторое время работал Андрей Иванович Цветаев, единокровный брат Марины и Анастасии.

Историко-бытовой музей давал представление об укладе жизни московской интеллигенции предреформенного периода – квартира А. С. Хомякова служила очагом культурной жизни Москвы того времени. Здесь бывали братья Аксаковы, Киреевские, А. И. Герцен, Н. В. Гоголь, Т. Н. Грановский, П. Я. Чаадаев, Н. М. Языков...

Дом был построен в стиле ампира в начале XIX века, отремонтирован после пожара 1812-го и не перестраивался с 1840-х годов, когда его хозяином стал Хомяков.



И дом, сохранивший черты построек того времени, и полнота музейной коллекции, позволяющая выстроить ансамблевую экспозицию, и память блистательных имён – всё это делало музей бесценным. Его часто именовали Домом Хомякова, и не без основания – после смерти Алексея Степановича в 1860 году кабинет хозяина и знаменитая диванная – “говорильня” – остались почти в неприкосновенном виде. . .

Не спасло. Музей на Собачьей площадке закрыли. Коллекция и архив были переданы в основном в Государственный исторический музей.

В 1929 году дом перешёл к институту имени Гнесиных, и много лет (разобран в 1960-е годы при прокладке Нового Арбата) из его окон неслись звуки музыки и голоса юных певцов, как и теперь – из Российской академии музыки имени Гнесиных на Поварской.

Музыка звуков, музыка слов – один исток, две стихии. Видимо, не случайно напротив дома Хомякова вырастет особняк К. П. Мазурина. Построенный в 1897 году по проекту архитектора Н. В. Корнеева, он являл собой “примечательный образчик” поздней псевдоготики. В нём какое-то время находилось правление Союза советских композиторов. . .

Собачья площадка и улицы-лучи, исходившие из неё или в неё впадавшие, хранят память о множестве адресов географии биографии великой москвички Марины Цветаевой. Здесь, на Собачке, летом 1912 года, перед рождением своего чудесного первенца – Ариадны – Марина Эфрон с мужем снимают дом, показавшийся ей похожим на “шкатулку шоколадного цвета” в Трёхпрудном. Так величала дом детства её сестра Анастасия. Ей-то и достанется “по наследству” снятый Мариной дом, вернее – один из флигелей особняка архитектора П. М. Самарина (Собачья площадка, 8). Павла Михайловича Самарина (1856–1912) к этому времени уже не было в живых, поэтому договор заключается с его вдовой.

Дом сохранится только в воспоминаниях сестёр. Марина Цветаева – сестре мужа Вере Эфрон: “Не помню, писал ли Вам Серёжа о нашем особняке на Собачьей площадке? В нём 4 комнаты, потолок в парадном расписной, в Серёжиной комнате камин, в моей и столовой освещение сверху (у меня, кроме того, нормальное окно) и вделанные в стену шкафы. Кухня и комната для прислуги в подвале. Если не будет собственного, хотелось бы прожить в этом доме подольше, такой не скоро найдёшь!”.

Будет и собственный дом, будет и квартира неподалёку, очень похожая на эту.

Анастасия Цветаева вспоминает:

“Мы выходили к началу Собачьей площадки – маленькой площадки, продолговатой. Посреди было скромное подобие скверика. По обе длинные её стороны – старинные дома, друг с другом несхожие, разного цвета и высоты.

– Тут, в одном из них, Пушкин бывал, – сказала Марина. – Вот по этим камням ходил. . . В какую входил дверь?

– В тот дом вход, кажется, был с Николопесковского! – сказал Серёжа”.

Семья – Марина и Сергей – здесь не проживут, так как купят собственный дом в Замоскворечье (особняк на Большой Полянке, в Малом Екатерининском переулке, 1) на деньги, полученные в качестве послесвадебного подарка от Сусанны Давыдовны Мейн, в девичестве Эшлер. Швейцарка-бонна, воспитавшая маму девочек, Марию Александровну Цветаеву-Мейн, в 1888 году станет венчанной женой их деда – Александра Даниловича Мейна через 20 лет после смерти Марии Лукиничны Бернацкой.

Надо сказать, что венчание Александра Даниловича и Сусанны Давыдовны произойдёт неподалёку, в церкви Усекновения Главы Иоанна Предтечи в Кречетниках (находилась на углу Кречетниковского переулка и Новинского бульвара, 12). Церковь была сооружена в XVII веке позади Государева Кречетного двора, перестроена в 1754 году; обновлена в 1902-м. Храм разрушен в 1930 году.

Сегодня на его месте возвышается семиэтажный дом с башней (архитектор Л. Я. Талалай, Новый Арбат, 46).

В этом же храме в 1891 году свершилось таинство венчания родителей Марины и Анастасии – Марии Александровны Мейн и Ивана Владимировича Цветаева.

Ариадна – Аля Эфрон – родилась 5 (18) сентября 1912 года под звон колоколов совсем в другой части Москвы, в Замоскворечье.

Девочка! — Царица бала,  
Или схимница, — Бог весть!  
— Сколько времени? — Светало.  
Кто-то мне ответил: — Шесть.

Чтобы тихая в печали,  
Чтобы нежная росла, —  
Девочку мою встречали  
Ранние колокола.

О приобретении дома, в котором родится “царица бала”, её отец сообщает в письме сестре Елизавете: “Через несколько дней мы покупаем старинный особняк в девять комнат, в прекрасном тихом переулке. Напоминает он бабушкин, хотя, конечно, меньше последнего”.

Спустя год Цветаева записала:

“Аля – Ариадна Эфрон – родилась 5-го сентября 1912 г., в половину шестого утра, под звон колоколов. <...>

Я назвала её Ариадной, вопреки Серёже, который любит русские имена, папе, который любит имена простые (“Ну, Катя, ну, Маша, – это я понимаю! А зачем Ариадна?”), друзьям, которые находят, что это “салонно”.

Семи лет от роду я написала драму, где героиню звали Антрилией.

От Антрилии до Ариадны. –

Назвала от романтизма и высокомерия, которые руководят всей моей жизнью.

Ариадна. – Ведь это ответственно! –

Именно потому”.

В собственном особняке родителей – лишь исток жизни Ариадны. Уже весной 1913 года семья уезжает в Коктебель, а с этим домом решает расстаться.

В квартиру № 3 дома № 6 по Борисоглебскому переулку Марина и Сергей Эфроны въезжают с двухлетней дочкой. Здесь – детство Ариадны, здесь истинное начало её судьбы, отсюда она с матерью уезжает в мае 1922 года из Советской России к отцу.

Мой первый шаг! Мой первый путь  
Не зрением узнаю, а сердцем.  
Ты ждал меня! о, дай вздохнуть,  
Приотвори мне детства дверцу!

И ты открылся, как ларец!  
На! ничего наполовину!  
Твой каждый мостовой торец  
Вновь устлан пухом тополиным...

Первоисточник всех чудес  
(Зачем они вошли в привычку!)  
Как звёзды доставал с небес  
Снежинками на рукавичку.

Ты помнишь? Всё, чем был богат,  
Ты отдал, щедр и неоплачен,  
Мой первый дом, мой первый сад,  
И солнце первое в придачу.

Так, откровеньями маня,  
Путём младенческих прогулок  
Ты ввёл когда-то в жизнь меня,  
Борисоглебский переулок!

Это стихотворное признание Ариадна Сергеевна Эфрон напишет жизнь спустя.

Если выйти из Борисоглебского дома налево, Собачьей площадки не миновать. В центре площади – ампирный фонтан. Марина Цветаева называла его Марининым по имени Марины Мнишек, своей соименницы. В путеводителе “По Москве” 1917 года упомянуто, что сыном А. С. Хомякова на Собачьей площадке был поставлен своеобразный памятник-фонтан. “В центре памятника возвышался гранёный красный столб с чёрными собачьими мордами на гранях. Во рту собачек были трубочки, из которых когда-то били фонтанчики... Бывший водоём вокруг столба тоже был гранёный. На гранях были вылеплены амурчики с трубами: весь памятник окружали гранитные ступени. По бокам круглого сквера стояли лавочки, а у чугунной ограды росли ясени” – такое описание площади оставила жительница Арбата Е. Б. Костякова.

На фотографии фонтана начала 1910-х годов видно, что гранёный столб венчала урна, а морды, из которых текла вода, в разных воспоминаниях называют сердитыми и не то львиными, не то собачьими. Да и версии происхождения фонтана-памятника множилось и прирастали легендами.

Сюда водили няньки гулять Ариадну. Они и сами были не прочь посидеть с московскими говорливыми старушками у фонтана имени Собачки, в этом уютном, камерном уголке старинной Москвы.

Путь проходил мимо булочной Милешина (дом 12/2) и прачечной. В тетради Али среди записей о своём детстве есть и такая: “Из прачешной всегда выходила хромая прачка и начинала разговаривать с нянькой. Я её почему-то страшно ненавидела, и когда она меня кротко и любезно спрашивала, куда я иду, я сердито отвечала каждый раз: “В гости”, – а нянька прибавляла: “Голодать кости”. (очевидно глотать.) Когда я наконец вырывала няньку из разговоров, мы шли дальше”.

С 1917 года – другая жизнь и другие воспоминания. После революции Цветаева неоднократно упоминает появившуюся в её жизни “Лигу спасения детей”. Эта организация была подведомственной Красному Кресту. Во времена гражданской войны одно из подразделений Лиги размещалось на западной стороне Собачьей площадки, в здании известной всей округе Долгоруковской лечебницы.

“Лига спасения детей” занималась сбором и доставкой продовольствия, распределением его по школам, детским садам и приютам, устройством детских столовых. Правление Лиги располагалось на Мясницкой, дом 20, в обществе “Кооперация”.

Идея помощи голодающим детям России возникла у Владимира Галактионовича Короленко в Полтаве осенью 1918 года. Первоначально организация появилась на Украине, потом – в Москве. Среди тех, кого не могла не волновать эта проблема, была и Екатерина Павловна Пешкова.

Лига, утверждённая Советом народных комиссаров, являлась независимой общественной организацией. В перечне её главнейших задач было устройство приютов и колоний для беспризорных детей, в том числе детей погибших красноармейцев. За время существования организации через неё прошло примерно 3500 человек. В подчинении Лиги находилось свыше 18 колоний, 11 детских садов, санаторий, детские клубы и огороды. Для своих целей она использовала помещения учреждений здравоохранения, а также бывшие приюты, входившие в ведомство императрицы Марии Фёдоровны.

Организация просуществовала недолго – около двух с половиной лет. В 1920 году руководство Лиги обратилось к советскому правительству с просьбой разрешить получение помощи для голодающих детей из-за границы. На этом документе В. И. Ленин делает пометку: “Я думаю, что это подвох”, – и переадресует Ф. Э. Дзержинскому. Председатель ВЧК ставит свою резолюцию: “Кормить наших детей не за граница будет”. Вскоре наркомпрод наложил вето почти на все запасы продовольствия Лиги, полученные из российского, американского и датского отделений Красного Креста. В январе 1921 года детские учреждения “Лиги спасения детей” были переданы Московскому отделу народного образования. Позднее на их основе создавались знаменитые трудколони.

В записной книжке Марины Цветаевой страшного 1919 года читаем:

“Пишу в чужом палисаднике. Аля обедает в подвале этого дома, в Лиге спасения детей. (Как это грозно звучит! Вроде чумы!)

Только что проглотила даровой обед в детском саду Залесской. — Рядом со мной, в умывальном кувшине, несколько ложек супу и кусок хлеба в узелке, — Алин даровой обед из советской столовой.

Сейчас идём в д<ом> Соллогуба (“Дворец Искусств”) за 3-мя обедами (супом и тремя воблами на всех.)

— И всё голодны”.

Здесь упоминается детский сад Залесской. Он располагался по адресу Большая Молчановка, 34. Аля начала ходить в него в конце августа — начале сентября 1919 года, но проходила недолго: “. . . Потом стирка, мытьё посуды: полоскательница и кустарный кувшинчик без ручки “для детского сада”, короче: “Аля, готовь для мытья детский сад!” (Аля походила три недели, схватила коклюш, теперь хожу за обедом)”.

Ни кровинки в тебе здоровой, —  
Ты похожа на циркового.

Вон над бездной встаёт, ликуя,  
Рассылающий поцелуи.

Напряжённой улыбкой хлещет  
Эту сволочь, что рукоплещет.

Ни кровиночки в тонком теле, —  
Всё новинок мы хотели.

Что, голубчик, дрожат поджилки?  
Всё, как надо: канат — носилки.

Разлетается в ладан сизый  
Материнская антреприза.

*Москва, октябрь 1919*

Казалось бы, можно как-то выжить, спастись и спасти детей, но. . . “Ранняя зима в этом году. — Очень холодно”. Читаем и пытаемся представить жизнь матери, дворянки, поэта, а значит, “утысячерённого человека” в ноябре 1919 года.

“. . . надо сказать, нам круто пришлось: сразу прекратились все даровые обеды, и мы 5 дней ели исключительно овощи на воде и картофель — огромными количествами — “Аля, хочешь есть?” — Нет, Мариночка, я *нашего* совсем больше не могу есть, я лучше буду спать”.

Часто помогала соседка по дому Елизавета Моисеевна Гольдман:

“И сегодня вышел блаженный день — Елиз<авета> Моис<еевна> Г<ольд>ман достала мне 2 билета в Лигу спасения детей и подарила множество еды (у самой трое детей, её доброта божественна, 3 года жизни отдам, чтобы ей хорошо жилось!), я получила для Али праздничный обед в детск<ом> саду: пол-яблока, конфету, 2 кусочка серого хлеба, бурду вместо супу, 2 ложки тёртой свёклы — и к довершению всего — оказывается: вчера хлеб выдавали!”.

В том же ноябре запись Цветаевой:

“Живу с Алей и Ириной (Але 6 л., Ирине 2 г. 7 мес.) в Борисоглебском пер., против двух деревьев, в чердачной комнате — бывшей Серёжиной. Муки нет, хлеба нет, под письменным столом фунтов 12 карт<офеля>, остаток от пуда “одолженного” соседями — весь запас! <...>

Живу даровыми обедами (детскими). <...> Мой день: встаю — верхнее окно еле сереет — холод — лужи — пыль от пилы — вёдра — кувшины — тряпки — везде детские платья и рубашки. Пилю. Топлю. Мою в ледяной воде картошку, к<отор>ую варю в самоваре. Самовар ставлю горячими углями, к<отор>ые вынимаю тут же из печи. (Хожу и сплю в одном и том же коричневом, однажды безумно-севшем бумазейном платье, шитом весной 17-го го-

да за глаза у Аси в Александрове. Всё прожжено от падающих углей и папирос. Рукава — когда-то на резинке — свёрнуты в трубу и заколоты булавкой.)

Потом уборка. <...> За водой к Г<ольд>манам, с чёрного хода, боюсь наткнуться на отца. Прихожу счастливая: целое ведро воды и бетон! (И ведро и бетон — чужие, моё всё украдено.) <...>

Часы не ходят. Не знаю времени. <...>

Маршрут: в детский сад (Молчановка, 34) занести посуду, — Старококонным на Пречистенку, оттуда в Пражскую столовую (на карточку от Гранских), из Пражской (советской) к бывшему Генералову — не дают ли хлеб — оттуда опять в детский сад — за обедом — оттуда — по чёрной лестнице, обвешанная кувшинами, судками и бетонами — ни пальца свободного — и ещё ужас: не вывалилась из корзинки сумка с карточками! — по чёрной лестнице — домой. — Сразу к печке. Угли ещё тлеют. Раздуваю. Разогреваю. Все обеды — в одну кастрюльку: суп вроде каши. Едим. (Если Аля была со мной, первым делом отвязываю Ирину от стула. Стала привязывать её с тех пор, как она однажды в наше с Алей отсутствие съела из шкафа полкочна сырой капусты.) — Укладываю Ирину. — Спит на синем кресле. Есть кровать, но в дверь не входит. — Кипячу кофе. Пью. Курю. Пишу. Аля пишет мне письмо или читает. Часа два тишина. Потом Ирина просыпается. Разогреваем остаток супа. Вылавливаю с помощью Али из самовара оставшийся — застрявший в глубине — картофель. Аля ложится спать, укладываем — или Аля, или я — Ирину.

В 10 ч. день кончен. Иногда пилю и рублю на завтра. В 10 ч. или в 11 ч. я тоже в постели. Счастлива лампочкой у самой подушки, тишиной, тетрадкой, папиросами, — иногда — хлебом. <...> Но жизнь души — Алиной и моей — вырастет из моей записной книжки — стихов — пьес — её тетрадки.

Я хотела записать *только день*.

Москва, — кажется 10-го ноября 1919 г. ”.

Из этого рассказа одного дня жизни Марины Цветаевой нельзя не понять её решения ради спасения дочерей отдать их в Кунцевский приют. Предложение она услышала от близкого друга — Лидии Александровны Тамбурер, с ней-то она и отвозит девочек 14 (27) ноября в Кунцевский приют (“имение Аннино”), где, возможно, приходящим врачом служил муж Тамбурер Владимир Аввакумович Павлушков. Он обнадёжил Цветаеву в отношении лечения и усиленного питания, которые тогда и в самом деле ещё были.

Поскольку в приют принимали только сирот, Цветаева вынуждена была назваться приёмной матерью своих дочерей. В записной книжке появляются “Алин отъезд в приют” и “Кунцевская эпопея”. О первых приютских днях Аля рассказывает в своей тетради в виде письма к матери.

Адрес Лиги на Собачьей площадке в судьбе Марины Цветаевой миновать невозможно. Через 10 дней после того, как дети будут отвезены в Кунцево, запишет:

“Иду по Собачьей площадке. Тонкий голос:

— “Здравствуйте! А Ваша Аля по Вас скучает!”

Оглядываюсь: жалкая простая девочка лет 10-ти в рваном жёлтом пальто. Рядом деревенские сани с соломой, рыжая лошадь. — “Ты видела Алю?” — Оказывается, девочка из Алиного приюта, приехала с заведующей в Лигу спасения детей “за продуктами”. Я, взволнованно и горестно: — “Ну, как Аля? Как она живёт?” — “Скучает, плачет”.

Через два дня от заведующей приюта, Настасьи Сергеевны, с которой Марина Цветаева сговорилась поехать навестить детей, она узнаёт, что её Аля “захворала”.

Две руки, легко опущенные  
На младенческую голову!  
Были — по одной на каждую —  
Две головки мне дарованы.

Но обеими — зажатыми —  
Яростными — как могла! —  
Старшую у тьмы выхватывая —  
Младшей не уберегла.

Две руки — ласкать-разглаживать  
Нежные головки пышные.  
Две руки — и вот одна из них  
За ночь оказалась лишняя.

Светлая — на шейке тоненькой —  
Одуванчик на стебле!  
Мной ещё совсем не понято,  
Что дитя моё в земле.

“19-й год прекрасен, — если за ним не последует 20-й!”.

Заболевшую Алю Марина Цветаева увозит в Москву.

Дела со здоровьем Ариадны обстояли так плохо, что по дороге они будут вынуждены остановиться в Кунцевском красноармейском госпитале. Позже Ариадна Сергеевна скажет, что у неё был “брюшник и сыпняк”, то есть тиф, но это, видимо, не так. В госпиталь с инфекционным заболеванием их бы не приняли, да и с малярией это стало возможным лишь потому, что главным врачом был близкий знакомый, друг — В. А. Павлушков.

Даты и указание места написания под стихами воистину — “путь к пониманию” и не только стихов, а и судьбы, биографии поэта.

Итак, в приют дети попадают 14 (27) ноября 1919 года. В госпитале (значит, уже вместе) 16 (29) декабря будет написано первое стихотворение — “Между воскресеньем и субботой...”. 17 (30) декабря — “Простите Любви — она нищая!..” Кроме даты Цветаева обозначает место: “Кунцево — Госпиталь”.

Звезда над люлькой — и звезда над гробом!  
А посредине — голубым сугробом —  
Большая жизнь. — Хоть я тебе и мать,  
Мне больше нечего тебе сказать,  
Звезда моя!..

*4 января 1920, Кунцево — Госпиталь*

По старому стилю это стихотворение было написано 22 декабря 1919-го. Из записных книжек Марины Цветаевой того года мы узнаём, что Рождество (по старому стилю 24 декабря) мать и дочь встретили вместе. Ясно, что Аля в приюте пробыла чуть больше месяца. Ирина “ещё дюжила” — ходила, не лежала; всё просила “чаю” и осталась там, где уже не кормили. Но ещё до потери дочери, до этой страшной беды, зародится мечта о сыне и PROVIDENCE его рождения — в стихотворении ноября 1919 года:

В тёмных вагонах  
На шатких, страшных  
Подножках, смертью перегруженных,  
Между рабов вчерашних  
Я всё думаю о тебе, мой сын, —  
Принц с головой обритой!

Были волосы — каждый волос —  
В царство ценою.....

На волосок от любви народы —  
В гневе — одним волоском дитяти  
Можно.....сковать!  
— И на приютской чумной кровати  
Принц с головой обритой.

Принц мой приютский!  
Можешь ли ты улыбнуться?  
Слишком уж много снегу  
В этом году!

Много снега и мало хлеба.

Шатки подножки.

После госпиталя выхаживать, “выхватывать” из цепких рук смерти Марина Ивановна везёт дочь не в холодный дом в Борисоглебском, а в Мерзляковский, к племяннице мужа А. К. Герцык Василисе Александровне Жуковской, предложившей временно их приютить.

Начало января 1920-го. В письме Цветаевой друзьям В. К. Звягинцевой и А. С. Ерофееву читаем: “Москва – числа не знаю – день: четверг, год: 1920”, сообщает свой адрес: “Мерзляковский пер. дом 16, кв. 29 (большой красный дом, подъезд с улицы, верхний этаж, дверь направо)”, просит навестить их с Алей и принести папирос.

В следующем письме им же 22 января (4 февраля) – о тяжёлой болезни Али (малярия!), об их одиночестве и отсутствии какой бы то ни было помощи.

2 (15) февраля 1920 года в приюте умерла от истощения младшая дочь Цветаевой Ирина. Ей не исполнилось и трёх лет.

По одной из версий, именно здесь, на Собачьей площадке, стоя в очереди, Марина Цветаева узнала о гибели Ирины. Этой вестью её материнство будет ранено смертельно.

“Я получил блаженное наследство –/Чужих певцов блуждающие сны...” – это строки Осипа Мандельштама.

Марина Цветаева представляла “две возможности биографии человека: по снам, которые он видит сам, и по снам, которые о нём видят другие”, – имея в виду, конечно, не только подлинные человеческие сны...

Сновиденное наследство, оставленное Цветаевой, велико – порядка 50 записанных снов, которые она, записав, толковала. Сны блуждали, тревожили, одаривали невозможным, но о “блаженстве” их говорить приходится далеко не всегда.

Потеря Ирины кажется ей страшным сном. Не было чувства вины? Было! И не перестанет мучить всю жизнь: “...ночью мне снится во сне Ирина, что – оказывается – она жива – и я так радуюсь – и мне так естественно радоваться – и так естественно, что она жива. Я до сих пор не понимаю, что её нет, я не верю, я понимаю слова, но я не чувствую, мне всё кажется – до такой степени я не принимаю *безысходности*, – что всё обойдётся, что это мне – во сне – урок, что – вот – проснусь”, – делится она с В. Звягинцевой в феврале 1920 года.

Сны о дочери буквально терзают:

“Держу её на руках, верней – она меня обхватила (руками за шею, ногами за пояс).

– “Ну, поцелуй меня!” – Лицо – её, прекрасные глаза её тёмные, золотые волосы, – но весёлая! здоровая!

Целует. Взгляд немножко лукавый, как когда на: “Скажи: мама!” – застывала с открытым ртом: – “М – а – а – а – а...” <...>

Держа её на руках, испытываю такую остроту блаженства, с которой не сравнится *НИЧТО*. – Непереносно как-то. (Может быть, это и есть – Материнство?)”.

Живая девочка недолюблена... Умершая – навеки потерянная – обожаема матерью и забываема.

“На днях – 13-го апреля – Ирине было бы 3 года. Мне не с кем говорить об Ирине – Аля не знает, с другими совестно, ни к чему – поэтому пишу об ней в книжку.

Сегодня Страстная Суббота, чудесный день, утро, солнце греет волосы на лбу, сижу у открытой форточки.

Вспоминаю – сами вспоминаются! – чудесные Иринины глаза – ослепительно-тёмные, такого редкостного зелёно-серого цвета, изумительного блеска – и её огромные ресницы.

О, я хочу сына! – А если С<ёрежу> мне не суждено встретить – мне никого не нужно.

– А всё-таки – даже если будет сын – мне всё-таки вечно будет грызть сердце, что – двое, когда могло быть трое. – Вот. –

В Ирину смерть я по-прежнему не верю”, — признаётся Цветаева. Она же вынесет себе и миру — месту и времени — беспощадный приговор:

“История Ириной жизни и смерти:

На одного маленького ребёнка в мире не хватило любви”.

Боль от чувства вины она пронесёт в себе до конца.

Тема трагического материнства Марины Цветаевой — непосильная, как никакая другая. Трагическое время, трагическое материнство. И если по определению Цветаевой “Поэт — это утысячерённый человек”, то и материнское в Поэте утысячерённое. Доказательство? Весь почти 30-летний брак Марина Цветаева — Сергей Эфрон. Что она делает сразу после встречи со своей судьбой 5 мая 1911 года на коктебельском берегу? 7 июля везёт своё “роковое и грустное счастье” в Москву и затем в Башкирию — на кумыс: выхаживать, опасаясь вспышки туберкулёза после страшной вести о смерти матери и брата.

Перелистав страницы жизни Марины Цветаевой и неоднократно прочитав: “Хотите ко мне в сыновья?” — без удивления примешь: “В человеческом — больше всего — мать”.

А как же решение отдать дочек в приют? Решение далось непросто, а ответ прост — СПАСТИ!

“Никто не понимает, что меня нужно — просто — пожалеть”, — эту просьбу услышит, как никто другой, старшая дочь — Ариадна: “Ах, Марина, мне бы хотелось обнять Вас с четырёх сторон своей души!”.

“Вчера, возвращаясь домой по Арбату, было так черно, что мне казалось: я иду по звёздам”, — 1919-й, Марина Цветаева.

На московской земле, которую Марина Цветаева поцеловала словом, навсегда остались её следы и ветер крылатой походки. Но ещё при жизни её путь был не только и не столько по земле, сколько — по звёздам и под звёздами памяти...

А Собачка до самой своей кончины — прокладки Калининского проспекта, который Анастасия Ивановна Цветаева называла “вставной челюстью Москвы”, или “нашим Вишнёвым садом” — оставалась по-особенному уютной, тихой, будто прислушивающейся к незабвенному звуку шагов незабвенных...

“Смерть, наверное, такой же океан, как жизнь. Говорю ересь, ибо смерти — нет”. Это слова “самого московского из московских поэтов” — Марины Цветаевой.

Историю города составляют тома, главы, строки, рассказывающие или умалчивающие о судьбах людей, живших, живущих и тех, кто придёт следом. Каждый адрес, часто связанный с множеством имён, можно прочитать как отдельное стихотворение, но из венка сонетов услышать как самостоятельно звучащую часть, но одной-единственной, неповторимой симфонией жизни города, имя которого — Москва.

В помощь нам не только оставленные в наследство сведения, но и дорожная память сердца и души.



МИХАИЛ ЧИЖОВ

## САМОБЫТНЫЙ ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ

*Для существования славян  
необходима мощь России.  
Для силы России необходим  
византизм.*

К. Н. Леонтьев.

Выдающийся русский мыслитель, писатель, дипломат Константин Николаевич Леонтьев воплощает все важные для русского народа начала: любовь к Отечеству, Православие, самопожертвование, стремление к справедливости, нелюбовь к западным «общечеловеческим ценностям». Одно лишь название его статьи «Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения» прямо говорит, кто несёт человечеству и мировой истории смерть и разрушение. В своём философском труде «Византизм и Славянство» Леонтьев блестяще обосновал спасительную для России идею византизма и опасность для России со стороны западных стран. Коллективный Запад ненавидит Россию, византизм, Православие и средние века, поскольку видит соперника в мощном государстве и непокорном народе. Ведь именно западные крестоносцы в 1204 году сокрушили Константинополь, столицу самой развитой и культурной империи христианского мира. Поэтому Западу ненавистно Православие как ортодоксальное христианство, от которого Рим и католики уклонились. Западная Европа также не любит средние века, «тёмное Средневековье», так как была в то время на удивление неграмотной и нечистоплотной (и не только в прямом смысле) по сравнению с Византией и Русью.

За десять лет дипломатической работы в разных уголках Османской империи Константин Леонтьев распознал «грехи» западной цивилизации и изложил их по полочкам в «Византизме и Славянстве». Прочитав этот труд, Лев Толстой сказал: «Леонтьев стоял головой выше всех русских философов».

### 1

У каждого мыслителя есть особое произведение, в котором он выговаривается до конца, выплескивает то, что копилось подспудно в душе долгие годы, и которое определяет самого автора как личность, творческую и социальную. Леонтьев с открытым забралом шёл к высшей цели, основа которой есть развитие и полнота жизни. «... Не покой – брат застоя, наш дорогой идеал, а битва жизни, движение, цвет её!» – так он определял смысл жизни в статье «Мнение Джона-Стюарта Милля о личности».

Основное своё сочинение по философии истории Леонтьев создавал на острове Халки близ Константинополя летом и осенью 1873 года. В январе он завершил дипломатическую службу и по предварительному соглашению с Михаилом Катковым развивал свою гипотезу о триедином процессе истории для «Московских ведомостей».

Прежде чем перейти к изложению итогов «Византизма и Славянства», надо разобраться с терминами, входящими в название. Начнём с широко известного и тревожащего общественное сознание тех времён «Славянства». Славянофильство, панславизм, славизм – по-разному называлось это движение русской общественно-политической и философской мысли середины XIX века не только в России, но и в Европе. Русские славянофилы обосновывали и страстно желали начертать для России самобытный путь развития, принципиально отличный от западного, нездорового для русской души. Славянолюбьи были не только в России, но и в Австро-Венгерской империи, и в Польше, и у южных славян. Их первой задачей стало обретение независимости с образованием наряду с национальными государствами и объединённой славянской конфедерации.

Началом послужило Кирилло-Мефодиевское общество, созданное в январе 1846 года в Киеве и предусматривавшее союз демократических славянских республик (штатов, видимо, под впечатлением от США) с центром в Киеве. Особая роль в этом Союзе предназначалась украинцам, отличающихся, по мнению организаторов, от других славян особым свободолобием и демократизмом. Царь через год разогнал это общество, зачинщиков посадил в Петропавловскую крепость, а поэта Тараса Шевченко как одного из участников забили в солдаты.

Константину Леонтьеву было 17 лет, когда в Праге летом 1848 года собрался Первый славянский съезд. Он пытался решить славянский вопрос не только за счёт переустройства Австрийской империи с выходом чехов, словаков, словенцев, русинов, поляков на самостоятельный путь развития, но и образованием славянской федерации. Издатели «Новой Рейнской газеты» К. Маркс и Ф. Энгельс считали этот съезд вызовом для пангерманизма, угрозой для существования единого германского государства, образованного в этом же году во Франкфурте-на-Майне. В статье «Демократический панславизм» Ф. Энгельс фактически издевался над славянами, говоря, что славяне никогда не имели собственной истории, что находятся на низшей ступени цивилизации и не смогут обрести самостоятельность.

Второй Славянский съезд прошёл в Санкт-Петербурге и в Москве в 1867 году, следующий – опять в Праге в 1868 году. Леонтьев в эти годы трудился на дипломатической ниве вдаль от родины и быть там не мог, но «славянский» или «восточный» вопрос витал в воздухе, и не откликнуться на него он не мог, тем более что консульства располагались на территориях нынешних Болгарии, Румынии и Греции.

Леонтьев был не первым, кто использовал понятие «византизм». Ещё Николай Михайлович Карамзин в своей «Истории государства Российского» указывал на значительное влияние Византии на развитие Московской Руси. Передачей ей искусства Византии, письменной культуры, народных бытовых и духовных привычек. Русь переняла от Византии, прежде всего, Православие, принцип сосредоточения власти в монарших руках, невмешательства Церкви в государственные дела, её подчинение воле императора как «помазанника Божьего», восточное великолепие в церковном и императорском убранствах. В узком смысле слова «византизм» означал Православие и монархизм, а в более широком – весь уклад русской социально-культурной жизни в X–XVII веках. Идейной вершиной этого уклада явилась концепция игумена Филофея «Москва – третий Рим».

Триста лет после Петра I не утихают споры о возможных путях развития России. В XIX веке не только византийское направление, но и само слово «византизм» для «западников» стало приметой застоя и отсталости от Западной Европы. С лёгкой руки Александра Герцена, написавшего: «*Византинизм – это старость, усталость, безропотная покорность агонии...*», укоренилось в «просвещённом» обществе России негативное отношение к византизму. В конце XIX века масла в огонь подлил самый модный в ту пору философ Владимир Соловьёв в «Очерках из истории русского сознания». Он считал «татарско-византийскую сущность России» мнимым русским идеалом.

В таких условиях от Леонтьева требовалась особая смелость, чтобы представить византизм и его роль в положительном свете. И не просто представить, но и рекомендовать обществу России проанализировать это явление и следовать его культурным и религиозным традициям.

*“Представляя себе мысленно византизм, **мы** (выделено мной. – М. Ч.) ... видим перед собою как бы строгий, ясный план обширного и поместительного здания. **Мы** знаем, например, что византизм в государстве – значит самодержавие. В религии он значит христианство с определёнными чертами, отличающими его от западных церквей, ересей и расколов”,* – утверждает Леонтьев с первых строк своего трактата. Этим обращением “мы” Леонтьев подчёркивает, что обращается не к публике, а к абсолютному большинству образованного народа, верующего в царскую власть и Православие, то есть к тем людям, для которых эти понятия – не пустой звук, а смысл и образ жизни.

Кстати о публике. *“Безымянный люд этот одинаков во всех странах. Это личности, которым свойственен индивидуализм, отрицание. Вместе с тем им присущ элемент, пусть и отрицательный, но объединяющий их и составляющий своего рода религию. Это ненависть к Власти как принцип”,* – так говорил о публике другой дипломат и консерватор Фёдор Тютчев. Этот принцип отрицания государственной власти есть родовое пятно либералов всех времён и народов. Такого же мнения придерживался Аполлон Григорьев, утверждавший, что *“публика – это нравственное мещанство”*. Леонтьев в своих определениях более эмоционален: *“Публика наша легкомысленна, пуста, впечатлительна и дурно воспитана, а нашим адвокатам и прокурорам нужно сделать карьеру, обнаружить ораторские способности (между прочим, ввиду воображаемой возможности громить ответственных министров, ибо никому так конституция не выгодна, как ораторам”* (статья “Чем и как либерализм наш вреден?”).

Вернёмся к трактату. Леонтьев, характеризуя европейскую историю, утверждает, что Запад, по сути, тоже пошёл по пути Византии. Царствование византийского императора Константина пришлось на IV век нашей эры, а Карл Великий венчался в IX веке, то есть спустя 500 лет после “отсталой” и “невежественной” Византии. Таким образом, именно византизм обеспечил и долголетие Восточно-Римской империи, и оказал заметное культурное и политическое влияние на развитие романо-германской цивилизации. *“Создавая себе кесаря, в подражание Византии и вместе с тем назло ей, Европа, сама того не подозревая, вступала на совершенно новый путь”,* – характеризовал Леонтьев западный романо-германский исторический тип в своём труде.

Не потому ли Запад так настойчиво абстрагируется от византийских начал, понимая, что вторичность несколько оскорбительна для их цивилизации, обособление которой началось именно с Карла Великого. Леонтьев (историк П. Н. Миллюков называл его “хранителем старых начал византизма”), по сути, художественно оживлял знаменитую триаду Уварова “Православие, Самодержавие, Народность”. Это прекрасно понимали либеральные противники Леонтьева. Желая его уколоть, Владимир Соловьёв, разошедшийся с Леонтьевым во взглядах к началу 90-х годов XIX века, писал: *“Мы не найдём здесь (в Византии. – М. Ч.) ничего такого, на чём можно было бы заметить хотя бы слабые следы высшего духа, движущего всемирную историю”*.

Леонтьев, словно предвидя возражения, подобные тем, что высказал Соловьёв, пишет в статье “Владимир Соловьёв против Данилевского”: *“... Как же можно было забыть об этой **духовной** византийской литературе, которая до сих пор, конечно, **живёт** и при этом неизмеримо **популярнее** и Гомера, и Шекспира”* (здесь выделено самим Леонтьевым). Тем самым для Леонтьева византизм – не просто восточное ответвление христианства или Второй Рим, а особая культура, иерархия и государственная форма управления.

Ну, как безбожный либерал-западник может простить Леонтьеву утверждение, что православные песнопения популярнее Шекспира?!

Тем самым Леонтьев возражает и Соловьёву, и Данилевскому, замечая заочно последнему, что пропущен одиннадцатый, византийский культурно-исторический тип. Возможно, что факт упущения Данилевским Византии из перечня своих культурно-исторических типов и послужил для Леонтьева толчком для исправления этого недостатка и написания своего труда “Византизм и Славянство”.

Леонтьев за преимуществами Византии отмечает, прежде всего, “догматически-философскую, богослужебно или молитвенно-лирическую, нравственно-аскетическую и церковно-историческую литературу (Псалмы, Жития святых и др.)”. И далее дополняет: “...Византия дала миру неподражаемые и недостижимые образцы всех родов церковного искусства: в зодчестве – Св. Софию, в иконописи – Панселина, в пении – все бесчисленные божественные напевы, коими оглашаются и – как можно верить – до конца мира будут оглашаться во всей вселенной православные храмы”.

Высокая оценка культурных особенностей Византии основана, прежде всего, на собственном опыте Леонтьева, видевшего храм Святой Софии в Константинополе и слышавшего церковное пение в Афонских и русских церквях, на глубоком знании истории средних веков. На спасительный характер Византийской государственности для Московской Руси Леонтьев особо обращает внимание, утверждая, что она для России явилась формообразующим началом для становления русского культурно-государственного образования, или культурно-исторического типа согласно терминологии Данилевского. Леонтьев говорит так: “В византизме царила одна отвлечённая юридическая идея: на Руси эта идея обрела себе плоть и кровь в царских родах, священных для народа”.

Все византийские основы жизни (цезаризм, Православие, “талант повиновения” народа, сословность) помогли России подняться до уровня “цветущей сложности”, обеспечили могущество и величие. Обо всех составных частях византизма и о механизме укоренения их на Руси Леонтьев говорит в своём труде много и подробно. Для него, повторим, это начало начал всей русской государственности и залог процветания.

Уже первые ростки демократии в России с очевидностью показали Леонтьеву, что с её приходом при вожделенном для либералов равенстве и братстве стремительно начинает портиться, усредняться в своей эстетической худобе человеческий характер. Для эстета Леонтьева устойчивое психическое состояние, внутреннее богатство и красота личности – основы процветания нации, а значит, и России. Без ярких, неординарных личностей кто же будет “двигать” историю? Так рассуждает Леонтьев, имея в виду следующее: “Человек ненасытен, если ему дать свободу”. К такому же выводу приходит “первый русский диссидент” А. И. Герцен: “Нельзя людей освобождать в наружной жизни больше, чем они освобождены внутри”. Следует отметить, что слово “диссидент” впервые в России ввёл в оборот именно Константин Леонтьев в “Византизме и Славянстве”.

Пример такой ненасытности при неограниченной дозволенности прекрасно показал А. С. Пушкин в философской, по сути, “Сказке о рыбаке и рыбке”. Видимо, эта проблема тоже мучила и томила его. Остановить ненасытность может только принуждение. Оно пронизывает все поры органического мира – таково мнение Леонтьева, и с ним трудно не согласиться. Он рассуждает просто и эффективно: вот стакан с водой. Пока вода в стакане, она есть вода. Да, она испаряется, но медленно и в зависимости от температуры. Выше температура (революция поднимает градус) – быстрее испаряется нужное вещество. Стоит только разбить стакан (форму), вода разольётся по полу и быстро-быстро испарится, исчезнет. И потому, по Леонтьеву: “Форма есть деспотизм внутренней идеи, не дающей материи разбегаться. Разрывая узы этого естественного деспотизма, явление гибнет”.

И это, в принципе, очень даже очевидная истина. Разве общество устроено по другому принципу, нежели органический мир? О чём гласит корпоративная этика? Беспрекословное подчинение начальнику, который является в корпорации диктатором. О корпоративном деспотизме молчат либералы, осуждающие любое нарушение прав человека со стороны государства. Они против власти самодержавного или любого другого государства, построенного на принципах дисциплины, но не против власти “самодержца” в корпорации, в которой работают и гнут спину ради куска хлеба.

Главенство либеральных взглядов – беда для государственной власти. Они вредны и для “простых” людей. “Вольнолюбивые” фразы “о беспредельных правах лица, ...дойдя до нижних слоев западного общества, – по мнению Леонтьева, – сделали из всякого простого подёнщика и сапожника существо, исковерканное нервным чувством собственного достоинства”. Беспредельных прав быть не должно – это не только мнение тонкого эстета,

но и государственника, думающего о развитии России. Леонтьев отлично понимает, что сапожник, уравненный в правах с министром, станет демагогически рассуждать о своём достоинстве и перестанет работать. За ним перестанут работать печники, сталевары, плотники, столяры и т. д. Кто же будет создавать материальные ценности – “нашу серебряную утварь, наши иконы, наши мозаики”?

Вспомним повесть А. П. Чехова “Степь” и разговор на постоялом дворе. Хозяин его, еврей Моисей Моисеевич, так говорит о своём брате Соломоне, пропитанном либеральными идеями: “И что мне с ним делать, не знаю! Никого он не любит, никого не почитает, никого не боится... Знаете, над всеми смеется, говорит глупости, всякому в глаза тычет”. И таких людей в России становилось всё больше и больше, пока не вспыхнула, словно факел, революция. Но этот факел выдвинул лишь тех, кто никого не любил, никого не боялся, никого не почитал. Немало сгорело в этом факеле и самих поджигателей.

Говоря о значении византизма для России, Леонтьев восклицает: “Византизм дал нам всю силу нашу в борьбе с Польшей, со шведами, с Францией и с Турцией. Под его знаменем, если мы будем ему верны, мы, конечно, будем в силах выдержать натиск и целой интернациональной Европы, если бы она, разрушивши у себя всё благородное, осмелилась когда-нибудь и нам предписать гниль и смрад своих новых законов о мелком земном всеблаженстве, о земной радикальной всепошлости!”

И, действительно, выдержали! И выдерживаем в XXI веке.

## 2

Александр Блок взял в качестве эпиграфа к своей поэме “Скифы” слова Владимира Соловьёва, поэта, философа, старого знакомого Константина Леонтьева. Звучат они так: “Панмонголизм! Хоть имя дико, но мне ласкает слух оно”. Хотя имя “панславизм” менее дико, но суть... Ласкает ли оно слух Леонтьева, можно узнать из “Византизма и Славянства”.

В этом труде Леонтьев в продолжение статей “Панславизм и греки” и “Панславизм на Афоне” пытается дать определение славизму. И приходит к выводу, что невозможно найти “какие-нибудь ясные, резкие черты, какие-нибудь определённые и яркие исторические свойства, которые были бы общи всем славянам. Славизм можно понимать только как племенное этнографическое отвлечение, как идею общей крови (хотя не совсем чистой) и сходных языков. Идея славизма не представляет отвлечения исторического, то есть такого, под которым бы разумелись, как в квинтэссенции, все отличительные признаки, религиозные, юридические, бытовые, художественные, составляющие в совокупности своей полную и живую историческую картину известной культуры”.

И в самом деле, подробно характеризуя славян – чехов, поляков, болгар, сербов, великороссов и малороссов, – Леонтьеву не удалось усмотреть в их истории “органическую систему своеобразных идей, стоящих вне частных, местных и личных интересов”, но глубоко, тысячами нитей, связанных с этими интересами. Леонтьев приходит к выводу, что “славизма как культурного здания или нет уже, или ещё нет; или славизм погиб навсегда, растаял... под совокупными действиями католичества, византизма, германизма, ислама... или, напротив того, славизм не сказал ещё своего слова и таится, как огонь под пеплом...”

Относительно греков, подстрекаемых англичанами, Леонтьев восклицал: “Греки не хотят или не умеют понять, что между Панславизмом и русским Славянофильством большая разница”.

В составленном от третьего лица “Списке сочинений К. Леонтьева с характеристикой” он объясняет суть своих взглядов на Восточный (славистский) вопрос следующим образом: “Овладение Царьградом и Пропливами, **утверждение Восточных Церквей** (выделено мной. – М. Ч.) и при этом как неизбежное бремя составление какого-нибудь сносного союза с освобожденными единоверцами, – вот цель, которую должна преследовать Россия”.

Эмансипационная же собственно политика, по мнению автора, не должна быть сама по себе целью, а только временным и при этом довольно опасным средством. То есть Россия как предводитель славянства должна создать не союз из славян, а некую особость (Восточные Церкви), противостоящую тлетворному влиянию Запада.

Такую точку зрения на панславизм могли понять и одобрить только высокие умы. Например, Достоевский, в 1873 году написавший М. П. Погодину после прочтения “Панславизм и греки”: “Эта статья меня даже поразила. . . Меня поразила особенно последний вывод о том, что собственно должен означать для России Восточный вопрос отныне? (Борьба со всей идеей Запада, то есть с социализмом)”. Погодин ответил: “Предстоит борьба России с Западом из-за чего бы то ни было, а вероятно, из-за Востока”. Леонтьев, что называется, раскрыл глаза русскому обществу. И уже после этого разъяснения Достоевский в своих дневниках записал в ноябре 1877 года: “. . . по внутреннему убеждению моему, самому полному и непреодолимому, – не будет у России, и никогда ещё не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобождёнными!” И ещё раз обращая внимание, что это прозрение наступило у Достоевского спустя четыре года после прочтения Леонтьева, который называл болгар “волками в овечьей шкуре”.

Особенно негативные качества болгар (да по большому счёту, и всех югославян, к которым надо отнести и украинцев) проявились во время двух Балканских войн (1912-1913), когда в Первую войну коалиция болгар, сербов, черногорцев и греков против владычества Османской империи почти полностью освободила от турок европейскую часть современной Турции. Славянскими стали города, где работал некогда Леонтьев: Адрианополь (Эдирне), Янина, Салоники, а Болгария получила вожделенный выход к Эгейскому морю. Однако ненасытность (по Леонтьеву) болгар сгубила. Им этих территорий, закреплённых Лондонским договором, показалось мало. В 1913 году Болгария напала на бывших своих союзников (греков, сербов), но за полтора месяца была повержена. Результат плачевный: потеряно всё, что было кровью завоёвано: Восточная Фракия с Адрианополем отошла к Турции, а выход к Эгейскому морю – Греции.

Вторая Балканская война в 1912 году ярко выявила неспособность югославян договариваться между собой. Таким образом, Леонтьев задолго и верно усмотрел, что славизма как идеи (идеологии) нет. Панславизм России не нужен, но есть славянство, хотя и оно недостаточно прочно “у болгар, поэтому мы не видим до сих пор ничего славянского в смысле зиждительном, творческом; мы видим только отрицание, и чем дальше, тем сильнее”. А “дальше”, надо заметить, Болгария в двух мировых войнах была на стороне Германии, в 2022 году закрыла воздушное пространство для полёта министра иностранных дел России в Сербию. Вывод Леонтьева верен и сбывается уже 150 лет.

Да и что славянство представляет собой без сильной России? Ровным счётом – ничего! Отсюда и родились вещие слова, что взяты в эпиграф.

*“Для существования славян необходима мощь России.*

*Для силы России необходим византизм.*

*Тот, кто потрясает авторитет византизма, подкапывается, сам, быть может, и не понимая того, под основы русского государства.*

*Тот, кто воюет против византизма, воюет, сам не зная того, косвенно и противу славянства; ибо что такое племенное славянство без отвлечённого славизма?”*

Нет в славизме идеи (идеологии), значит, не может быть ничего положительного, зиждительного в нём. Естественен вывод Леонтьева: “Слияние славян в одно государство было бы кануном разложения России, “Русское море” иссякло бы от слияния в нём “славянских ручьёв”. История доказала верность подобного утверждения. Излишняя полонизация органов власти царской России привела к Февральской и Октябрьской революциям 1917 года. Значительным количеством украинцев в советских властных структурах некоторые историки объясняют развал СССР. И верно ведь советовал Леонтьев: “Не льстить надо славянам, не обращаться к ним с вечной улыбкой любезности: нет! Надо изучать их. . .”

Тонко подмеченная Леонтьевым связь могущества славянского государства и византизма (ортодоксального Православия) также нашла подтверждение в истории. Ненасытность бросила болгар во Вторую балканскую войну, и они потеряли приобретённое. Но почему бы не связать это с результатом еретических действий (схизмы) болгар, отошедших в 1870 году от Константинопольского патриархата с образованием Болгарского экзархата? Можно связать

закрытие Сталиным “Союза воинствующих безбожников” с началом Великой Отечественной войны. Вспоминается и архиерейский собор в 1943 году и признание РПЦ, по его настоянию, как единственного религиозного объединения, с которым сотрудничает государство. Или совсем свежий пример с Украиной, отошедшей в XXI веке от РПЦ как воплощенного византизма. Результат сейчас известен. Кто-то может посчитать это мистикой, но факты — упрямая вещь. И потому Леонтьев восклицал, словно объясняя, что может случиться в будущем: “...**наружное политическое согласие с Европой необходимо до поры до времени; но согласие внутреннее, наивное, согласие идей, — это наша смерть**”. Западные и южные славяне, в том числе украинцы, быстро соглашались с Западом **внутренне!**

И в дальнейшем Леонтьев последовательно развивал тему, что Запад культурно исчерпал себя, а кто ему будет подражать, тот сам погибнет. И чем выше будет степень подражания западной либеральной доктрине, тем быстрее наступит конец подражателю как независимому государству, даже если период падения будут наблюдать десятки поколений. Эти слова сказаны 150 лет назад, но... “нет пророка в своём Отечестве”.

### 3

Либералы с гордостью считают себя носителями прогресса, а консерваторов — хулителями его. При этом либералы не делают различия между понятиями “прогресс” и “развитие”. Леонтьев в третьей, теоретической части своего труда “Византизм и Славянство”, отмечая наветы либеральных радикалов, мудро разделяет эти понятия.

В развитии, как в каждом процессе, есть некая внутренняя идея (смысл, суть), предполагающая в самой себе результат. Возьмём, к примеру, реакцию фотосинтеза или, как её называют красочно, “реакцию жизни”. При ней в листьях (клетках) растения с помощью хлорофилла (красящего вещества) под действием солнечного света усваивается углекислый газ из воздуха с формированием органической массы (пищи и для человека), обеспечивающей растению рост и созревание плодов и зёрен, с получением кислорода. Без него, как мы все знаем, не может жить ни животное, ни человек как часть животного мира. То есть эта реакция, несущая в себе свой результат, имеет два смысла (идеи) — производство вегетативной массы и кислорода.

Таким образом, в каждом явлении или обстоятельстве как части процесса она (идея) должна непременно присутствовать. Поскольку системные идеи тех или иных явлений или обстоятельств самостоятельны, то и цели их различны. Развитие, по Леонтьеву, логически и диалектически есть следующее:

*“Постепенное восхождение от простейшего к сложнейшему, постепенная индивидуализация, обособление, с одной стороны, от окружающего мира, а с другой — от сходных и родственных организмов, от всех сходных и родственных явлений.*

*Постепенный ход от бесцветности, от простоты к оригинальности и сложности.*

*Постепенное осложнение элементов составных, увеличение богатства внутреннего и в то же время постепенное укрепление единства.*

*Так что высшая точка развития не только в органических телах, но и вообще в органических явлениях есть высшая степень сложности, объединенная неким **внутренним деспотическим** (выделено мной. — М. Ч.) единством”.*

Безупречная логическая и диалектическая цепь рассуждений позволяет понять бытие как процесс, показать переход всякого свойства на следующую ступень или стадию развития, а в дальнейшем и в свою противоположность, то есть реакцию на предыдущее развитие. Тут уместно вспомнить и Карла Маркса, сказавшего о диалектике Георга Гегеля (1770–1831): “Он впервые представил весь природный, исторический и духовный мир в виде процесса, то есть в непрерывном движении, изменении, преобразовании и развитии, и сделал попытку раскрыть внутреннюю связь этого движения и развития”.

Прочитайте ещё раз определение развития у Леонтьева. Это ли не полная интерпретация принципов и основ диалектики, которую понимали ещё древние греки, чувствуя, что бытие заключает в себе вечные противоречия и изменчивость, которые способствуют переходу всякого свойства в свою противоположность. История, о которой далее будет рассуждать Леонтьев, так же

как бытие, есть процесс, полный противоречий: она едина и множественна, вечно и преходяща, циклична и поступательна. Как человек своей судьбой как процессом проходит через бытие, так и история следует за ним, поглощая время. Причём следует отметить, что в христианстве время, имеющее начало и конец, всегда отделено от вечности, являющейся прерогативой Бога. И когда красиво говорят, что тайна гения – это метка вечности, то это означает, с христианской точки зрения, что своим зарождением гений обязан Богу.

Итак, если развитие через внутреннюю идею (“внутреннее деспотическое единство”) придаёт смысл движению, то, по мнению Леонтьева, *“прогресс, то есть последующая ступень истории, её завтрашний день, так сказать, не всегда носит характер более эмансипационный, чем ступень предыдущая, чем период истекающий или истекший”*. Объём свободы, который, по мнению “прогрессистов”, должен увеличиваться с каждой ступенью истории, не есть доминанта развития, по Леонтьеву. На следующей исторической ступени (в данном случае – буржуазной, капиталистической, следующей за феодалной ступенью), могут и должны быть возвраты к положительному опыту и традициям предков. В силу этого, утверждает Леонтьев, *“могут стать прогрессом, в свою очередь, и всякие реакционные меры, и временные, и законодательные – раз только меры, освобождающие личность человеческую, достигнут так называемой точки насыщения”*. Этим соображением он бьёт своих противников их же оружием. Если вы, – говорит Леонтьев, обращаясь к “прогрессистам”, – ставите во главу угла личные права человека (свободу, равенство, благоденствие), то вы должны учитывать и их предел – “насыщение” (оно так же естественно, как смерть), результатом которого должна быть реакция на излишнюю свободу. Иначе анархия, хаос, когда чересчур свободная личность берёт в руки оружие и идёт отстреливать всех, косо на него посмотревших.

Как бы предвидя подобное развитие событий, Леонтьев предупреждает в “Византизме и Славянстве”: *“Социальная наука едва родилась, а люди, пренебрегая опытом веков и примерами ими же теперь столь уважаемой природы, не хотят видеть, что между эгалитарно-либеральным поступательным движением и идеей развития нет ничего логически-родственного, даже более: эгалитарно-либеральный процесс (читай: прогресс. – М. Ч.) есть антитеза процессу развития”*. Как говорится, fiat lux (да будет свет!), то есть точки расставлены, позиции определены: развитие и прогресс по Леонтьеву – не синонимы по своему внутреннему содержанию. Прогресс, понимаемый как нескончаемое увеличение прав и свобод, может остановиться из-за излишней свободы, переходящей в анархию.

Довольно тонкое разделение и противопоставление развития и прогресса. Для пояснения этого главного тезиса К. Н. Леонтьева, из которого исходят все дальнейшие рассуждения и выводы, вспомним ещё раз “реакцию жизни” (фотосинтез), обеспечивающую существование всего живого на Земле. Ботаники и специалисты сельского хозяйства знают, что если “перекормить” растение удобрениями (свободой – в случае человеческого общества), то образование вегетативной массы, так называемой ботвы, станет определяющим и бесконтрольным. Вот это и есть прогресс, то есть, как говорят философы, начиная с Анн Роббер Тюрго (1727–1781), поступательное движение человеческого общества по восходящей линии. Возможно, что зелёная масса (силос) необходима скоту на откорм, но образования цветков, их оплодотворения, а следовательно, **развития** зёрен и плодов происходить не будет. И каждый поймёт, что без зёрен не обеспечишь воспроизводство на следующий год новых растений. Прервётся в биологическом случае генетическая связь, а в историческом – связь времён, и даже больше – наступит конец истории. Чтобы образовались цветки, а потом возникла завязь, побеги растения прищипывают (деспотия), то есть ограничивают рост (прогресс) зелёной массы. Сотворив цветок, обеспечив завязь и созревание плода до полной спелости, растение сбрасывает листья, стебель (пшеница, например) засыхает, растение погибает.

Из этого примера можно сделать логические выводы, что без деспотии (прищипка) количество никогда не переходит в качество, что многопудовая зелёная масса без дисциплинирующего вмешательства в ход своего развития не способна произвести свой венчиковый цветок – апофеоз развития – гения в политической или художественной сферах.



И потому “нынешний прогресс не есть процесс развития: он есть процесс вторичного, смесительного упрощения, процесс разложения для тех государств, из которых он вышел или который крепко усвоил...” – пояснял Леонтьев. И далее: “Ибо под развитием, разумеется, надо понимать не одну учёность, как думают (опять же по незнанию) многие, а некий весьма сложный процесс народной жизни...”

Бог (природа), сотворив фотосинтез, даёт людям жизнь и возможность понять взаимосвязи, обеспечивающие ход и смысл развития. Эта реакция есть своеобразная проекция судьбы человечества (это ли не есть история?), которая движется от сотворения Божественного мира к Страшному суду. Отсюда и эсхатологические предчувствия у Леонтьева: “правильная вера в прогресс должна быть пессимистическая, а не благодушная, всё ожидающая какой-то весны...”, но об этом позже, пока в “Византизме и Славянстве” Леонтьев разбирает, чем обычно заканчивается прогресс.

“Явления эгалитарно-либерального прогресса схожи с явлениями горения, гниения, таяния льда (менее воды свободного, ограниченного кристаллизацией); они сходны с явлениями, например, холерного процесса...” на котором Леонтьев показал, как человек, уравниваясь во время болезни, превращается после смерти в свободные молекулы азота, водорода, кислорода. Мы рассказали о том же процессе, взяв за образец рост растения и его увядание.

Вот так логическое вмещает в себя историческое действие, обеспечивающее развитие объективной направленности (смысла, идеи), а от неё – к определённом результате. В нашем примере – зёрна, продолжающих расширенное воспроизводство живого. К. Н. Леонтьев с помощью логики поясняет значения отдельных элементов растительной (в его случае – человеческой болезни) системы в процессе развития (умирания) целого. Логика позволяет перейти к истории как процессу, в котором присутствуют конкретные условия (факты) в неразрывной связи с сутью тех или иных явлений, переход от одних исторических стадий (периодов) к другим.

Таких периодов в развитии растений ли, культурно-исторических типов, цивилизаций, государств, всей человеческой истории у Леонтьева три: **первичная простота, цветущая сложность, вторичное смесительное упрощение**. Это своё открытие он называл “гипотезой вторичного и предсмертного смешения” или “гипотезой триединого процесса”. В “Византизме и Славянстве” Леонтьев объясняет это на примерах развития пневмонии, а в историческом плане – на примерах развития государств, империй, культур с древнейших времён до XIX века.

По Леонтьеву, “развитие государства сопровождается постоянно выяснением, обособлением свойственной ему политической формы; падение выражается расстройством этой формы, большей общностью с окружающим”, а форма, как он раньше отметил – есть “деспотизм внутренней идеи”. И потому “государственная форма у каждой нации, у каждого общества своя; она в главной основе неизменная до гроба исторического, но меняется быстрее или медленнее в частности, от начала до конца. Вырабатывается она не вдруг и не сознательно сначала; не вдруг понятна; она выясняется лишь хорошо в ту среднюю эпоху наибольшей сложности и высшего единства, за которой постоянно следует, рано или поздно, частная порча этой формы и затем разложение и смерть”.

Христианские философы – Владимир Соловьёв, Сергей Булгаков, Георгий Флоровский, Василий Зеньковский, Николай Бердяев, Сергей Франк – осудили “гипотезу триединого процесса” как несоответствующую Христианству. В том, что Христианство не приемлет органического развития, можно усомниться, вспомнив, что Иисус Христос, объясняя ученикам истоки своего будущего прославления как Сына Божьего, сравнивал себя с пшеничным зерном. Уже это говорит о растительной основе развития, признаваемой Христом, объясняющим, что если зерно не умрёт, то останется одно, а если умрёт – принесёт много плодов. Аналогия проста и прозрачна: для получения новых плодов растение должно дать росток, затем созреть и умереть, то есть пройти все те три стадии, о которых говорит Леонтьев.

#### 4

Определив решающее влияние Византии на становление российского Православия и государственности, Леонтьев с этих позиций разобрался и с ролью славянства в политике России, определил, почему либеральный

прогресс есть антитеза развитию, и раскрыл причины наступления на Западе периода “вторичного смешения”.

Много в рассуждениях Константина Леонтьева такого, что тотчас поражает сознание и запоминается на долгие-долгие годы. Например, такой, можно сказать, совет: *“Поменьше так называемых прав, поменьше мнимого блага. Вот в чём дело! Тем более что права-то, в сущности, дают очень мало субъективного блага, т. е. того, что в самом деле приятно. Это один мираж!”*

Мы оставим мудрые афоризмы за рамками статьи. Всего не перескажешь! И сформулируем некоторые выводы.

**Первый** вывод, думается, годен на все времена: *“Культуры же, соединенные с государством, большей частью переживают их”*. Говоря о Византии, Леонтьев отмечает: *“Как государство Византия провела, однако, всю жизнь лишь в оборонительном положении. Как цивилизация, как религиозная культура она царяла долго повсюду и приобретала целые новые миры, Россию и других славян”*. В другом случае Леонтьев говорит о национальной культуре: *“Она как продукт принадлежит Государству; как пища, как достояние она принадлежит всему миру”*. Эта мысль служит продолжением взглядов Гегеля, говорившего, что формы государственной организации не передаваемы по цепи исторического развития, но *“совершенно иначе обстоит дело по отношению к науке и искусству”*.

Приступив к своей любимой теме – культуре и, соответственно, эстетике – с обсуждения своеобразия культуры Византии как частного случая, Леонтьев в “Византизме и Славянстве” переходит к разговору о культуре мирового значения. И он почти всегда вместо термина “культурно-исторический тип”, введённого в научный оборот Данилевским, использует слова “цивилизация” и “культура”. “В письмах о восточных делах” Леонтьев даёт такое определение культуре: *“Под словом культура я понимаю не какую попало цивилизацию, грамотность, индустриальную зрелость и т. п., а лишь цивилизацию свою по источникам, мировую по преемственности и влиянию. Под словом “своеобразная мировая культура” я разумею целую свою собственную систему отвлечённых идей – религиозных, политических, юридических, философских, бытовых, художественных и экономических”*.

У Леонтьева “культура – не какая попало цивилизация”, то есть культура важнее и полнее по смыслу, чем цивилизация. Культура – это образ жизни народа (ценности, обряды, вера, менталитет, обычаи, умения), совокупность всех достижений духовной и производственно-деловой жизни народа на всём пути исторического развития. Цивилизация – более узкое понятие, это та заключительная стадия национальной культуры, что вышла на мировой уровень на определённом историческом этапе. В XIX веке термин “цивилизация” часто применялся в качестве характеристики капитализма, приравненного к высшей ступени прогресса, с чем Леонтьев согласиться никак не мог, потому и различал эти понятия. Цивилизация может клониться к упадку, тогда как культура народа может развиваться. Например, цивилизация Византии пала под ударами османов, но культура её продолжала жить и живёт до сих пор. Религиозная составляющая византийской культуры послужила фундаментом для русского Православия и развития государственности. Часть византийской культуры перенял романо-германский исторический тип, дав толчок Ренессансу.

В более краткой и афористичной форме Леонтьев констатирует: *“Ибо культура есть своеобразие; а своеобразие ныне почти везде гибнет преимущественно от политической свободы. Индивидуализм губит индивидуальность людей, областей и наций”*. В личной сноске в “Византизме и Славянстве” он с задором отмечает что *“китаец и турок поэтому, конечно, культурнее бельгийца и швейцарца!”* Да, пусть не обижаются бельгийцы и швейцарцы, так как, безусловно, у них нет той суммы “отвлечённых идей”, о которых говорит Леонтьев. В этом утверждении его мысли перекликаются с воззрениями Тютчева, писавшего об индивидуализме западного обывателя как начале отрицания всего и вся: власти, Бога, культуры. Позднее (1880) Леонтьев дополнил понятие культуры, которое стало звучать так: *“Ибо культура не в массе знаний, а в живом своеобразном освещении этого умственного хаоса”*. Афористичность этого определения и глубина подхода заслуживает начертания его на скрижалях истории или хотя бы на зданиях дворцов культуры.

В “Византизме и Славянстве” Леонтьев раскрывает уникальность “начал” культуры каждого народа, и, в частности, русской культуры. Первой работой

на эту тему у Леонтьева была статья “Грамотность и народность”. Взгляды Леонтьева, отметим сразу, на русскую культуру менялись с течением времени. После “Византизма и Славянства” он всё больше говорит о влиянии западных заимствований на русскую культуру, а в статьях последних лет (“Кто правее?”) с трудом и тревогой улавливает национальную самобытность русской культуры как “основу и руководящее начало”.

**Второй** его вывод – о силе Российской империи. *“Надо крепить себя, меньше думать о благе и больше о силе. Будет сила, будет и кой-какое благо, возможное”*.

Леонтьев первым из философов поставил вопрос **государственной силы** не только с политической точки зрения, но и с философской. Через собственные политические переживания, через собственный дипломатический опыт, через эстетику он пришёл к такому своеобразно мистическому определению государства. *“Государство есть, с одной стороны, как бы дерево, которое достигает своего полного роста, цвета и плодоношения, повинувшись некоему таинственному, не зависящему от нас деспотическому повелению внутренней, вложенной в него идеи. С другой стороны, оно есть машина, и сделанная людьми полусознательно, и содержащая людей как части, как колёса, рычаги, винты, атомы, и наконец, машина, вырабатывающая, образующая людей. Человек в государстве есть в одно и то же время и механик, и колёса или винт, и продукт общественного организма”*.

Кто только сейчас не говорит о человеке как о винтике в государственном механизме, и особенно либералы, которым не нужно сильное государство, умеющее затянуть винты до требуемого рабочего состояния. Либералам нужно лишь “счастье”, которое впервые на государственном уровне прописано в американской Декларации независимости, им нужен комфорт, пусть будет “всё смутно, всё спутано, всё бледно, всего понемногу”, но чтобы желудок был полон. *“Система либерализма есть, в сущности, отсутствие всякой системы, она есть лишь отрицание всех крайностей, боязнь всего последовательного и всего выразительного. Эта-то неопределённость, эта растяжимость либеральных понятий и была главной причиной их успеха в нашем поверхностном и впечатлительном обществе”*, – так скажет позднее Леонтьев в передовой статье газеты “Варшавский дневник” (“Чем и как либерализм наш вреден?”).

Да, определение государства, данное Леонтьевым, откровенно и даже, может быть, излишне натуралистично, но таков он, Леонтьев, “законодатель и судья ценностей”, если брать ницшеанское определение философа как учёного.

В “Византизме и Славянстве” идея государственной силы продолжена и развита. России сила нужна не только для защиты своей независимости и самобытности. Если на Западе падут все частные и национальные государства и будет организована одна общая федеративная республика (прообраз Европейского Союза – ещё одно предвидение Леонтьева), то сила нужна будет, чтобы спасти культуру Запада: *“...спасти и в нём то, что достойно спасения, то именно, что сделало его величие, Церковь, какую бы то ни было, Государство, остатки поэзии, быть может... и самую науку!”*

Вот он, истинно русский, независтливый взгляд на мировую культуру, в том числе и на западную. Нет ни малейшего следа негатива и злорадства к будущему падению Европы, есть только ощущение себя культурной частицей мира, а не местечкового мещанина, которому наплевать на происходящие в мире потрясения и революции, у которого хата с краю, а в желудке счастливая сытость. Вот в чём состоит настоящая разница между общечеловеческими ценностями, правами человека и мнениями так называемого международного сообщества и гражданином культуры мира, в качестве которого всегда выступал Леонтьев. Вот в чём проявляется широта души русского человека, вот в чём состоит та самая русскость, которой отличались взгляды консервативного мыслителя Леонтьева, осуждающего варварские, бессмысленные действия английского “просвещённого” воинства, таскавшего по улицам Керчи рояль в годы Крымской войны, участником которой был Леонтьев. Он резко против серого, однообразного мещанского западного мирка, и одновременно он защищает культуру Запада от его же бескультурных жителей, хамства которых так ярко проявлялось у англичан. Вот от этого воинствующего хамства предостерегал реакционный Леонтьев любимую им Россию. Вот для чего нужна сила России: не для военного завоевания Европы, не для торжества панславизма,

как пытаются (и не без успеха) уверять враги России, а для сохранения культуры, которая может пасть с наступлением эвдемонического и эгалитарного прогресса, нацизма, наползающего, словно навозная жижа, с Запада. Ведь падение и гниение Европы Леонтьев рассматривал, прежде всего, как культурное и национальное разрушение под действием мещанских и либеральных псевдоценностей.

И, чтобы сохранить культуру, нужна государственная сила, **“ибо только там много бытовой и всякой поэзии, где много государственной и общественной силы.** Государственная сила есть скрытый железный осто́в, на котором великий художник-история лепит изящные и могучие формы культурной человеческой жизни”.

Для России, по мнению Константина Леонтьева, самым желательным было бы такое устройство: *“Государство должно быть пестро, сложно, крепко, сословно и с осторожностью подвижно, вообще сурово, иногда и до свирепости; Церковь должна быть независимее нынешней, иерархия должна быть смелее, властнее, сосредоточеннее; быт должен быть поэтичен, разнообразен в национальном, обособленном от Запада единстве; законы, принципы власти должны быть строже, люди должны стараться быть лично добрее – одно уравновесит другое; наука должна развиваться в духе глубокого презрения к своей пользе”.*

**Третий** вывод касался этапов развития государств и их падения. Всё вначале просто, потом сложно, потом вторично упрощается, сперва уравниваясь и смешиваясь внутренне, а потом ещё более упрощаясь отпадением частей и общим разложением, до перехода в неорганическую “Нирвану”. Наши примеры “реакции жизни” (фотосинтеза) ясно показали этот путь.

*“Такому же закону подчинены и государственные организмы, и целые культуры мира. И у них ясны эти три периода: 1) первичной простоты, 2) цветущей сложности и 3) вторичного смесительного упрощения”,* – так констатирует Леонтьев, определяя три стадии: зарождения, роста и гибели государств.

То же самое, но спустя 50 лет будет утверждать англичанин А. Тойнби (1889–1975) в своём “Исследовании истории”, которое он создавал на протяжении практически всей своей жизни (1934–1961). Но ни одно даже русскоязычное справочно-энциклопедическое издание не сообщает о влиянии на Тойнби русского мыслителя К. Н. Леонтьева. Все они отдают эту честь О. Шпенглеру (1880–1936), также перенявшему у Леонтьева и Данилевского все их историософские воззрения. Забвение идей русских первопроходцев почти в любых областях человеческих знаний – родовое пятно русской истории, и этот факт – тоже результат бездумного поклонения Западу.

**Четвёртый** вывод исходит из предыдущих рассуждений: коль скоро мы заговорили о стадиях жизни государств, то в самую пору определить возможные сроки их жизни.

Леонтьев скрупулёзно высчитывает, сколько жили царства македонское, египетское, иудейское, мидо-персидское, римское, византийское. Исключив Китай и Древний Египет как отдельно стоящие культурные и исторические миры, Леонтьев приходит к выводу: “ни одно государство больше 12 веков жить не может”. Обращаясь к истории современных европейских государств, Леонтьев спрашивает, беря за точку отсчёта 1000-летие: “Что же сделали над собой европейские государства, переступая за роковое 1000-летие?” И отвечает: “С конца XVIII века и в начале нашего на материк Европы вторглись ложно понятые тогда англосаксонские конституционные идеи”. Они и помогают европейским государствам жить более 1200 лет? Но вот в каком состоянии?!

Наконец, **пятый**, самый решительный и смелый вывод. По утверждению Леонтьева, с принятием конституции и введением демократических порядков в государстве начинаются процессы вторичного смещения и упрощения, которые суть признаки, а не причины государственного разложения. *“Причину же основную надо, вероятнее всего, искать в психологии человеческой. Человек ненасытен, если ему дать свободу”.* И, благодаря разлитию рационализма в общественных массах, распространению претензий на свободу, равенство, братство и счастья, у человека происходит возбуждение разрушительных страстей: зависти, корысти, жадности, жёдности, гордыни, отрицания Бога, неуважения к старшим и к родителям, мужеложства, скотоложства. Положение русского безграмотного, но богомольного и послушного крестьянина обеспечивает более полную близость к реальной житейской

правде, чем рациональных либералов, “глупо верящих, что все люди будут когда-то счастливы, когда-то высоки, когда-то одинаково умны и разумны”.

Леонтьев предсказывает, что за мирным смещением сословий, прав, свобод следует затем расстройство дисциплины и необузданность желаний, что однообразие прав и сходство воспитания антагонизмов не уничтожит, так как потребности и претензии станут похожими. И потому страданий человеческих меньше не станет, они станут другого рода (тщеславного, так сказать), которые чувствуются глубже и больнее.

Под конец любой государственности с усилением равенства политическое усилится неравенство экономическое, а оно верная причина **войн и других социальных потрясений**, и – это **шестой** его вывод. И для истории, и для человечества это самый главный итог. Вот только человечество никак не хочет в этом признаваться. Ладно бы один человек ошибся, а тут всё “прогрессивное человечество” идёт по собственной воле на гибель, упорно называя этот путь единственно правильным.

Свой вклад в развитие исторической теории Леонтьев оценит позднее в письме своему другу Александрову следующим образом: *“Про Данилевского можно сказать, что он сделал великий шаг указанием на эти культурные типы. Можно ведь и так его теорию обернуть: существование разных культурных типов есть признак жизнечности человечества; невозможность создать новый; смещение всех в один средний есть признак приближения человечества к смерти.*

*Данилевскому принадлежит честь открытия культурных типов. Мне – гипотеза вторичного и предсмертного смещения”.*

*Пусть-ка её опровергнут! Что-то не суются... И опровергнуть было бы тоже для науки полезно”.*

Ниспровергателей, действительно, до сих пор нет, есть только последователи, такие как Шпенглер и Тойнби, но и их мало кто слушает.

## 5

Не пора ли гипотезу Константина Леонтьева о “триедином процессе развития” считать теорией, получившей достаточно доказательств в последнее время? Вот, к примеру, мнение нобелевского лауреата, бельгийского биохимика Кристиана де Дюв: *“Именно мы, люди, виноваты в том, что происходит. В погоне за улучшением условий жизни мы создали такую ситуацию, когда наше будущее находится под угрозой”.*

Да, почти по всем вопросам, мучающим нас в XXI веке, можно найти ответы в публицистических статьях К. Леонтьева. Уже в январе 1991 года в Калуге состоялась научно-философская и литературно-публицистическая конференция, приуроченная к 160-летию со дня рождения Константина Леонтьева. Тон глубокому обсуждению наследия Леонтьева задала группа студентов философского факультета Московского университета. Леонтьев оказался нужен и интересен молодому российскому гражданину и личной судьбой, и сбывающимися пророчествами, и оригинальными приёмами философствования.

Он стал интересен тем российским читателям, что стремятся понять изломанную судьбу России, оценить и представить её будущее, судьбу русской культуры и противоречия либерально-демократических свобод. Он интересен тем, кто связывает себя с целью и неделимой историей России и её знаменитыми, яркими личностями: Александром Невским, Сергием Радонежским, протопопом Аввакумом, Михаилом Ломоносовым, Александром Пушкиным, Сергеем Есениным, Валентином Распутиным и многими другими.

Толкнулась русская душа к Леонтьеву, почуяла правду в его мыслях и словах. С начала 90-х годов XX столетия годы вышли и выходят до сих пор десятки книг Константина Леонтьева многотысячными тиражами: “Записки отшельника” (1992), “Избранные письма” (1993), “Восток, Россия и славянство” (1996 и 2007), “Полное собрание сочинений и писем” в 12-ти томах (2000–2020), “Дипломатические донесения, письма, записки, отчёты. 1865–1872” (2003), “К. Н. Леонтьев: Pro et contra” (1995) в 2-х томах и многие другие.

150 лет назад Леонтьев первым поплыл против течения общественного мысли, утверждавшей, что свобода, равенство и братство принесут человеку счастье. “И где оно?” – спросим мы подобно Леонтьеву. Ответ оставим каждому, кто прочтёт его статьи и художественные произведения.

ОЛЕСЯ РУДЯГИНА

“ЕСТЬ В МИРЕ СЕРДЦЕ,  
ГДЕ ЖИВУ Я...”

*Размышления о жизни после жизни А. С. Пушкина  
в русском пространстве Молдовы*

*Над колыбелью пел щегол,  
А было то — родное слово:  
Летучий пушкинский глагол  
И богатырский слог Толстого...*

Александра Юнко.

С тех пор, как зазвучала на молдавской земле русская поэтическая речь, главной её особенностью является кровная связь с Россией, ведь первым русским поэтом Молдавии литературоведы считают А. С. Пушкина. Исследователи насчитывают более 220 сочинений, написанных, начатых и задуманных в Кишинёве, в их числе четыре южные поэмы и шестнадцать первых строф романа “Евгений Онегин”. Какая из стран ещё обладает таким сокровищем?

“Наш собственный” Пушкин, легендарный бес арабский, чьи годы пребывания в южной ссылке расписаны биографами по минутам, безусловно, является для русскоговорящей читающей Молдовы фигурой ключевой, даже культовой. 6 июня, 10 февраля — между этими двумя датами проносится литературный год, интенсивно наполненный пушкинским содержанием, как ни в каком другом независимом государстве, и отнюдь не только по юбилейным поводам... Всё, что связано с именем поэта, здесь приобретает особое значение. Его историческая фигура вот уже почти два столетия играет роль неразрывного связующего звена между Россией и Молдавией, нравится это кому-то или нет, они породнились — родством с поэзией А. С. Пушкина. Это понял ещё в 1933 году Игорь Северянин, живший у нас в эмиграции, и, вписав образ дерзкого доброго гения в бурное кишинёвское цветение, воспрял духом, призвал современников скинуть с душ тоску и боль (а ведь “король поэтов”, как миллионы вынужденных эмигрантов, лишённый России, смертельно по ней тосковал!).

Ежеминутно ощущая,  
Что в беспредельности степей  
С цыганами, в расцвете мая,  
Скитался тот, кто всех светлей,  
Кто всех родней, чьё вечно ново,  
Всё напоённое весной

Благое имя, что вишнёво,  
Как вышний воздух Кишинёва,  
Насыщенного белизной!

Только в контексте эпохи — потери родной земли, всего, что любил, — гибели Российской империи, ужасов революции, Первой мировой войны и гражданской, предчувствия очередной приближающейся катастрофы — мне кажется, можно понять глубину этих на искушённый взгляд чрезмерно восторженных и не слишком совершенных стихов.

Мемориальный дом-музей Поэта, недавно отметивший своё 70-летие, — место паломничества как туристов, так и жителей республики. Здесь проводится посвящение учащихся в лицеисты, великое множество выставок, литературно-музыкальных вечеров и встреч.

В Молдавии живёт немало удивительных людей, проводников культуры, посвятивших свои жизни изучению и популяризации наследия Александра Сергеевича. Это и знаменитый молдавский пушкинист Виктор Кушниренко; музеограф Марина Подлесная — неутомимая и страстная пропагандистка пушкинского Кишинёва, бессарабского периода жизни и творчества Поэта; менеджер культурных проектов Российского центра науки и культуры в Кишинёве, руководитель его Пушкинской аудитории Ольга Батаева, недавно отмеченная Президентом Республики Молдовы Игорем Додоном почётным званием “*Om emerit*”. Кишинёв — город особенный, а трёхлетнее пребывание Александра Пушкина под сенью здешних акаций, орехов, шелковиц, виноградной лозы, увивающей балконы и веранды, обрамило его, словно драгоценный камень, уникальной оправой. Все поэтические пути русскоговорящих литераторов и почитателей поэзии стекаются к памятнику в центральном городском парке, некогда носившем имя поэта, — бюсту работы А. Опекушина, копии знаменитого московского оригинала с Тверского бульвара.

Марина Подлесная собрала и недавно выпустила книгу с удивительным названием: “*Времена жизни кишинёвского памятника А. С. Пушкину*”, в которой собраны посвящённые Поэту стихи и графика. Почти два столетия поэты в задумчивости обращаются к Пушкину, сверяя свои поэтические часы. Вот строки молодого автора из Тирасполя, впервые попавшего в чужой ему Кишинёв:

Кудрявой бронзы тяжесть молодая,  
колонна вместо тела твоего,  
и светятся прозрачно и мертво  
растрёпанные листья, опадая.  
Уютны ль облетающие чащи?  
Хорош ли сон, зовущий выше крыш?  
Ты дружишь с клёном, с птицей говоришь,  
но почему-то мне не отвечаешь.

**А. Захарчук.**

А вот совсем другое настроение, мысли и эмоции человека грозной военной эпохи Давида Ветрова (1913–1952). В его стихах знакомый всем кишинёвцам с детства памятник становится стержнем духовного сопротивления. В годы румынской оккупации и позднее, во время Великой Отечественной войны, он, построенный на добровольные пожертвования горожан, олицетворял для Ветрова спасительный образ Родины, светоносный образ грядущей Победы над фашизмом. Памятник переживал лихолетье вместе с горожанами, становился свидетелем преступлений вражеских орд:

В руинах город мой,  
Мой тихий дом разрушен.  
Над Пушкиным, в саду,  
Проскрежетал снаряд.  
Где я стихи слагал  
У кучерявой груши  
Десятки виселиц  
Под вьюгою скрипят...

То, что памятник выстоял там, на родной оккупированной земле, захватчики которой методично уничтожали мирных граждан (по официальным данным, за годы оккупации пыткам и истязаниям были подвергнуты 207 тысяч жителей Молдавии, десятая часть населения), на земле, которую ещё предстояло с кровопролитными боями освободить, было для поэта-фронтовика глубоко символичным. Он клянётся:

Вернёмся мы назад  
И дом отстроим снова.  
И лиры Пушкина  
Рассвет коснётся вновь...

Кстати, памятник Поэту воспринимался как символ России не только её друзьями, но и недоброжелателями. В конце недавно ушедшего века А. С. Пушкин принял на себя удар ненависти, выплеснутой националистами, — и едкой краской на его памятник, и позорными публикациями в изданиях определённого толка. А вступилась за поэта газета “Независимая Молдова”, главный редактор которой, уроженец приднестровского села, поэт-трибун, известный публицист Борис Мариан пронёс любовь к поэзии Александра Сергеевича через всю непростую жизнь. “*Читай Пушкина — человеком станешь!*” — сказал ему, мальчишке, на заре судьбы отец, подарив изумительную книгу с картинками. В самые суровые годы жизни Пушкин был собеседником и утешителем, мерилom добра и справедливости. Получив срок за участие в студенческой демонстрации протеста против вторжения советских войск в Венгрию в 58-м году, в течение 5 лет в Дубровлаге в Мордовии “опальный студент” не только учился терпению, мужеству, упорству и... стихосложению, но и получал уроки неподдельной интернациональной дружбы. Символично, что “потомок гордых даков” в своей книге “Тюремная тетрадь” использует цитату из знаменитого пушкинского стихотворения:

Одно лишь утешенье, кстати:  
Со мною тянут срок, не миг,  
И гордый внук славян в бушлате,  
И финн, и друг степей калмык.

Мариан совсем не фигурально, а вполне реально судился за честь любимого поэта и отстоял её. “Пушкин один, а дантесов много”, — убеждён Борис Тихонович.

Перечитывая неординарную мистическую книгу “Избранник, или “Гений и злодейство”: детектив XIX века в письмах” блестящего журналиста и прозаика Елены Шатохиной, к сожалению, ушедшей после тяжёлой болезни, я задумалась над её словами в предисловии: “*Пушкин, как сильная вибрация, рождал вихри, невольно дразнил окружение своим гением, высвобождая в чужих душах не только чувства добрые, но потаённое, совсем не святого толка. Сколько противоречивых интересов боролось вблизи него! Так повелось от века и не скоро кончится: гений — щепотка раздражающей соли на чью-то рану самолюбия. Но пушкинское пространство жизни и окружение так мощно было им заряжено, что и почти 200 лет кипят вокруг его смерти нешуточные страсти, и все его современники, как Ахматова и предсказывала, стали нам интересны лишь потому, что имели к Поэту хоть какое-то отношение. Он даже своей гибелью всех построил... по рангу человечности, вот что он сделал*”.

Так происходит и поныне! Александр Сергеевич и в наши времена ведёт себя подобным образом, оказываясь совершенным мерилom человеческого достоинства, благородства духа, любви к Родине и — таланта. Для некоторых имя Пушкина — повод для бессовестного самопиара, демонстрации собственной значимости. Во времена засилья китча и отсутствия в республике института литературной критики можно тоннами безнаказанно штамповать бездарные посвящения поэту. Для других поэзия Александра Сергеевича — безусловный камертон души, мастерства, лекарство от пошлости и самодовольной ограниченности. Тема русской литературы, поданная по-своему в стихах поэтов разных поколений, пишущих в Молдове по-русски, — одна из красок многогранного образа Родины.



Мир бы рухнул  
От взрыва, от бури,  
Развалился бы наверняка,  
Но стоит он на Литературе,  
И она его держит пока.

**Н. Сундеев.**

За тридцать лет оторванности — физической — от России границами и таможнями изменилась не только политическая карта мира. Изменилась поэзия. Русская поэзия Молдовы — разительно. Не ставя перед собой сейчас задачу глубоко исследовать этот вопрос, замечу только, что, несмотря на декларированную свободу и фактический “безвиз” (при наличии румынского гражданства, коим — принципиально! — большинство из русских поэтов не обладает), поэтическое время и пространство в наших стихах — за редким исключением — скукожились, как шагреневая кожа. Порой до пространства собственной души. До пространства пяди земли, которая ещё осталась под ногами. Мы разительно отличаемся от поэтов прошлого века, живших, как оказалось, в “империи зла”. Поэты последней четверти прошлого столетия запросто кочуют по святым литературным местам России. В стихах шестидесятников прописались Ленинград, Москва, Болдино, Таруса, Константиново, Бежин луг, Михайловское — то, чего напрочь лишены русские поэты Молдовы ныне. Пишущие много читают и живут впечатлениями от вечных книг, без которых, похоже, уже и невозможно понимание Родины:

Всё те же дни покорности и сна,  
Всё те же мятежи на переломах,  
Всё та же всероссийская весна,  
Где всё своё — Печорин и Обломов...

**А. Коркина.**

Лирика поэтов шестидесятых-девяностых годов несёт приметы русского модернизма. Стихи “гипертекстуальны”: здесь и осмысление античности (Р. Ольшевский), и века восемнадцатого — наследия М. Ломоносова, Г. Державина (В. Ткачёв, В. Костишар), и переключки со светоносным девятнадцатым — Е. Баратынским, А. Пушкиным, М. Лермонтовым, А. Фетом, Ф. Тютчевым (В. Костишар, И. Ремизова, И. Нестеровская), и с горчащими страницами двадцатого — И. Анненским, А. Блоком, И. Буниным, А. Ахматовой, В. Хлебниковым, С. Есениным, Н. Заболоцким, Н. Рубцовым (Н. Савостин, А. Коркина, Н. Сундеев, А. Милых, В. Костишар, О. Рудягина). Из века в век протянуты нити главной “русской” темы служения Отчизне, назначения поэзии и поэта.

И шмель звенит над выгнутым листом,  
И можно вспоминать друзей, о боже,  
И думать об Овидии, о том,  
Что разные века, а судьбы схожи...

**Р. Ольшевский.**

Шестидесятые годы “оттепели” с их упоительным духом свободы, раскрепощения, жаждой самопознания, настойчивым поиском идеала были очень близки пушкинскому мироощущению. Молдавия, которую помогали отстраивать и возделывать в послевоенные годы специалисты разных национальностей, направленные сюда со всех концов необъятного Союза, расцветала. Гордость за плоды созидательного труда на возрождённой земле отождествлялась с гордостью за победившую фашизм страну, сердце которой находилось в Москве, возвращала к событиям недавней и далёкой истории. Особенно близким становился образ молодого Пушкина, его бесстрашие, вольнолюбивый, неукротимый нрав, гуманизм и любовь к людям, населяющим этот край. Появляются циклы стихов, посвящённые Поэту и его бессмертным произведениям. Особое обаяние южного края, влюблённость в леса, холмы и долины, завещанная Пушкиным, пронизывает стихи русских авторов. Имя Поэта — символический звёздный мост, соединяющий Россию и Молдову.

Старейший русский писатель страны Николай Савостин на протяжении всей жизни неизменно обращается мыслями и чувствами к любимейшему из поэтов, которому когда-то *“Кишинёв за все его утраты / Вновь дал надежду, дал тепло и кров”*, который *“о Кишинёве не вздохнуть не мог”*.

Готовя этот материал, я неожиданно наткнулась на совершенно не типичное для Николая Сергеевича стихотворение – “Двое”. Обычно он на подобном мраке и натурализме не акцентирует внимание. Но здесь... Представьте: 70-е годы прошлого столетия. Вору вскрывают старинный склеп в поисках антикварных украшений. Как можно несколькими словами обрисовать и противопоставить давний беззащитный мир красоты, благородства и любви – нахрапу бестрепетной алчности?

В склепе кости княгини-старушки,  
И в листе шелестят над нею  
Те стихи, что ей, юной, Пушкин  
Написал, обучаясь в Лицее.  
Ну, а этих листва лишь тревожит:  
Не понять им, что в шелесте этом.  
И гуляет мороз по коже,  
Сумасшедшим трудом разогретой.

Размышляя о судьбах человечества, дорогих сердцу России и Молдовы, о современном засилье бездуховности и повсеместной попсовой пошлости, Николай Савостин, печалась, черпал силы, вдохновение и оптимизм в нетленных строках русского поэта. Ему посвящены циклы стихотворений, сборник очерков “Вниманье долгих дум”, “Этюды о Пушкине” (в книге “Честь поэтов”). И для год назад покинувшей землю Александры Юнко – старожилы Пушкинской горки (“Colina Pușchin”) – старого кишинёвского района, где расположен дом-музей, тема А. С. Пушкина давно стала привычной и безусловной, как дыхание. Помимо стихов, на протяжении ряда лет она регулярно печатала в газете “Русское слово” лирические эссе под рубрикой “Мой Пушкин”. Живая связь времён, свежие, неожиданные открытия, к которым её приводят раздумья над строками и фактами биографии Александра Сергеевича, вызывали заинтересованный отклик читателей. Пушкин Юнко – живой, дерзкий, отчаянно непохожий на “канонический” образ, заученный в школе.

Стреляться в полдень; на дуэли  
Дразнить надутого глупца,  
От смеха сдерживаться еле  
При виде важного лица,  
Под дулом стоя, напевать,  
Вишнёвой косточкой плевать.  
...  
На дружеской пирушке в полночь  
Поднять шампанского бокал  
За просвещение, за вольность,  
За всех, кто вдруг сюда попал...

... О, оказалось, это невероятно интересная тема – жизнь Поэта в произведениях значительных русских поэтов Молдовы, – нашёптанные им мотивы, реминисценции, размышления, поиск пушкинской гармонии и прекрасная неисчерпаемость. В смутные 90-е годы обрушения системы ценностей имя Пушкина оставалось, безусловно, неколебимой вершиной, не поправленным идеалом, “лучом света в тёмном царстве” разгула низменных страстей. Для поэтов, оставшихся без Родины, Отчизной, землёй обетованной станowiąтся Пушкин, мысли о нём хранят от отчаянья:

Если бы я была Пушкиным,  
Я бы написала целую вселенную...  
...  
Подвал, доверху набитый  
Сундуками с золотом,

Я бы вместила в маленький кошелёк  
С гербом России...

**И. Нестеровская.**

Интересно, что, если лет “надцать” назад на этом пространстве, от России отпавшем, вернее, насильно оторванном от неё, в произведениях поэтов личность великого Поэта выростала безусловным символом России, то сегодня мне всё чаще кажется, что в русской литературе здесь Александр Сергеевич обрёл совершенно таинственную самостоятельную жизнь, крепко-накрепко породнившись с молдавской землёй и всеми нами, словно в самом деле многочисленным потомством. Пушкин теперь – примета не только России, которую большинство из нас знает лишь виртуально, но и выстрадавшей родины – Молдовы. Вдумчивое и бережное отношение Александра Сергеевича к фольклору, в частности, к молдавскому, органично и для русских поэтов, которые проникаются мелодиями и преданиями древней земли, вплетают в свои строки слова молдавской речи. Представитель великой державы, многонациональной и многоконфессиональной, Пушкин с интересом и уважением относился к творчеству и обычаям людей, населяющих Бессарабию, вслушивался в неизбывную печаль дойны\*, при звуках зажигательного жока\*\* народных гуляний не мог устоять на месте, пускался в пляс! Поразившая воображение молдавская песня “Чёрная шаль” – в его переводе – навсегда прописалась в собраниях сочинений. Именно поэтому А. С. Пушкин официально считается первым собирателем молдавского фольклора. А это даёт такой простор для воображения поэтам новых времён! Здесь, у нас, дышится Александру Сергеевичу привольно, и сердце наполняет радость. Его радость!

Где тот блокнот, в который записал  
Поэт опальный слов чужих звучанье,  
Где слышно ветра юга колыханье  
И скрипок вольных терпкое дыханье,  
И флуер, и цимбалы, и кавал?

**О. Рудягина.**

И правда, мы счастливики! У нас, кроме уникального дома-музея, Благовещенской церкви, которую он посещал, улиц, помнящих звук его шагов, ещё есть живописное село Долна. А там – восстановленная после перестроечной разрухи, благодаря настойчивому желанию молдаван-жителей села, воле и всемерной помощи посольства Российской Федерации – усадьба помещика Ралли, где счастливо гостил Александр Сергеевич. Где, блуждая по окрестностям, встретил цыганский табор и пленительную смелую Земфиру, ставшую прообразом героини “Цыган” (и, кстати, – знаменитой Кармен Проспера Мериме), с которыми, не раздумывая, позабыв всё на свете, ушёл Поэт на две недели кочевать.

Каждый год 6 июня караван автобусов с горожанами устремляется в Долну, где в честь поэта звучат стихи и песни, – на праздник, к которому сельчане готовятся целый год, а затем гостеприимно распахивают ворота усадьбы и встречают гостей белым хлебом и красным молдавским вином. Без этой поездки для иных горожан и лето – не лето, не в радость, и год – неполноценен.

Ушёл — тропа легка?  
Ушёл — и был таков...  
Ах, полно же, не плачь.  
Ах, Долна, не горюй,  
А положи калач  
Вблизи бегущих струй,  
А расстели ковёр,  
Вином налей кувшин...

**А. Юнко.**

---

\* Дойна – молдавская протяжная печальная песня, признанная ЮНЕСКО мировым достоянием.

\*\* Жок – быстрый народный молдавский танец.

С 2014 года мы проводим единственный в Республике Молдова фестиваль русской литературы с именем “Пушкинская горка”, инициированный Ассоциацией русских писателей Республики Молдова и поддержанный Российским центром науки и культуры в Кишинёве, столь изумляющий гостей фестиваля – известных литераторов, руководителей писательских организаций и редакторов знаменитых журналов – преданностью наших сограждан памяти “солнца русской поэзии”. Гости из России, Республики Беларусь, Украины и Болгарии неизменно увозят с собой особое очарование моей Молдовы и, смею заметить, лёгкое потрясение от того, как преданно тут почитают Александра Сергеевича. . .

Солнцем поэтической вселенной поэтессы Валентины Костишар, уроженки сурового Архангельского края, работавшей всю жизнь учителем русского языка и литературы в Кишинёве, безусловно, является Пушкин. На чём бы ни останавливался её лучезарный взор, где бы ни кружила фантазия, центр притяжения, сердце её поэзии – он!

Есть у лета июнь,  
Соловьи и кукушки.  
Есть у времени даты,  
Есть счастливые дни.  
Есть на свете Россия,  
У России есть Пушкин,  
И божественный гений  
Её душу хранит.

Книгу дивных романсов на Валины стихи написал безвременно ушедший Сергей Пожар – уникальный музыковед, публицист и композитор, неутомимый пропагандист музыкального искусства Молдавии и творчества А. Пушкина и М. Эминеску.

Сегодня “дежурная”, захватанная и, к несчастью, часто обесцененная школьной муштрой и официозным бряцаньем любовь к поэту сменилась для одних – новым яростным желанием “сбросить Пушкина с корабля современности”, другим же посчастливилось осознать уникальность и значимость человека, создавшего русский литературный язык, впервые заставившего зазвучать его в полную силу необычайной красоты. “Милость к падшим приывать” ныне не актуально, однако, что бы ни придумывали ненавистники Александра Сергеевича и местечковые дантесы, а ничего не могут поделать со всё более очевидной современностью и нерушимой гармонией его произведений.

Шарж волшебной Татьяны Некрасовой обыгрывает верную примету жизни, когда, таща на себе все житейские обязанности, окликает женщина с усталым укором не подставляющего плечо, филонающего близкого человека: “Кто же это сделает? – Пушкин?” (а, может, окликает она саму жизнь, которая перегружена обязанностями и не оставляет никакого пространства и времени для “чудных мгновений”, часто предлагая исключительно разбитые корыта в ассортименте).

Можно, конечно, пожуричь поэтессу за подобную приземлённость, а можно понять это родственное панибратство с Александром Сергеевичем как спасение:

Пушкин сходит за хлебом,  
Пушкин выбросит мусор,  
и на Пушкина с неба  
вдруг спикирует муза:  
эlefанта-сильфида  
в лавке быта посудной —  
и корыто разбито,  
и мгновение чудно.

Я знаю, что Александр Сергеевич иногда. . . приходит во снах, заставляет прислушаться поэта к себе, можно сказать – направляет, выстраивая неожиданные сюжеты стихов. Наверное, именно так он нашептал таинственное стихотворение “Сказка на ночь” Наталье Новохатней – о себе, о маленьком, о незабвенной няне своей:

...И польётся, и помчится,  
 Про царя да про царицу,  
 Про прекрасную Жар-птицу,  
 Про Кашееву иглу,  
 Что на острове Буяне,  
 Про Добрыню, про Полкана,  
 Про крестьянского Ивана,  
 Про лягушку, про стрелу...  
 ...  
 Померещилось, приснилось,  
 Сгнуло давным-давно...  
 Но пока — лишь ночь да сказки.  
 Вот уже сомкнулись глазки.  
 Горько плакала свеча.  
 О героях ли могучих,  
 О судьбе ли неминучей,  
 Что ударит сгоряча  
 Злобой, сплетнями, наветом  
 И дуэльным пистолетом...  
 Чур меня, молчи-молчи!..

Зима отмечена для нас пушкинской метой. И непременно в один из февральских дней к памятнику Пушкину стекается в парк народ, ему несут цветы и стихи — его собственные и — горожан. Здесь и лицеисты в костюмах пушкинской эпохи. И непреходящий ряженный в пушкинских бакенбардах высокопарно декламирует бессмертные строчки, театрально вскидывая руки...

Я иногда думаю, не надоели ли Поэту это почитание, эта суета? Умный, ироничный и не терпящий пошлости человек же был. Гляну ввысь на склонённую главу, слушающую не раздосадовано и отрешённо, но внимательно, почувствую — нет! Не надоело... Сам же предрёк: *“Не зарастёт народная тропа...”* Вот и терпи теперь. Не зарастает! А мы искренне горюем 10 февраля. И несём калач и вино *“за поману”\**, и заказываем в русском Свято-Георгиевском храме панихиду. Как за родного человека. И настоятель храма отец Николай Флоринский с братией обязательно в этот день её проводят — светло и торжественно.

Последняя дуэль Пушкина воспринимается и сегодня живущими как поединок чести — с бесчестьем, благородства — с подлостью, непреходящих ценностей глубинного православия — с целенаправленным духовным растлением безверия, и — глобально — как поединок России с двуличным, агрессивным Западом, о чём ещё в середине прошлого века высказался поэт А. Ренин:

Враг России поднял пистолет.  
 Ох, какая тёмной ночи плата!  
 Отойди от скорбного квадрата,  
 Неизбывна горькая утрата,  
 что не позабыть и в тыщу лет...  
 ...  
 На Руси, в Москве и по Уралу  
 Не хватило крови в капиллярах  
 В час, когда Отчизну обирала  
 Злоба, застилавшая рассвет.

Олег Максимов, входивший в Кишинёве почти тридцать лет назад в самое ядро Ассоциации русских писателей Молдовы, основанной Николаем Сундеевым, на мой вопрос о его *“пушкинских”* стихах ответил мне на днях из Сибири: *“Есть отменное стихотворение, единственное, что пришло ко мне во сне и которое я вставил в книгу без единой правки! Снилось много и казалось (во снах) прекрасным, но восстановить (наяву) ничего не выходило...”*

\* *“На помин души”* — обычай давать знакомым и соседям еду, одежду, посуду, чтобы помянули умершего родственника.

А вот посвящённое Пушкину увидел (или услышал), проснулся и записал без правки хотя бы единого слова!”

... Но как же хочется разорвать эти временные покровы, словно матерчатый задник театральной оснеженной декорации оперы “Евгений Онегин”, и выскочить на сцену, где вот-вот прогремит роковой выстрел: оттолкнуть, заслонить его собой!

Броситься бы вслед, кинуться бы в снег, в ноженьки,  
за полы хватать, пальцы лобызать смуглые,  
в голос причитать, в судьи деток звать, боженьку,  
каяться и лгать, но не отпускать в мглу его!

**О. Рудягина.**

Пушкин навсегда поселился в нашем воображении и проживает в нём параллельные жизни. И — кто знает! — быть может, в тот роковой миг померещилась поэту напоследок наша горячая терпкая земля, как в стихотворении “Южная ссылка” Леонида Поторака, написавшего в 17 лет:

Но — пора. Всему приходит время.  
Снег летит. Давно забыто лето.  
Секундант заснеженный отмерил  
Десять медленных шагов до края света.  
“Господа, пора стрелять. Забыли?”  
И рванулся искрами из дула  
Скрип телег и запах летней пыли;  
Снова в южном зное степь уснула...

... Каждый из нас переживает историю жизни и смерти Александра Сергеевича заново. Каждый, серьёзно погружившись в его стихи и прозу, навсегда становится поэту другом и защитником.

В заключение этих размышлений хочется привести цитату из моей же статьи для одесского журнала “Южное сияние” наших верных друзей из Южно-русского Союза писателей, написанной по следам “Пушкинской горки”, прошедшей в 2018 году. Я так долго искала эти слова: “... Пушкин спасает нас от амнезии. Нас кодируют: “Не было ничего до 90-го года! Всё лучшее начинается с Великого национального собрания”. Вырубают повсеместно старые деревья, сносят исторические здания, дабы отшибить память, переписывают историю, перекалывают ежесезонно золотоносную плитку... И вроде бы и правда — ни прошлого, ни будущего, — этот ждущий хлеба и зрелищ, на себя почти не похожий город завис в безвоздушном пространстве... А откроешь томик Пушкина и — о, счастье! Да ведь было, было, да ведь есть! И мы с вами есть! И прошлое! И голоса наших мам и бабушек, читавших нам, маленьким, вечные его “Сказки”. И есть чем дышать! Мы вместе пережили колоссальное потрясение — развал огромной страны. Мы вместе собирали себя из осколков разлетевшейся жизни. Мы вместе — каждый в своей стране — нащупывали в трясине лжи и мерзости безвременья острова твёрдой почвы под ногами. Мы хватались за воздух. Мы нашли! Самое прочное в этом мире — то, что не предаст, не исчезнет, не покинет, то, что невозможно вырвать из сердца, — Слово. Как оказалось, самое надёжное в этом ускользающем мимикрирующем безжалостном лукавом мире — поэзия. От колыбели — до последнего земного причала. “Но лишь Божественный глагол до слуха чуткого коснётся”!

Да здравствует Пушкин!

*Ассоциация союзов писателей и издателей (АСПИ) — объединение четырех крупнейших союзов писателей и Российского книжного союза. Писатели самых разных направлений и взглядов собрались вместе для поддержки текущей словесности и литературного процесса. Организация мастерских для начинающих литераторов, помощь писателям в трудной ситуации, создание сети литературных резиденций, творческие командировки писателей — число масштабных проектов АСПИ, охватывающих всю Россию от Калининграда до Чукотки, продолжает расти.*

*Сегодня мы представляем один из проектов — “Творческие командировки”. АСПИ возрождает традицию поездок писателей по стране для встреч с читателями, участия в крупнейших литературных событиях регионов, продвижения современной российской литературы.*

*В новой рубрике “Встречи с читателями” писатели, побывавшие в командировках АСПИ, расскажут о своих впечатлениях.*

## ПАДАЛИ ЯБЛОКИ В ГРАФСКОМ САДУ

На фестивале “Война и мир” в Никольском-Вяземском говорили о странностях перевода, звёздном небе и нескончаемом романе русской литературы.

... Роман “Война и мир” я в первый раз прочла в третьем классе. Проглотила запоем, погрузившись в мир – через і, мір – в общество прошлого века, пропуская “войну” и французские сноски. Потом читала раз восемь – ещё до уроков литературы “по теме”, каждый раз по-другому: то вдруг стала интересна война, то французский язык... То нашла мемуары Кузминской, одного из прототипов Ростовой, и давай выискивать, что в романе “правда”, что – нет.

Теперь-то я знаю: в хорошей книге правда – всё, даже если автор выдумал и сюжет, и героев. Об этом – о взаимодействии книги, писателя, его персонажей и читателя – мы говорили с гостями литературного кемпинга “Война и мир” в Никольском-Вяземском – родовом имении Толстых – накануне дня рождения великого Льва. И про перевод – не с французского, – про литперевод вообще, в том числе с языков ангельских на людской...

Перевод может быть – и часто становится – ремеслом. Но подлинный перевод, не устаю повторять, – это любовь. Как всякая любовь, перевод – сладостный и мучительный труд, отчаянное, почти безнадежное движение сквозь песок стёршихся слов.

Поразительно, насколько понимающей была аудитория в кемпинге. Вряд ли кто-то из участников моего мастер-класса “Лишние люди литературы: о странностях перевода поэзии” всерьёз пробовал силы в литпереводе, но разговор получился живой и серьёзный. Мы вспомнили историю поэтического перевода в России, разобрали перевод рубаи Омара Хайяма, окунулись в традицию таджикской поэзии... Над нами стояло звёздное небо – такое же, каким его видел накануне своего дня рождения Толстой, – и Млечный Путь раскрывался под строки: “Ты вращаешь и вращаешь небеса, / создаёшь миры движеньем колеса...”

Верю: если учиться ставить слова в гармоничном порядке, хаоса становится меньше. Примеров мощного влияния литературных текстов на жизнь не счесть. Одна из книг, прожигающих ткань бытия, – “Мастер и Маргарита”. Книга, о которой спорят, которую ненавидят и любят. Однако во время лекции “Книга пишет автора” мы беседовали не столько о книге, сколько о том, что писатель делает с текстом и что делает текст с миром писателя. Тема спорная, но споров не было, а было узнавание, установление родства: мы понимали с полуслова друг друга.



Мне повезло попасть в кемпинг под Мценском благодаря АСПИ – Ассоциации Союзов писателей и издателей, среди многих важных проектов которой есть и программа творческих поездок писателей. Так современные литераторы встречаются с читающей и пишущей публикой, проводят мастер-классы и лекции. Причём повезло мне дважды: организатором от АСПИ была Надежда Ерёменко – пожалуй, до сих пор я не знала столь уверенной и тёплой заботы. Облака шли на поляну, давая щедрую тень участникам мастер-классов, стоило Наде, сдувая с лица светлую прядь, строго глянуть на небо.

В имении Толстых палили ружья и пушки, солдаты в мундирах наполеоновской армии отступали перед натиском русских; юный Толстой пил шампанское и декламировал поэтам стихи, классик-Толстой рассуждал с Тургеневым и Фетом перед публикой о судьбах страны, сменив духовой оркестр. Бежали босоногие дети со свистульками и леденцами, шумела ярмарка, падали яблоки в графском саду.

“Если начать описывать, то я написал бы 100 листов, описывая здешний край и мои занятия”, – сообщал чуть более века назад Лев Толстой в письме Афанасию Фету из Башкирии. Я могла бы отправить обратно в Башкирию те же слова. Три дня в Никольском-Вяземском с поэтами и прозаиками, с потомками Толстого, с артистами и музыкантами, с энтузиастами из военно-исторических клубов – три ошеломительных дня фестиваля и кемпинга, одноимённых роману, любимому с детства, – вошли напрямую в кровь и греют её в пришедшие дождливые дни.

...Топая босиком по аллее меж вековыми липами, ненасытно вдыхая густой яблочный воздух, понимаешь – это сейчас смешливая Таня Кузминская читает письмо сестры, Сони Толстой, про мужа её, Льва: “...отпивается кулысом, пропасть ходит... загорел до черноты, конечно, ничего не пишет и проводит дни в кибитке башкирца Мухаметшаха”. Именно в эту минуту автор знаменитых романов публикует “Письмо к издателям” о голоде 1874 года, собирая для голодающих 21 тысячу пудов хлеба и 1887 тысяч рублей.

Люди с мощным зарядом творчества меняют ткань бытия, стирая границы времени и пространства. Меняются сами, меняют свою судьбу. Разъезжаясь потом по домам, разносят вечную весть о том, что слово – мощная сила и главный механизм любви. Силу творчества демонстрирует и АСПИ, организуя участие литераторов в российских культурных событиях. Так, всем “миром”, пишется непреходящий роман современной России.

**Светлана ЧУРАЕВА**  
г. Уфа

## ОТ ВОЛГИ ДО ЭЛЬБРУСА

Велика Россия, а поэзия не просто сближает людей и родственные души, но и сокращает расстояния. Только вернулся с берегов Волги, с фестиваля “Солнечный круг” из Рыбинска, где на набережной стоит памятник моему учителю и старшему другу Льву Ошанину, как через день рано утром полетел по удлинённому воздушному пути в Нальчик – от Ассоциации союзов писателей и издателей. Вот уж не ждал, не гадал, что доживу до возрождения персональных творческих командировок писателей. Не так, как прежде, конечно, – на 20 дней, по вольному маршруту, без скрупулёзного отчёта, но всё-таки... Даже стихи, несмотря на усталость, набросал:

Я — старый волк публичных выступлений,  
Поездок, фестивалей, вечеров —  
От крупных городов до поселений,  
Где пять доярок и один Бобров.

Всё это возрождается со скрипом,  
Мы подаём России всей пример —  
С Марией из АСПИ и Муталипом  
В большой библиотеке КБР.

Упомянутая Мария Базалеева руководит в АСПИ отделом по возрождению таких поездок, а Муталип Беппаев – мой друг по семинару в Литинституте и тоже любимый ученик Льва Ошанина, который к его 100-летию издал книгу верлибров и воспоминаний – “Силуэты чувств”. Он так написал о мастере: “У него со своими студентами были самые доверительные, товарищеские, доброжелательные, подлинно братские отношения. Однако это касалось только тех, в чью творческую звезду он непоколебимо поверил, в ком учитель сумел уловить свет затаённой до поры до времени, неповторимой поэтической души...”.

Беппаев, человек широкой балкарской души, шесть лет руководил многонациональным Союзом писателей, теперь его сменил кабардинец Юрий Тхагазитов – доктор филологических наук. Они и открыли, как успели, нам нынешнюю Кабардино-Балкарию, которая в сентябре отметила 100-летие. Вместе с директором Анатолием Емузовым они и провели вечер “Песня – душа народа”, посвящённый 110-летию Льва Ошанина, в Государственной национальной библиотеке им. Т. К. Мальбахова – первого секретаря Кабардино-Балкарского обкома КПСС на протяжении тридцати лет с 1956 года. Он знал и любил литературу, заботился о культуре, как ни один партийный деятель.

В огромном и светлом зале собрались не только библиотечные работники, подготовившие широкую экспозицию о творчестве Льва Ошанина и, простите за нескромность, автора этих строк, но и писатели, журналисты, книголюбы (кстати, на всем юге России только здесь и осталось Общество книголюбов во главе с энергичной Натальей Шинкарёвой). Замечательно исполнили песни Ошанина “Люди в белых халатах” и “Эх, дороги...” народный артист КБР Ауэс Зеушев и Аскер Виджиев, которые доказали, что настоящие песни не стареют, — даже если пандемия, новые фронтовые дороги, а душа ждёт сокровенных слов. Да и моя “Славянская песня” легла на сердце, судя по реакции благодарного зала. Были, конечно, и насущные, острые вопросы, но дух искренности и взаимопонимания объединял всех.

Потому и завершил я эту встречу экспромтом:

От Волги до Эльбруса  
Читаю для друзей.  
Стихи — не дело вкуса,  
А дело жизни всей.

Тобою путь подарен,  
Балкаро-Кабарда,  
И вновь звучит Ошанин,  
Как в лучшие года.

Поездка наша совпала с днём памяти Кайсына Кулиева — классика балкарской и всей советской поэзии. 4 июня по традиции возлагают цветы к памятнику у Дворца культуры профсоюзов в Нальчике, а потом все, причастные к поэзии и книге, едут в Чегем, где в скромном доме остановилось сердце поэта.

Род Кулиевых дружно восстанавливает подворье Кулиевых в Верхнем Чегеме над шумной рекой, где в суровых условиях жили и поднимали детей семь семей. Становилось тесно — перебирались на другую сторону реки. “Я был маленьким ашугом, пел своим товарищам и взрослым девушкам, да и на свадьбах тамада, усадив меня рядом с собой, просил петь. И теперь, когда я знаком с образцами мировой поэзии, всё равно народная лирика остаётся для меня дорогой и непостижимо прекрасной. Думаю, что она дала мне много. Создателей многих горских песен считаю великими безымянными поэтами. Слагать стихи я начал рано — лет с десяти. А в семнадцать уже печатался. Об этом сейчас сожалею. Не надо так рано выступать в печати. Это вредно... Меня отправили в город Пушкин (бывшее Царское Село). Там я учился прыгать с трамплина и вышки”, — вспоминал Кулиев. В Пушкине начинал свою службу в 1940 году и мой старший брат — Николай Бобров. Кайсын смотрел здесь в зимнее “небо серое, стальное”, а мой брат — Герой Советского Союза лётчик Бобров — уходил в него на первые боевые задания. Потому в Чегеме, в доме-музее знаменитого поэта-фронтовика я и подарил директору Фатиме Кулиевой, прежде всего, книгу о брате — “Сосна у селенья Бобровка”.

Фатима Амникаровна готова рассказывать о дяде, о его друзьях — кабардинце Алиме Кешокове, Дмитрие Кедрине, Михаиле Дудине часами. Как они находили друг на друга на фронтах войны и людского горя, на путях-перепутьях необъятного Союза и бескрайней поэзии: “С газетой “Сын отечества” я прошёл по многим военным дорогам, участвовал в боях за освобождение Ростова-на-Дону, Донбасса, Левобережной Украины, был свидетелем и участником упорнейших боёв в районе Мелитополя — там, где шло кровопролитное сражение за Крымский перешеек. На небольшом участке было сосредоточено много войск. Туда мы приехали с Алимом Кешоковым...”. Не слышите эхо через восемь десятилетий?

Уже в перестройку Дудин перевёл пророческие строки Кулиева:

Уходит наше поколение  
Без грома с молнией, тайком.

А ведь когда-то мы камня  
Раскалывали кулаком.

Да, уходили поэты великого поколения в эпоху побеждающего чистогана порой даже тише, чем врывались в литературу. Но Кайсын Шуваевич и здесь — исключение: он стал символом и духом Балкарии, её зарифмованной летописью со всем народными трагедиями и взлётами до облаков, задевающих вершины. Он оставил не только бумажные издания (подарочные вручил нам его сын — Ахмат Кайсынович, скромный экономист). Сам народ изваял натуральную каменную книгу с мраморными страницами — Стену Кулиева.

В 2012 году группа представителей балкарской интеллигенции решила реставрировать домик в Верхнем Чегеме, ауле Эльтюбю, где родился лауреат Ленинской и Государственных премий СССР. В ходе реставрационных работ была выдвинута идея увековечивания памяти каменной стеной с начертанными на мраморе стихами поэта на балкарском и русском языках. По замыслу авторов, это должен был быть общественный, без использования бюджетных средств, “народный памятник”, как и Пушкину в Москве. Так стартовал проект “Сто шагов к Кайсыну” — сто стихотворений в камне к столетию поэта. Были отобраны стихи поэта и высказывания о нём Бориса Пастернака, Николая Тихонова, Александра Фадеева, Евгения Евтушенко, Дмитрия Кедрина и других. Собранные Фондом деньги платили за гранитные плиты, привозимые издалека, и их обработку, за машины и технику. Многие профессиональные каменщики, работая в выходные дни, от денег отказывались. Молодой парень, сын архитектора Тахира Хуламханова — Мурат, в свободное от работы время с друзьями спускал в подвал собственного дома эти здоровенные гранитные плиты (125 штук!), и после своей основной работы писал на них с помощью компьютерной графики стихи Кайсына и послания ему. Много сегодня таких молодых людей, особенно в Москве?! Мне от своих студентов журналистских работ — не добиться: “Нет времени”...

Нас возил внучатый племянник Кулиева Юсуп — всё знает, во всё вникает при реставрации до тонкостей, показал старинные окна и двери без петель. Как сказал Муталип Беппаев, который сам трудился здесь простым разнорабочим: “Кайсын продолжает не просто сплачивать большой род и всех, кто ценит литературу, но живёт и зовёт к созиданию, к запечатлённой памяти поколений”. Горская поэзия входит в эту память не филологически, а генетически, как залог сохранения языка и культуры. Потому и поручик Лермонтов для поэтов Кавказа — свой. Алим Кешоков написал, обращаясь к общему учителю:

...И скачешь по горам не иноверцем,  
И, как мюриды, издавна верны,  
Тебя я слева прикрываю сердцем,  
Кайсын Кулиев — с правой стороны.

Вершины гор задумчивы и строги,  
Звезда с звездой над ними говорит.  
И молод ты, и нет конца дороге,  
И пыль веков летит из-под копыт.

На равнинных и горных дорогах Кабардино-Балкарии, возле древних камней и новых памятников хотелось верить, что лермонтовская поэтическая дорога — не кончается, что мы поклонимся учителям-первопроходцам и продолжим её по мере сил.

**Александр БОБРОВ**

## СВЕТ “ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ОСЕНИ”

Осень в Забайкалье, как и на всём Дальнем Востоке, – пора дивная, необычайно красивая, несколько не грустная, а совсем наоборот – эмоционально наполненная. С чем связано это, человеку, впервые оказавшемуся здесь, сразу даже и не объяснить. Коренным дальневосточникам понятно сразу. Регион, где солнечных дней в году более 270-ти, в сентябре сказочно прекрасен. Свет – много солнца, разноцветье живых ярких картин на огромных полотнах высокого пронзительно-синего неба – красота роскошная, щедрая, неповторимая.

В такую пору рождаются красивые, талантливые люди, оставляющие незабываемый след на земле. А ещё эти люди создают нечто особенное: “...Книги, пароходы и другие долгие дела...” – помните, у В. Маяковского? ... В Забайкалье это большой и тоже многоцветный, яркий Литературный Фестиваль, что традиционно начинается в столице края – Чите, а потом разрастается, распространяется, растекается и разъезжается по огромной территории, наполняя собой райцентры и маленькие посёлки, большие и малые станции, леса и реки, озёра и сопки... И звучит на всех направлениях во всю мощь, поражая безбрежностью и глубинами, великое русское слово. Забайкальцы любят и ждут свою широкую “Забайкальскую осень”. Всегда это новые книги на больших и малых книжных ярмарках, каждый год – новые встречи с писателями, которые приехали в Читу впервые, и каждый раз – обязательно – ожидается приезд давних друзей, коих не отпускают эти волшебные “Забайкальские осени”...

Официально нынешний праздник – 57-й по счёту, но если обратиться к старожилам Читы, Шилки, Нерчинска, они непременно скажут, что всё начиналось несколькими годами раньше. По инициативе известного советского писателя Георгия Граубина в Чите проводились семинары молодых литераторов, сопровождавшиеся встречами с читателями в домах культуры, сельских клубах и библиотеках... На эти семинары в качестве руководителей приглашали и столичных писателей, и ведущих специалистов-филологов из педагогических вузов.

Мне неслучайно повезло приехать на первый юбилей литературного праздника уже всесоюзного масштаба в сентябре 1985 года делегатом от совсем молодой Амурской писательской организации из Благовещенска. Тогда праздновали 20-летие “Забайкальской осени”, и всеми творческими встречами, общением и организационными делами занимался поэт Михаил Евсеевич Вишняков. Это тоже было невероятное везение, потому что именно благодаря ему образовались у меня на всю оставшуюся жизнь чудесные дружеские связи с дальневосточными и сибирскими писателями – А. Пчёлкиным (Магадан), С. Иоффе (Иркутск), Л. Щедровой (Ангарск), В. Тройниным (Владивосток), поэтами и музыкантами из собственно Забайкалья. Безусловно, влияние творческой атмосферы было мощным, никаких скидок на молодость

и неопытность никому из начинающих никто не гарантировал. И главный посыл: Литература – тётка строгая – с той самой поры не давал никакого права схалтурить или слукавить... Хочешь быть на равных и подниматься до высот В. Распутина, А. Вампилова, М. Асламова... – соответствуй, работай, но оставайся собой...

Нынче – в сентябре 2022 года – большой литературный фестиваль “Забайкальская осень”, который был акцентирован на детской литературе, открылся Первым слётом детских писателей Сибири и Дальнего Востока. Да, очень красиво прошло открытие в Доме офицеров большим литературно-театрально-музыкальным действием с выступлениями гостей и приветственными речами руководителей, церемонией вручения премии имени поэта и общественного деятеля Михаила Вишнякова, с которым у многих в огромной России и ассоциируется этот праздник. И гостей собрала эта “Осень” из разных уголков страны: писатели из Хабаровска, Благовещенска, из Бурятии, Иркутской и Амурской областей, из Белоруссии и Москвы... Впервые за всю новейшую историю именно здесь, на славной “Забайкальской осени” прошел слёт детских писателей Сибири и Дальнего Востока!

На обложке своего двухтомника (М., “Русь”. 2005) Михаил Вишняков за три года до своего ухода написал: “Шестьдесят лет в Сибири – это длинная жизнь. А для творчества – мгновения, просиявшие в юности и зрелости. Их свет со временем перетечёт в другую юность и другую зрелость. Нулевого варианта не существует”.

Очевидно, пришла сегодня пора моей зрелости. И моё непреодолимое стремление сейчас, в XXI веке, приехать на “Забайкальскую осень” уже не в качестве ученицы, постигающей секреты литературного мастерства от старейшин русской словесности, хотя для совершенства нет пределов, – теперь уже вполне оправданно. Есть книги, есть читатели, есть немалый творческий опыт... В одном из последних телефонных диалогов Михаил Евсеевич Вишняков, понимая, что дни его сочтены, сказал: “Ты взрослая. Наши литературные битвы пошли на пользу. Рад... Вспоминай деда-поэта Вишнякова. И “Забайкальскую осень” не забывай”.

Это засело в душе, словно пепел Клааса, не давая покоя...

И вновь мне повезло. Передать обращение председателя Союза писателей России Николая Иванова к организаторам, участникам и гостям фестиваля, выполнить ещё одно, не менее важное, поручение председателя – торжественно вручить – медаль имени Василия Шукшина настоящему мастеру художественного слова, любимой детской писательнице Забайкалья Алле Озорной, книжки которой читают дети далеко за пределами Читы и Забайкальского края... Не последним аргументом для делегирования стало и наличие нескольких книжек для детей и семейного чтения... Участие представителя Союза писателей России в таком широкомасштабном литературном празднике стало возможным благодаря взаимодействию Союза писателей России (СПР) и Ассоциации союзов писателей и издателей (АСПИ) в проекте “Творческие поездки писателей по России”. Это особенно важно для развития и укрепления связей между регионами и столицей. И – крайне важно сегодня для литературного процесса во всей стране.

В своём письме-обращении к собравшимся гостям и участникам Николай Иванов говорит: “Дорогие друзья! Искренне рад, что общими усилиями мы вновь приподняли праздник забайкальской литературы на уровень, которого он достоин. Это заслуга каждого из вас, руководства Забайкальского края, а всё вместе – это наш вклад в отечественную культуру, в воспитание подрастающего поколения, сохранение традиционных нравственных и духовных ценностей...”. Многие в зрительном зале помнят приезд Николая Фёдоровича во главе московского писательского десанта. Несмотря на серьёзные ковидные ограничения...

Нынче все три дня пребывания в солнечной “Забайкальской осени” участники и гости слёта выступали в библиотеках Читы: “Граубинка” встречает друзей”, “Литературное знакомство”, “Писатели – детям”; в поэтической программе совместно с молодёжью (Совет молодых литераторов России) в Центре “Ново-Сити”. В уютном и приветливом зале той же “Пушкинки” прошёл очень тёплый творческий вечер поэта, члена Союза писателей России, поэта из Дебальцева Александра Морозова. Это общение больше напоминало

встречу близких по духу, искренних добрых друзей. Ещё одно незабываемое знакомство с талантливым мастером слова!

В поездке меня сопровождала Мария Базалева – руководитель проектно-го офиса по организации творческих командировок АСПИ. Дружелюбный, внимательный, организованный профессиональный человек с лёгким и добрым нравом, светлой душой и умным сердцем. С теплотой и особой благодарностью долго буду вспоминать и наше с Марией Владимировной общение... И все встречи, удивительные, радостные. Как забудешь Вадима Кругляка, который на эти три дня стал и ангелом-хранителем, и фоторепортёром, и заботливым другом... Как выронишь из души шептливового, весёлого писателя из Ангарска Игоря Корниенко... Как не вспомнишь большого, с детски-открытой обезоруживающей улыбкой поэта из Дебальцева Александра Морозова... На эти три дня мы стали своего рода литературным экипажем легковушки, управляемой Вадимом Витальевичем... Душевным таким экипажем.

Выезд в заповедное Сухотино, где прошли 13-е Вишняковские чтения, завершил программу участия московских гостей в “Забайкальской осени-2022”.

И здесь сами проснутся мудрые мысли от М. Вишнякова: “Можно вместе с Понтием Пилатом всю жизнь вопрошать: “Что есть истина?” Но бесполезно ждать ответа от внутреннего “я”, умывшего руки. За всё ответит сказанное нами русское слово”.

Литературная поляна на Сухотино... Литературный праздник в память о Михаиле Вишнякове в Сухотино... Вишняковские чтения на берегу Ингоды – в живописной пади Сухотино проходят вот уже в 13-й раз по инициативе его дочерей Ии и Елены. Ведёт их бесценно Ия Михайловна Толстова-Вишнякова с такой любовью и теплотой, что ни холодный пронзительный ветер с Ингоды, ни любые иные внешние воздействия не важны. Многие именно здесь в полной мере открывают для себя многогранный талант большого русского писателя. Кто-то узнаёт его дивные добрые сказки. Кто-то вслушивается и сердцем принимает его терпковатую, как даурский багульник, образную тонкую лирику. Кто-то вдруг впервые услышит, затаив дыхание, вишняковское поэтическое переложение древнего “Слова о полку Игореве...”, читать которое – словно пить целебного свойства волшебный нектар, свежий, глубинный, духоподъёмный...

“Забайкальская осень” – это незабываемо!

**Нина ДЬЯКОВА,**

поэт, драматург,

секретарь Союза писателей России  
полномочный представитель Амурской  
областной писательской организации.

*г. Чехов Московской области*

*Ассоциация союзов писателей и издателей (АСПИ) — объединение четырех крупнейших союзов писателей и Российского книжного союза. Писатели самых разных направлений и взглядов собрались вместе для поддержки текущей словесности и литературного процесса. Занятия с начинающими литераторами, помощь писателям в трудной ситуации, создание сети литературных резиденций, творческие командировки писателей — число масштабных проектов АСПИ, охватывающих всю Россию от Калининграда до Чукотки, продолжает расти.*

*Один из проектов Ассоциации — “Мастерские”. Это школа литературного мастерства для молодых дебютантов. Известные российские прозаики, поэты, драматурги и критики выезжают в разные регионы для работы с талантливой молодежью, — позже появляются новые книги, статьи, публикации.*

*Представляем вам Зинаиду Ершову — молодого поэта из Омска, участницу “Мастерской” АСПИ.*



ЗИНАИДА ЕРШОВА



РЕПЕТИЦИЯ  
ШКОЛЬНОГО ВАЛЬСА

\* \* \*

Пионы взрывались цветными хлопучками —  
Деревня чихала от розовой пыли;  
Дома собирали пылинки макушками  
И жадно грибные дождинки ловили.

Мы жили на самом краю, окружённые  
Хвоей, изгибом реки, где завеса  
Тумана под вечер светилась, пронзённая  
Одноэтажным созвездием леса.

Мы пили студёную воду колодцев,  
Летние сонные травы косили;  
Мы чувствовали, как трепещет и бьётся  
Солнцем залитое сердце России —

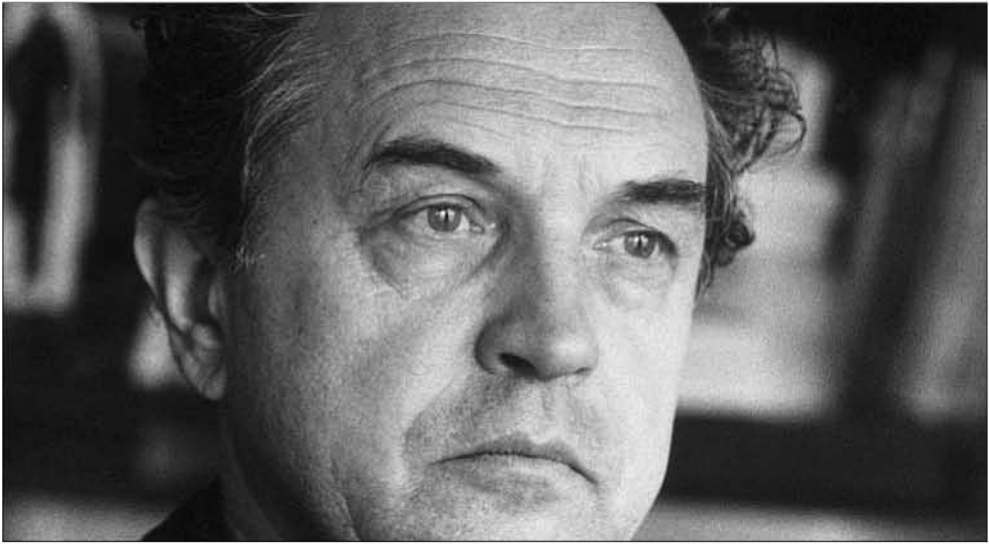
Неяркой, некрашеной, не оцифрованной,  
Терпкой, колючей, холодно-сосновой,

---

*ЕРШОВА Зинаида Олеговна Родилась в Петропавловске (Казахстан). Живет в Омске, работает школьным учителем. Автор сборника "Земное" (изданного при поддержке Министерства культуры Омской области по итогам фестиваля-конкурса "Тарская Крепость").*



## К 100-летию Александра Александровича Зиновьева



Логик, социолог, писатель, философ – он весь был соткан из противоречий. Его книги 1990-х, написанные в России, словно отменяли предыдущие, написанные в 1960-1980-е – в Советском Союзе и в эмиграции. На склоне лет он стал автором нашего журнала, и сейчас мы вспоминаем о нём, как о чрезвычайно характерном феномене того смутного времени конца XX века, которое мы все пережили.

“Я не был никогда апологетом того общественного устройства, какое складывалось в России после 1917 года. Но я рос в нём, усваивал его лучшие идеалы, делал из себя человека, которого можно назвать идеальным или психологическим коммунистом. Идеальным коммунистом мы считали тогда человека, живущего и трудящегося во имя интересов коллектива и всей страны, готового жертвовать ради своего народа всем личным, довольствующегося малым, не стремившегося к собственности и карьере и т. д. Я и сейчас придерживаюсь этих принципов...

Я, например, считал и считаю советский период русской истории не перерывом исторической традиции, а ее продолжением. Считал и считаю брежневизм альтернативой сталинизму, своего рода коммунистической демократией в противоположность сталинистскому тоталитаризму. Считал и считаю горбачевизм попыткой вернуть страну к сталинистскому режиму. И нынешнее состояние России считаю продолжением горбачевской попытки навязать стране диктатуру сталинского (а не пиночетовского) типа...

Сейчас у меня появилось вполне конкретное “за что”: сохранить Россию как независимую и великую державу, сохранить русский народ от уничтожения. Поэтому я приветствую всякое сопротивление той политике развала страны и превращения ее в задворки Запада, какую проводило горбачевское и теперь проводит ельцинское руководство... Те, кто стал править страной после 1985 года, самым настоящим образом продались – за деньги, славу, поддержку. “Человек года”, “лучший немец”, “нобелевский лауреат мира”, огромные гонорары – даром, что ли, получены эти подачки и титулы?! Но есть еще и один, неотмываемый: Иуда”.

*(Александр Зиновьев. Газета “Завтра”. 1993 год).*

## К 130-летию Марины Ивановны Цветаевой



“Розанов считал: талант это страсть. Именно таков был талант Цветаевой: она — поэт в высшей степени страстный и пристрастный — никогда не изменяла себе, “лирической дерзости” дарования. Свой колоссальный художественный мир, ведь кроме лирики, среди созданного ею: семнадцать поэм, восемь стихотворных драм, автобиографическая, мемуарная, историко-литературная и философско-критическая проза, — она возводила на сугубо лирической основе: отсюда шла во многом её повышенная ранимость, беззащитность, боль, поражавшая многих, соприкасавшихся с ней в жизни (“Я ободранный человек, а вы все в броне”), о которой она так безжалостно точно говорит сама в письме к А. Бахраху от 10 сентября 1923 г.: “Всё спадает, как кожа, а под кожей живое мясо или огонь: я: Психея. Я ни в одну форму не умецаюсь — даже в наипростейшую своих стихов! Не могу жить. Всё не как у людей. Могу жить только во сне, в простом сне, который снится...”

*(Инна Ростовцева)*

Статьи Геннадия Красникова, Инны Ростовцевой, Галины Данильевой, посвящённые поэзии Марины Цветаевой, читайте на стр. 217.